

ЗНАМЯ

декабрь

Татьяна БЕК
Вам в привет

Валерий ИСХАКОВ
Другая жизнь – другая история

Виктор КОНЕЦКИЙ
Последний рейс

Семен ЛИПКИН
Странный луч

Ольга СЛАВНИКОВА
Я люблю тебя, империя

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ
Хор кириллицы

12/2000



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

Семен ЛИПКИН	3	Странный луч. <i>Стихи</i>
Виктор КОНЕЦКИЙ	5	Последний рейс
Сергей СТРАТАНОВСКИЙ	82	Хор кириллицы. <i>Стихи</i>
Валерий ИСХАКОВ	85	Другая жизнь — другая история. <i>Рассказ</i>
Николай БАЙТОВ	99	Волосы смыслов. <i>Стихи</i>
Анна ЯКОВЛЕВА	104	Шуба. <i>Филологическая повесть</i>
Леонид ЛАТЫНИН	106	Круглое окно. <i>Стихи</i>
Владимир СТРОЧКОВ	108	Замкнутый контур. <i>Стихи</i>

non fiction

Татьяна БЕК	112	Вам в привет. <i>Начала</i>
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН	120	Сиделка на ночь. <i>Стихи</i>

мемуары. архивы. свидетельства

Александр ТВАРДОВСКИЙ	124	Рабочие тетради 60-х годов. <i>Продолжение</i>
Джон РОБЕРТС	148	Сцены театральной жизни

публицистика

Александр ЭТКИНД	161	Из измов в демократию: Айн Ранд и Ханна Арендт
------------------	-----	--

forum

Юлия ГИНЗБУРГ	182	Основной инстинкт
Александр ХРАМЧИХИН	184	Нужна ли России наемная армия?

декабрь

12/2000

Ольга СЛАВНИКОВА 188 Я люблю тебя, империя

наблюдатель

Рецензии

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| Лиля Панн | 198 | Иосиф Бродский. Большая книга интервью. Составление Валентины Полухиной |
| Галина Ермошина | 201 | Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света. |
| Александр Уланов | 203 | Дж. Джойс. Лирика.
Пер. с англ. Г. Кружкова |
| Александр Касымов | 205 | Евгений Шкловский. Та страна |
| Андрей Урицкий | 207 | Евгения Чуприна. Роман с Пельменем |
| Катя Марголис | 209 | Особенно слова |
| Борис Хазанов | 213 | Дж. Вудолл. Хорхе Луис Борхес, человек в зеркале своих книг |
| Людмила Вязмитинова | 217 | Альманах «Окрестности», сб. 4. Вестник молодой литературы «Вавилон». № 7 (23) |
| Андрей Цуканов | 219 | Максим Соколов. Поэтические воззрения россиян на историю |
| А.С. Кацев | 221 | Чинара Жакыпова.
Конфискация жизни |
| Эр. Хан-Пира | 222 | Л.В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь.
Ю.А. Федосюк. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. |

Выставка

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| Вера Чайковская | 223 | Выставка «Глазами медведя» в Московском центре искусств на Неглинной |
|-----------------|-----|--|

Незнакомый журнал

- | | | |
|----------------|-----|---------------|
| Файна Гримберг | 225 | «Роза ветров» |
|----------------|-----|---------------|

Конкурс

- | | | |
|--|-----|--|
| | 226 | Альфа-Банк помогает писателям |
| | 227 | Содержание журнала «Знамя» за 2000 год |

Семен Липкин

Странный луч

Телефон

Пусть дерево не может поднять опавший плод,
А я могу вернуться в тот незабвенный год.

Забыл свои остроты, но помню я твой смех,
Тот мягкий, тот волшебный, тот загородный снег.

А летом шёл в Жуковский, чтоб позвонить тебе,
Шесть вёрст шептал я строки при медленной ходьбе.

Тебя не заставлял я, — ушла с друзьями в лес,
Сердился, ревновал я, уму наперерез.

Ночь смолкнет, погружусь я в свой предпоследний сон,
Но не забуду в будке висящий телефон.

Отошедшие

Нужна ли музыка едва родившимся?
Не ведаю, но верю, что она
Умершим, между небом заблудившимся
И грешною землёй, всегда нужна.

Таинственным звучаньем поражённые,
Непрочное покинув бытие,

Казалось бы, в молчанье погружённые,
Нездешним слухом слушают её.

Да, слушают недавно отошедшие,
Чтобы, отправившись в последний путь
Забуть своё ничтожное прошедшее
И к вечному и нежному прильнуть.

Сестра

За окном огромно царство темени —
Тождества пустынь,
Но победоносно войско времени:
Рассветает. Синь.

Отделившись от сестричек, сосенка,
Зная нрав людской,

На меня глядит пугливо-косенько, —
Мол, жилец другой.

Здесь обосновался я в дни старости, —
Будь мне как сестра,
И ничьей не убоимся ярости, —
Даже топора.

* * *

Может, в мою душу странный луч проник,
Иль её встревожил непонятный крик?

Что со мною стало, не могу понять:
То ли горе близко, то ли благодать?

Как я состоянье это назову?
Только то мне ясно, что ещё живу.

О смерти

Жизнегубительница, ты костлява,
Движешься только вперёд, а не вспять,
Но лишена ты счастливого права —
Вновь созидать.

Мёртвый тебе драгоценней живого,
Губишь и птиц, и зверей, и людей,
Силу твою превосходит лишь слово
Мошью своей.

Толкователи

Грехи прародителей множит
Лихих толкователей рать.
Индейцев сперва уничтожат,
Потом их начнут изучать.

Порой, опираясь на краткость,
Иные беспомощно врут
И эту научную гадкость
Историей важно зовут.

* * *

Облаков кружева
Разлеглись над балконом,
А под ними трава
Стала царством зелёным.

Умирают стоймя
Две родные берёзы.

Здесь деревьев семья
Слышит голос угрозы:

Как завидна их стать!
Это песни достойно:
Гордо так умирать,
Так безмолвно, спокойно.

Башня

В том государстве странном,
Где мы живём,
Мы заняты обманом
И плутовством,

Мы заняты убийством
И воровством.

Мы заняты витийством
Там, где живём,

Что завтра с нами станет, —
С толпой племён?
Вновь стройкой башни занят
Наш Вавилон.

О поэзии

Два тысячелетия прошло
С той поры, когда Христа распяли,
Но, познав содеянное зло,
Нам ли жить без боли и печали?

Но вперёд продвинулись ли мы
От слепца Гомера в мире этом?

Есть и ныне острые умы,
Связанные, скажем, с Интернетом,

На земле, сияя, день встаёт,
Где ползли когда-то динозавры,
Как тогда, вселенная поёт,
Как тогда, ей не потребны лавры.

Грибной дождь

Упадает год за годом
Тёмный дождь грибной,
И уйдёт с его уходом
То, что было мной.

Каждый день в жилище тесном,
С нищетой, с нитьём,
Я о подвиге словесном
Грезил, — о своём.

Было мной, когда был молод,
Жизни ждал иной,
Летом каждый день был золот,
Трепетен — весной.

Вот прошёл, едва родился,
Я свой путь земной, —
И ушёл: так прекратился
Дождь грибной.

1999–2000

Виктор Конецкий

Последний рейс

Вместо предисловия

Последний раз я был в Арктике четырнадцать лет назад. Тогда же и была задумана книга об этом воистину последнем для меня рейсе 1986 года — в 1987 году я из пароходства уволился.

Рейс тогда выпал тяжелый: мы попали в аренду в Тикси и работали челночные рейсы между Колымой и Чукоткой.

Впервые за всю мою морскую жизнь план перевозок на трассе СМП в тот год оказался не выполнен. Фон — нарастающая неразбериха; антиалкогольная кампания — потому солдаты-пограничники пьют ваксу; начало безвластия в стране: партия в шоке от свалившейся на ее светлую голову перестройки, зато ведомства правят бал, а мы между всего этого крутимся. Прибавьте еще, что крутимся среди льдов. И в мозгах наших полная неразбериха.

31 августа погиб «Нахимов». Потом сгорел «Комсомолец Киргизии». В октябре в Атлантике после взрыва ракеты и пожара затонула подводная лодка К-219. Погибло 4 человека...

Книгу эту я так и не написал. И дело тут не только в том, что я не могу больше плавать. А знать-то в жизни ничего, кроме мокрого и соленого, толком не знаю...

Читатель всегда ждет от новой книги света для души, жизнеутверждения, гармоничности. А внутри мучительное раздвоение между воплем «что делать?» и волевым усилием держать себя хотя бы в рамках чистой и честной публицистики...

Последнее обстоятельство и подвигло меня сегодня сесть за письменный стол и просмотреть дневники последнего рейса. Дневников, записок, документов за эти годы накопилось порядочно. И я решил, что потрачу остаток жизни, чтобы обработать свои часто неразборчивые записи. И после этого окончательно уйду с морей.

Мой читатель должен быть готов к тому, что эта книга существует как бы в трех измерениях — первые ее главы написаны 14 лет назад, а дневник последнего рейса печатается полностью, без всяких правок, а мои дальнейшие размышления и воспоминания идут параллельно с дневниковыми записями.

Здесь якорь залогом удачи минутной...

*Начальнику Балтийского морского пароходства
т. Харченко В.И.
капитана дальнего плавания
Конечкого В.В.*

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить меня дублером капитана на любое из судов БМП, которые последуют в нынешнюю навигацию в Арктику. Желательно на самый восточный из портов захода.

В навигации 1975, 1979, 1982, 1984, 1985 гг. я работал на тх/тх «Ломоносово», «Северолес», «Индига», «Лигово» в рейсах на Певек, Хатангу, Зеленый Мыс.

КДП Конецкий В.В.

21.07.1986 г.

Балтийское морское пароходство находится в суперсовременном здании, где много простора, света, широкие коридоры, лифты и в каждом лифтовом вестибюле висят огромные шикарные часы. Все часы, правда, стоят. Стоят часы и в том вестибюле, где находится кабинет Виктора Ивановича Харченко, к которому я и направлялся.

Вообще-то есть поговорка, что счастливые часов не наблюдают. Так вот, вспомните, пожалуйста, когда вы видели идущими уличные часы, часы в сберкассах, часы в почтовых отделениях или даже в таком точном заведении, как наше Балтийское морское пароходство? От Владивостока до Калининграда и от Кушки до полярной станции на мысе Челюскина наши общественные, государственные часы стоят. Добрый миллиард электрических, механических, но обязательно настенных, здоровенных — килограмм по десять каждые, из дорогих металлов...

Что из этого следует? Что все наше общество — 280 советских миллионов — счастливо.

Я тоже оказался счастливчиком, ибо начальник был на месте да еще в хорошем настроении, в один секунд все мои проблемы усек, нашел на пульте какие-то кнопки, пробасил: «Кадры! Конецкого оформить на «Кингисепп»!». И я выкатился от него уже через минуту, получив еще и на бумажке соответствующую резолюцию. Победа!

Но все-таки жалкие мелочи существования портили настроение.

Например, на улице было жарко, давил шею новенький галстук, давили шикарные сапожки на высоком каблуке. Сапожки на высоком каблуке я — мужчина небольшого роста — натягиваю в сложные моменты жизни в целях преодоления комплекса неполноценности.

Я перешел через узкий перешеек перед главным входом пароходства и укрылся в тени старых развесистых деревьев уютного сквера. В этом сквере есть круглая площадка, уставленная тяжелыми скамейками и мусорными урнами. Сквер хранит массу воспоминаний о морских встречах и расставаниях, ибо расположен между главным входом в пароходство и главными воротами порта. Хранит он память и о бесконечных изломах морских судеб, ибо здесь осмысливаются назначения на новые должности — как в сторону их повышения, так и понижения.

Я сел на скамейку и раздернул молнии на сапожках. Закурил, конечно. Солнечные лучи пробивались сквозь могучую листву мощных кленов. Тенистая прохлада и шелест древесных крон. Густая трава. Летняя безмятежность воробьев на кустах отцветшей сирени.

Я снял пиджак, раздумывая о том, что до нового рейса мне выпадает целый месяц свободы.

Мой «Кингисепп» был еще где-то в Гавре. Потом куда-то должен был заходить, потом разгружаться в Выборге (всегда длительное мероприятие), а потом уже плыть в Мурманск, где наши судьбы и пересекутся.

Из пароходства вышел мужчина в полной капитанской форме и зашагал по моим следам в сквер. Я не сразу узнал Василия Васильевича Миронова, героя моей книги «Никто пути пройденного у нас не отберет», соплавателя по сумасшедшему рейсу из Ленинграда во Владивосток на лесовозе «Северолес» (в книге — «Колымалес»), мастака рассказывать байки про птичек, любителя сырой морковки на завтрак и приговорки: «Упрямся — разберемся».

С последней встречи прошло около семи лет, но В.В. даже вроде помоло-

дел. Оказывается, его «Северолесу» закрыли Арктику — дальше Игарки старик-лесовозу нос больше высовывать нельзя. Потому у В.В. было отменное настроение и внешний вид соответствующий.

Ну, поздоровались, ну, уместился он рядом, и скамейка под его сотней килограммов замокала, как пролетка под Чичиковым.

— На пенсию не собираетесь? — спросил я.

— Пока не выгонят, — сказал он, свершив свой китовый вдох-выдох. — Внучке четырнадцать наметни. Так шустрит, а я к спокойствию привык. Да и сын уже плавает. Пусть бабка с внучкой и попугаем чай пьет.

— Попугая вроде раньше не было. И вообще у вас к плебейским птичкам слабость была: к синичкам да снегирям.

— Недоумение ваше личное дело, а вот трепать в книжках наше грязное белье дело общее, — добродушно сказал он.

Смею заверить читателя, что встречать прототипов в жизни не слишком приятное дело. Но тут самое главное — делать вид, что ни чуточки не испуган.

— Все-таки драже, которое вы съели в далекой юности и в таком большом количестве, иногда сказывается, — сказал я.

Тут такое дело. Василий Васильевич молодым красавчиком, еще боцманом на ледоколе, стоял как-то на лебедке при погрузке продуктов в носовую кладовую. Один подъем он уронил. Содержимое расколовшихся ящиков оказалось соблазнительным. Особенно какие-то пакетики с розовым драже. Василий Васильевич и кое-кто из матросиков воспользовались случаем и сожрали по целому пакету.

Никуда не денешься — придется приоткрыть профессиональную тайну. Тем более, срок давности прошел, а нынче те манипуляции над мужскими организмами, которые когда-то практиковались, запрещены. Дело идет об антиполе, антистоине, который помогал военным морякам и ледокольщикам забывать про существование на планете прекрасной половины человечества.

Так вот, Василий Васильевич вместо положенной по штату одной таблетки заглотив грамм триста, ибо таблеточки были сладкие, засыпались они строго поштучно старшим морским начальником или доктором в компот, за который (компот) матросы на флоте служили на два года больше солдат. Делалось это под грифом «Совершенно секретно».

Можете себе представить, каков был В.В. в молодости, ежели триста грамм антиполя ни в те времена, ни потом никак не сказывались на его интересе к особам слабого пола.

— Виктор Викторович, — сказал он, — если еще раз напомните мне пригорьные огрехи молодости, я на вас в «Моряк Балтики» донос напишу. Знаете, какой допрос мне супруга учинила?

— Ничего вы про меня в «Моряке Балтики» не напишете, — сказал я. — Особенно теперь, когда у меня в кармане бумажка с автографом самого Виктора Ивановича Харченко.

— Харченко. А знаете, как он в это кресло попал?

— Да.

— А про то, как они на «Архангельске» в жилой дом на Босфоре въехали?

— Ага. Он там старпомом был. Мастера в долговую яму турки посадили, а Виктор Иванович спал в каюте и отделался легким испугом.

— Ну, это турки его отпустили с миром. А здесь его в отдел кадров инспектором посадили. На всякий случай.

— Знаю.

— Вот и значит, что хорошие концы бывают не только в ваших книжках.

— Так откуда у вас попугай? С Кубы или из Австралии привезли?

— Сижу в отпуске дома, кроссворд разгадываю. Окно открыто, лето, тишь, благолепие. Вдруг с воли крик: «Папа, папочка!» — отчаянный крик, жалобный. Жду, что дальше. Опять: «Папа, папочка! Бьют!». Ну, упрямся — разбе-

ремся: пошел обиженного ребятенка спасать. А живу у Смоленского кладбища, и окружающий контингент довольно темный. В соседнем доме студенческая семейная общага. Там проститутка обретается — пьяница и от негра-студента двух негрятят родила. Думаю, стерва, негрятят лупит, пока отец в Африке бананами закусывает. Ошибся. Оказывается, у нормальных обывателей попугай убежал. Зеленый какаду — именно таких наши на Кубе воруют. Орет, с дерева на дерево перелетает по самым верхушкам. И всем ветеранам, что на могилах водку пьют, покоя не дает. Оказывается, уже давно убежал, даже мильтонов ветераны уговаривали, чтобы те шлепнули его из служебного оружия. Те их послали... Тогда пацанов наняли, чтобы из рогатки хлопнули, — ни одного ворошиловского стрелка! До пожарных добрались. Те сперва из своих водометов всю пыль с наших старых тополей смыли. А какаду еще дальше удрал и все орет: «Папа! Папочка! Убивают!». Хозяйка-то баба его лупила — он и привык у хозяина защиты просить. Я бабе-хозяйке полста отвалил, мальчишек разогнал, но одну рогатку у них вычыганил. Бабе сказал, что, если попку поймаю, — мой будет и при свидетелях ей полсотни. Можно сказать, полсотни за синицу в небе... И вообще, это не попугай был, а попугаиха, и назвал я ее потом Катькой. Пошел домой, взял леску пятнадцать миллиметров. На сома годится с касаткой вместе, клетку прихватил — у меня их дома навалом. К одному концу лески гайку привязал, на другой конец — клетку, с разным птичьим лакомством-баловством. Пульнул из рогатки гайкой, потравил леску через ветку и подтянул к самому носу Катьки клетку с лакомством, а та потише, правда, но орет свое: «Папа! Папочка!». Взяла, стерва этакая, и перелетела на другое дерево. Вокруг, ясное дело, толпа — хозяйка руки в боки ходит, пацаны издеваются, пьяные ветераны подлые советы дают. Не любят меня ветераны. Когда у меня собака была, я шлялся с псом по всему микрорайону без поводка и всяких там намордников. Ситуация сложилась отвратительная, и мне лицо капитана дальнего плавания спасать надо было во что бы то ни стало. Ну, кончилось тем, что я свой драгоценный спиннинг притащил и петлей Катьку все-таки отловил...

«Эх, — подумал я, — мне бы к старости, перед самой пенсией, разработать в себе такую взволнованную болтливость да еще стенографистку нанять — какие бы я деньжата на мирную старость полным собранием сочинений заработать мог...»

— Значит, полный хеппи энд? — спрашиваю.

— Это когда и где он бывает? — интересуется Василий Васильевич. — Вечером являются участковый, хозяйка Катькина с «папочкой» и трое дружинников и требуют попку обратно: «Использовал безвыходную ситуацию в корыстных условиях, гони еще полста!», ну, я их так погнал — и сейчас бегут...

— В книжку вставить можно? — спрашиваю.

— Куда угодно.

— Вашему экипажу поклон передайте, пожалуйста. Добрые воспоминания о рейсе остались.

— Экипаж-то с тех пор, положим, сменился весь. А хорошие воспоминания о чем?

— Да обо всем. О Мандомузели, о том, как я у вас в шиш-беш выиграл...

— И о том, как «Макаров» на нас айсберг опрокинул, а потом в Питере шасси у самолета не выпускались?

— И об этом. Счастливых ветров вам.

— А вам, Виктор Викторович, мягкого льда в Арктике, тепленького такого, со снежком и без поддонов.

— Да, забыл. Я от Фактора письмо получил с подробностями по «Энгельсу». Он теперь в Москве живет. И вот вам привет передает.

— Спасибо ему обратное, — сказал Василий Васильевич, испустив свой китовый выдох.

Похлопали друг друга по спинам и разошлись. Я — к трамвайной остановке, он — к воротам порта. А ведь когда-то чуть не в обнимку спали среди мрачных теней Таймыра.

«Виктор Викторович, Вы просили подробностей — я обещаю строгую документальность.»

Даю: 5 июня 1959 г., будучи зам. начальника БМП по безопасности мореплавания, я в качестве капитана-наставника возвращался из Англии в Ленинград на теплоходе «Андижан». (Выход в море был связан с тем, что начальник пароходства Логинов получил компрометирующий материал на капитана этого судна и поручил проверить мне его в море. Все оказалось липой, и капитан был полностью реабилитирован.)

Следуя Дрогденским каналом в проливе Зунд, обнаружили стоящий на якоре вблизи маяка Дрогден танкер «Фридрих Энгельс», а лагом с ним теплоход «Очаков» и спасательное судно «Голиаф».

На траверзе маяка Дрогден в 14.00 получил аварийную радиограмму главного морского ревизора ММФ Стулова В.М. (Стулов когда-то был консультантом у нас с Данелией на кинофильме «Путь к причалу») с распоряжением перейти на аварийный танкер «Фридрих Энгельс» и возглавить спасательные операции, защитив интересы Черноморского морского пароходства и не допустив массовой утечки груза из поврежденного корпуса.

В 15.15 05.06.59 с помощью мотобота перешел на теплоход «Фридрих Энгельс».

Капитан Вотяков, человек средних лет, имел усталый вид, и я старался с ним говорить как можно мягче, понимая его тяжелое состояние, волнение и бессонные ночи.

Откачка груза судовыми средствами была невозможна. От услуг шведских спасателей отказались. Передав 1790 тонн груза посредством переносных электропомп на шведский лихтер, танкер с помощью «Голиафа» был снят с камней и отведен на якорную стоянку вблизи маяка Дрогден.

На 8-е июня 06.00 наметил поездку в порт Линхамн для встречи с представителем грузополучателя. Проснулся в 05.00, чтобы подготовиться к отъезду. В 5.30 раздался стук в каюту, и вахтенный помощник доложил, что капитана Вотякова нет на судне, а на корме нашли его кожаную куртку. В последний раз члены экипажа видели капитана в 5.00.

Первое, что я сделал, это выбежал на мостик и заметил гирокомпасный курс судна по радиолокации, взял пеленг и расстояние до маяка Дрогден.

Поскольку суда, стоящие на якоре лагом друг к другу, разворачивало на течениях, то я дал команду капитану «Голиафа» немедленно поставить у кормы вешку. На всех судах была объявлена тревога. Помещения осмотрены. Все спасательные средства оказались на штатных местах. Спустили две шлюпки и начали траление галсами под кормой. Каюту капитана осмотрела комиссия из пяти человек. В каюте никаких писем или записок не обнаружили. Каюту опечатали. В кормовой подшкиперской обнаружили отсутствие большой такелажной скобы. О происшедшем радировал в Одессу, Москву и Ленинград.

По телефону связался с нашим генконсулом в Стокгольме и попросил прибыть на судно. Свой выезд в Линхамн, естественно, отменил. Начальнику радиостанции было приказано записывать на магнитофон последние известия, передаваемые английскими и шведскими станциями.

Во второй половине дня на судно прибыли генконсул и юрист торгопредства. Ветер начал усиливаться, и стоящий лагом теплоход «Очаков» отошел. Передача груза была приостановлена, а траление прекратили.

Вечером начали прослушивать записанные на пленку известия. Английская радиостанция сообщила: «Русский морской офицер ищет убежища в Швеции». Это известие взволновало генерального консула. (Впоследствии оказалось, что офицер наших ВМС бежал на мотоботе из Гдыни в Швецию.)

На рассвете 9 июня приняли трех водолазов, прибывших на пароходе «Любань». Первый вопрос водолазов был: «Поставили ли вешку в месте предполагаемого падения человека?». Узнав, что веха стоит, они этому очень обрадовались, так как в противном случае поиски считали тщетными.

В 11.20 водолаз поднял со дна труп капитана Вотякова. Одет форменный костюм, у пояса закреплена такелажная скоба. В карманах ничего не обнаружили. Развернув танкер так, чтобы ничего не было видно с маяка Дрогден, подняли тело на палубу. Обмыли, одели и уложили в три спальные бочки. Ночью на мотоботе перевезли тело на подошедший пароход «Аусеклис», следующий в Ленинград. С ним же отправил подробный рапорт о происшедшем.

Утром 10.06 получил распоряжение начальника пароходства вступить в командование судном. Приказал комиссии вскрыть каюту капитана и опечатать личные вещи Вотякова в отдельном шкафу. При вторичном осмотре каюты в бельевом рундуке обнаружили посмертное письмо капитана. В своем письме он просил никого не винить в его смерти, благодарил всех за оказанную помощь и извинялся перед начальником пароходства: «Я очень извиняюсь, что не оправдал Вашего доверия. Я этого не хотел, прошу меня извинить».

Было очень грустно читать это последнее его послание. Хотя вина его — грубая навигационная ошибка — была очевидна, но последствия аварии были сведены до минимума, и суд обязательно учел бы это.

Вот, Виктор Викторович, и вся история. Как моряк и опытный в таких делах человек вы кое-что усмотрите между строк этих записей. Исчезновение капитана разными лицами рассматривалось по-разному, соответственно и поступали запросы по радио вроде: «Указывали ли вы капитану Вотякову на его виновность?!». Или такой дурацкий вопрос: «Вероятно ли за капитаном постоянное наблюдение?». Ну, и т.д.

Ничего, конечно, в отношении этого бедного человека плохого сделано не было. Как я уже говорил, наоборот, к нему проявили мягкость и внимание. Тот факт, что нашли его посмертное письмо, был для нас весьма важным. Сообщение английской радиостанции о побеге русского офицера тоже нелегко было услышать. Время было такое — сами помните. Вся операция осталась в тайне, и за границу ничего не просочилось.

Факторович В.И. 28.06.86».

На «Андижане», который вез Вениамина Исаича Факторовича на «Энгельса», был и Василий Васильевич. Он труп Вотякова своими руками в бочки из-под бензина укладывал.

На остановке из заблудившегося трамвая № 41 вагоновожатый орал: «Эй, вдруг кому в Стрельну надо! Эх, прокачу!».

А почему бы мне июльским днем вдруг не взять да и катануть в Стрельну? — подумалось мне. Делать-то вовсе нечего... Великий Блок, уже смертельно больной, добрался до трама и съездил в Стрельну. Ну, смертельная болезнь мне вроде на данный момент не грозит — обычный рейс в Арктику. Правда — и это уж воистину правда — ПОСЛЕДНИЙ рейс.

И я забрался в вагон.

Вообще-то у нас с поэтом масса совпадений: он в силу тонкой нервности своей натуры не мог есть в гостях, при людях. Потому и я вечно не закусываю. Опять же кораблики любил рисовать. С детских дневников у него сплошные кораблики. Я-то больше цветочки всегда любил, но суть одна...

Громыхаем мимо Красенького кладбища. А если попробоватъ могилку Юльки Филиппова отыскать? С самых похорон не навещал — свинья!

Вылез, трам ушел, я оглянулся, одумался. Куда там! Хоронили-то вроде поздней осенью, тридцать лет тому, а сейчас сплошные заросли — все стежки-дорожки перепутались. У Юльки была здоровенная тетрадь, этакая амбарная книга со стихами. Ее изъял следователь. И предсмертное письмо Юльки ко мне. Надо бы хоть в архивы съездить — вдруг уцелела? Интересно, сколько лет в архивах дела самоубийц хранятся?.. Про жертв лагерей ныне многое проясняется. А кто посчитает тех из моего поколения, кто не вынес духовного гнета и ушел из жизни сам, по собственному, так сказать, желанию? Иногда с помощью водки, а чаще при полной трезвости (девушки, например). Я про конец сороковых и начало пятидесятых вспоминаю.

Юльку в морге мы снимали с того стола, где за три года до него лежала Лиля Куприянова. Она отравилась, он повесился. И оба прошли через морг той самой больницы им. 25 Октября, в которой в блокаду умерла моя тетя Матюня и возле которой мы, послевоенные курсанты, на шлюпках дозор несли. Книжек надо было поменьше читать, особенно эту проклятую русскую классику. Читали бы современников, небось, и сейчас живы были...

И куда это несут меня мысли июльским чудесным днем по дороге к тенистым кушам и аллеям Стрельнинского парка?

Трамвайная линия была пуста, я подложил носовой платок и присел перекурить на рельсу. Сам эту рельсу здесь укладывал 35 лет назад. И теперь имею полное право на ней посидеть. Как это англичане про «умереть» говорят? Да, «переплыть реку» говорят. Кажется, у Мелвилла встречается. «Море было моим Гарвардским и Йельским университетом...» Это тоже он сказал. Что ж, могу повторить... От рельсы пахло теплой натуральной сталью.

Над кустарниковыми зарослями у входа на кладбище торчали подстриженные тополя. Тополя-пуделя...

Сотня голубей, конечно, топтались на площадке. Пикассо сюда не хватало... Вместо Пикассо две старухи кормили голубей хлебными крошками.

И почему-то уже изредка летели откуда-то и падали пожелтевшие, осенние листья.

В канаве валялась вверх колесами ржавая детская коляска.

Одна старуха — с толстыми, слоновьими ногами подошла ко мне, заговорила. Другая — с обгорелым на солнце лицом, безногая, выглядывала из-за нее.

Любят меня старухи. Что бы это значило? Тем более, взаимности в себе я что-то не замечаю.

Старуха со слоновьими ногами доверчиво и не сбиваясь рассказывала, что давеча хорошо беседовала с мужем. Я не сразу понял, что беседовала она не с живым человеком, а с мертвецом на его могиле.

Живость рассказа старухи и альбиносная белесть глаз были в сочетании довольно жуткими, хотя и не без театральности.

И вдруг ловлю себя: все это уже было! Все повторяется, все было, было, было, было... или в прошлых книгах писал и забыл? Но точно: и внутреннее настроение, состояние души, и состояние природы, ее настроение — все повторяется или даже в тысячный раз происходит во мне и окружающем мире.

Старуха с мертвыми глазами, теплая рельсина и детская коляска колесами вверх...

От старухи кое-как отделался, но от размышлений об отношении с действительностью и искусством отделаться оказалось не так-то просто. Ведь это

истинная правда, что еще в сороковых, начале пятидесятых мы с Лилькой и Юлькой читали «Искусство и революция» Гейне и даже мрачные сочинения композитора, философа, предтечи фашизма Вагнера, а не только русских классиков.

Ну, а детство, само детство. Довоенное еще?

Где-то в сороковом мать повезла в Крым. Мисхор, Алупка. Запах нагретых солнцем незнакомых трав, колючих зарослей. Полное безразличие к морю и любовь к козам, которые бодаются и делают это довольно свирепо. Юной девушкой мать была там когда-то счастливой и влюбленной. Потому, верно, и повезла нас в такую дорогую даль. Да, через отца — ему положен был бесплатный проезд, отец работал в транспортной прокуратуре...

В Крыму живут дикие татары, которые ублажают столичных дамочек в скалах и саклях. Ну, это, конечно, уже вычитано позже. А так — живые татары верхами и на арбах. Какие-то легенды о прыгающем с Ласточкина гнезда несчастном влюбленном. Настоящая дикость и безлюдность гор, страх заблудиться. Ночная гроза и жуткое горное эхо от грома в ущелье, где жили. Мы почему-то далеко от моря жили...

В Стрельне было пустынно и как-то бесхозно. Не пригородный поселок, не дачный, не рыболовецкий, не — как когда-то — аристократический; хотя парк остался парком, т.е. замечательный парк.

Бродить без цели или «гулять», т.е. выгуливать себя для пользы организма и увеличения продолжительности жизни, не люблю одинаково, хотя это и разные вещи. В юности бесцельное шатание по невским набережным было мне свойственно. В зрелости оно полезно при зарождении нового литературного шедевра — думается и мечтается замечательно.

Нынче признаков беременности писательским замыслом я не ощутил. Да и не мог ощутить, ибо перед уходом в арктический рейс — весь в ближайшем будущем: с кем поплывешь, какое судно, куда занесет? И еще масса предосторожных хлопот. Вот, например, медкомиссию я удачно миновал, но вдруг выяснилось, что кровь не сдал на анализ, и еще почему-то повторно назначили явку к невропатологу. Б-р... Блата среди врачей полно — почти все мои читатели, со многими и плавал вместе, и знают они меня как облупленного, а гоняют по кабинетам сидоровой козой. Очевидно, возраст настораживает, а может, и чуют эскулапским верхним или нижним чутьем что-то в моем организме настораживающее. И правильно чуют, но как-нибудь я их и в этот раз вокруг большого пальца на правой ноге обведу!

Побаливает правая нога. Это я четко почувствовал, когда парк пересек и возникла необходимость уяснить, а чего меня сюда понесло? Цель нужна.

Вероятно, следует здесь, в Стрельне, найти домишко, в котором писал один из первых рассказов. Назывался он «Без конца», а навеян был гибелью любимого двоюродного брата Игорька на фронте. Никогда этот рассказ не переиздавал. Слабенький и чересчур уж роковой и сентиментальный даже для начинающего.

Тут я его мучил, тут где-то. Убежал из коммунальной квартиры и снял в Стрельне комнатку вместе с приятелем — Эдуардом Шимом.

Сняли жилье у поляка Адама Адамовича. Он имел довольно солидный дом с садом недалеко от взморья и той протоки, которая пересекает Стрельну и впадает в Маркизову лужу. Увенчана протока длинным молотом с мигалкой.

У берегов привязаны лодки и катера местных рыбаков. Замечательное местечко.

Было это, дай бог памяти, году в 56-м, и хозяину нашему столько же. Одинокий.

В саду Адама Адамовича под яблоней похоронен был матрос, безымянный, потому что из десанта: в десант документы не положено брать.

Никакого холмика на могиле матроса Адам Адамович не соорудил, а может, и был холмик, но когда надумал сдавать комнату дачникам, то, чтобы не портить им настроение, сравнял могилу с окружающей средой — огородом.

Мы в училище изучали опыт десантных операций Отечественной войны. И я знал историю несчастных стрелнинских десантников, так как одно время хотел даже стать узким специалистом в области навигационно-штурманского обеспечения десантных операций. И знал, что все, все до единого участники здешней высадки погибли: бойцы морской пехоты не сдавались. Немцы же очень толково применяли тактику непротиводействия высадке, а потом отсечения десанта от береговой полосы огневой завесой, окружения и рассеяния окруженного десанта на отдельные группы. Десантники, попав в такую ситуацию, понимали, что дело табак, но если и оказывались в плену, то в бессознательном состоянии.

И вот один израненный матрос дополз до сада Адама Адамовича и умер на руках у него.

Соединение теории военно-морского искусства с практикой — могилой безымянного матроса под картофельными грядками — было полезно мне для сочинения рассказа, у которого не должно было быть конца!

Вечерами пили водку с чаем, и Адам Адамович рассказывал о временах оккупации. Немец, комендант Стрельны, любил рыбалку, а у Адама Адамовича была лодка. И вот он катал немца на взморье. И все бы ничего, но питался Адам Адамович неочищенным овсом. Овсяная шелуха в кишках спрессовывалась в «ершистый ком», по его выражению. Оправляться было мучительно и с большой потерей крови. Но и не в этом главное. Тужиться надо было долго, а как это возможно, ежели в лодчонке сидит чистюля-немец, бьет русско-польскую свинью веслом по голове, и убежать некуда?..

Долг оккупантам хозяйственный и дошлый вообще-то Адам Адамович немного, но сквитал. Когда наши готовились к наступлению, немцы угнали его вместе с другими на запад, и освободился он только в Германии. Там сразу отправился в первый же хутор, выгнал из чистого немецкого хлева двух замечательных коров и пригнал их пешком в Стрельну, умудрившись миновать все лагеря для перемещенных лиц! Одну корову власть отобрала, вторую оставила. Через фрицевскую корову он и дом поставил, и хозяйство завел.

О полководческом искусстве организаторов стрелнинских десантов Адам Адамович рассуждал с едкой издевкой и с хорошим знанием дела, ибо в 1-ю империалистическую был солдатом и даже нюхнул иприта.

Бездарность и глупость балтийских десантов под Петергоф, Стрельну отличаются от бездарности и глупости большинства других наших десантов ВОВ некоторым даже блеском. Тут я в прямом смысле говорю.

Десант, один из участников которого лежал в саду Адама Адамовича, высаживался ночью, но при полной луне. А почему десант выбросили, коли тучи разошлись и луна светит, як сотня прожекторов? — вопрошал меня язва-поляк.

Я знал, что Адамыч прав.

А потом судьба свела с лоцманом десанта. Этот мудрый и опытный лоцман Ленинградского торгового порта выводил катера и баржи с десантом к Стрельне.

Фамилия лоцмана Трофимов, глубокий был уже старик. Большинство его баек забылись. Но про ночь 22 июня 1941 года я его заставил написать лично, чтобы был у меня на руках подлинный документ — ужасающие каракули! Ныне рукопись в Пушкинском Доме в моем архиве.

Так вот, о первом десанте в Стрельну. Шел Трофимов, конечно, на флагманском каком-то драндулете, головным. Ночь, как и положено для подобных операций, глухая, ибо тьма является важным оперативным фактором, а может, и наиважнейшим. И вот в какой-то момент лоцман почувствовал, что среди

ночных черных туч вот-вот выскочит луна. Доложил командиру десанта. Тот послал его к соответствующей матери, ибо точно знал: поверни он назад — и родная пуля в затылок ему обеспечена на все 100%.

Луна выскочила и дала немцам возможность наблюдать все великолепие плавучего сброда из барж, буксиров, лихтеров и крошек — «морских охотников» прикрытия... Что дальше было, вы уже знаете.

Потому я выше и употребил слово «блеск». Луна и лунные отблески на каждой волнишке...

Хижины Адама Адамовича, сколько ни бродил возле протоки, не нашел. Зрительная память слабеет? Плюнул на это дело, дошел до конца стрелбинского мола и сел там на камушек, закурил с наслаждением.

Ласковая, мирная, белобрисая, финская волнишка накатывала на разрушенный торец мола — штиль полный, хлюпала вода чуть слышно.

На горизонте по Морскому каналу двигались маленькие далекие кораблики.

Почему-то вслух пробормоталось:

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Нам объявили: «Киев бомбили!»,
Так началась война...

И вдруг кошка замыкала. Полный бред — что тут кошке делать? Оказалось, натуральная, ободранная, вполне бесхозная кошка. Наверное, рыбешку подбирала в лужицах — колюшку, мальков разных.

Безо всякого страха подошла ко мне, устроилась между ботинок, чуть помурлыкала и задремала. Хотя и была она ободранная и даже страшенькая, но пришлось посидеть истуканом и даже ногами не шевелить: соскучилось животное по другому живому существу, пусть поспит не в одиночестве.

Сидел я, покуривал и размышлял, конечно, о литературе.

В девятнадцатом веке человек мог читать газету, а мог и не читать, а нынче, будь любезен, читай. И не только потому, что тебе двойку на политзанятиях поставят, но и потому, что «от жизни отстаешь», то есть дураком будешь выглядеть. Кроме того через ТВ все люди Земли наглядно видят лживость, двуличие межгосударственных политических отношений. Теперь политика торчит перед носом «простого» человека. И он устал. Он хочет правды, искренности. И надеется найти ее в документе или «исповедальной прозе». А искать-то ее должен в СЕБЕ.

Однако польза в документальной прозе есть! Она именно и тренирует писателя на загляд (с опасной даже степенью откровенности) в себя, в темные уголки своей души и биографии. Она как бы тренирует тебя в этом направлении. И читатель это чувствует и благодарен автору, который исповедально врет.

Ибо любой человек интуитивно знает, что тот, кто постоянно лжет УМАЛЧИВАНИЕМ, рано или поздно вынужден сразу признаться в огромной куче грехов. Их список производит сокрушительное впечатление, ибо обрушивается сразу. Если не лгать умолчанием, то гадости свершенного падали бы отдельными плюхами и камнями, а тут — лавина, сель. Признаться — ужас берет!

И, кажется, сидя на молу Стрельны с кошкой, которая чуть подмурлыкивала на ботинках, я понял, почему у меня не получился рассказ «Без конца». Себя я туда мало засаживал, а сюжета много.

«Сюжетным» я определяю такой рассказ, повесть, когда знаешь будущее героев; знаешь, что Саша или Маша погибнут. Такие рассказы писать легче —

как надоест или запутаешься, так их, бедолаг, и прихлопнешь. Ну, а то, что пишется легко, обязательно получается плохо.

Опять все это было, было думано, прочувствовано, тысячу раз писано...

«Я думаю, что, хотя в Ваших книгах случаются крутые, соленые ситуации, у Вас в самой серединке сидит романтический юноша: иначе я бы не послала Вам стихотворение двоюродного брата, морского десантника, который погиб в Старом Петергофе в 1941 году. Самой мне 72 года...

*Здесь якорь залогом удачи минутной
В смоляную землю зарыт —
Затем, что кончается мир сухопутный
У этих изъеденных плит.*

*Здесь влажное небо разбито на румбы,
Шторма долетают сюда,
И, крепко держась за чугунные тумбы,
У стенки гранитной застыли суда.*

*Здесь отдых нашли они — суши частицы,
Но им повелят: «Оторвись!».
Один отвалил и тяжелою птицей
Над бездною черной парит.*

*Уйдет — зашатаются волны на воле,
А где-то — спокойное дно.
Мы в море влюбляемся не оттого ли,
Что нас презирает оно?*

*Я прячусь в туман и от холода горблюсь,
И море чревато бедой.
А в воздухе пара испуганных горлиц
Ведет разговор над водой...*

*Александр Котульский 1920–1941 гг.
(проживал в доме окнами на Неву —
набережную Лейтенанта Шмидта)».*

Из Стрельны я поехал в Чудновку навестить капитана Фомичева. Это он у меня в книжке Фомичев, а фамилия у него другая. Но я не готов и сегодня своего прототипа обнародовать.

В больничном вестибюле просидел час: тапочки ждал. Надо-то со своими приходиться, а я забыл.

Стайки девиц с кишками-стетоскопами на шеях и в крахмальных халатиках бегали через вестибюль туда-обратно. Студииозы. Старушенция неопределенного возраста мыла пол.

Прямо передо мной было зеркало. Девыцы у зеркала тормозили, любовались на себя, привычными пальчиками, легкими жестами теребили волосы для лучшего обрамления личиков, поправляли белоснежные косынки.

Санитарка-старушенция шмякала тряпкой по мрамору и рассуждала в мою сторону в поиске сопонимания:

— Яще десять год назад студент другой вовсе был: курили меньше, а как тяперя напиваются-то! Ужас! Раньше профессора так не напивались! И стекла бьют... Какие из их доктора вылупятся? Чем дольше учат, тем оно и хуже выходит. Зимой-то для тепла курют, а летом от нервов, что ль?.. Сусед в меня тоже холода боялси, кутылси все и курил. Потом отраву-то бросил, а по колидору вовсе голый ходить начал. Ну, через неделю помер...

Тут подоспели свободные тапочки, и я начал приспособлять чужие, засаленные лапти к своим аристократическим ступням.

— А другая соседка моя в гостинице уборщицей работает, — вослед мне, теряя слушателя, торопилась высказаться санитарка. — В буфете, правда...

— Тараканы-то у вас есть? — для поддержания ниточки нашей связи поинтересовался я.

— Жуть! Две кошки у нее. Соседские-то... А буфет в гостинице со столами: один — для инородцев, другой наш. И в ее задаче наших к ихним не пропускать. Так вот остатки ихних бутербродов кошки едят, а наших — ни-ни. Еще она лимонад, который в бутылках остается, в бидон сливает. Ни в жисть бы себе такого не позволила...

Поднимаясь по старинной мраморной лестнице больницы водников, я почему-то думал о том, что род тараканов и род акул существуют на планете Земля рекордно длительное время. И еще почему-то о том, что отец Флоренский привлекался к суду за протесты против казни лейтенанта Шмидта в 1906 году, чтобы получить пулю в затылок в 1937-м.

Фомич неожиданному визиту очень обрадовался, хотя лежал он с какой-то кишкой в боку, из которой капало в банку.

Я объяснил, что явился без шила, так как не знаю, чего ему разрешено.

— Для питания организма все разрешено, — утешил Фомич, окромя, скажу без нюансов, шила и других алкогольных напитков и перца.

В палате с ним было еще четверо бедолаг. Самого Фомича, оказывается, перевели сюда («в люкс» — он сказал), т.е. в палату, только вчера. Раньше вкучал он больничный уют в коридоре.

Двое бедолаг спали. Один лежал под капельницей и читал «Крокодил». Другой читал газету «Водный транспорт».

— Позвольте представить вам моего гостя, — сказал Фомич, поправляя свою кишку, которая норовила выскочить из банки. — Это Виктор Викторович Конецкий, он, значить, у меня на «Державино» дублером плавал и книжки пишет. «Полосатый рейс» сочинил. Без дураков говорю.

Тот, который лежал под капельницей, взглянул на меня сквозь брежневские брови и пробормотал:

— Очень приятно, писатель.

— Его Демьяном звать, стармех с «Ильича», — объяснил Фомич. — Да... А «Державино»-то мое на иголки порезали... Тю-тю, значить, пароходу. А ты, значить, опять в Арктику собрался? Я уж, прости, Виктор Викторович, тебе тыкать буду. Мне так для обоюдного общения проще выходит. Да и «Державино», видишь, на иголки списали... Чего уж тут церемонии, значить, разводить, ежели и сам скоро в крематорий на мертвый якорь стану.

По внешнему виду Фомы Фомича таким жареным еще не пахло. О чем я ему и сказал. Думаю, он и сам так думал. Потому оживился и спросил, на какой пароход я назначен. Я поинтересовался, знает ли он капитана «Кингисеппа».

— На эстонском большевике, значить, кувыркаться будешь. Мастер там формальный пацан. Сорока еще нет. Неутвержденным третий год плавает. Звать Александр Юрьевич. А может, и Юрий Александрович. Память, мать ее...

И сразу ошарашил очередным противоречием:

— Старший механик там Герасимов Борис Николаевич двадцать восьмого года. У меня еще мотористом начинал. Второй помощник, ежели, значить, в чифы еще не вылез, Михайлов Алексей Аркадьевич, сорок пятого года. Боцманом на «Пскове» у Шкловского заклепки тряпками затыкал. «Псков» -- либертос старый. Помнишь его?

— Помню, а вы, Фома Фомич, еще на свою память жалуетесь!

— Мастер, говорю, молодой, но башка на месте, значить, сидит.

— Сон у вас как? — спросил я, ибо у самого после комариной ночи глаза начинали слипаться. — Комары не беспокоят? Фонтанка-то под окном.

— Комары, комары... Они тут через пять минут сдохнут... А вот в последнем рейсе меня божьи коровки в Дюнкерке в такой, значить, оборот взяли, что я даже в газету попал. В ихнюю. Целная дивизия энтих божьих тварей на мой пароход набросилась. Мы, значить, все дымовые шашки запалили, пожарные насосы врубили, на них полное давление дали, матросы от струи падают, а эти, бог их в мать, божьи твари и в ус не дуют. В машинное отделение проникли, иллюминаторы залепили. Ни фигя не берет, а мне сниматься надо. Куда снимешься, когда, значить, на лобовых окнах в рубке сантиметр энтих тварей?

— А на других-то судах? — спрашиваю.

— В том и суть! Только на советский пароход насели! Пока не заштормило да ветром их, мать их, не сдуло, так в энтот Дюнкерке и простояли. А ты: «комары»! На что прикажешь дымовые шашки списывать? Кто тебе в такой конфуз и безобразии поверит? Слава богу, запретил толпе огнетушители трогать... С насекомыми нынче на планете, скажу честно, сплошное блядство без всяких, как Андрияныч говорил, царствие ему небесное, нюансов...

— С волками жить — по-волчьи выть, — решил я наконец открыть рот подкапельный. — Ехали в Гамбург на приемку. В купе попутчица — породная фрау с пузом. Пошла в гальюн и пропала. Оказались мгновенные роды: она в гальюне сильно натужилась, и ребенок выскочил прямо в трубу. Ну, женщина обыкновенно в обморок: где дите? На станции поезд законсервировали и ей обвинение, что специально все подстроила. Мужа самолетом вызвали. Но она доказала, что без злого смысла, а все по природе. И пошли они со станции обратно по путям, тельце искать. Встречают обходчицу, и оказываются, дите живо и здорово, не разбилось дите-то. Как катушка ниткой в пуповину обмотано было. Вот пуповина-то по ходу дела, поезда то есть, раскручивалась, и тем полет дитя тормозило. А потом, когда дите опустилось на путь-то, тут пуповина враз и лопнула. Вот так у капиталистов бывает.

— Н-да, хорошо мы тут у вас посидели, — сказал я. — Не скучно вам тут.

Пожал Фоме левую, свободную от кишки руку, бедолагам пожал торчащие из-под коротких одеял ноги, пообещал еще Фомичу, что если занесет на Колыму или на Енисей, то обязательно привезу ему презент — не меньше пуда копченого муксуна.

И с этим покинул больницу имени не известного мне чудака Чудновского.

Поймал такси и рванул на родную Петроградскую. На Большом проспекте вылез и пошел в парикмахерскую. Это у меня некий ритуал перед значительными событиями, да и внешний вид несколько омолаживается, когда лохмы обкорнаешь,

В приемном салоне, где тоже, конечно, висели пудовые и вечно не идущие часы, просидел в очереди всего минут сорок.

Уж кого на нашем советском свете бабы ненавидят люто, то это парикмахерши мужиков, которые под обыкновенную «канадку» стригутся: 40 копеек и никакого навару.

Оттомился в предбаннике. Наконец, сажусь в кресло к этакой обаяшке в кудряшках. Она вяло грязную удавку-простыню мне на шею набрасывает и одновременно тестирует соседку-мастера. (Мне, некстати говоря, очень приятно бывает, когда я вспоминаю, что капитана тоже величают «мастером».)

Ну-с, тест парикмахерша соседке-мастеру задает такой: «Что такое пони?».

Та бурчит, что про пони не слышала, но вот ножницы у нее тупые, а дядя Вася-точильщик давно не приходил, опять запил, верное дело...

Моя мастерица начинает поигрывать моей головой кроваво наманикюренными пальцами, наклоняя и отклоняя башку в разные — бессмысленные, с моей точки зрения, стороны. А ведь дело тут в том, что толкнуть чужую башку

«в любую сторону твоей души», как Окуджава поет, большое удовольствие: власть, власть, власть — она самая!..

Толкает она мою башку и объясняет тупице-соседке, что пони — это смесь коня с ослом. Я сразу лезу не в свое корыто — это у меня с раннего детства -- и объясняю, что смесь коня с ослом называется мул. Она, ясное дело:

— Я не с вами говорю, помалкивайте! — и щелкает ножницами уже у меня в ухе, а не на черепе.

Но я-то давно привык на опасность идти грудью — меня ножничными щелчками в каком-то там ухе не напугаешь. А моя мастерица продолжает вразумлять соседку в том, что пони не имеет шерсти и потому не способна к продолжению рода, так как она есть противоестественная помесь лошади и осла.

Я говорю, что пони — маленькая лошадка, их в русских цирках и английских парках пруд пруди, и что все они, как и ослы, покрыты шерстью. Моя мастерица начинает интересоваться моей эрудицией и говорит:

— Я лично ни одного осла в жизни не видела.

Я говорю, что она опять ошибается, ибо в этот вот самый момент видит перед собой самого натурального осла.

— Вы кого в виду имеете? — спрашивает мастерица.

Я говорю, что пусть она посмотрит в зеркало — там и сидит настоящий, стопроцентный осел, то есть ее покорный клиент.

— Какой вы осел, если у вас такой пиджак дорогой, — говорит она.

— Пиджак у меня дешевый, но не в том дело, — говорю я.

— А в чем? — спрашивает она.

— А в том, — объясняю я, — что я к вам подстригаться сел.

— Как это понимать? — спрашивает она и начинает тупой опасной бритвой мне шею и виски скрести, то есть шалит она уже в непосредственной близости от моих главных жизненных центров.

— А так и понимать, — говорю я, — что я полный осел, если к вам в кресло залез. Мне бы от вас держаться на дистанции ракеты «воздух-воздух».

— Ну, — говорит она ласково и вежливо, — теперь и держись за воздух!

Минут пять была полная тишина, во все время которой я держался за воздух обеими ногами: руки-то простыней связаны! Потом она, — опять же не говоря ни слова лишнего, — берется за грушу с одеколоновой бутылкой. Тут я говорю, что этого, пожалуйста, не надо. Она сдергивает с моей шеи удавку из грязной простыни и говорит:

— Сорок копеек!

Я встаю, начинаю считать медяки и думаю: «Ну, мать твою! Даже копейки тебе на чай не дам!». Ибо выгляжу я на экране зеркала как стопроцентный австралийский не осел, а баран, которого самый бездарный австралийский стригаль кромсал, вылакав до этого литр гаванского рома...

И все-таки удивительно наша натура устроена! Поймал себя на том, что мстить хочу с помощью пятнадцати копеек, стало стыдно, выгреб все, что в кармане было, высыпал на столик:

— На, — говорю, — милая моя пони, и не поминай лихом!

— Эй, — заорала она, — следующий!

Вернулся домой. Да, теперь всякую литературу следует из башки выкинуть. Надо купить молочка, сырков творожных и садиться спецбумажки читать: МППСС, уставчик листануть, отчетики о последних рейсах, дневнички. Я ведь с ноября прошлого года в морях не был. Поздно в Арктику отходим. Очень даже поздно, если честно говорить. Да и точной, определенной ротации судна выяснить пока не удалось. Вроде бы, только на Хатангу, т.е. Мурманск — Хатанга — Игарка — Мурманск. Но краем уха в службе мореплавания слышал, что, возможно, и на Тикси. Ну, вообще-то мне один черт. Даже и наоборот, -- чем дальше на Восток, тем мне и лучше — хоть до Певека. Я в хорошей форме, со-

бран, береговые дела закругляю. Одно есть «но». Осенью в Париж лететь. Второй раз за жизнь родина отправляет в капстрану в командировку по приглашению МИД Франции. И то смысла поездки, правда, не знаю. Ну, с Парижем попрощаюсь, маленький праздничек на склоне лет. Если б не началась перестройка и инфляция всей страны, то фиг бы мне такой фортель выпал. А нынче оформление уже прошел, и в органах ко мне с наибольшим благоприятием, и даже четырехтомник в «Худлите» стоит в планах железно. Красивая жизнь! Но почему такая тоска в душе, почему жить не хочется?

Ладно. Упрямся-разберемся, как Василий Васильевич говорит. Хорошо, что я его перед рейсом встретил и что Фому Фомича повидал.

Молочный магазинчик рядом — угол Лахтинской и Чкаловского. Набит старушенциями и мамашами с детишками под самую завязку. Так, у кассирши поломался кассовый аппарат. Этакая машина величиной с брашпиль на сейнере. Очередь уже человек сорок.

Стоим.

Молчим.

Рабское, покорное молчание. И все люди в очереди почему-то напоминают вчерашнюю кошку, которая на молу в Стрельне об мои ноги терлась.

Четыре продавщицы томятся за безлюдными прилавками: чего им без чеков делать? То одна, то другая не выдерживают, берут нож от масла — длинные, узкие ножи — и лезут в будку к кассирше, тыкают в испортившийся брашпиль ножами, помогают коллеге.

Аппарат урчит, рывкает, чего-то в нем крутится, иногда выплевывает метр бумажной ленты, но чеки не пробивает.

Очередь уже человек шестьдесят, хвост на улице.

Стоим.

Молчим.

Ясно, что надо дядю Васю звать.

О чем я кассирше и говорю, одновременно предлагаю ей: дайте, мол, мне взглянуть. Вдруг разберусь?

— А пошел ты, умелец, — говорит потная от злости кассирша.

Ну, я плюнул и пошел. Домой. От любой очереди у меня начинают не только душа — зубы болеть. Как там у Бориса Слуцкого:

Не стоял я ни разу в очереди,
Номер в списке не отмечал.
Только то, что дают без очереди,
Я без очереди и получал...
И хотя не дошел до счастья —
На несчастье своем настоял.

Лифт опять не работает, почтовый ящик давно взломан, но нынче газеты и другую почту выкрасть еще не успели. Писем много. Побаиваюсь последнее время писем. Какие только свои горести не сыпет на писательскую башку читатель. Уже и забыл, когда радостное и бодрое письмо получал. То эски, то из ЛТП, то одинокие старушенции, то «с химии», то бедные, как церковные крысы, начинающие авторы из глухой провинциальной глубинки. Кинозвезды вот да секретари райкомов молчат. В гордом одиночестве за жизнь борются. Дай им бог! Хоть они в него и не верят. А кто верит? Ты, что ли? Эх, если бы...

Одно письмо оказалось серьезным:

«Вероятно, любая общечеловеческая идея, призванная объединить людей, дать им нравственную основу, проходит в своем развитии те же стадии, что и живой организм, — юность, зрелость, старость, причем с развитием цивилизации срок полноценной жизни идеи укорачивается. Сейчас всемирное человечество находится на распутии — старые нравственные

модели не срабатывают, новых пока нет. Отсюда и шатания, отсюда и национализм, он всегда готов занять опустевшее в душах людей место. Однако новая объединяющая, созидательная идея должна родиться, без нее никакое разоружение не сможет спасти людей от взаимопожирания. Хочется верить, что эта идея родится в России — стране, для которой страдание давно стало исторической судьбой, а поиски блага не только для себя, но для всего человечества — нравственным призванием.

Не знаю, что это будет за учение, но, вероятно, как это бывало и прежде, оно соединит в себе лучшие из политических, этических, художественных построений прошлого.

И, думается мне, не «философы» наши, а именно совестливая русская литература сможет дать объединяющий импульс и надежду людям.

Однако боюсь, как бы это учение, пережив неизбежные гонения, в свою очередь не стало бы орудием духовного порабощения. К тому же новая идеология, как правило, утверждалась кровью, и не случилось бы так, что борьба за признание новой веры, призванной сплотить и спасти людей, не стала бы последней схваткой в бестолковой истории рода людского.

А. Мягков».

Потрясающий умница! Жаль, профессию не указал.

Яйца варить лень было. Проглотил парочку сырых, запил вонючим чаем. Приблудный тополек на балконе полил. Березка у нас в дворовом скверике растет. Темно ей. Растет быстро — к свету тянется, жиденькая березка. Всегда, когда на нее гляжу, думаю, а кто здесь, в моей квартире, жить будет, когда березка до балкона дотянется? Или она еще раньше зачахнет?

Телефон. Звонит праправнучка Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена!

Представилась и сразу успокаивает:

— Не бойтесь! Мне уже под семьдесят.

Голос молодой, женственный. Требует встречи — очень непреклонно и с уверенностью в праве на это. «Из-за вашего Фаддея Фаддеевича я много пострадала в тридцать седьмом. Ведь после него мы дворяне стали...» Сын ее подводник, кончил «Дзержинку», сейчас на пенсии.

От встречи я уклонился с судорожной и грубой поспешностью, хотя какой я писатель, ежели от такой встречи уклоняюсь? Это же придумать надо: прямые потомки человека, который Антарктиду открыл, и по следам которого самому пройти пришлось. Телефончик, правда, записал, но, кажется, она обиделась.

Вешаю трубку, отключаю телефон и вдруг точно понимаю, что сегодня, прямо сейчас — около тринадцати часов было — напьюсь, как последняя скотина.

«Таких, как ты, у нас убивают водкой», — сказал мне когда-то Виктор Некрасов. Ошибся. Живой я еще. А в холодильнике фляга спирта.

Оправдание, конечно, есть: слишком, мол, много вокруг сволочизма.

Любому нормальному человеку хочется немедленного и эффективного вмешательства в жизнь, если он натолкнулся на сволочизм и тупость. А по специфике писательского труда ты можешь вмешаться только после затяжной, нудной, тяжелой работы — всегда с опозданием и отставанием по фазе от нужного эмоционального состояния...

А почему она сказала, что Фаддей Фаддеевич «мой»? Просто помянул его в книге о рейсе в Антарктиду. Как его не помянешь в такой ситуации?

Разбавляю спирт (на морском жаргоне «шило», ибо пробивает насквозь) водичкой и ставлю теплую, реагирующую выделением тепла смесь в морозилку. Это только в молодости на спасателях мы лакали ректификат неразбавленным. Только с запивкой водой, а сам глоток надо делать на полном выдохе. Шила этого у меня было залейся. И на чистку электронavigационной аппаратуры, и на промывку водолазных шлангов. Эти шланги резиновые, и

потому после промывки спирт воняет резиной. Но такой спирт только сами водолазы пьют, а белая, офицерская кость брезгует. Промывают-то шланги от того мерзкого осадка, который образуется на стенках шланга при дыхании водолаза под водой. Особенно много осадка появляется при отрицательной температуре воздуха и в тех местах, где шланг уходит в воду, — на границе сред. Морская вода ниже минус двух градусов не бывает, а воздух может быть и минус тридцать. Вся дрянь, которая содержится в выдыхаемом человеком, отработанном уже воздухе, конденсируется на стенках шланга. Тут для промывки спирта не жалеют — от него человеческая жизнь зависит. Так что выдавали нам шила с приличным запасом. А учесть использованное для дела количество никакая немецкая овчарка не сможет. О каких-нибудь поверяющих комиссиях из тыла флота и говорить смешно: 1) любую лапшу им на уши навесишь, 2) главная их задача — самим под тресковую печень стакан заглотить.

В настоящий момент страна борется с алкоголизмом, и я не отстаю от страны в этом вопросе, ибо давно уже не упоминаю в художественной прозе таких отвратительных слов, как «Экстра» или «Армянский», — их ведь все равно не купишь. Но в данном случае мне необходимо информировать будущего возможного читателя, что от чистого спирта мой организм не пьянеет, а дуреет. Он входит в фазу алкогольного наркоза, минуя все срединные фазы, то есть следует закону, открытому знаменитым антропологом-иезуитом Тейяр де Шарденом для всей истории Человечества.

После спирта в моей памяти остается только самый начальный момент выпивки. Середина и конец духовного прыжка (от трезвости к полнейшей нетрезвости) утром могут быть реконструированы только с большим трудом и только в том случае, если за кормой не осталось чего-нибудь слишком уж неприличного. В противном и прискорбном случае мое сознание заботливо не дает мне возможности вспомнить даже недавнее прошлое.

Вскрываю последнее письмо:

*«Повсюду можно слышать то и дело:
с тупой тоски, с той самой, что и пьют,
бьют жен своих российские Отелло.
Хотя бы уж душили, а то бьют.*

*Бьют, озверев, до крови и увечий,
пиная телевизоры ногой.
Какой, скажи, тут облик человеческий?
Да прямо говори, что никакой.*

*А по утрам привидится другое:
не требуя навесов от дождя,
нетерпеливо злые с переоя,
к пивным ларькам стоят очередь.*

*И если разговоров ты любитель —
любой тут можешь слышать разговор.
С утра тут каждый сам себе учитель,
философ, адвокат и прокурор.*

*Поругивая власти втихомолку,
то белое, то красненькое пьют.
Мол, от запретов разных много ль толку?
Ругают за ее, а продают.*

*Мол, все суют нам Пушкина и Данте,
а время-то прошло давным-давно.*

*Мол, вы сегодня Данте нам достаньте.
Не можете? Вот то-то и оно.*

*Давай еще по кружечке на брата,
не зажимайся, мать твою, гони...
во всем, конечно, жены виноваты.
Ах, как мы б жили, если б не они...*

*И снова хлещут, ложно оживая,
стаканами да кружками звеня,
не ведая, что жить вот так, вливая,
как греться у фальшивого огня.*

*Да, холодна ты, пьяная дорога:
то снег летит, то остро блещет лед.
Куда идти? Спросить совет у бога?
Да бог советов пьяным не дает.*

*С надеждами давно забыты счеты,
порушена начал высоких связь.
Повсюду только пьянь да идиоты.
Мир не удался. Жизнь не удалась.*

*Смерть — вот она. А молодость далече...
И побредут опять они домой,
чтоб бить свои несчастья — жен калеча,
пиная телевизоры ногой...»*

Не знаю, опубликованы ли эти крамольные стихи и до сей поры.

Володя Гнеушев из породы скромных поэтов. А где-то я уже говорил, что скромность украшает человека, но делает это не спеша.

Вот под эти стихи я тяпнул шила, утешаясь тем, что до отлета в Мурманск еще есть время и что жен еще не бил и телевизоры ногами не пинал.

1986

Дневник рейса 1986 года

«ЛЕНИНГРАД МОРЕ 780 ТХ «КИНГИСЕПП» КМ РЕЗЕПИНУ= НАЗНАЧЕН ДУБЛЕРОМ ВАМ ПРЕДСТОЯЩИЙ АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС ВЫЛЕТАЮ МУРМАНСК СЕДЬМОГО= УВАЖЕНИЕМ ВИКТОР КОНЕЦКИЙ»

04.08. Пока собираюсь. «Ветлугалес» доставлен в Тикси и приступил к разгрузке и ремонту. Сюда же пришел ледокол-ветеран «Капитан Воронин», которому льды Таймырского массива обломали лопасть одного из гребных винтов.

07.08. Прибыл в Мурманск самолетом. Встретили ребята из местного СП, устроили в гостиницу «Арктика». Самолет опоздал, прилетел поздней ночью. Ребят к себе в номер приглашать не стал: и поздно, и устал. Номер отвратительный, лифт не работает. Содрали деньги за бронь.

Прилетел я в Мурманск печальным и задумчивым, ибо меня очередной раз покинула дама сердца. И я пребывал в океане своих слез.

Полундра!
Влюблен седой мужчина!
Гляди: взбрыкнул ногой!

Ой,хватишь, братец, лиха!
И фунт, и фронт порой!
И точно:
Схватил, но двести фунтов,
И фронт хватил с лихвой!

Настоящий мужчина отличается от настоящей женщины только тем, что
всего на свете боится.

08.08. Вместо завтрака купил «Правду» и утешился тем, что меня в ней
поминают.

«КИНО ТОЖЕ НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ»

*Кинематограф — искусство синтетическое, и все музы — сестры де-
сятой, как называют порой музу кино. Поэтому необходимы живые связи
и с другими творческими союзами. А надо признать, что за последнее вре-
мя наш союз работал если не в изоляции, то на положении отшельника.
Мы нарушили и эту «традицию». После съезда писателей пригласили к
себе на заседание секретариата его делегатов. К нам приехали Василь
Быков, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Алесь Адамович, Вячеслав
Кондратьев, Григорий Бакланов, Даниил Гранин, Виктор Конецкий, Виктор
Козько и другие. Мы рассказали им о своих планах, показали фильмы, со-
зданные молодыми режиссерами. Встреча была и интересной, и полезной.
Теперь планируем провести совместную конференцию по проблемам учас-
тия писателей в кинематографе. Ведь это не секрет, что многие писате-
ли опасаются кино, поскольку их произведения порой на пути к экрану
так «перелопачивают», что авторам становится стыдно за свои имена в
титрах. Г. Капралов».*

А зачем «перелопачивают» засаживать в кавычки? Ну, от такого гениаль-
ного теоретика кинематографа, как Г. Капралов, которого я бы лучше опреде-
лил, как знатока Каннских фестивалей на фоне Канн и полуголецьких кино-
див, ждать отсутствия кавычек в «перелопачивают», по меньшей мере, глупо.

К сожалению, на встрече в новом киносозюзе я пробыл всего минут трид-
цать, ибо на поезд опаздывал.

Явился на судно. Каюта маленькая и не очень удобная, но к таким вещам
я уже привык: лесовоз — не современный ролкер. Предыдущий жилец, веро-
ятно, был молод и упруг. Переборку украшает реклама шотландского виски.
Голенькая мисс смотрит на тебя через фужер, держа его на маникюрными
извивающимися сладострастно пальчиками «BELL & OLD SCOTCH
WHISKY». Еще висит этакий выполненный художественно аншлаг (?), не
знаю, как определить. Текст: «Что сильнее всего? Женщины, лошади, власть и
водка!». И: «Кто не помнит прошлого, осужден на то, чтобы пережить его
вторично. Киплинг».

Кое-что я не прочь был бы пережить вторично... Хотя... нет! Ничего за
кормой нет такого, что хотелось бы еще пережить.

Нынче идет борьба с алкоголем. А сколько мы, моряки, перевезли порт-
вейна и водяры великим Северным морским путем...

«Какого черта?» — частенько спрашивают меня матросики.

Я не специалист по снабжению, не экономист. Может быть, было эконо-
мически выгодно не спирт в бочках, а именно бормотуху в бутылках везти?
Откуда я знаю?

Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана.
Учителей сожрало море лжи
И выбросило возле Магадана.

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России —
Безвременье вливало водку в нас.

В 1982 году везли из Мурманска в Хатангу груз. В двух трюмах вермут и портвейн. Всего на 1 миллион рублей. Кроме вина тащили еще немного зеленого горошка да тридцать две тонны кроватей. Кровати северяне ломают чаще других людей: полярная ночь длинная, и времени для любви полярникам даже слишком.

Навигация не самая добрая оказалась. Получили тяжелое ледовое повреждение — срезали лопасть у винта, оно повлекло за собой цепочку других повреждений, с которыми команда героически справлялась.

Вот матросы меня спрашивают: «Виктор Викторович, как это получается — мы бьемся во льдах, а все ради того, чтобы в тундру бутылочное стекло отвезти? Так получается?».

Стоимость судна в сутки — 1200 рублей. Плюс зарплата и премия членам экипажа. Плюс стоимость атомоходов, вертолетов и спутников, обеспечивающих нам движение. Спрашивается: стоило ли тратить такие деньги, подвергать риску людей и судно (которое, кстати, отремонтировать можно только за границей на валюту) — ради того, чтобы привести северным жителям гнилую картошку и бормотуху? Сдать в Хатанге пустую бутылку, естественно, некуда, и из них пьяницы просто складывают за поселком нечто вроде пирамиды Хеопса. Я уже не говорю о том, что привезли мы туда не просто алкоголь, а нормальную отраву «портвейн»...

Знакомство с капитаном. Юрий Александрович Резепин.

Никогда не обращаю внимание на цвет глаз и не помню цвета глаз ни у знакомых женщин, ни своих собственных, но таких, как у капитана, просто не встречал. Голубые.

Выше среднего роста, крепко сложенный.

На столике у него в каюте лежит апрельский номер журнала «Огонек», раскрытый на стихах Гумилева.

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

— Это у меня здесь лежит, чтобы помнить о необратимости перестройки, — объясняет Юрий Александрович, когда я переписываю у него в каюте каргоплан и список грузов.

«В адрес Куларского продснаба: картофель — 3963 места 3 160 тонн, лук — 707 / 27, чеснок — 510 / 18, морковь — 720 / 24, свекла — 387 / 13, капуста квашеная — 3031 / 186. Всего мест — 9048, тонн — 434».

Каждое место уже пересчитано раз пять и будет еще при нашем участии пересчитано раза три-четыре.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведаль мальстремы и мель...

«В адрес Депутатского продснаба: картофель — 10847 / 450+5460 / 220, морковь — 650 / 23, свекла — 2708 / 92, лук — 6718 / 247, капуста квашеная — 300 / 30+ 425 / 26».

После «плюса» — места, идущие на палубу.

Где находятся Куларский и Депутатский продснабы, я знать не знаю. Ясно только, что это прииски или рудники далеко вверх по Лене. В Тикси мы будем переваливать груз на речные суда. Вот где арифметикой-то позанимаемся при помощи счетов и мата!

Чья не пылью затерянных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.

«В адрес Янского продснаба: картофель — 4054 / 167, чеснок — 578 / 167, морковь — 575 / 19, лук — 740 / 29, капуста квашеная — 275 / 30».

Ну, Яну мы знаем — речка такая есть, я над ней в ледовую разведку летал.

Итак, на борту: 42648 ящиков и бочек. 1816 тонн.

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Тут Гумилев как в воду глядел: без бунтов при передаче ящиков и бочек речникам нам в Тикси не обойтись. Там — он опять прав — у нас тоже посыпется золото с нашивок и погончиков...

В 14.00 начало рейса. Начали грузить со складов и вагонов битые ящики. Дождь. Погрузку окончили.

Лесовоз «Кингисепп». Длина 102,29 м. Ширина 14,03 м.

Порт приписки Ленинград. Регистровый № 17207.

Флаг судна — СССР. Владелец — БМП.

Год, место постройки — 1969 г. Турку (Финляндия).

Материал судна — сталь.

БРТ/НРТ — 2872, 73/1304,83 р.т.

Мощность гл. двигателя — 2900 л.с.

Род двигателя — дизель. Число винтов — 1.

Осадка — 5,9 м.

Наличие пассажиров — нет.

Экипаж — 34 чел., в т.ч. состава — 16, рядостава — 18 чел.

Вместимость спасательных средств — шлюпки 2х37 чел., плоты 2х10 чел.

Количество спасательных нагрудников — 42.

09.08. В Мурманске сперва получили рейсовое задание на Зеленый Мыс, но груза туда не оказалось. В результате грузимся на Тикси.

И я вспомнил 1984 год. Приходим в Мурманск в балласте, стоим 22 дня, ждем погрузки. Каждый день увеличивается опасность, что Северный морской путь замерзнет, растет риск. И груз-то был. Был. Но загружать его было нельзя. Потому что это была гнилая картошка. Мурманский порт был завален 23 тысячами тонн картофеля, привезенного из Калужской области. Кар-

тофель был поражен фитафторой — заболевание, которое распознается еще тогда, когда посаженные в землю клубни дают первые ростки. Заранее зная, что картофель сгниет, товарищи из Калужской области его вырастили, сколотили ящики, погрузили испорченную картошку в эти ящики, а ящики — в вагоны и отправили на Север — с глаз долой. Семьсот вагонов с гнилью растянулись между Калугой и Мурманском. Картина, должно быть, была впечатляющая. Тысячетонные горы гнилой картошки, возвышавшиеся над мурманским портом, по высоте были сравнимы разве что со стеклянными бутылочными хеопсами в Хатанге. Ни одна из этих тонн, предназначавшихся для всех северных портов, в том числе и для Колымы, куда шло наше судно, не была погружена. Приемщицы ложились на рельсы: эти колымские женщины-снабженцы знали, что если они привезут туда, где им самим предстоит зимовать, гнилую картошку; то их там просто убьют.

Положение осложнялось еще тем, что в Мурманске нет спиртоводочных заводов, и пустить картофельную гниль хотя бы на технический спирт не представлялось возможным...

К счастью, срочно прислали картошку из Смоленска, и мы смогли выйти из порта...

Мне иногда просто стыдно писать свою романтическую прозу, когда рядом, под боком творится такое. Но и не писать я не могу. Вот в чем дело. И мучаюсь, и кусаю себе локти, а выхода нет.

Юрий Александрович знакомит с пассажиром.

В Мурманске берем с собой Ефима Владимировича Аквисиса-Шаумяна — с обязательной доставкой его на Диксон, то есть потеряем время на заход. Он останется в Штабе Западного сектора или начальником, или замом. Потомок бакинского комиссара.

Он жалуется на боль при потягивании, боль отдает в сердце. Тревожится Ефим Владимирович только тем, что теперь его могут комиссовать. Пытался отговорить его от смертельно опасной, на мой взгляд; затеи — обрывает грубо. Вообще-то очень разговорчив — может быть, температура?

Сходил на базар. Он оказался закрыт на «санитарный день», что не мешало торговле ВОЗЛЕ. Купил черники у азербайджанца, два кило.

Шел назад привычной, сокращающей дорожкой, через железнодорожные пути.

Ночью был град или снег с ядрышками льдинок в сердцевинках снежинок. Лопухи побило крепко — насмерть. Распластались по слякоти — сдались. Репейники стали из зеленых коричневыми, но торчат упрямо на бровках железнодорожной колеи.

Вечерело. Солнце было четким и красно-оранжевым. И невольно в башке отметилось: «По такому хорошо поправку компаса брать!». Оно — светило — заходило за западные сопки Мурманска.

У проходной порта стыли мокрые автомашины на плиточной стоянке. А в лужах — все переливы далеких питерских перламутров и вечерней терпкой голубизны в облачных разрывах на низких небесах.

С залива, с севера, как и положено, прохладой веет, скорее даже уже полярным, баренцевым холодком.

Так я и попрощался с землей в этот, последний раз.

Вечером читал «Поиски оптимизма» Виктора Шкловского.

Интересно, можно ли найти в Гумилеве романсовое начало? Помню, как поразился, когда в какой-то статье вычитал: «В строчке Маяковского „любовная лодка разбилась о быт“ романсовая утопия названа „любовной лодкой“, а реальность — „бытом“». Не случайно Виктор Шкловский говорил о пред-

смертном письме поэта, что оно — романс. Его поют в трамваях беспризорные... Они сразу узнали в письме Маяковского песню. А это письмо — только припев к большому стихотворению «Во весь голос». Вот какую историю имеет линия, простая линия романа: многократно побежденная и многократно победившая». Автор статьи еще заметил, что в русском романсе часто оказывается неведомый сочинителю, «нечаянный» социальный смысл.

Умных людей на свете куда больше, чем нам в обычной жизни кажется.

10.08. Суббота. Остановили погрузку из-за дождя. Вообще груз для нас в порту есть полностью.

Расспрашиваю капитана о старпOME. Старпом Юрий Дмитриевич — сын капитана одного из наших балтийских портов, этакий румяный и благополучный юный мужчина.

— Все не пьет. А, на мой взгляд, один трезвый старший помощник лучше десяти пьяных капитанов-наставников...

Юрий Александрович часто повторяет слово «пневмоторакс». Запомнил его с детства, когда болел друг деда. На спине у старика он видел вырезанные пятиконечные звезды. Соратник Лазо. Потом, естественно, враг народа.

— Чего в детстве сделали самое плохое? — спрашиваю я.

— Был у меня велосипед с настоящей фарой от аккумулятора. Как-то ночью отец вправлял соседу вывихнутую руку и погас свет... Отец велел мне принести фару. А я не принес, поспешил... Наврал что-то, и вот до сих пор мучает...

Юрий говорит, что про революцию есть три настоящие книги — «Тихий Дон», «Хождение по мукам» и «Доктор Живаго». Он смотрел «Живаго» за границей в кино. Его потрясла сцена, когда Живаго гибнет под трамваем. И музыка. Балалайка виртуозная. И «тема Лары».

«Живаго» по прочтении Юрий Александрович выкинул за борт. Боже, сколько я таким же образом с подветренного борта подобных книг на подходах к родным портам повыкидывал...

Что стоило моряку книгу провести! Перед этим рейсом пришел ко мне в гости капитан Евгений Михайлович Дмитриев. И подарил книгу «Дело Солженицына» (издательство «Посев»), с моим письмом 4-му съезду писателей против засилья цензуры. А на книге написал: «Я приобрел эту книгу в порту Ванкувер, и в порту Находка из-за наших советских стучачей мне прихлопнули визу в 1982 году. Я остался безработным. Дарю эту книгу в Ленинграде В.В. Конечному на память о тех смутных временах».

Второй помощник Иван Христофорович Подшивалов, тридцать лет.

Мой герой Фома Фомич Фомичев не любил 30-летних. Главной внешней чертой поведения их считал чрезмерную уверенность в себе и самомнение, но все только для внешнего самоутверждения на скользкой современной жизненной дорожке. Самомнение, которое граничит с наглостью. Говорил так: «Зады у них замечательные. Иногда кажется, они специально для оттопыривания зада подкладывают под джинсы боксерские перчатки».

Посмотрим.

В ожидании отхода судна занимаюсь историей, ибо окружающая обстановка развитого социализма способна спровоцировать на глупости в адрес местного начальства.

В 1822–25-е годы капитан второго ранга Михаил Петрович Лазарев, командуя фрегатом «Крейсер», совершил третью кругосветку. С ним шел шлюп «Ладога». «Ладогой» командовал старший брат Лазарева капитан-лейтенант Андрей Петрович Лазарев. Мичманами на «Крейсере» были Нахимов, Путя-

тин и будущий декабрист Завалишин, который умудрился отправить из плавания Александру I послание, в котором заявил, что император «ведет Россию не туда, куда следует». Мичмана возмутило одобрение императором ввода французских войск в революционную Испанию.

Непрощеным образом давняя история сравнивается с моим сегодняшним гражданским поведением. Когда после прибытия в Мурманск ночевал в гостинице, буфетчица тридцать минут отгружала двум лохматым паренькам сто бутылок пива, а затем отказалась меня обслуживать: «Двадцать часов на ногах, теперь две минуты первого, и у нас обед!». Гостиница, конечно, высотная, но на улице +6 и в номере тоже.

Поднимешь шум — окажешься на мурманских сопках.

11.08. Отошли из Мурманска в 15.00. Сильный ветер и волна порядочная.

В шестнадцать сдали лоцмана у Тюва губы. С борта лоцманского катера пайлот нам традиционно не помахал на добрый путь ручкой — на меня обиделся. Лоцман горой за нашу «победу в Афганистане», ну, а я обозвал его идиотом.

Вышли из Кольского залива и сразу попали в океан чудовищного, запретельного, потустороннего, пьяного, наркотического какого-то мата в эфире. Вероятно, на постах СНИС вахтенные нажрались какого-нибудь одеколona или еще почище чего — эфира нанюхались... Это под самым носом у всего командования Северного флота!

Капитан Резепин побледнел от бешенства, у меня руки задрожали. Так дрожащей рукой и писал срочную РДО о хулиганстве в эфире мурманскому начальству.

Никакого ответа не последовало. Пьяный матерный бред продолжался минут двадцать. А выключить радиотелефон мы не могли — права не имели. Господи, какая мразь есть в нашем могучем и великом! Пером — это уже факт — не опишешь...

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

На выходе из залива с правого борта «СРТ-4285». Ленивый. Или с похмелья. Я предполагал, что он отвернет вправо. Отвернул влево. Поговорили о моей любви к логграм, дали частые гудки, «СРТ» свернул.

Перед рыбаками всегда тянет снять шапку.

Сам никогда не работал на лове рыбы в океанах. Но на рыболовецких судах плавал довольно долго. Так что условия жизни на маленьких рыболовных судах представляю, хотя существует огромная разница между перегонem таких судов из пункта «А» в пункт «Б» и работой на них по лову рыбы.

Еще видел, как тонут рыбаки. Хорошо помню спасение рыболовного траулера «Пикша». Это был еще угольщик. Так и вижу кочегаров, которые копошились в уже затопленном котельном отделении по пояс в черной жиже, продолжая совковыми лопатами вытаскивать из-под воды уголь. Судно имело уже очень большой, смертельный дифферент, и спустился я в западную котельную отделения, чтобы передать кочегарам приказ стравливать из котлов пар и глушить топки. Самое замечательное, что эти чумазные черти меня обматерили, ибо они меня не знали в лицо и не поверили в истинность такого приказа.

Вспоминаю давние приключения не из желания похвастаться. Просто приятно вспомнить, что судьба сводила в жизни и с настоящими рыбаками.

Было что-то символическое в том, что к погибающему «Механику Тарасо-

ву» первыми на помощь бросились БМРТ-559 «Толбачик» и БМРТ-244 «Иван Дворский». Профессионалы знают, что высота борта таких судов чрезвычайно затрудняет возможность поднять с воды оказавшихся в море людей. Мне приятно было узнать, хотя слово «приятно» здесь, конечно, не к месту, что реальную помощь погибающим оказали и датские рыбаки с СРТ «Сицурфари».

Хотя мы всегда стараемся обойти рыбаков на почтительном расстоянии, я искренне убежден в том, что самые морские моряки — это рыбаки.

Настоящую промысловую работу на траулере в океане я наблюдал только один раз. Это было в 1979 году, когда мы выходили из Антарктиды и встретили недалеко от мыса Доброй Надежды группу литовских БМРТ.

Ну, как обычно бывает, поклянчили рыбки, чтобы побаловать антарктических зимовщиков, которых везли домой. Командиром вельбота со мной пошел наш второй помощник — красивый парень, который ради такого мероприятия облачился в шикарную белую тропическую форму. Командиры нашего пассажирского лайнера пошли себе такую форму за границей, и выглядел второй помощник, прямо скажем, сногшибательно.

Когда рыбаки узнали меня, то решили показать весь цикл обработки рыбы. Шикарному второму помощнику деваться было некуда, и он вынужден был сопровождать меня в низы. После того как мы вылезли из рыборазделочных цехов, его шикарную форму наши механики не взяли бы даже для обтирочных концов.

Женщины, которых на траулере было достаточно много, работали на шкерке рыбы, получили небольшую разрядку среди своего адского труда, любуясь нашим шикарным секундом.

12.08. Получили РДО:

«РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО 4 ПУНКТА ТХ КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ= ВАШ 44 СЛЕДУЙТЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ТОЧКАМ 6930/5500 6930/5600 ОСТАВЛЯЯ СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД СЕВЕРУ ЗПТ ДАЛЕЕ 6948/5800 ТОЧКУ ФОРМИРОВАНИЯ КАРАВАНА 7020/5810 ОТКУДА ЛК КАП СОРОКИН ПРОВОДИТ СУДА ТЧК УВАЖЕНИЕМ=128/02 КНМ МАХНИЦКИЙ».

Традиционное объявление по трансляции об открытии судовой библиотеки.

Угол в столовой. Библиотекарь — дневальная — и пять матросов. Смотрю книги, замызганные, какие-то сиротливые книги в судовой библиотеке, всего тридцать — сорок штук. Распутин, Лидия Обухова.

— А ваших книг нет, — говорит дневальная Анюта, — ваши воруют.

— Спасибо на добром слове.

— Чего ж тут хорошего?

Входит помпохоз.

— А тебе чего? — интересуется дневальная. — Иди и читай свою амбарную книгу — надолго хватит.

Отрок-помпохоз, который украшает свой 21 год пшеничными усиками, просит что-нибудь смешное...

В 13.20 пересекли меридиан 45° OST.

Помполит — Тарас Григорьевич. Тесть его работал в Молдавии с Брежневым. Хорошая школа... Это бугай со здоровенными кулаками и украинской хваткой.

Ночная вахта была спокойная.

Серая полумгла тянулась над черными и злыми волнами моря Баренца. Мерно гудели репитера компасов, и время от времени американский спутник из «МАГНАВОКС» пикиал, сообщая нам о том, что он прилетел в нужную точку, что он горд самим собой и просит ему в данный момент вполне верить, ибо дела у спутника «о'кей»!

Нарушил покой Акивис, вдруг появившись в рубке. Я испугался — температура же у него!!! Мы с капитаном и доком сегодня обсуждали, какие условия создать, чтобы полегче ему было.

А старику вспомнить прошлое охота.

Начал он с капитана Каневского, который давно превратился в судно, и у которого он плавал боцманом. Главная присказка у Каневского в адрес боцмана была такая: «Если румпель-тали визжат по-пороссячьи, то сам боцман большая свинья».

На судне — старое было судно — сортир без стульчака, три дыры в цементном полу. И в первом же ремонте Каневский добился установки стульчаков и кабинных перегородок в гальюне. После чего командирам было приказано «ловить орлов». Что означает отлов тех грубых и простодушных старых моряков, которые не могли расстаться с привычкой при опрвлении некоторых надобностей обязательно забираться на стульчак с ногами, изображая царский и американский герб в натуре. Проведенное капитаном Каневским мероприятие привело к резкому повышению дисциплины на судне, ибо люди потихоньку начинали приучаться к самоуважению.

Тут я сообщил, что, как только приду к власти в масштабе России, так начну именно с общественных уборных.

Затем Ефим Владимирович вспомнил, что у Каневского была овчарка, то бишь овчар, Рекс. Когда капитана на мостике не было, Рекс тихо и скромно лежал в углу и только поглядывал на штурмана и матроса, а как только Каневский появлялся, так пес начинал прихватывать вахтенного помощника и рулевого за брюки — сукин сын...

Я сказал, что большинство хороших капитанов похожи на бухгалтеров.

Акивис фыркнул и поинтересовался:

— А я на кого похож?

— На счетовода, — сказал я.

Он презрительно фыркнул и ушел с мостика мерить температуру.

Второй штурман посмотрел на меня неодобрительно, но промолчал.

В общем-то, я не могу назвать себя добрым при всем том, что не обижу ребенка, не ударю слабого. Но вряд ли люди, которые со мной плавали, запомнили меня добреньким — я имею в виду матросов или штурманов рангом ниже. Командовать судами и быть мягким человеком — это практически невозможно. У старых капитанов появляется жестковатое выражение лица. Недавно прочел о том, что когда маршал Жуков увидел портрет, написанный художником Павлом Кориным, сказал: «Смотри, как он меня ухватил. У меня полевое выражение на лице!».

У старых солдат времен первой мировой войны, а Жуков в ней принимал участие, такое выражение возникало перед атакой и в бою. У настоящих моряков велика степень риска за жизнь людей, груз, вот почему они жестковаты, у них «полевое выражение» на лице...

13.08. Получили РДО:

«РАДИО 3 ПУНКТА ЛЕНИНГРАД КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ= СЛЕДУЙТЕ ТОЧКАМ 6920/ 5500 6920/5600 6940/5800 7000 /5820 ОСТАВЛЯЯ СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД СЕВЕРУ ЗПТ ТОЧКЕ 7020/5810 ОЖИДАЙТЕ ПРОВОДКИ= КМ МАЦИГАНОВСКИЙ».

Встал в 5 утра, глотнул чайку, поднялся на мостик к старшему, восход солнца не видно — низкая облачность. Знакомился со спутниковой аппаратурой в действии. Это американская машина. Если сама она хорошо оценивает расположение в космосе навигационных спутников, то на дисплее высказывает: «О'кей!». Замечательная машина! Штурмана говорят про него «ОН»: «Сейчас ОН подумает и скажет... не торопите ЕГО...». И ОН думает и говорит, и

пикает в момент поворота на новый курс, и докладывает о том, что закончил сеанс работы со спутниками и можно снимать результат. И все это сооружение размером с «дипломат».

Стармех Олег Владимирович Телятников. Из семьи железнодорожников. Что побудило идти в моря, не помнит. Рассказал о рейсах на «Космонавте Волкове» — они работали с «Невелем», брали с него сошедшего с ума матроса, молоденького совсем — первый раз в море и сразу на полгода. Матросика посадили чистить картошку, и чистил он ее четыре месяца, а потом прыгнул за борт. Чудом выловили. Уже на «Волкове» ребята включили списанного матросика в свою спортивную команду «Сервис» — команда из поваров и камбузников. Уже через пару недель паренек оклемался и развеселился.

Другой случай тоже не смешной. Моторист, 21 год, а уже женат, двое детей. Родители — адмирал и ведущая администраторша какой-то известной гостиницы. Женился парень на деревенской девушке, проживавшей в общежитии строительных рабочих. Родители плебейку в свою шикарную квартиру пустить отказались и обустроили сынка в длительный рейс, чтобы отвык от молодой жены. Морячок чуть не каждый день слал возлюбленной радиogramмы, тяжело переживал давление родителей, а под конец рейса в Роттердаме почувствовал себя плохо на вахте, отпросился к врачу, но на трапе потерял сознание. Его отправили в госпиталь, вечером капитан поехал проведать — и все, умер.

Вот так мы с ним побеседовали до семи утра под розовеющими тучками, над серым морем Баренца, на курсе 90°, который проложен прямо по параллели.

На нашем «Кингисеппе» большинство экипажа люди уже в годах. Старенькие лесовозы чаще бывают дома, ближе рейсы, старомоднее и привычнее техника. А я прижился на них, ибо в Арктике не надо страдать от плохого знания английского языка.

Молю Бога об одном: не дай мне, Господи, умереть на судне, ибо такое происшествие приносит слишком много неприятностей окружающим.

Приказ идти на Карские ворота.

Ну, Карскими так Карскими — один черт.

Спустился к Аквису. Он не спал. Говорит сквозь какой-то стон-выдох. Глаза ясные, но дико меня напугал.

— Очень хорошо, что не Юшаром пойдем. Боюсь его. Там переходные створы подлые. Я на них два раза подсел. Это по моей инициативе там теперь обязательно лоцпроводка, а лоцманская станция на Вайгаче...

Я вышел на цыпочках, ибо не было, нет и никогда не будет в Югорском Шаре лоцманов. Бредит.

Доложил, конечно, Юрию Александровичу. И мы оба за башки схватились. И побежали к доктору.

Док Борис Аркадьевич. Лет сорока, первый раз в моря, опять временный.

Утверждает, что проходил стажировку на подлодках. Но при этом утверждает, что на лодках не бывает повышенного уровня углекислоты и что там никогда не капает с подволока...

Я посоветовал ему эти свои наблюдения опубликовать. Не знаю, правильно ли он меня понял, но не обиделся. Сказал, что любит книги и даже знает лично одного писателя.

Но вот то, что пишущий врач давно в эмиграции, док не знал.

В 18.30 подошли к Карским воротам. Получили распоряжение Штаба ждать ЛК «Диксон».

«Диксон» подошел в 22.00 и предложил ждать «Индигу», с тем чтобы провести сразу обоих. Но мы ждать не стали, пошли сами. Осторожно раздвигая льдины и форсируя отдельные перемычки, прошли нормально от Чирачьего к мысу Меншиков и от него на NE к чистой воде.

На «Индиге» капитаном мой лучший друг Лева Шкловский.

Лев Аркадьевич Шкловский — лучший капитан БМП, и его фотопортрет уже лет двадцать висит на Доске почета у парокходства.

На «Индиге» я плавал дублером капитана в 1984 году. Таким образом Лев спасал меня после инфаркта от врачей.

У Франции не нашлось двух-трех адмиралов, которые желали бы героически умереть в бою, как требовал их знаменитый император Наполеон. В результате Нельсон загнал самого Бонапарта в снега России — в лапы Кутузова. Хотя французский унтер-офицер успел самого Нельсона «наконец доказать» — как заметил адмирал, упав на палубу «Викторий».

В результате его привезли на родину только через несколько месяцев в бочке с коньяком. А на сооружение ему Трафальгарского мемориала в Лондоне денег у благородных британцев не хватило, и наш царь-батюшка выдал им дотацию — во как!

Приказ себе: найти и изучить скульптуру Микеланджело «Пьета» — единственное произведение, на котором он высек свое имя.

Мне дорог сон. Но лучше б камнем стать
В годину тяжких бедствий и позора,
Чтоб отрешиться и не знать укора.
О, говори потише — дай мне спать!

Мне всегда был дорог сон, то есть красота и книги.

Бесполо-средняя книга Роландо Кристофанелли вполне заслуживает пустозвонного предисловия лауреата Ренато Гуттузо. Я вырезал из книги фото скульптурного портрета Микеланджело и повесил его в каюте над койкой у изголовья. И меня не смущает страшный взгляд Буонарроти, тем более, глядит он мимо всех нас — на Млечный Путь. Никто, насколько мне известно, из его героев не улыбается, но и не плачет. Когда скорбь и страдания могучи, тут не до слез. И настоящая великая радость бытия спокойно обходится без улыбок и смеха. А в лице самого Микеланджело более всего обыкновенного упрямого упорства.

В ноль сменил мастера. Он задержался в рубке — предупредил о повышенном внимании — по прогнозу лед. Туман. Стал я у правого окна. Что-то светится справа градусов сорок над горизонтом. Присел — исчез проблеск. Решил, просто отблеск на стекле. Но все-таки удивился. Очень уж отчетливо. Может, луна? И нырнула в облака...

Юрий Александрович стал говорить про предисловие к моему двухтомнику Жени Сидорова. Понравилось ему предисловие. Стал говорить, что еще что-то Сидорова читал. Я перевел разговор на Колбасьева. Это когда он сказал, что я спины не разгибаю над машинкой. Вот я и растекся про Колбасьева, что, мол, пишу предисловие к его книге. Не хочу говорить, что веду здесь дневник.

И тут мы одновременно увидели с правого борта на курсовом градусов двадцать здоровенную льдину — метров тридцати. Она бело лучилась в тумане и густой ночной тьме.

— Лед! — сказали мы в один голос и не без удивления. Ведь пару минут назад обшарили на трех шкалах, и никакого льда не было.

Я рванул телеграф на средний (был маневренный полный) и громко сказал второму помощнику Подшивалову, который в штурманской корпел над картой:

— Иван Христофорович; врубите прожектора! И носовой, и с рубки! Хочу рубочный поглядеть в боевой обстановке! — потом откатил дверь и выглянул на крыло. Обнял сырým холодом, замогильным.

Нет льдины! А в небесах — луна сквозь тучи — как бледное пятно, как бледная замерзшая царевна... Обманулись! Оба! Вот какие штуки бывают. Четко видели здоровенную льдину, а это длинный отсвет от луны сквозь щель между облаками упал на черные волны.

— Луна! — сказал я Юрию Александровичу.

— Да, я понял уже!

Я дал опять полный маневренный.

Капитан ушел из рубки, осердившись на коварную луну.

Приказа второму помощнику врубить рубочный прожектор я не отменял, но он покопался, покопался у пульта огней и затих. Я тоже молчал, начиная на него злиться.

Луна продолжала играть в прятки — то проглядывала, и тогда по горизонту в разных местах появлялись вполне натуральные льды, то растворялась в тучах, и тогда льды исчезали. Когда такое встречается в том районе моря, где предупредили о плавучих тяжелых льдинах, и когда туман находит каждые несколько минут, то нервирует.

В тройной ореол была одета луна, лучистая.

Иван о чем-то тихо и увлеченно разговаривал с рулевым. Мы шли пока на автомате. И рулевому нечего было делать. И все было мирно. Но второй помощник не включил и не опробовал прожектор, и этого не следовало забывать, хотя и хотелось забыть.

Около часа я отшагал по рубке взад-вперед, затем сделал очередное упражнение для шеи — двадцать круговых движений в одну и другую стороны, потом по пятьдесят раз согнул ноги, оттягивая носки. Желание мышечной нагрузки остается, и это хорошо.

Иван вдруг шагнул к радиотелефону и вызвал «любое судно, идущее в центре моря Лаптевых курсом на восток!». Ответил теплоход «Харламово». Отметку этого теплохода я принял за симметричную засветку на экране радара, а Иван стоял с радаром впритык и легко обнаружил встречное судно. Вторые помощники поговорили о сроках разгрузки, очереди на нее в портах назначения, высоте воды на бере Колымы, обменялись опытом по сколачиванию ящиков для подбора в них россыпи картофеля и включения этих липовых ящиков в счет возможной нехватки груза. И только потом Иван спросил у встречного судна про ледовую обстановку в том месте, откуда «Харламово» шло.

С этого следовало начинать. Встречный дал границы четырех-шестибального льда на курсе. До него было еще далеко. Туман прочистился, и делать, вообще говоря, мне на мостике было нечего. Но и уходить не следовало, если капитан приказал бдительно эту ночь. И только тут я заметил странный отблеск на мачте.

— Что мачту подсвечивает? — первый раз за все это время открыл я рот.

— Как что? Луна.

— Левый рей? Сзади свет, а луна справа впереди.

— А! Это кормовые погрузочные люстры горят, — небрежно объяснил Иван.

Тут я понял, что Подшивалов просто-напросто не ведает, где включается рубочный прожектор, а когда он шарил на пульте в темноте, то врубил по ошибке кормовые люстры. Любому моряку знает, что если впереди затемненной ночной рубки есть в носовой части судна освещенный предмет, то он должен быть затемнен, так как мешает наблюдению впереди. Иван люстры не выключил, давая тем понять, что они и должны, мол, гореть по штату. Я хотел опять промолчать, но помимо воли спросил:

— Почему не врубили рубочный прожектор?

— Я здесь врубил, а он, наверное, еще на рубке включается, — менее нагло объяснил Иван.

И добавил явно для смягчения обстановки:

— От него пользы не больше, чем от носового прожектора.

— Да, — сказал я, так как был уверен, что действительно от рубочного прожектора во льду помощи ждать нечего. Не умеем мы еще хорошие прожектора делать. Только лампочки на милицейских машинах хорошо умеем сооружать.

Когда Подшивалов ушел в штурманскую по зову американского спутника, который загугукал во тьме тире и точки, я взял ручной фонарик, просмотрел пульт, нашел выключатель кормовых грузовых стрел и вырубил их. Рея и мачта сразу прорезались на фоне чуть предрассветно сереющего неба четким силуэтом, и сразу легче стало смотреть вперед.

Иван сделал вид, что не заметил того, что люстры выключены.

Вот уж правда: не убей в себе дикаря и живи в ладу со своим дураком!

Я продолжал хранить гробовое молчание. Шагал по рубке, проходя на каждом галсе вблизи второго помощника, и молчал, и молчал.

И Ванька с матросом молчали. И мне психологически напряженно было, расхаживая взад-вперед по рубке, приближаться к ним и проходить впритык.

Об иллюминации у нас ночью. Светятся красной подсветкой диски машинных телеграфов, над ними желтым светят тахометры, на лобовой стенке с левой стороны горят красненькие табло радара, показывающие пеленг и расстояние до любой цели, фосфорическим тлеющим голубовато-зеленым светит экран радара, затем три красных огонька трансляционной установки «Березка» — для связи с машинным отделением, на станине рулевого устройства подсвечены репитер гирокомпаса и указатель положения руля, ну, и так далее. Ко всем этим огонькам привыкаешь и без надобности их не замечаешь. Они образуют как бы общий фон. Но если что-то в этом фоне чуть изменяется, то сразу реагируешь.

Теперь о светимости радара. Ему вредно работать под высоким напряжением беспрерывно. Потому, когда можно дать ему передохнуть, высокое напряжение снимаешь, и тогда электронный луч кружится по черной поверхности. А когда высокое включишь, весь экран заливают голубовато-зеленым свечением с вспышками от волн или льдин, или снежных и дождевых помех. Таким образом, включение высокого изменяет светимость общего фона и обращает на себя внимание. И я четко видел, что Иван просматривает окружающее пространство только на одной, любимой им — шестнадцатимильной шкале, а положено при движении в ледово-опасном районе употреблять разные шкалы, укрупняя изображение целей на экране.

И вот, в очередной раз проходя мимо второго помощника, который стоял, уставившись в окно, я включил высокое, на что, конечно, он сразу обернулся. Потом я, продолжая молчать, последовательно включил четырехмильную, восьмимильную и, наконец, шестнадцатимильную шкалы. Это был ему урок без слов. И он понял и пробормотал:

— Викторыч, простите, я все про мать думаю. Отправили ее в больницу или в хате лежит...

14.08. Утром сыграли традиционную тревогу, вволю надышался соленым и холодным воздухом Баренцева моря и с каким-то даже суеверным страхом ловлю себя на том, что просто и обыкновенно счастлив.

Вышли на чистую воду. Видимость волнами, льда не было.

Получили РДО Штаба, в котором Утусиков долбал «Диксон», что не обеспечил нашу проводку.

Отправил телеграмму В.П. Астафьеву:

«ВПЕРВЫЕ ЧИТАЮ ТВОЙ ДЕТЕКТИВ ТЧК НИЗКО КЛАЦЯЮСЬ

ОБНИМАЮ ЗАВИДУЮ И РАДУЮСЬ ТЧК ИДУ СЕЙЧАС ТИКСИ ПОТОМ ИГАРКА СООБЩИ СВОИ ПЛАНЫ НА КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ».

Получил РДО от Левы Шкловского:

«ИДЕМ ПОЗАДИ ВМЕСТЕ ЛК ДИКСОН СЛУШАЕМ ВАШИ ПЕРЕГОВОРЫ ПУСТЯЧОК А ПРИЯТНО ОБНИМАЮ= ЛЕВА».

Рулевой и впередсмотрящий — матросы и друзья не разлей вода. На судне их зовут Чук и Гек, хотя на самом деле — Слава и Коля. Обоим по тридцать, у обоих по два ребенка. У Чука каштановая бородка и усы, брюшко. У Гека — только усы, сам узкоплечий, тощий до вертлявости — внешне полные антиподы.

— Зря вы смеетесь, Виктор Викторович, — сказал мой напарник. — Гек на лодках служил и на Северном полюсе дважды всплывал. Правда, Героя ему зажали....

Как всех пожилых людей, Аквиса непрерывно оттягивает прошлое. А так как он сидел на коленях всех вождей от Микояна до Орджоникидзе в самом нежном возрасте, то оттягивает чаще всего в эпоху индустриализации.

Я расспрашиваю об аварии (ледовом происшествии) с т/х «Ветлугалес». Он вздыхает, вытягивает из-под мышки термометр, убеждается в том, что температура под сорок, встряхивает термометр и переходит к делу.

С Ефимом Владимировичем плавала Ольга Чайковская. Нынче вспомнил, что это его она хвалила в своем очерке о рейсе в Арктику на ледоколе «Красин», которым в те времена Аквис командовал.

Дал мне свою визитку. Забавно, что Аквис-Шаумян живет в Москве на улице 1812 года.

С хорошим чувством юмора. Смотрит на старшего механика, который обрил голову и начал отращивать бороду:

— Теперь тебя все за салагу в Арктике принимать будут. И вообще, должен тебя предупредить. За тридцать лет у меня было три старших механика с бородами. И все три психи. И все три за борт кидались.

Старший механик мрачно:

— За это не бойтесь. Не брошусь.

«МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА ОЛЬГЕ ЧАЙКОВСКОЙ= ПЛЫЛИ ВМЕСТЕ МУРМАНСК ДИКСОН ВСПОМИНАЛИ ВАС РЕШИЛИ ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ ИЗ КАРСКОГО МОРЯ БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ= АКВИС КОНЕЦКИЙ»

В Мурманске купил декамевит и таблетки от старости, то есть атеросклероза и сужения сосудов. Здесь, на судне, регулярность жратвы четко диктует мне время глотания их — желтенькой, оранжевой и белой таблеток.

И я ощущаю глупую радость и чувство исполненного долга, когда глотаю таблетки, и мне кажется, что я прямо-таки чувствую, как они во мне налаживают разные органы, сосуды и печеньку с селезенкой. Это, верно, и есть ползучее старческое самообманство. Разве купишь за 1 рубль 80 копеек здоровье и молодость? А вот тебе!..

Читаю книгу космонавта Шаталова: «Но прямо скажу — быть дублером нелегко... особенно бывает обидно для дублеров невнимание прессы. Возникает противное чувство своей неполноценности, какой-то безысходности, хотя в общем-то и прессу можно понять».

Занятно: Андрияна Николаева за четыре дня до полета укусила на рыбалке щука, и его дублер уже предвкушал вполне реальную возможность

хватануть вселенскую славу, но умелец-хирург вскрыл нарыв, и бедняга-дублер, говорят, заплакал горькими шучьими слезами...

О женской сути (для будущей пьесы):

«Остановила машину, а не вижу, что там полно мужчин. Они потеснились, и один, такой пьяненький, конечно, посадил меня на колени. Я думаю, а вдруг ты увидишь. Нет-нет, я знаю, что ты неревнивый... Так приятно было: он меня крепко держал. У шоссе я вылезла. Думаю, вдруг ты в универсам пошел...».

«У тебя дистрофия уже прошла? Стыдно: деньги есть, а у тебя дистрофия... Вот грибочки, каждый маленький... Ух, слюнки текут... перец забыла... прошлый раз за ткемали весь город объездила... Люда говорит, что Сергей ее не устраивает. И она сохранила прежние чувства к прежнему мужу, это она мне по секрету говорила...».

Выпал камушек из кольца, и она его потеряла: «Ах, не ищи, не надо... Потом посмотришь? Не люблю терять камушки...».

16.08. Диксон. В 01.25 в сплошном тумане встали на якорь у западного берега, в бухту не полезли.

Воскресное утро, чистое небо. Вода чистая. В обед перешли в бухту.

Высадили Акивиса. Простились хорошо.

Когда при солнце пошли на внутренний рейд Диксона, опять стало радостно, и я подумал, что такие чистые моменты радости были у меня только в море...

По судовой трансляции: «Кто на берегу будет продавать косметические наборы, обещаю три года».

Судно идет в Арктику после Дании. Косметический набор копенгагенского производства стоит здесь сто рублей. Объявление по трансляции со сталью в голосе сделал Юрий Александрович.

Современный журналист пишет в «Неделе» о давнем решении тогдашних руководителей (папы Павла IV) «прикрыть» часть «Страшного суда», считающуюся непристойной. Одному из учеников Микеланджело поручили «одеть» 25 фигур. И появились на них стыдливые драпировки. Походя, журналист, которому повезло долго проживать в Риме, поносит ученика Микеланджело. Ученик этот был у ора умирающего мастера, закрыл его глаза, а согласился на работу по прикрытию наготы только потому, что способен был сделать это с наибольшей бережливостью. Вот замечательный рассказ! Ханжи и сволочи постановляют искалечить творение гения. Ученик гения понимает, что прикосновение к фреске учителя обязательно заставит через века какого-нибудь пустозвона-журналиста обвинить его в духовной проституции и кошунстве, но идет на это, ибо истинно любит учителя.

Злорадно-приятно было узнать, что ныне восстанавливается первоначальный вид «Страшного суда». В этом есть великий оптимизм: да, четыреста лет ханжи могут торжествовать, но через четыреста с лишним лет они будут заплеваны — как ни вьется веревочка, а конец ее все-таки светел и пахнет коноплей и вереском.

17.08. 11.00. На рейсовом катере покатали с капитаном в Штаб. Командует нынче здесь Юрий Дмитриевич Утусиков.

Получаем информацию, от которой живот прихватывает.

1. После столкновения «Ветлугалес» уцелел чудом, откачку воды из трюмов вели три атомохода. Ширина трещины в корпусе, по данным капитана, 10 мм. По данным капитана атомохода — 50 мм. Действительно, чудом не булькнул.

2. «Невалес» — пробоина в машинном отделении, затем во 2-м трюме.

Дырка на один метр выше киля и в 4 метрах ниже ватерлинии. Осадка была 562 метра. Пробойны заварили водолазы подводной сваркой. На данный момент «Невалес» тащится к мысу Косистый для разгрузки, вероятно, на баржи. Следует он под конвоем ледокола «Капитан Драницын».

Юрий Дмитриевич Утусиков проводил до катера, показал колышки, вбитые в тундру, — разметка нового здания Штаба. Здание старого Штаба — ветхая рухлядь, которая вечно меня удивляет тем, что она еще не завалилась при здешних ветрах. Колышки появились, так как Карское море собираются открыть для плавания иностранных судов. Да, много экзотики увидят здесь иностранные моряки.

Когда катер отвалил, Юрий Дмитриевич помахал нам ручкой. Фуражка у начальника Штаба шикарная.

Юрий Александрович:

— Н-да, это уже и не фуражка, а кепка, и не козырек, а взлетно-посадочная полоса...

Любимый поэт капитана — Маяковский, но читать его надо, говорит он, без лесенки...

Нет, не Маяковский, а Дмитрий Тихонов. Его сборник он купил в 1969 году и с тех пор хранит в своей каюте. Я о таком поэте никогда и не слышал. Юра рассказал, что он из военморов, затем рыбак, капитан, умер на мостике. А в Калининграде его сестра Ирина издала сборник стихов и эссе «Подо мной океан».

Надо будет похлопотать о переиздании, хотя... забуду, конечно.

Дал РДО:

«ТХ ЛИГОВО КМ АЛЕШИНУ= СТОИМ ДИКСОНЕ ОЖИДАНИИ СБОРА КАРАВАНА СЛЕДУЕМ ТИКСИ НАДЕЮСЬ ВСТРЕЧУ ОБРАТНОМ ПУТИ ИГАРКЕ ПОКЛОН ЭКИПАЖУ ОБНИМАЮ ВАС= ВИКТОР КОНЕЦКИЙ».

Выкатились с Диксона в 19.00 местного. Выкатились восточным проливчиком. Он очень узкий, и я всегда волнуюсь, когда им проходишь. Юрий Александрович волновался тоже. Кажется, только Фома Фомич здесь сохранял абсолютное спокойствие.

Только выскочили в открытую воду, как в главном двигателе запал клапан. Господи, а ежели бы он запал на четверть часа раньше...

Затем начали движение на восток за «Пионером Онеги».

18.08. К утру прошли пролив и от острова Сырков пошли резко на норд. Лед до 6 баллов, но обходили, и получилось — по чистой...

РДО от Левы Шкловского:

«ЛЮБУЕМСЯ ЕНИСЕЕМ ЧУДЕСНАЯ ПОГОДА МЯГКОГО ЛЬДА ЯСНОЙ ПОГОДЫ ВАМ ПИШИ ПРИВЕТ МАСТЕРУ ОБНИМАЮ= ЛЕВА».

Очень большой внутренний смысл имеет то, что помполит особенно болезненно реагирует на мои рассказы в кают-компании из истории русского Севера. Его прямо коробит — больше, чем от моих политических ляпов. Почему? Что-то чует он в истории опасное, живое, свободное, нарушающее регламент будней. Прямо самой кожей чует он в истории опасность сегодняшнему статус-кво. Спрашивает про землепроходцев с недоверием: «А как они сюда добирались-то? Пешочком?». Я вынужден объяснять, что они ехали на лошадях, в умеренных широтах, потом строили крепости, в них строили кочи и струги, на них спускались по рекам... Искренне удивлен! Хорошо, что молодые моряки слушают с большим интересом.

19.08. Идем под проводкой ЛК «Леонид Брежнев».

В 18.00 приняли буксир с ЛК «Мурманск». Лед 10 баллов, торосистость 4, с включением двухлетнего, толщиной до 3 метров, сильных сжатий не было, но временами зажимало здорово.

«ТХ КИНГИСЕПП КОНЕЦКОМУ= ПОКА ВЫ В МОРЕ Я В ДЕРЕВНЕ С ЗАВЕТНЫМ ДЛЯ ВАС ИМЕНЕМ БЕРЕЖОК ГДЕ ТОЛЬКО И ШТОРМОВ ЧТО В ЗАВАЛЯВШИХСЯ ЖУРНАЛАХ 30-Х ГОДОВ ЗАТО УЖ ТАМ БОЛТАЕТ ТАК БОЛТАЕТ СКУЧАЮ= КУРБАТОВ»

«ВСЕ ЕЩЕ КУПАЕМСЯ ЗАГОРАЕМ ХОЧЕТСЯ ПОСЛАТЬ НЕМНОГО ТЕПЛА ДИКСОН ТЮЛЕНЯМ КОНЕЦКОМУ= ИРИНА ВАХТИНА»

«ВСЕМ СУДАМ= ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕГОДНЯ 19 АВГУСТА ПЕРИОДЕ 03-05 МСК ПО УЧАСТКУ ДИКСОН ЛЕСКИНО СОПКАРГА КАРАУЛ ОЖИДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ВЕТРА 15/20 М/СЕК= ДИКСОН ПОГОДА»

Остров Тронзе в проливе Вилькицкого у острова Большевик.

Сегодня вспомнил и рассказал попутчикам, как я, немного веселенький, посередине ночи — дело было в Ленинграде, на твердой, как понимаете, суше — решил немного развлечься. И зная, что дома у моего самого близкого друга капитана Льва Аркадьевича Шкловского телефон стоит у изголовья шикарной двуспальной кровати, позвонил ему, услышал встрепенувшийся, сонный голос Левы, отдыхающего в отпуске, и заорал в трубку: «Огонь прямо по курсу! Прошу срочно на мостик!». «Иду!» — заорал Лев и бросил трубку. Потом оказалось, что он спихнул на пол жену и выпрыгнул из кровати.

Самое интересное, что все это правда.

20.08. Продолжаем следовать на буксире за ЛК «Мурманск», лидируют атомоход «Брежнев» с «Пионером Онеги». Дождь, снег...

В 16.20 из-за усиления сжатия застряли вместе с «Мурманском». Пришлось «Брежневу» возвращаться и окальвать его. Это заняло 40 минут. Уже в 17.00 пошли опять, но довольно тяжело.

«ТХ КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ = ОКОНЧАНИЕМ ПРОВОДКИ ТХ ПРИМИТЕ БОРТ ДВУХ РАДИСТОВ ШТАБА МОРОПЕРАЦИЙ НАЗНАЧЕНИЕМ КОСИСТЫЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЛК КАП ВОРОНИН ИЛИ ПОПУТНОЕ СУДНО НАЗНАЧЕНИЕМ ХАТАНГУ ТЧК ЯСНОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРДИТЕ= ЗНМ АКВИС»

Разговор однокашников в эфире:

- Кто есть на борту из выпуска 79-го года?
- А я и есть. Здорово, Шурик. Ты?
- Я.
- Кого встречал?
- Пат на... Еж на... Суслик на...
- Какой груз?
- ЖБИ и какие-то еще железяки. Не слышно тебя. Еще больше заикаться стал? И как это заики плавают?

О жизни писать надо. Это и есть «художественная проза». Тяжелее ничего на свете нет...

На траверзе бухты Марии Прончишевой с левого борта обнаружили мишку.

Мишка поймал какую-то несчастную нерпу и потому не побежал от судна. Продолжал рвать жертву, время от времени поднимал башку с черной точкой носа. Лед 5–6 баллов, одногодовойый, толщина до двух метров.

Уже два часа солнце закатывается, но никак закатыться не может. Оно просто катится над горизонтом в щели между ним и черно-фиолетовой тучей. Смотреть на светило невозможно — сноп концентрированных иступленно оранжевых лучей. Но на наших мачтах — идем на чистый ост, а солнце садится на северо-западе — полыхают кроваво-алые отблески. И западные края льдин высвечены то кроваво-алым, то нежно-алым и розовым. А далекий танкер «Морис Бишоп» — до него одиннадцать миль — сверкает, отражая низкие солнечные лучи, пульсирующим лазером.

О мишке объявили по судну. Ребятки бросили кино и побежали на палубу — раздетые, конечно, так их в перетак.

Все время льдины кажутся живыми существами, которые думают-думают, думают какие-то тягостные думы и способны, не моргая, глядеть на закатное светило. А можно и так решить, что они опустили белые веки и просто бездумно ловят последний солнечный привет.

В 22.20 солнце все-таки утопило себя под горизонт, но нестерпимо яркая оранжевая полоса продолжает гореть.

21.08. В 01.00 окончание ЛК проводки. По чистой воде дошли до Тикси. РДО от Левы:

«ИДЕМ ИГАРКИ СИРИЮ ВСЕ ЭМОЦИИ ВЫТЕКАЮТ ПЕРВЫХ ТРЕХ СЛОВ ОБНИМАЮ= ЛЕВА».

22.08. 11.45 прошли приемный буй. До 14.30 лежали в дрейфе недалеко от причала.

В порту принято работать без лоцмана, но Юрий Александрович его вызвал, т.к. не знал этого правила, а в этом месте впервые.

В 15.00 встали к причалу Тикси. Тальманши — студентки водного техникума из Одессы.

Предельная занавешенность «наглядной агитацией».

Начали разгрузку только груза Янского продснаба из трюма № 3. Нет точного тоннажа.

Получил РДО от Астафьевых:

«ДОРОГОЙ ВИТЯ ОКТЯБРЕ БУДЕМ ДОМА ТЕЛЕГРАФИРУЙ ДВА АДРЕСА ГОРОДСКОЙ И ПОЧТОВОЕ ОВСЯНКА КРАСНОЯРСКОГО ДИВНОГОРСКОГО РАЙОНА ОБНИМАЕМ= АСТАФЬЕВЫ».

Перечитывая Бунина, убедился в том, что фабулы, концы, развязки и «выводы на философию» его рассказов забываются на те же 100%, как и детективы. Толстовских концов не забудешь, даже ежели тебе по башке оглоблей звезданут. Интересно, что Бунин уже в 24-м году употреблял множественное от «кондуктор» — «кондуктора», а не «кондукторы» («Митина любовь»). Мы же до сей поры внутренне боремся с «шофера», «контейнера»...

У Лескова «учители», а ныне — «учителя».

Рассказываю в рубке желающим, как мы стояли на «Державино» с Фомой Фомичом во главе и рещали вопрос о «пикнике на природе», т.е. об экскурсии в лес, и как Фомич приказал ходить по лесу строго тройками и держась за руки.

— Ну, что за руки держась — это вы, Виктор Викторович, врете, — говорит Тек.

- Загибаете, — поддержал его Чук.
- А тройками почему? — интересуется Юрий Александрович.
- Медведи тут очень опасные, — объясняю молодому капитану.
- Понял! — восклицает Юрий. — Значит, тройками надо ходить, чтобы медведю сразу было первое, второе и третье, так?
- Точно! — подтверждаю я, хотя до такого объяснения сам ни в век бы не додумался.

23.08. На проходной поймали грузчика с 600 гр морковки. Явился мильтон-сержант в штатском с «Административным кодексом РСФСР».

Капитан имеет право и должен обыскивать грузчиков — «необеспечение сохранности груза» — штраф до 30 рублей.

«А как я буду женщин обыскивать?»

Наследил мильтон в каюте сапожищами. Ночью взвешивал морковку секунд.

Доктор Борис Аркадьевич пугает нас с Юрием Александровичем. Сегодня заявил:

— Надо брокеражный журнал завести.

Мы вылупили глаза, и я поинтересовался, что означает «брокеражный». Оказывается, журнал качества продукции, качества приготовления ее и чистоты на камбузе. В этом своем журнале доктор выставляет по трем этим параграфам отметки нашей службе по пятибалльной системе.

— Заводите хоть абордажный, — сказали мы с Юрием в один голос.

Дальше док заговорил о хлорировании воды:

— У меня известь слабая. Надо будет по пятнадцать миллилитров на килограмм воды увеличить норму.

— Уморишь! — с истинным страхом заорал капитан.

У дока в глазах появился плотоядный блеск:

— В этом вопросе я команду. Могу еще лекцию о столбняке или анти-алкогольную.

— Идите к трапу и выполняйте свои вахтенные обязанности, — попросил я нашего эскулапа.

— Помню, в Выборге сделали вдруг всем нам противостолбнячные уколы, — вероятно, по ассоциации вспомнил Юрий Александрович.

— В зад? — поинтересовался я.

— Под лопатку.

— Ну и что дальше?

— Все остолбенели, и караван за борт ушел. На сорок сантиметров тогда перегрузились.

24.08. Нет собак. Жалобы на национализм якутов и их тупость — нет судоводителей и т.д. (нет собак и на Молодежной в Антарктиде).

Получил РДО:

«КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПОЛУЧИЛИ СТАВИМ В НОМЕР ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ВЫХОДЯЩИЙ ТРИДЦАТОГО АВГУСТА ВМЕСТЕ С ДВУМЯ РАССКАЗАМИ ЖДЕМ ОЧЕРЕДНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ=КОРОТИЧ ИВАНОВ».

«Огонек», стало быть, будет публиковать мои последние рассказы. Мелочь, а приятно...

Читал записки Гончарова 1854–55 годов.

Приведу несколько выписок, касающихся и наших дел: «...Путешествия — это книга, в ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи».

«А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...»

Особенно поразили его записи о Сибири. Самой приметной чертой ее физиономии он отмечает отсутствие следов крепостного права. А дальше: «От берегов Охотского моря до Якутска нет ни капли вина... Здесь вино погубило бы эту горсть иноплеменцев, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет — и уже ЗАРОДЫШ НЕ ЕВРОПЫ В АЗИИ, а русский самобытный пример цивилизации, которому не худо было бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно...».

«Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю». Это на Лене!

«Свет мал, Россия велика», — говорил Гончарову человек, пришедший кругом света в Сибирь и преодолевший все ее пространства. «Воистину — скажу я», — заключил Гончаров...

Из разговора в кают-компании. В Греции при заявлении «Морского протеста» надо клясться на Библии, Коране или Талмуде. Пришли наши к нотариусу. Капитан — еврей, второй помощник — армянин и русский. Грек-нотариус совершенно растерялся. Оказалось, что никто из наших мореплавателей никакой разницы в этих трех святых книгах не углядел и не угадал.

За ужином помпа Тарас Григорьевич первый раз окрысился на критиканские мои разговоры, которые бурно и бесстрашно поддерживают третий механик и начальник рации. Дурак слепой! Говорили о безобразном развале на аэрофлоте, нехватке ГСМ. И о том, что из Куйбышева самолеты берут половину пассажиров, а остальное загружают железками для предприятий (Тольятти).

Помпа рявкнул, и наступила тягостная тишина. Как запуганы люди! Боже мой! Кто-то разрядил тишину, сострив в адрес третьего механика:

— Ты подтверждение визы-то прошел?

— Прощел! И виза подтверждена. Отец кочегаром на «Ермаке» Папанина спасал, так что с происхождением все в ажуре! — с вызовом сказал тот, но на этом его пыл угас.

А вякнул-то Тарас только:

— Ну вот, и в Куйбышеве самолеты сидят, и в Тюмени сидят! Везде, значит, не летают?

Юрий Александрович очень спокойно продекламировал:

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат...

Потом облизал ложку и ушел из кают-компании, с порога пожелав остающимся «приятного аппетита».

25.08. Без выгрузки — нет тоннажа.

Анонимное РДО:

«ЖИТЕЛИ ДОЖДЛИВОГО ЛЕНИНГРАДА БЕСПОКОЯТСЯ ВИКТОРЕ КОНЕЦКОМ».

Четверо ученых на гидрометстанции делают драчку огромному кобелю-овчару, ибо местные лайки ему-мелки.

О карабинах у якутов с осени:

— По поселку только с автоматом ходить.

Громила, который загнал 10 якутов в сарай, закрыл их на дрын (из плавника), опрокинул мотоцикл и облил сарай бензином. Не поджег чудом.

Пришел посетитель. Его рассказ: когда-то служил в войсках спецназначения. Потом плавал, стоял в Гавре на ремонте, получали по 12 руб. 50 коп., он был 4-м помощником. А потом решил не плавать, и начались скитания: инженер-организатор в порту, диспетчер... Заочно учился на искусствоведческом отделении в Репинском институте. Потом кореш позвал сюда. Теперь — 2-й помощник на 200-тоннике. Хочет удрать, но 7-летняя дочка всем трезвонит: «Папка — герой-полярник». Как вернешься? Да жена по второму разу беременна, а билет отсюда до Москвы 133 рубля. Рейсы по дельте Лены. По 6 раз садятся на мель в протоке. Книжки читает, думает заняться английским языком, куча словарей. Но рейс по 8 часов — на сон времени не остается. И вообще — отмашка рукой...

Вероятно, пробует писать — знает много имен начинающих писателей. Ненависть к якутам и эстонцам...

— Я вам осетрину пришлю.

— Нет уж.

— Мы сами не браконьерничаем. Так дают.

— Все одно не надо.

Из разговора в кают-компании.

— Но наш бронепоезд стоит на запасном пути...

— Давно пора объявить ему тридцатиминутную готовность.

26.08. Выгрузка на один ход; путаница с документами.

Талоны на вино — 2 бутылки в месяц.

Нет вербованных — бригады с мест, тальманы — студенты. В договорах со всеми ними есть пункт о непродаже им вина.

Считаем: мы в Мурманске и отправитель-получатель. В Тикси считаем мы + получатель и речник, затем речник и окончательный получатель.

Мы со своей пломбой печатаем контейнер, чтобы довести его до борта «Сибирского-212» — финн, все управление с мостика, но... всего 13 человек экипаж. Из них «три старика-инвалида» для тальманства, а берет 4 тыс. тонн (надо и комбикорма считать).

27.08. Речного тоннажа для нашего картофеля все не находится.

В 10.00 пошел к Андрееву Павлу Михайловичу — первому секретарю райкома. Но он принимал пограничников. Возможно, если бы секретарша предложила мне раздеться и сесть, я бы подождал.

Может ли быть хорошим руководителем человек, который не научил свою секретутку обыкновенной вежливости?

Пустота в райкоме. Нет следов грязи даже на половике у входа.

Андреев якут, это о нем в газете «Советская Россия» была большая разгромная статья — купил три комплекта финской мебели и находился в споре с какими-то темными личностями из местного торгового дела. Девушка из ВОХРа мне сказала, что все номера газеты были изъяты. Пока Андреев продолжает исполнять свои партийные обязанности, получив строгий выговор с занесением в учетную карточку...

(Через два года — в 1988-м — Андреев был назначен... заведующим отделом организационной и кадровой работы обкома. Что было с ним потом, не знаю.)

За ночь перегрузили на «Сибирский-212» 40 контейнеров, по 97 ящиков картофеля в каждом.

На конец августа здесь еще не ели картошку. В жизни я раздумывал о вопросах плавания во льду или перевозке картофеля не меньше, нежели о литературе. И это факт, а не дешевая реклама.

Купил двухтомник Твардовского — валялись две рваные книжки писем. Прочитал его письма В.Ф. Пановой, где он меня долбаёт за «Путь к причалу», и убедился еще раз, что он был абсолютно прав.

За что он наше поколение не любил? Даже Казакова ни разу положительно не помянул...

Зашел перекусить в кабак, дали лангет — подметка из оленины. Я как вспомню грустные оленины глаза, понурые морды, то и есть не могу. Чай еще дали с химическим тортом.

29.08. С утра пурга, сразу сопки покрылись снегом. Разгрузка по бочке и одному контейнеру в час.

Я меньше верю тем, кто командует подчеркнуто тихо. Такие, мне кажется, больше лгут в жизни и чаще скрывают свою неуверенность в правильности отданной команды.

Человек, который способен сам себе и окружающим вслух сказать все, что он истинно думает и чувствует, такой человек способен и ВСЕ сделать, то есть ПОСТУПИТЬ. Потому хороший руководитель от подобных людей обязан избавляться под любым соусом, особенно если дело идет о политике.

Написанное слово в таком аспекте значительно и разительно отличается от вслух произнесенного. Написанное слово легко превращается в карманную фигу. Написанное вольнодумное слово никак еще не означает способность его автора к решительным и масштабным поступкам, хотя, как и произнесенное, само по себе уже есть поступок.

Весьма часто авторы смелых книг сами демонстрируют в сложной гражданской ситуации отчаянную трусость. Однако следует четко отличать таких авторов от тех, которые описывают героическое, уже имея собственный большой опыт действий в опасных ситуациях. Последние, написав «Выстрел» или «Иметь или не иметь», следуют в жизненном поведении за своими героями. Они иногда даже попадают в рабство своему написанному, как попадают в подобное рабство те, кто в собрании ПРОИЗНЕС свое абсолютно искреннее слово.

Вывод для любого морского администратора: кто может все сказать, тот может и все сделать, — и потому для начала заткни ему глотку!

Получил РДО:

«ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЖУРНАЛ РАССКАЗАМИ ВЫШЕЛ ТЧК ЖДЕМ ОЧЕРЕДНЫХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ= КОРОТИЧ ИВАНОВ».

30.08. Ромашечки среди черных мерзлых «базальтов», бурое море, собаки — не лайки, очень добрые и благодарные. Художник Володя (южной внешности), его пейзажи по памяти в лаборатории на судне. Покупка говяжьей тушенки в лавочке на полярке.

О морском юморе. Был у меня матрос, любил петь всякие страшилки, типа:

Дети в овраге пушку собрали.

Долго в деревне дома догорали.

Это безымянное, но явно профессиональное творчество. Может быть, это даже Олег Григорьев.

Моряки уравнивали самодеятельностью по образцу великого Горького («Как сложили песню»):

Мальчик чахоточный вахту стоял.
Мальчик чахоточный в море упал.
Мальчика в царство небесное спишем,
К робе четыре другие припишем!

Ассоциативность здесь в следующем. Как-то погиб наш поваренок. В тяжелый шторм вылез подышать воздухом с камбуза на корму. Его смыло. Капитан заложил смертельно опасный поворот, но, конечно, ничего уже не увидели и никого не спасли. Однако под этим соусом списали массу барахла: четыре спасательных круга (два из них с сигнальными лампочками), халат сатиновый — один, фартук поварской — один, брюки рабочие и т.д. Отсюда и: «К робе четыре другие припишем!».

Сегодня закончилась первая половина рейса.

Итоги: в Тикси после выгрузки получили рейсовое задание — идти на Игарку, брать пилолес и следовать в Сирию. Но разгрузка в Тикси неимоверно затянулась по причине отсутствия речного тоннажа. Выгрузить быстро смогли только то, что уходило самолетами на Янский промснаб (выгрузка шла на один ход). Затем длинная пауза с речниками и получателями, ибо на «Сибирском — 2111» (экипаж 12 человек) выставить двух тальманов не смогли. Овощи шли на один ход, а остальные трюма речники грузили железками. Речник «Курган» с 27.08 отказался вообще принимать груз картофеля, ибо впервые в практике оказался ответственным перевозчиком продуктов и боялся застрять на бере реки Лены при отрицательных температурах.

Сегодня, т.е. 30.08, в 15.00 закончили выгрузку в Тикси, получили указания Голдобенко о распаузке (впервые услышал это слово) «Братска» — это из серии новых судов типа «СА-15» — на рейде Колымы.

К судам этим уже прилипла кличка «морковки» — это по причине их оранжево-красной окраски, они спокойно идут без ледакола в метровом льду, но, имея большую осадку, не могут входить в большинство арктических портов.

Конечно, «морковки» начинают все больше играть здесь, в Арктике, решающую роль, и будущее за ними. В эту навигацию небольшим лесовозам вообще запретили работать на Востоке северной трассы. Нынче мы на своем «Кингисеппе» здесь последние, на данный момент и вообще единственные.

Так вот, распазка означает, что другое судно везет груз из порта к тому месту, где стоит «морковка», и своими средствами идет перевалка грузов.

31.08. Начали погрузку брусьев и разборных домов. После звонка на Колыму и разговора с Корниенко выяснилось, что длительность разгрузки этих домов задержит обработку «Братска». Сборные дома выгрузили обратно из трюмов. Стали ожидать дальнейших указаний. Получили приказ грузить бревна и рудостойки в адрес Зеленого Мыса (т.е. нам предстоит залезать еще дальше на Восток в ледовую западню).

01.09. Когда сегодня проснулся, обнаружил на столике в каюте записку: «Приношу свои величайшие извинения, но у меня просьба личного характера. Если есть возможность у вас в артелке приобрести сосиски (4-5 кг) и витчину, то, пожалуйста, дайте знать. Если нет, то не сердитесь на наглость мою. С уважением Валентина».

Какие у нас к черту сосиски и «витчина»?! Такого безобразия с продуктами, как в этот раз, у меня за тридцать лет, что я посещаю Арктику, еще не было.

А Валентина в ВОХРе здесь работает. Когда-то плавала поварихой. И ушла с морей после того, как упала в обморок, очутившись в объятиях негра.

Ничего плохого черный человек в отношении Валентины делать не собирался. Прикрыл ее от падающего груза. Самое интересное, что это правда.

Из моего иллюминатора видна сопка, высоко над плоским поселком Тикси огромная надпись «СЛАВА КПСС». Сложена она из пустых топливных бочек. Заводили и устанавливали бочки на сопку для прославления нашей партии военными вертолетами. Три бочки из буквы «л» упали. Потому вообще-то надпись читается «САВА КПСС». Интересно, что наше первое рейсовое задание было идти на Колыму, взять там пустые бочки из-под топлива и везти их в эту самую благословенную бухту Тикси.

Переведены на аренду Северо-Восточного управления Морфлота.

Итак, сперва — сборные дома — все в некомплекте, без маркировки. Отбились, т.к. «Братск» уже прошел Карские ворота, а мы должны его распаузнить на рейде Амбарчика. Дома же идут на среднюю и верхнюю Колыму — с перегрузкой на баржи.

Заменяют груз на пиломатериалы для самого Зеленого Мыса.

Погрузку бревен долго не могли начать по причине штормовой погоды. Перешвартовываться в подветренную сторону причала оказалось невозможным, так как все плавсредства порта Тикси работали в аварийной обстановке на внешнем рейде...

У капитана нет допуска на секретные карты — нужно подтверждение из Ленинграда, а там — «море на замке» — суббота и воскресенье + разница во времени.

Юрий Александрович пытался отбиться.

— Нет карт? Найдете.

— Поймите! Меня не учили плавать по глобусу!

— Вы про перестройку слышали?

— Я не шучу, у нас даже глобуса нет...

— Поезжайте на нашу свалку — там не только глобус, а «Жигули» собираете.

Около 15.00 штормовое предупреждение: волна 1-2 метра. Весь остаток дня простояли без всяких грузовых операций. Стоим с наветренной стороны пирса, сильно бьет. Надо переходить на подветренную сторону, но нет буксиров. Все буксиры аварийно работают на дальнем рейде, где шторм разбивает плоты. Бревна из этих плотов «Ветлугалес» грузит на Японию.

Капитан «Ветлугалеса» — однокашник Юрия Александровича по мореходке.

Получили РДО:

«РАДИО ВСЕМ СУДАМ БМП КМ= 31 АВГУСТА ПЗС АДМИРАЛ НАХИМОВ СОВЕРШАЛ РЕЙС ЧЕРНОМУ МОРЮ СОВЕТСКИМИ ПАС-САЖИРАМИ УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ ТЧК 22.30 ВЫШЕЛ ПОРТА НОВОРОССИЙСК НАЗНАЧЕНИЕМ СОЧИ ТЧК 23.15 СЕМИ МИЛЯХ ОТ ПОРТА ШЕДШИЙ ПЕРЕСЕЧКУ ТХ КАПИТАН ВАСЕВ УДАРИЛ НАХИМОВА ПРАВЫЙ БОРТ РАЙОНЕ ПЕРЕБОРКИ МЕЖДУ МАШИНЫМ И КОТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИЯМИ ТЧК ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ П/С АДМИРАЛ НАХИМОВ ЗАТОНУЛ ГЛУБИНЕ 43 МЕТРА ТЧК СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 50 КОРАБЛЕЙ И СУДОВ ЗПТ ВЕРТОЛЕТЫ ТЧК РЕЗУЛЬТАТЕ СПАСЕНЫ 837 ЧЕЛОВЕК ЗПТ ПОДНЯТО 79 ПОГИБШИХ ЗПТ НЕ НАЙДЕНО 319 ЧЕЛОВЕК ТЧК СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТЧК РАССЛЕДОВАНИЕ МЕСТЕ ПРИЧИН АВАРИИ ЗПТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ТЧК КА-

ПИТАНАМ ДОВЕСТИ СВЕДЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ ЗПТ ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ НЕСЕНИЯ ВАХТЕННОЙ СЛУЖБЫ ПЛАВАНИИ МОРЕ ЗПТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЩАТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОБСТАНОВКОЙ ЗПТ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ОСОБЕННО ПОДХОДАХ ЗПТ ВЫХОДАХ ПОРТОВ ЗПТ УЗКОСТЯХ ЗПТ СТЕСНЕННЫХ РАЙОНАХ ТЧК ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ ЗПТ НЕУКЛОННО ВЫПОЛНЯТЬ МППСС ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ТЧК ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ДОЛОЖИТЬ ОЧЕРЕДНОМ РЕЙСОВОМ ДОНЕСЕНИИ ТЧК= МИ-729 ЧМ ХАРЧЕНКО».

Все пороки, что завелись на суше, перешли и на море. А оно долго сопротивлялось. И сама стихия, и необходимость дисциплинированности, знания профессии диктовали морякам десятилетиями сохранять определенную нравственность, рабочую и просто человеческую честность. Море требует правды, и ничего кроме правды.

Если врешь сам себе — ты погиб, и твой экипаж погиб.

Что же произошло на самом деле с «Нахимовым»? Почему?

«Адмирал Нахимов» когда-то назывался «Берлином», был построен в Германии в 1925 году, дважды тонул, после ВОВ был передан СССР в счет репараций.

Из интервью «Ленинградской правде» от 27.09.89 «Никто пути пройденного у нас не отберет»:

«Когда мы шли на Колыму, то получили шифровку о гибели «Нахимова». Затем сгорело судно на Дальнем Востоке, о чем вы здесь почти не знали, а мы, находясь в море, естественно, узнали. Потом погиб «Комсомолец Киргизии», а напрасно обвиненный в приказе министра МФ в аварии капитан судна, молодой еще человек, умер от сердечного приступа. Кстати, приказ капитану и экипажу «Комсомольца Киргизии» покинуть судно был отдан начальством.

Капитан же, который хотел, согласно традиции, остаться на судне до момента фактической гибели (вместе с аварийной партией), покинул судно только после этого приказа... Вертолетчики США сняли экипаж. наших моряков картинно принял Рейган, одновременно наградив спасателей вертолетчиков. Такое не могло понравиться высокому начальству.

Теперь о «Нахимове» и «Васеве». Давайте сравним — Чурбанову дали 12 лет, капитанам по 15 (без права апелляции). Вот почему буду писать еще одну книгу на морском материале — слишком плохи дела на флоте.

Последней каплей в этом решении было выступление следователя Б.И. Уварова по телевидению. Даже эксплуатацию парохода (!) «Нахимов», который старше меня сегодняшнего, следователь признал нормальным делом, показав зрителям железяку, здоровенную железяку, назвав ее «кусочек борта». Сколько времени этот следователь занимается крупнейшей морской аварией и не уяснил даже того, чем «обшивка» отличается от «борта»! Просто-напросто жестко-обвинительный характер следствия по делу об этой аварии был заложен еще Алиевым — председателем госкомиссии...»

«Уважаемый Виктор Викторович!

После опубликованного в «Ленинградской правде» интервью с Вами и слов, ответов, касающихся гибели т/х «Адмирал Нахимов», пишет Вам мать, потерявшая на нем дочурку 29 лет, «без вести пропавшую» — «не найденную».

Из Ленинграда девушка разговаривала с ней за полминуты до того, как «Нахимов» ахнул. Парень слышал ее крик после того, как корабль ушел под воду. И таких не одна она, и не найдены?!

Езжу в Новороссийск на годовщины и 8 марта (ее денечек был и самый, самый для меня). Не могу здесь без нее!

Знакомилась с делами в Прокуратуре. Прошла Верховный суд — в свое 60-летие. С кем только не разговаривала за эти, уже почти 3,5 года.

Чем дальше, тем больше в рассказах, участвовавших, очевидцев появляются слова: «Гайна должна быть снята!» и т.п.

Дочурка была инженер-математик в морской в/ч, в 1985 году получила грамоту за второе место по плаванию, и никто не верит, что она могла утонуть. Человечек, без которого всем плохо, неудобно, а мне какво?

Спасшиеся, знавшие ее всего 10 дней, посвятили ей строки на памятник:

Безвременно ушла из жизни ты,
Нам никогда с утратой горькой не смириться,
И образ твой у нас хранится,
Как воплощение любви и доброты.

А муж архитектора памятника погибшим, видя нас, потерявших детей — надежду в жизни, — сложил строки:

Бессилья боль надорванных сердец,
Отчаяния тягостное время,
Трагедии немислимый конец,
Остановил навеки ваше время...

Не знаю, доживу ли я до того времени, когда Вы или кто другой напишет книгу о ПАМЯТИ НАШИХ.

Сама я инженер-кораблестроитель с «Малахита», отработала 34 года с перерывом на лечение дочурки от полиомиелита. Сын 10 лет служил на подводных лодках на Камчатке, а после гибели дочки, ради меня, переведен в Ленинград.

Все 10 лет, что он служил, мы с дочей думали — «только бы обошлась автономка»...

Все, все, извините, о непосильном, нечеловеческом горе до гробовой доски не хватит остатков жизни высказать всю ежесекундную нестерпимую боль.

Денисова Татьяна Николаевна».

На обороте письма приклеена вырезка:

«Михаил Лермонтов» (20352 рег. т) затонул у побережья Новой Зеландии в феврале. Погиб один член экипажа.

«Адмирал Нахимов» (17053 рег. т), построенный 61 год назад, затонул в конце августа в Черном море после столкновения с балкером «Петр Васев». Погибло 423 человека.

«Уважаемый Виктор Викторович!

Из интервью в «Ленинградской правде» мы, близкие родственники погибших 31.08.86 на пароходе «Адмирал Нахимов», узнали, что Вы намерены писать книгу на морском материале и, в том числе, и о «Нахимове».

Наши позиции на эту трагедию в чем-то совпадают с Вашей, а в оценке уголовного наказания капитанов — резко разнятся с Вашей.

Мы прошли тяжелый путь опознания трупов погибших, извлеченных из моря, вплоть до конца работы той самой Правительственной комиссии Алиева; как представители погибших были ознакомлены с материалами уголовного дела в Прокуратуре РСФСР в Москве (следственная группа

Уварова); присутствовали на так называемой выездной комиссии Верховного суда СССР в Одессе в марте 1987 года. Ежегодно собираемся в Новороссийске на день поминовения погибших, старательно забытый нашим правительством, ММФ и средствами массовой информации...

Хотели бы поговорить с Вами...

С уважением — Илюхина Л.В., мать погибшего Илюхина Вадима, 27 лет, Гиллевиц В.А., Петрова М.А., родители погибшей Гиллевиц Елены, 22 лет, Алферьева В.И., мать погибшей Алферьевой Л.Н., 27 лет...»

Морских топят море, а сухопутных крушит горе.

В письмах нет ни одной просьбы и даже жалоб нет. Кроме абстрактной просьбы о человечности. Можно одну фразу сказать: «Родные мои, станем на колени, помянем погибших минутой молчания» — и все, аминь. И все плачут и молчат.

Можно ли это положить на бумагу, об этом написать? Не знаю, вряд ли это вообще возможно...

На море все всем известно. Если суда гибнут, то об этом не узнают только не моряки. Что прячут от народа? Считают, что у народа нервы плохие?

Если судить по нашим газетам, то народ у нас просто бессмертный. Никто не мрет.

Исчезли с улиц и площадей похоронные процессии. Некогда? Гигиена?

Почему власти так бдительно следят, чтобы наши останки возможно быстрее и незаметнее исчезали с лица земли...

Можно ведь к Чехову прислушаться, когда он потрясается подвигом Пржевальского, завещавшего похоронить себя в пустыне, дабы своею могилой оживлять ее.

Завету Пржевальского мы все-таки, пожалуй, слишком хорошо вникли. Кто бывал по северным и восточным окраинам России, тот знает, сколько там безыменных, номерных могил оживляет мертвую землю.

02.09. За ночь разбило все плоты у «Ветлугалеса». Ветер по-прежнему штормовой. Ночью начали погрузку пиловочника с воды.

Местные фортальные краны работают только до скорости ветра 15 м/с. При более сильном ветре на кранах должен врубаться ревун, который включается от анометра. Конечно, никакие анометры здесь не работают. В результате ночью один кран под штормовым ветром поехал и гаком звезданул нам по майте. Плохо, что вахта ничего не заметила. А я узнал от портового электрика, который явился, чтобы я подписал ему книжку.

Наконец получили карты. До Чукотки. Как удивительно завлекательно они для меня шелестят даже на старости лет! Заведующая картохранилищем меня вспомнила. Оказывается, когда-то здесь, в Тикси, я уже получал карты. Я ее, конечно, не вспомнил.

Очевидно, слабеет память. Ужасно неудобно, когда тебя узнают, а ты не можешь вспомнить, где и когда видел собеседника. Намедни на почте ветрешил парня, который давал мне прогноз в Певеке в 79-м году и который потом летал над нами на самолете ледовой разведки. И вот он, конечно, ко мне бросился, а я только то и мог, что вылупил на него глаза...

Возле почты сидел огромный сенбернар, если, конечно, сенбернары бывают черными. Во всяком случае, он был такой огромный, какими я видел только сенбернаров.

Глядя на огромного пса, который сидел, как сидят люди, на ступеньках почты, то есть зад у него был на верхней ступеньке, а лапы на нижней, Юрий Александрович сказал:

— Теперь понятно, почему здесь других собак нет. Этот зверь их всех сожрал.

Тут я пожаловался на то, что слишком часто не узнаю встречаемых людей. И Юрий Александрович с ходу вспомнил дочку.

Ехало семейство в поезде. Попутчиком оказался пес-овчар, весь в медалях, который возвращался в Ленинград после съемок на «Мосфильме».

Дочка киноартисту говорит: «Друг! Друг!». А у пса было совсем другое имя, и он не откликнулся. Девочка ему говорит: «Ты чего меня не узнаешь? Я же тебя в кино видела!».

Когда Юрий Александрович вспоминает дочку и вообще семейство, то расплывается точно так же, как Василий Васильевич Миронов на «Колымалесе».

А вспоминает он такие милые чуковские мелочи. Дочка смотрит на вены на своей ручке и спрашивает: «Что это такое?». Мать ей говорит: «Это такие трубочки, по которым кровь течет». Дочка: «А почему, если кровь течет, мне не больно?».

Поймав себя на милых сентиментах, Юрий спохватывается и лакирует лирику суровыми буднями действительности:

— Когда я работал старпомом и когда против алкоголя борьбы еще не было, а была борьба против трезвости, то я придумал проверку моряков на степень трезвости после возвращения с берега. Тест украл у Брежнева. Говоришь моряку: «Проори „Джавахарлал Неру!!“». Проорет — значит, в норме. А если у меня остаются сомнения, то я велю: «Проори „Рабиндранат Тагор!!“». Если и это проорет, то — полная реабилитация. Так знаете, что эти хитрованы придумали? Это они уже из очередей заимствовали: начали на ладонях писать этих индусов. Идет, подлец, по трапу, на ладонь смотрит и губами шевелит... А ввел я этот порядок после того, как чуть было пароход не сгорел. Пили ребята в каюте спирт и до того допились, что бутылка со спиртом свалилась из иллюминатора на спардечную палубу. Лужа там. Ну, надо следы ликвидировать. Решили спирт выжечь. И подожгли лужу. Заполыхала надстройка. Вся шайка шелкнула ластами, простите, драпанула на причал. Но один герой нашелся. Сообразительный парень был. Прежде чем броситься в очаг пожара с огнетушителем, решил спасти из каюты свою главную ценность: японский магнитофон, конечно. Так вот, он этот маг привязал к своей любимой собачке и выкинул пса за борт. А сделал он это, чтобы смягчить удар мага о причал при помощи собачьей шкуры. Возможно, он и саму собаку хотел спасти, но пес расшибся вусмерть и магнитофон тоже.

— Да, — согласился я, — вечно героям не везет. А сгорело много на пароходе?

— Нет, всего две каюты выгорело.

Почему больше аварий?

Чем сложнее современная техническая система, тем более она должна стремиться к тому, чтобы походить на птицу или лошадь.

Наездник знает: если он сможет слиться с конем, или у него будет сломана шея... Когда общество больно, то и все капитаны и пилоты, кто готовит технику на земле, тоже больны. И если поглупело — катастрофически! — общество, то...

— А может, Чехов прав: «Чем глупее извозчик, тем лучше его понимает лошадь»?

03.09. За ночь погрузили 900 тонн бревен.

Эх, надо бы написать о том, как работают здесь люди, балансируя на мокрых связках бревен, которые колыхаются на открытой для ветра и волны воде, в ночной тьме, слабом свете грузовых люстр, каждая связка около 10 тонн, дождь, на каждой связке два человека подрезают под нее стропа...

С 07.00 остановили погрузку из-за усиления западного ветра. Занятно,

что всеми этими отчаянными грузчиками командует женщина. Она сопровождала плоты по Лене из якутских леспромхозов.

Я принял штормпредупреждение № 22 на день. Опасные волнения в бухте Тикси, 1,3–2,5 м. Думаю, волнение меньше. Просто портовое начальство страдает после позавчерашнего разгрома на рейде, когда «Норильск» безудержно подрейфовало при восьми смычках правого якоря. С левым якорем у них вышли какие-то затруднения, и судно чудом остановило дрейф и не вылетело на отмель. Срабатывает тут еще и очень тяжелое впечатление от гибели «Нахимова».

Утром по телевидению показывали пресс-конференцию. Без вести пропало 350 человек из 1200.

Почему ленские дрова (аж из-под якутского леспромхоза) везем на Колыму? Неужели по всему течению Колымы не найдется таких бревен?

Является стивидор (мы простояли 12 суток!!! И не без его помощи). Оказывается, он только узнал, что я — это я. Просит, чтобы я содействовал в получении им и бригадами благодарности. Чувствую себя мерзопакостно. А нам еще сюда возвращаться... Он выпивши. Попросил добавить, а у меня ничего нет. «Напишите о речниках! Я свою фамилию поставлю!»

О соавторах и их трудностях. Когда вышла моя книга «Никто пути пройденного у нас не отберет», то мой капитан Василий Васильевич мне позвонил и сказал:

– Безобразие с вашей стороны, Виктор Викторович!

– Что «безобразие»? Наврал чего-нибудь!

– Конечно! Все хорошо, точно и вдруг — вы у меня три раза подряд в шишбеш выиграли! Не было такого за весь рейс ни разу! Стыдно! На всю Россию меня опозорили!

И мы — вроде бы шутивно, — но поцапались, ибо, будь я проклят, но точно знаю, что выиграл тогда у него три раза подряд! И никто ни меня, ни Василия Васильевича не переубедит — вот какая подлая штука эта Игра.

«МАГАДАН ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РАДИОТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ= 0309 НАХОДЯСЬ ПОРТУ ТИКСИ СЛУШАЛИ ИНСЦЕНИРОВКУ РАССКАЗА ВАЛЕРИЯ ФАТееВА ПЛАВУЧИЙ МОНАСТЫРЬ ТЧК ВЫРАЖАЕМ ВОЗМУЩЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО НИЗКИМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ УРОВНЕМ ПОЛНОЙ НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬЮ АВТОРА РЕДАКЦИИ МОРСКОМ МАТЕРИАЛЕ ТЧК НА ФОНЕ ТРАГЕДИИ АДМИРАЛА НАХИМОВА ПЕРЕДАЧА ВЫГЛЯДИТ КОЩУНСТВЕННОЙ ТЧК ТРУСЛИВОЕ БЕГСТВО ЭКИПАЖА НЕЛЕПОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАПИТАНА ЕГО ПОМОЩНИКОВ ТИРЕ ВСЕ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО КОГДА БЫ НЕ БЫЛО ПРЕСТУПНО ТЧК ПОРУЧЕНИЮ ЭКИПАЖА ТХ КИНГИСЕПП БАЛТИЙСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА= КАПИТАН РЕЗЕПИН ДУБЛЕР КАПИТАНА ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ СП СССР КОНЕЦКИЙ»

Сегодня Юрий Александрович доктору:

– Выловить всех крыс!

– Что я — кот?

04.09. Загрузились бревнами до баровой осадки реки Колымы. Отоспав от причала в 03.00. Закончился мой «Космос». Курю «Пегас». Вдохновения он не прибавляет.

Пльвем в море Лаптевых.

Разговор в каюте капитана на отходе из Тикси о том, чем различаются регионы. Перебивает его приход дежурного диспетчера, который гонит от при-

чала, приходы 2-го помощника и 3-го (пограничники с судовыми документами) и т.д.

Гадаем об истинном виновнике трагедии «Нахимова». Оба капитана сидят под следствием.

Игорь Валентинович, 3-й помощник (родился на Шикотане в погрансмысле), независимо-самостоятельный. 29 лет. Моет теплой водой репитеры на обоих крыльях.

Приказ о двух капитанах — однокашники, по 36 лет. Идут на Кубу через Атлантику параллельными курсами и сближаются (гонка, конечно) до 1,5 кабельтовых. Кто-то стукнул — проколы в дипломах. Объяснили: «Отрабатывали маневр сближения на минимальную дистанцию». Корешки, конечно.

Все молекулы гемоглобина всех людей на Земле, несмотря на громадную сложность их строения, абсолютно идентичны.

05.09. Одолели дурацкие сны. Вот сейчас: лечу из Москвы самолетом и вдруг вспоминаю, что в поезде оставил шахматы, которые когда-то подарил моему дяде Шуре Алехин, пытаюсь встретить на перроне поезд, а навстречу... Черт-те знает, что навстречу, но что-то очень страшное.

Вчера принесли РДО от Бранского — МИД Франции перенесло мою поездку на середину ноября.

Мыс Анжу выше нас — он на входе в пролив Санникова, а мы следуем в пролив Дмитрия Лаптева.

«Мадам Анжу» любимая Левина ария, и исполняет он ее на высшем пределе страсти.

Я вам, ребята, расскажу,
Как я любил мадам Анжу.
Мадам Анжа, мадам Анжа
Была безумно хороша.

Я приходил к мадам Анже,
Она встречала в неглиже.
И я бросался на Анжу,
С нее срывая неглижу.

Но появился тут Луи,
И в миг разбил мечты мои.
Все потому, что с тем Луем
Мадам забыла обо всем.

Мадам Анжа, мадам Анжа,
Вы негодяйка и ханжа!
Так кончилась любовь моя
Из-за Анжового Луя.

Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре Петербурга, на Театральной площади, проходящей позади оперного театра.

Но не в ее честь мыс называется Анжу.

Анжу Петр Федорович (1796–1869) исследовал северные берега Сибири между устьями рек Оленек и Индигирка и описал их. На основе астрономических наблюдений составил карту Новосибирских островов. Отличился Петр Федорович и в Наваринском сражении (1827), командуя артиллерией на линейном корабле «Гангут».

Мне часто задают вопрос: почему вы плаваете на Зеленый Мыс? Другого места нет?

Ответ не в книгах. Вот вижу сейчас, как медлительный спутник поднимается к Млечному Пути над мысом Край Леса. Вот и весь ответ.

Ложь всегда красивее правды. В архиве Горького есть мысль о том, что истинное искусство не может процветать среди социальной несправедливости. «Попробуйте объективно написать бытовой роман, и вы увидите, что это труднее изображения мировой проблемы».

Вечером, когда влипли в непредсказуемый лед, и когда я узнал, что Юрий отправился в баню (от электромеханика узнал: он в моем стенном шкафу, мироед, веники держит, которые мне в качестве натюрморта нарисовать хочется), то вынужден был опять лезть на мост и входить в беспросветный лед с третьим помощником.

Минут через тридцать появился Юрий с мокрой башкой и без головного убора — это после болезни! — и потихоньку вошел в роль и принял командование — уже в полной тьме.

Я предложил залечь в дрейф и возможно скорее информировать Штаб Восточного сектора о наличии на традиционном рекомендованном курсе мощной перемычки, но капитан это предложение отклонил и сей секунд пробивается на зюйд, а я этим делом займусь через полчаса.

Пока же читаю Лескова и сотрясаюсь вместе с классиком, электрочайником и «Эрикой».

Мне приятно узнать из предисловия, что Николай Семенович влип в литературу через публикации в газетах корреспонденций, «посвященных различным неурядицам народного быта», «захваченный «очистительным» духом эпохи шестидесятих годов». Все, братцы кролики, на круги своя на Руси было, есть и будет...

06.09. Пятница. Такой мощный ледяной массив не мог не давать метастазов — и мы всю ночную вахту шарахались от них.

По 25 раз кручу башкой в разные стороны и сто раз поджимаю ноги, оттягивая носки, — борюсь со старостью и вообще моцион.

Ночью секунд был даже как-то неуклюже, но любезен: «А хотите посмотреть, как работает рубочный прожектор?». Дошло до него! Вернее, он узнал наконец, где и как включается прожектор. С опозданием узнал, разгильдяй. Но продемонстрировал. Ну, это он по службе обязан. А вот, когда я в четыре часа ночи собрался идти спать голодным, так как не услышал о переносе завтрака (часы отвели), он доложил, что «ключи для вас повар оставил, и ребята пожарили картошку». Так что Иван с опозданием по фазе на 24 часа, но все-таки действует.

Вчера я мимоходом сказал, что получается странно: пароход битком набит картошкой и луком, а гвардейская, самая от века уважаемая, ночная, собачья вахта жует хлеб с сухим сыром. Секонд, конечно, заскулил, что это вышло из моды, повариха зажимает ключ от камбуза — ей лишняя морока: приблизить утром надо и проч... И вот, спустя сутки, сообщил радостный сюрприз: Мое тлетворное влияние начинает действовать: очевидно, мой сигнал был обсужден гвардейцами на сходке, передан поварихе и старпому. И ночная вахта под прикрытием моего авторитета выиграла бой за жареную картошку, а это великолепная штука — жареная картошка со свежим луком в начале пятого ночи.

Светать начинает около трех.

Еще маленькая радость: Юрий подарил мне замечательные солнцезащитные очки. Было солнце сквозь дымку. Под пленкой сплошной серости небо и море сияли каким-то странным розовым светом. Это сильно мешало, когда заглянешь в черную дыру радара, а глаза не успевают адаптироваться. И Юрий Александрович подарил мне заграничные очки, ибо мои отечественные

годятся только трехнедельному покойнику, который из гроба захотел бы незаметно подглядеть выражение физиономий ораторов на гражданской панихиде в крематории.

«У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай Бог никому этого... Те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, и за сие, говоря по совести, многое простить врачам должно...» Это Антон Павлович.

А ты вот не доктор, но вот на десять секунд раньше повернул! И вот судно слишком медленно заходит на циркуляцию. И вот ты ждешь, что сей момент оно захрохнет по камням или напорется на торос. Ждешь, как видите, не часы и дни, а секунды всего или минуты. Но эти отвратительные минуты бывают только у моряков, и за такое им много простить можно...

Всем людям свойственно некоторое выпячивание своих профессий. Видно, этим болеют все. Хотя самому замечательному врачу Чехов не способен был бы простить одного — стяжательства.

Сегодня и моряки, и врачи сильно заразились этим вирусом.

Надо стремиться ходить по рекомендованным точкам! Коли не идешь по ним и припухаешь, то трудно сообщить о том, что застрял не на них.

Что и происходит с нами, начиная с 20.00. Опять влипли в 8-балльный лед, тусклый туман, намешанный с сухим снегом.

Увидел лед на горизонте, решил давать маневренный ход, т.е. сбавить обороты. Тут входит в рубку старший механик, одет в робу:

— Вик Вик! А я только собрался на полном морском ходу диаграммы замерять...

— Сколько вам будет надо времени?

— Час.

Если механик просит час, значит, управиться они смогут за полчаса — вообще-то это закон, но...

— Добро. Позвоните, Олег, когда закончите.

— Спасибо, Вик Вик!

И ты начинаешь мандражировать, считая минуты, ибо ледовая кромка все ближе, а ты должен идти полным и даже не можешь сбавить ни единого оборота — этим всю работу деду испортишь.

Однако игра стоит свеч!

Через двадцать пять минут, очень напряженных, когда ты клянешь себя за идиотизм и мальчишество, появляется стармех и говорит:

— Спасибо! Мы управились.

Он, собака, все отлично понимает, включая твое двадцатипятиминутное мандраже. И потому он теперь тебе обязательно чем-нибудь оплатит в тяжелую минуту.

07.09. 03.00. Венера в чистом ночном небе над Восточно-Сибирским морем. У Амбарчика болтаются два лоцманских судна — «Норд» и «Иней».

На Зеленом Мысу сразу начали выгрузку бревен на автотранспорт, но из-за плохой подачи грузовиков и нехватки автокранов будем стоять долго...

В порту уже стояли «Кигилях» и «Василий Ян», а также два речника для распаузки «Братска». Мы оказались пятыми в очереди на распаузку.

Чук собирается после этого рейса завязывать с морями:

— Закажу звон в церкви. Она, кстати, напротив моего дома. Правда, теперь не звонарь звонит, а полуавтомат, но и так сойдет...

Как прекрасны были времена, когда можно было писать и даже произносить что-нибудь вроде: «И странное волнение коснулось души моей».

Как дико и непристойно прозвучали бы эти слова сейчас здесь. И как ужасно, что уже никогда ни один русский не произнесет таких слов.

А я помню, как Николай Николаевич Радченко, друг юности матери, который пригрел нашу семью в эвакуации, произнес нечто подобное в Бишкеке, когда немцы были под Сталинградом и он с моей матерью возвращались, покачиваясь, с донорского пункта. Сегодня мне кажется, что он был похож на Куприна, но лысый и без усов и бороды... А его сын Никита стрелял из рогатки на верхушках пирамидальных тополей, и галки крикливыми стаями кружились на фоне далеких заснеженных гор...

08.09. Выступал на эстонском судне «Ристна», которое зимой работает на Африку — на дверях надстройки установлены были противомоскитные сетки, чисто.

Любимица команды веселая и лукавая лаечка Рада. Она понежничала со мной, покусывая руки острыми зубками, которые у нее еще только росли.

Главной хозяйкой ее была единственная на судне женщина, очень большого роста, но со стройной, завлекательной фигурой, с лицом удивительной чистоты, с ясными, чуть шальными глазами. Повариха.

Симпатичный капитан. Рыжая, густая борода и усы. Начрации Каароль.

В библиотеке казенных книг не содержалось. При помощи эстонских книголюбов экипаж собрал библиотеку на свои деньги. И потому книги не изуродованы лиловыми штемпелями, а на форзацах красуются большого размера экслибрисы — Эстония в виде величественной женщины и название судна. И мне было приятно увидеть свои книги, которые никто не прячет под замок, ибо их тут не воруют...

Ядовитый вопрос после выступления задал кто-то из местных деятелей с гидробазы: «Почему у вас в фильме «Путь к причалу» матрос, стоя на руле, свистит? Это не положено по уставу и по морским традициям тоже».

Ну что ты будешь делать? Я даже растерялся. Говорю, что, мол, композитор Петров меня не спросил и написал песню с художественным свистом, так что все недоразумения в его адрес.

Эстонцы сказали, когда уже сажали на катер: «Если вам станет плохо, приходите на любое эстонское судно, и мы вас ото всех защитим и всем вжарим!». Я чуть не заплакал.

Если бы знать, что эти встречи с эстонскими моряками протянутся на десятки и десятки лет, и я не буду гадать: уцелела ли могила Славы Колпакова в Палдиски...

09.09. Приказали балластом следовать на Певек и брать на Чукотке генгруз.

Пайлот Ежов — один из старейших из ныне действующих на Колыме. На обходном фарватере створа Амбарчик не вписались в поворот и выскочили за зеленый буй северной стороны, обошлось нормально, но чувство не из приятных. Гирокомпас барахлил, плавала поправка — не знали, почему, в пределах 8°. Осадка была всего 4.35. Но шли полным ходом и прижались к бую, ограждающему банку, а после него не успели уже вывернуть.

Юрий Александрович заметил:

— Мораль: хочешь дальше жить, чти лоцию, в которой прямо рекомендуют в этих местах идти малым ходом.

Спасло то, что рейка была +40 см. Пайлота сдали в 23.00.

На горизонте сплошной лед. Штаб приказал обратиться непосредственно к ледоколу «Капитан Хлебников». На наш двойной запрос ледокол дважды отвечал, что знать о нас ничего не знает. Лежали в дрейфе до утра. Утром стали на якорь.

Юрий Александрович принес «Огонек» с моими рассказами.

Много раз говорил, что не умею расспрашивать людей. Этим объясняется и мое обычное весьма незаметное участие во внутрисудовой жизни. Но и не умея расспрашивать людей, я часто нахожу среди окружающей помойки людей чистой нравственности, человечности и одаренности. Это я о Резепине.

Любит повторять лозунг (видел в Игарке): «От взаимных претензий — к взаимопомощи и поддержке». Это речь об отношениях между моряками и лесовиками.

Дал РДО в «Огонек»:

«ЖУРНАЛ ПРОЧИТАЛ КОЛЫМЕ КУПИТЕ ХУДОЖНИКУ БУКВАРЬ С ГОЛОЛЕМ Я ОБЩАЛСЯ В ТРУСАХ МАЙКЕ МАТРОСЫ УДИВЛЯЮТСЯ МОЕМУ ФРАКУ ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛИЧНО СЛЕДУЕМ С ЧУКОТКИ ОПЯТЬ КОЛЫМУ ЗАТЕМ ИГАРКА ВСЕОБЩИЙ ПОКЛОН ОТ ЯРКОГО РУССКОГО ПРОЗАИКА= ВИКТОР КОНЕЦКИЙ».

Меня запрашивали с танкера «Хрустальный». Прочитали журнал. Радист ровным голосом ответил: «У Виктора Викторовича приемные дни раз в месяц по выходным».

10.09. 16.00. Получили приказание «Хлебникова» следовать до меридиана 166 градусов для встречи с ним. К нолю часам встретились с ледоколом и легли в дрейф рядом с ним в пяти-шестибалльном льду.

Ночью — озноб, ломота и прочие прелести. Был пакет сухих сливок и сгущенка. Я ссыпал в кружку это добро, залил водой и сунул в смесь электрокипятильник. Впереди трудный бросок через три моря и два пролива — Санникова и Вилькицкого. Резепину одному тяжело придется.

Настроение, как всегда при гриппе или острой простуде, аховое: никто тебя нигде не ждет, никому ты в целом мире не нужен, а сдохнешь — ничего от тебя в мире не останется.

Дома болеть противно, а уж на судах...

11.09. 06.30. Утром вызвал дока. Температура 38,6. Говорю: как хотите, а через сутки я должен быть полноценным судоводителем.

Док у нас очень интеллигентный, добрый, в морях первый раз. Принес мне кучу банок и склянок, выложил по жмене на стол разных таблеток и сказал, что я должен их глотать каждые два часа. Я вас, говорит, выведу. И сразу мне на душе светлее стало — психотерапия!

Пришел Юрий. Говорит: «Если бы на вас одеяла не было, я бы ваше лицо от подушки не отличил».

И рассказал, что ночью получил указание ХЭГСа: аренда закончилась, и до указаний пароходства никуда не идти.

В 15.30 получили указания:

«ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ ГЛАВФЛОТА СЛЕДУЙТЕ ПЕВЕК ПОГРУЗКУ 700 Т ОВОЩЕЙ ТХ ТИКСИ НАЗНАЧЕНИЕМ ЗЕЛЕНЬИ МЫС ТЧК ИНФОРМИРУЙТЕ ХЭГС СОСТОЯНИИ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ».

Через полчаса наконец-то получили указание «Хлебникова» следовать в точку встречи.

Подшли «В. Полярков» и т/х «М. Аммосов», выстроились в ордер, пошли в прибрежную полынью. После мыса Баранова лидерство принял «Рубцовск», который вел нас по 7-метровой изобате.

12.09. 18.00. Вошли в 10-балльный лед, до ноля часов ломались в нем, прося ледокол «Хлебников» обеспечить безопасную проводку. Ледокол первым увел «Рубцовск». Дело в том, что хотя «Рубцовск» был последним в очереди на проводку, но приписан он к Тикси.

После «Рубцовска» ЛК хотел взять «Аммосова», но тут я поднял скандал, и тогда они сообразовали подойти к нам.

Вспомнил, когда и где простудился. Пошел за газетами на берег без кальсон. А киоск открыли не в 10, а в 11 -- замок заело. Хороший замок, здоровый, американский. Только его задом наперед повесили. Киоскерша побежала за ломом, а я сидел на ветру и смотрел, как внизу сопки копошатся на причале погрузчики, грузовики, порталные краны и люди. Со мной рядом сидели три бесхозные собаки и тоже смотрели. Вот тогда и простыл, хотя потом, когда крушил замок и дверь ларька, то согрелся.

13.09. На траверзе полярной станции Айон (Айон Западный). В 10-балльном льду, торошенном.

«Хлебников» наконец взял на буксир. Идем на усах.

В дрейфе, ждем его возвращения.

От хреновой жратвы у всех изжога.

В 07.00 распрощались с «Хлебниковым» у Северного Айона. Вышли на кромку около 06.00. Северное сияние. Лед 3-4 балла, тяжелый.

Очень заметна разница в стиле работы дальневосточных и мурманских ледоколыщиков. Разные, вовсе разные психологии у русских людей на Востоке и на Западе России.

Мурманчане твердо уверены, что дальневосточники терпеть не могут выручать друг друга, если это связано с малейшим риском.

Получил РДО:

«РОМАН ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ 5 СЕНТЯБРЯ СДАН В ПРОИЗВОДСТВО= ГАЛАКТИОНОВ».

Пришли в Певек в 14.00. Южак. Стали на два якоря. Один стравился до жвако-галса.

Дал РДО старинной приятельнице Наташе Ивановой:

«ЧУКОТКА ШЛЕТ ПРИВЕТ ШИПОВНИКУ РЕЙС ОПЯТЬ ЗАТЯНУЛСЯ ТЯЖЕЛОЙ ОБСТАНОВКЕ ТРАССЕ ВСЯКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫЛЕТЕЛО ИЗ ГОЛОВЫ ВМЕСТЕ МОЗГАМИ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ РЕАКЦИЮ МОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ОГОНЬКЕ ПРИВЕТ= ВИКТОР КОНЕЦКИЙ».

Получил РДО:

«ТХ БУКОВИНА АРХ/ММФ ТХ КИНГИСЕПП КОНЕЦКОМУ= ОЧЕНЬ РАДЫ ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧЕ ВАМИ СТРАНИЦАХ ОГОНЬКА ПУСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭТОГО РЕЙСА СТАНУТ НОВОЙ КНИГОЙ СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ= РАДИООПЕРАТОРЫ СМП КОПТЯЕВА МАКАРОВА КАРМАНОВА».

«БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО НО ЭТО ПОДНИМАЕТ ВВЫСЬ ОГОНЕК КАЖЕТСЯ ЧИТАЮТ ВСЕ И Я СНОШУ ОБЪЯТИЯ КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ВАШЕЙ ТОЩЕЙ СПИНЕ И ГРУДИ. НАДЕЮСЬ БЫТЬ КРАСНОЯРСКЕ ОВСЯНКЕ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ= КУРБАТОВ».

Южак. От причала без помощи всяких буксиров отошла «морковка» под гордым именем «Капитан Ман». Странно видеть это имя на борту судна. Все вспоминается, что на выставке «Голубые дороги Родины» в Манеже бюст капитана, как и мой, были украшены перевернутыми фамилиями.

Когда южак стих, начали сниматься с якорей. Стояли-то на двух, и пото-

му за время стояния цепи закрутились. Съемка получилась тяжелой. Правой лапой левого якоря подцепили канат правого. Очень спокойно и толково помогал буксир «Капитан Беренгов». Тот самый, с которым мы еще вместе слушали Высоцкого на здешнем рейде еще в 75-м году. Володя еще был жив...

14.09. 09.30. Отшвартовались к теплоходу «Тикси» для приема с него картофеля. Работа возможна только на один ход краном т/х «Тикси» из твиндека его первого трюма.

Надо выгружать самим — не хватает грузчиков.

Пошел с Юрием Александровичем на «Тикси». Мостик Юрия ошеломил. Наш «Кингисепп» с мостика смотрится, как шлюпка.

Капитан «Тикси» оказался двоюродным братом дочери С.А. Колбасьева. А старпом — Людмила Анатольевна Тибряева, единственная старпомша на нашем флоте — однокашница Юры по училищу.

Они считали груз и потому людей много выделить не могли.

Собрали собрание. Энтузиазма не было, но «надо так надо».

«НЕТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ»

Вначале я услышала голос. Этот спокойный, мягкий, приятный голос объявлял по судовой трансляции, когда и где состоится инструктаж членов команды, которым предстоит работать при самовыгрузке.

Вскоре в дежурную рубку вошла довольно молодая, среднего роста женщина и спросила:

— Вы меня ждете?

Тогда я поняла, что услышанный голос принадлежит ей — старшему помощнику капитана теплохода «Тикси» Людмиле Анатольевне Тибряевой.

Она пригласила в каюту, где, сопротивляясь увяданию, стояли в вазе астры, купленные еще в Мурманске почти полмесяца назад. Здесь и произошел наш разговор, дружелюбный и вполне откровенный.

Моряком она задумала стать еще в школе. Конечно, практических представлений о профессии не имела, просто начиталась книг. Работать на флоте начинала, как все женщины — в числе обслуживающего персонала. Но, хлебнув этого нелегкого труда, не отказывалась от задуманного.

Два года добивалась права поступить в Ленинградское высшее инженерно-морское училище им. адмирала С. Макарова. Для этого пришлось обратиться в Министерство морского флота.

Училась заочно, в 1973 году получила диплом об окончании судоводительского факультета. Параллельно продвигалась по службе: вначале была третьим помощником капитана, затем вторым.

— Работа судоводителя тяжела для женщины, — откровенно призналась Людмила Анатольевна. — Но мне она по характеру. Конечно, нельзя не сказать о том, что в отношении меня, поскольку случай нетипичный, многое решается индивидуально...

Любимое дело забирает все силы, но вместе с тем, считает она, именно флот подарил ей радость встреч с прекрасными людьми. Вот и сейчас, на борту теплохода «Тикси», ей помогают освоить это мощное судно новой арктической серии специалисты различных служб. Поскольку работает она здесь недавно, своей главной задачей считает как можно лучше узнать его возможности. Вскоре старшему помощнику капитана Людмиле Анатольевне Тибряевой вместе с экипажем теплохода «Тикси» предстоит принять участие в зимней навигации на линии Мурманск — Дудинка.

Я мысленно представляю себе, как во время проводки каравана, повторяя команды, идущие с ледокола, в эфире вдруг прозвучит приятный женский голос, и на мостиках ведомых судов с изумлением переглянутся вахтенные. Это внесет в работу каравана особый колорит, поскольку жен-

щина-судоводитель — такое явление удивительно даже для нашего, ко всему привычного времени. Г. Фомичева». — Газета «Полярная звезда», орган Чаунского райкома КПСС, 7 сентября 86 г.

Стою рядом с женщиной — старшим помощником капитана — у фальшборта, смотрю на работу судовых кранов. Падает мокрый снег. Женщине меньше сорока. Выглядит слабенькой эта Люда Тибряева. Лепит из мокрого снега снежки и кидает в черную воду за бортом. Ее вахта, но кроме обычных обязанностей вахтенного штурмана, она еще руководит работой и своих, и чужих работяг-перегрузчиков. Из трюмов мат в пять этажей.

Людочка рассуждает о том, что крановщики в такую погоду устают быстро, и меньше, чем за три дня, перевалить семьсот тонн картошки в наши трюма вряд ли получится.

— А домой очень хочется? — спрашиваю я.

— Очень.

Я гляжу на ее усталое лицо, на вялую работу крановщиков и говорю, что в двух случаях из трех аварии на море происходят по вине «человека на борту».

— Человеческий фактор, человеческий фактор... Вы про Демиденко знаете? В Средиземном море еще он почувствовал сильные боли в области сердца... (Я уже давно заметил, что о специальных вопросах она говорит так, будто читает инструкцию или какой другой служебный документ.) Сказались волнения длительного, более чем годового плавания, да еще в самой неприятной ситуации. В этом рейсе капитаном Демиденко шел в первый раз, ранее подменял мастера, а до этого работал только старпомом. Ну, на любой подмене нервы больше третишь. Судовой врач определил: прединфарктное состояние, нужен полный покой. Теплоход тем временем входит в один из сложнейших проливов мира...

— В Босфор входит. Чего ж ты мне из инструкции жарить? Тебе не холодно?

— Нет. Ну, прошел капитан Босфор на уколах и разных таблетках. К Одессе подошли как раз в новогоднюю ночь. Стоял сильнейший туман. Свободного лоцмана не оказалось...

Здесь снежок у нее вылепился уже достаточный, и она в очередной раз швырнула его за борт в черную чукотскую воду.

— Ну, свободного лоцмана, конечно, не оказалось. Решили заходить в порт, используя береговую радиолокационную станцию. Видимость составляла не больше пятидесяти метров. За несколько кабельтовых до Воронцовского маяка береговая наводящая радиостанция вырубилась. Что делать — на якорь становиться? А врач ему говорит, что через пару часов ему уже никакая «скорая» не поможет. Залез он в порт на ощупь. И ошвартовался благополучно. И сразу потом увезли его, голубчика, на три месяца в больницу. Сейчас не плавает, а моего возраста мужчина. И все же, как видите, аварии не произошло. Вот вам и человеческий фактор.

— Ну, а что ты думаешь про «Михаила Лермонтова»?

— В проливе Кука... У берегов Новой Зеландии... Туда меня еще не заносило. Да, потопить пароход при ясной видимости, отсутствии сильного волнения моря, полной исправности современных электронных приборов — это уметь надо. И вообще, — заключает она, швыряя за борт очередной снежок, — бей своих, чтобы чужие боялись!

— На мой взгляд, — говорю я, — мы давно уже чужих запугали.

— Тут вы правы, но мне бы своих запугать да в руках держать.

— Держишь, — сказал я со спокойной совестью, ибо это соответствовало наблюдаемой мною на данный момент ситуации. — Слушай, — спрашиваю, — а ты влюблялась когда-нибудь?

— Ужасно влюблялась! Только он не любил, а чтобы меня не травмировать, только вид делал. И я ушла.

Я довольно сбивчиво лопочу о том, что в отношениях мужчина — женщина иногда наступает период, когда благородное поведение одной из сторон приносит только вред более любящему, обреченному рано-поздно лишиться менее любящего. И вот тогда перед менее любящим встает задача разочаровать в себе более любящего, то есть вести себя гадко, чтобы... ну, ясно, для чего. И вот, если он по натуре благороден и порядочен, то он все не может подвинуть себя на гадости. И все ведет и ведет самого себя по порядочной дороге и тем более привязывает к себе обреченного. И в результате сам первый погибает в порочном кругу.

— Это я-то погибну в порочном кругу? — хохочет Людмила в ответ на мои сентенции. — Черт! Надо досрочно бригаду менять: едва мои матросики шевелятся, а притворщиков у меня нету.

— Куришь? — спросил я Людмилу.

— Нет.

— Странно. Когда-нибудь думала, почему так много женщин курят?

— Обезьянничают.

Я только вздохнул, ибо имею цельную теорию на этот счет. Старушки наци дымят, ибо войну прошли, а махорка помогает против голода, холода и стрессовых ситуаций. Среднего возраста женщины курят, ибо работают, а так как работает основная масса женщин в женских же коллективах, то курение среди них расползается, включая самых целомудренных: как часы безделья и чесания языком в перерывах не скрасить курением? Ну, а пацанки и интердевочки других профессий курят действительно уже в силу подражания гнилому кинозападу.

— Знаешь, чего более другого на свете меня бесит: что женщины от Евы и до сих пор никак и нисколько не изменились. Их стабильность доводит меня до судорог. Пушкин задумывал роман на такую тему. Ошметки романа вошли в «Пиковую даму». Мало чего я так боялся в детстве, как этой старухи в белом и шелпающей ночными туфлями, да и сейчас не хотел бы с ней встретиться...

— Привыкли только к красоткам — вот старух и боитесь. А про «Лермонтова» так скажу. Судно — сообщество людей. Но судно рассматривается как именно временное сообщество, в котором люди собрались вместе жить и работать в определенные периоды времени, прежде чем расстаться для последующей перегруппировки в новые, подобные данному, временные сообщества. Любая модель воспринимается как совокупность человеческих отношений на борту судна. Рассматривая ее как рабочую систему, человек становится озабоченным такими проблемами, как мотивы работы, эффект от рабочих усилий, уровень опыта и практики; персональная реакция людей на условия работы, качество технологии, предусматриваемой системой, факторы, стимулирующие эффективность рабочего процесса... — это Людмила опять из какой-то спецброшюры несет: зуб даю!

Но продолжаю слушать из последних сил:

— Как замкнутое сообщество или учреждение судно прежде всего рассматривается с точки зрения производственной дисциплины и контроля, социального деления, различного статуса и привилегий... Что это «Макаров» задумал? Гляньте-ка на рейд. Он вроде собрался у нас по носу кормой к причалу подходить? Кучу ацетиленовых баллонов на причале видите? Это их баллоны. Навалит же он на нас! Как пить дать навалит! Спятели они там, что ли?

— Весьма даже похоже! — соглашаюсь я.

— Побегу-ка я за капитаном, — говорит Людмила. — Очень мне маневры Степана Осиповича не нравятся, хоть он и большой адмирал был.

— Беги, дорогая! — ору ей вслед. — Видишь, женщины на борту приносят несчастья!

Она на бегу запускает в меня снежком и карабкается по трапам в надстройку своего «Тикси».

Я бегу на бак, т.е. в самый нос своего «Кингисеппа».

Что коварный «Макаров» задумал нынче? Семь лет назад в этих же местах он на «Державино», на нас с Василием Васильевичем Мироновым, целый айсберг опрокинул — пять дыр в двух трюмах. Уродовались с цементными ящиками до самого Владивостока...

Сами здешние ледобои про «Макарова» говорят, как биндюжники в Одессе: «Макарыч у нас самый грубый из грубиянов!».

Объясняю ситуэйшен.

Итак, огромный линейный ледокол работает минимум средним задним ходом на рейде Певека...

У причала № 1 стоял у нас по носу теплоход «М. Аммосов». Между кормой «Аммосова» и нашим форштевнем было метров тридцать. И вот в эту щель целился «Макаров» своей тупой (во всех отношениях) кормой. Судя по куче ацетиленовых или кислородных баллонов на причале, адмирал хотел подойти к куче, чтобы забрать баллоны кормовым краном и без всяких лишних хлопот.

Я наярил на бак так, что забыл про тромбы в нижних конечностях. Клянись, что этот самый «Макаров» раздолбал семь лет назад «Державино», как бог черепахи.

На полубаке уже торчали, наблюдая за приближающейся кормой ледокола, наш боцман и парочка бездельников матросов.

Штиль был. Солнце. Мир и покой в чукотской природе.

Когда я понял, что навал ледокола неизбежен, то приказал всем покинуть полубак, а сам присел на корточках за брашпилем, чтобы наблюдать картину в деталях. Еще мысль мелькнула: черт! Фотоаппарата нет! (Лучше фотографии нет на свете документа в судебных делах.)

Ну-с: трах!.. бах!.. искры... крен... орехами щелкают наши леерные стойки... загибается внутрь фальшборт...

Совсем рядом рожи макаровцев, которые наблюдают за нами презрительно-равнодушно, хотя острый угол нашего полубака вспарывает на «Макарове» шикарный вельбот — просто в бифштекс их вельбот превращает.

Ору ледобоям:

— Эй! У вас в вельботе в баки бензин залит?

— А хрен его знает...

— Загасите окурки, черт бы вас побрал! Если раздавило бензобак, то сейчас полыхнете!

— А хрен с ним — пушай полыхает...

Это я с рядовыми ледобоями разговариваю. Высшее начальство изучает все происходящее с небоскребной высоты левого крыла ходового мостика. Наконец высокому начальству становится окончательно ясно, что фокус не получился. Под кормой «Макарова» вскипает могучий бурун, и ледокол невозмутимо удаляется обратно на рейд — и без баллонов, и без вельбота.

Фальшборт, который завалил нам ледокол на протяжении метров десяти, теперь исключает возможность погрузки на палубу леса в Игарке. Выпрямить фальшборт своими силами не представляется возможным. Это я Юрию Александровичу докладываю.

— Ну и сволочи эти дальневосточники, — замечает он, натягивая ватник, ибо готовится спускаться в трюма, дабы собственным примером вдохновлять наших перегружателей мерзлого картофеля. — А вы, пожалуйста, начинайте оформлять документы по навалу. Капитану порта и в штаб я сейчас сам доложу.

— Добро.

Из специального морского пособия:

«Важно помнить, что в случае столкновения кажущиеся правильными собственные действия при расшифровке всей ситуации могут оказаться ошибочными, предпринятыми не вовремя или на основании неверных предположений. Но и безошибочные действия, как правило, нуждаются в серьезных обоснованиях и доказательствах. Нельзя в то же время забывать и о том, что любая необъективная версия случая, созданная в стремлении уйти от ответственности, легко уязвима, как бы тщательно она ни была разработана. Поэтому лучший метод защиты — это предельно лаконичное изложение — и письменное, и устное — конкретных фактов, по которым и будут оцениваться действия командования судна».

Пожалуй, писателям может быть полезно чтение спецморпособий.

А вообще-то большинство аварий — результат нарушения самых обычных, хорошо ребенку известных правил и положений. Но!.. Но у нас на борту женщина была!

Вечером пришла ко мне в каюту Людмила, села в кресло, а на край стола положила ноги в сапогах. Сама, конечно, в брюках.

Сидит, молчит и глаза закрыла — смертельно устала.

— Вас в эту навигацию «день бегуна» проводить заставляли? — спрашиваю Людмилу, глядя на то, как с ее сапог сползает на специально подложенную газету мокрый и грязный снег.

Она приоткрывает глаза:

— Нет, отбились: «Учитывая специфику вашей работы, разрешаем продлить «день бегуна» сроком одну неделю». А вы, Виктор Викторович? Тушением пожара хадлонами сталкивались в жизни?

— Нет, вообще про такую чертову штуку не слышал.

Фреон сто четырнадцать, — опять закрыв глаза, тщательно, как на экзамене, вспоминая, сомнамбулически бормочет Людмила. — Тушение твердых и жидких горючих веществ и материалов... за исключением металлов и горящих без доступа воздуха веществ... особенно в закрытых объемах... и особо эффективен против тлеющих материалов...

— Самое умное, что ты можешь сделать, — это родить себе цель в жизни, — советую я старшему помощнику капитана теплохода «Тикси», — причем родить буквально, то бишь сына или дочку, а затем уже носиться вокруг него или нее, как бабочка у лампы. В крайнем случае — роди, а потом носись вокруг света.

— Что ж, без мужа рожать? — здесь ее глазенапы распахиваются полностью. Хорошие глазенапы.

— Это уж как хочешь.

— Если муж, — вслух раздумывает Людмила, — по полгода без меня будет на берегу жить, что получится?

— Вот этот вопрос за гранью моего дарования. Прочитую тебе только одного старого маримана: «Мне тяжело оставлять жену на положительных героев»...

(Меньше чем через год у себя дома на Петроградской стороне увидел по ТВ, как Людмила Анатольевна Тибряева отваливала на «Тикси» из Мурманска на Канаду в роли капитана.

Ну что ж, счастливого плавания тебе, Людмила Анатольевна, по всем океанским трассам.)

При оформлении документов после навала уточнил стоимость суточного содержания нашего «Кингисеппа» — 1176 рублей.

Ориентировочные технические убытки:

а) Стоимость исправления аварийных повреждений — 2500 рублей.

б) Стоимость пропиленового конца — 1500 рублей.

Определить убытки от того, что мы не сможем в Игарке брать на палубу пиломатериалы, даже приблизительно определить сейчас мы не можем.

К документам удалось приложить фото, сделанное капитаном теплохода «Тикси» с пеленгаторного мостика в самый момент навала.

Какой молодец дальний родственник Сергея Адамовича Колбасьева!

Но замкнутый мужик, держит меня на дистанции.

15.09. У помпохоза в кладовке обнаружили бидон с осадком от браги. Пригрозили списать, хотя никуда мы его списывать не можем, ибо в судовой кассе всего пятьдесят рублей.

Он — отказался ехать за продуктами после ночной работы по разгрузке, хотя пил пиво с девкой (с «Аммосова») и с электромехаником (Сергея — из московской семьи, все меня зовет музыку слушать). Капитан Резепин снял их с рабочей смены. Пошел сам. И на 4-м ящике рухнул — острейший приступ радикулита. Два укола сделал доктор. Даже ползать не мог мой мастер.

Юрий Александрович очень злится на себя за то, что выгнал из трюма трех дезертиров-интеллектуалов. Ведь именно в результате этого он решил сам работать на штивке ящиков с картофелем.

Схватил 100-килограммовый ящик с мокрой картошкой и решил его себе на плечо вскинуть. И тут, конечно, еще и вечный моряцкий остеохондроз сработал — скрутило его так, что из трюма сам вылезти по скоб-трапу не смог. Боли адские. Подняли из трюма в грузовой сетке лебедкой.

По мнению гидрографа Иванова, вся наша перестройка сейчас — это сведение счетов друг с другом. Только метод изменился: теперь подсовывают проверяющим шампанское или шашлык, а затем врываются свидетели.

Принес амбарную книгу дневников.

На месяц здесь ребенку по карточкам положено две банки сгущенки.

От нечего делать в пустой радиорубке принимает помпа:

«РАДИО ШТОРМ ВСЕМ СУДАМ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ= УРА- ГАН ЭРЛ 15/9 0 800 МСК НАХОДИЛСЯ 3030 СЕВЕРНОЙ 50 30 ЗАПАД- НОЙ СМЕЩАЕТСЯ ВОСТОК 7 УЗЛОВ ОЖИДАЕТСЯ 16/9 0400 МСК 30 30 СЕВЕРНОЙ 4 800 ЗАПАДНОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕТЕР 80 ПЮ- РЫВЫ 95 УЗЛОВ= ВАСИЛЬЕВ».

Молотит печатающая машина зенитным пулеметом. Он:

— А в наше время-то! На ключике!

Вечером чаевничал с Людмилой, которая весь день работала за боцмана, собственноручно открывая трюма и твиндеки.

Сам капитан «Тикси» стоял на сигнальной отмашке грузчикам.

Да, конец навигации — это, конечно, сумасшедший дом, нет, вернее, пожар в плавучем бардаке.

И я, очевидно, уже на грани свихнутости: встретить в Пскеве родственника Сергея Адамовича Колбасьева и не испытать никаких удивленно-удивительных эмоций! Тут все-таки вру. Я, когда был у него в гостях, попробовал что-то копнуть, но он сразу зажался угрюмо и отчужденно.

Людмила за чаем меня просто ошарашила. Вдруг спрашивает:

— А вы знаете, что двадцать восьмого декабря одна тысяча девятьсот восьмого года крейсер «Адмирал Макаров» был в Мессине с визитом вежливости?

Я не знал. Тогда Людмила меня добила, сообщив, что тогда сицилийские мафиози собрали 15000000 лир в помощь нашим армянам.

За всю жизнь в океанах повстречалась мне женщина-судой тиножды.

Дело было в Атлантике, когда я работал на «Невеле». (Между прочим, тогда судьба и с Жеребьятьевым пересеклась.)

У нас была почта для одесского теплохода «Бежица». «Бежица» принадлежала к тому же семейству экспедиционных судов, что и мы. Они возвращались после семи с половиной месяцев плавания домой. И теперь шли от берегов Уругвая.

Старшим помощником капитана на «Бежице» оказалась женщина. Грубоватый женский голос просил по радиотелефону ящик масла и мешок макарон. Наш чиф предложил обмен на свежие фрукты.

Женский голос сообщил, что последний раз были в порту два месяца назад и уже забыли, как фрукты выглядят.

Потом наш доктор просил у коллеги пипетки и клейкий пластырь. Коллега требовал спирт.

Мены не состоялись.

«Бежица» забрала свою почту из дома, наши письма домой и легла на курс к Одессе.

При приветственных гудках не хватило воздуха у нас. При прощальных — у них.

Я долго смотрел на удаляющиеся огни.

Интересно, позволяет ли себе женщина с тремя широкими нашивками на рукавах тужурки чувствовать то, что от века внушено ей чувствовать как женщине? И взялся бы Хемингуэй писать о женщине-старпоне на экспедиционном судне? И как она покупает мясо в магазине? И кто ждет ее в Одессе?

Холодные листья падают там сейчас с платанов. И таксисты скучают на стоянке возле вокзала. А в вокзальном сквере сидит и дремлет полусумасшедшая старуха, бывшая судовая уборщица. Она продает семечки. Люди жалеют старушеницу, кидают гривенники и пятаки. Когда набирается рупь с полтиной, старушеница покупает четвертинку. Свеже опьянев, говорит непристойности мужчинам, которые чинно покупают мороженое.

Я знаю эту старушеницу давно и знаю, что она терпеть не может мужчин с мороженым...

В Одессе особенно хорошо ночью возле памятника Ришелье. Парапет набережной деревянный, изрезан именами, датами и дурацкими выражениями. В черном провале рейда поворачиваются на якорях корабли, повинувшись ветру и течению. На них горят палубные огни, и не сразу разберешь, где огни порта и где — кораблей. Бродят влюбленные. И тихо трогает набережные и причалы волна. Как женщина трогает мужчину легкими пальцами, чтобы не дать ему уснуть, чтобы не остаться одной, — так трогает море приморский город...

16.09. Проснулся в 06.00. Все в снегу при сизо-сером тяжком небе. Пахнет русской зимой. Гидрограф Иванов вчера настоятельно рекомендовал нам убраться с Колымы до 25 сентября — остается меньше 10 дней.

Лук и чеснок, которые мы принимаем с «Тикси», идет не сразу потребителю. Груз для Билибина — там атомная электростанция. На само Билибино лук и чеснок будут вывозиться с Зеленого Мыса зимником... Потому билибинские сопровождающие очень строго следят здесь за тем, чтобы мы не перегружали овощи при снеге, дожде и отрицательных температурах.

РДО от Л. Шкловского:

ОДНАКО ВОЛНУЮСЬ НАДЕЮСЬ БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОМ ОГОНЬКЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ИНТЕРВЬЮ С АСТАФЬЕВЫМ ПОКЛОН БУДЕШЬ ЗАЕЗЖАТЬ 18/9 ПРИХОДИМ СИРИЮ ЖАРА ТРОПИЧЕСКАЯ КРЕПКО ОБНИМАЮ ТЕБЯ СКУЧАЮ ВСЕМ ПРИВЕТ= ЛЕВ».

Прочитал я радиограмму, посмотрел на кораблики вокруг, которые бода-

ли льдины, не сходя с якорных мест в проливе Лаптева, и спустился в каюту, чтобы гуманитарно мыслить.

А теперь вы, дружище-читатель, представьте себе нормального моряка, которому гуманитарные размышления до фени. Каково ему сутки за сутками ждать у моря погоды? Про что он, нормальный моряк, мыслит, ежели по работе он уже все обмыслил? Тогда он про жену начинает воображать, про то, что она в Сочи отдыхать поехала...

Самое трудное и тяжкое в длинном рейсе — отсутствие художественных людей вокруг. Увы, моряки часто лишены эстетического ощущения мира. Во всяком случае, мне не повезло встречать таких на судах, когда пришлось плавать долго. В антарктическом рейсе 1979 года я почти разучился говорить. От постоянного одиночества. И дело было не в больших зубах, а в этом...

Вечером по ТВ смотрели бокс из Гаваны, где наши боксеры нещадно лупили негров, но победу нашим ни разу не присудили, вероятно, потому, что на матче присутствовал сам Фидель.

У капитана, как и у Льва Шкловского, с Фиделем знакомство короткое. Он много работал на Кубу и несколько раз встречался с Кастро, который любил посещать наши суда.

Чувствуя себя в силу этого свободно, Юрий Александрович, когда наши ребята лупили кубинских негров особенно энергично, приговаривал:

— Пристрели его наконец, чтобы не мучился больше!

Наблюдая своих соплавателей, я пришел к выводу, что самым общим для всех является полнейшее отсутствие каких-либо страхов, предчувствий, опасений перед той дорогой, которая нас ждет. Ведь каждый отлично знает, что на обратном пути будет достаточно приключений, ибо ледовые прогнозы чрезвычайно тяжелые. Но никто не спешит заглядывать в будущее. Фатализм можно определить одной фразой: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут».

17.09. Юрия Александровича окончательно скрутило в штопор.

Вызывает по радиации Штаб: на баре Колымы подойти к «Братску» и взять с него до полной вместимости картофель. От такого указания окончательно выпадаем в уныние. Составляем жалобную РДО в Ленинград. Я ее печатаю.

Метель при нулевой температуре. Люди устали — у всех синяки выше локтей на сгибах рук. Это от перетаскивания ящиков. Все жалуемся на ноги.

Дезертиров трое: Сергей, электромеханик, невеста которого из столичной элиты, 25 лет; помпохоз; 4-й механик, 55 лет.

Сергей «из интеллектуалов», приглашал не раз к себе послушать музыку. Под угрозой надвигающихся репрессий за их отказ от штивки груза перепугался и замельтешил, принес справку о том, что в феврале перенес операцию и освобожден от тяжелой работы. Справку я порвал на его глазах и выкинул в иллюминатор. А разозлился я так еще и потому, что электромеханик так и не протянул кабель к «Капитану Берингу», чтобы дать нам возможность разговаривать с Ленинградом через спутник.

Штаб приказал капитану лично явиться для обсуждения ситуации.

Пошел я. Снег, грязь. Очень трудно карабкаться по сопкам.

В оперативной комнате Штаба встречает меня человек весь в нашивках, чем-то смахивающий на Кальтенбруннера, всматривается в меня.

— А! — очевидно узнал. — Мне настоящий капитан нужен.

— Придется вам побеседовать со мной. Согласно приказу начальника БМП я полностью заменяю капитана, который сейчас болен.

— Вы трезвый?

Я был трезв, как тщательно промытое стеклышко, ибо в глухой завязке больше двух месяцев. А два месяца, проведенные в работе и полнейшей трез-

ности, это для меня то, что для нормального человека год в Карловых Варах, то есть нервы в замечательном состоянии.

— Вы почему отказываетесь две тысячи картошки брать?

— Потому что не можем.

— Кубатура трюмов, товарищ Конецкий?

Узнал, сука! Сейчас он мне даст прикурить!

— Каких? — невинно спрашиваю.

— Всех.

Объяснил, что можем взять «без выхода на палубу» 100 т в № 1, 500 т в № 3, 800 — в № 4, это учитывая осадку в 4,5 метра для прохода бара Колымы.

— Про осадку не думайте, выкиньте ее к черту из головы.

— Простите, не могу не думать. И с кем имею честь?

— Жеребятьев я.

— Очень приятно, что сразу на вас попал. Мне вот надо подписать технические акты о навале «Адмирала Макарова» на нас вчера.

— Подписывайте у юридического представителя. Инженер Суханов здесь? — это начальник спрашивает у свиты.

— Здесь Суханов.

— Идите к нему сами, — интонация явно такая, когда посылают куда как дальше, нежели к юристу.

Еще с одним удельным князем познакомился. Но посещение Штаба оказалось полезным.

Да, забыл еще такой фрагмент разговора.

Жеребятьев:

— Я сказал, принести РДО, которое вы получили из пароходства.

Я:

— От Плотникова? О запрещении нам грузить здесь тяжеловесы?

— Да.

Тут я здорово протабанил, ибо забыл взять эти радиogramмы. Попытался вывернуться, но получилось неуклюже:

— Радиogramмы адресованы нам, а тайна переписки...

— Тогда сообщите номера этих РДО.

— Не могу я их помнить наизусть.

— Тогда идите вы...

— Всего доброго.

Пришла журналистка Галина Фомичева. Час проговорили. Все допытывалась; кем я себя больше ощущаю — писателем или судоводителем.

Старый вопросик. Обе эти профессии для меня — сестры. Не плавая, я не мог бы писать книги.

Честно говоря, морская работа в силу ее определенной и жесткой специфики за долгие годы приносит ограниченность. В этом виноваты и плохие книги на судах, и запаздывание информации, особенно в такие вот пиковые, как сейчас, моменты общественной жизни, и постоянная оторванность от берега, от крупных культурных центров, что для каждого человека, а для писателя особенно, не может не играть отрицательной роли.

Безнадежно скучно, если не открываешь форточку во весь разноцветный мир мира...

18.09.05.20. Встал в такую рань, ибо в каюте остановились часы. Очевидно, не выдержали бесконечных переводов взад-вперед.

Когда открыл глаза, то представил себе, как «Макаров» разрывает свой вельбот о срез нашего полубака, и поймал себя на маленькой подлости, ибо почувствовал удовольствие от видения.

Утренний чай оказался вовсе нелепым — буфетчица тоже протабанила и никого не разбудила. Сардельки холодные и неочищенные.

Такое начало дня.

После того, как Юрий из-за болезни перестал принимать пищу в кают-компании, старпом то и дело появляется на завтрак в подтяжках. Раза два я стерпел, а потом приказал являться в форме. Он невозмутимо объяснил мне, что надевает форму только в родном порту из уважения к мостику...

Наш эскулап приволок этакого московского Склифосовского — здесь бешеные деньги зарабатывает, невропатолог. Совместными усилиями сделали Юрию Александровичу новокаиновую блокаду.

Как только врачи исчезли, Юрий — мне:

— Схему навала начертили?

— Нет.

— Надо.

— Но мастер «Тикси» фото успел! Отличные фото — прямо замедленное кино.

— К рейсовому отчету в пароходстве надо будет приложить. Николай Яковлевич Брызгин схемы любит.

— Это точно. Есть, будет чертежик.

— Что с оплатой перегрузочных работ?

(Разгрузка и погрузка не дело экипажа — дело портовых грузчиков, вообще «б е р е г а». Потому, ежели матросики (а в нашем случае и штурмана, и механики) — должны получать деньги.)

— Главный диспетчер порта предложил полторы тысячи рублей.

— За шестьсот восемьдесят тонн?! Начальник порта мне обещал две с половиной тысячи.

— Это он вам обещал.

— Значит, лишнюю тысьонку разделило портовое начальство?

— Ясное дело. Посоветуете к прокурору идти? Мне хватит разговорчика с Жеребятьевым. И вообще, стоп-токинг! Вот вам снотворное, и конец связи, Юрий Саныч!

Он послушно проглотил горсть таблеток, для чего ему пришлось приподнять башку. И сразу от боли физиономия стала серее солдатских кальсон. Даже стон-писк прорвался.

Действует эта чертова блокада, или чего-нибудь другое эскулапы кольнули?

Я посидел пару минут у его койки, прижимая голову бедолаги к подушке. Он вроде начал дышать спокойнее.

Но тут без стука ворвался в каюту начрации — принес с берега пачку радиogramм и передал устный приказ Штаба о подготовке судна к погрузке на палубу 12 тяжеловесов.

— Что?! — заорал мой капитан. — Викторыч, берите бланки! Диктую. От «Макарова» подорваны пятнадцать стоек правого фальшборта, пять стоек левого; деформирован планширь на баке, носовой части палубы. Мореходность не потеряна, но силами портовых мастерских повреждения не устранить. Брать на палубы тяжеловесы категорически отказываюсь... Записали?

— Да. Записал, — сказал я и передал его тело на все заботы айболиту.

Что дальше было?

От тяжеловесов отбились.

Но сразу последовал новый приказ Штаба. Суть постарайтесь понять из нижеследующего:

«РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО ЛЕНИНГРАД УЭХМ ПЛОТНИКОВУ= ШТАБ МОРОПЕРАЦИЙ ВОСТОЧНОГО РЕЗКО НАСТАИВАЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ОВОЩЕЙ С ТИКСИ СЛЕДОВАТЬ БАР КОЛЫМЫ ДО-

ГРУЖАТЬ С Т/Х БРАТСК ТЧК КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЮСЬ
ЛЮДИ ИЗМОТАНЫ ТЧК ШТАБ ОБЕЩАЕТ НАЖИМ МОСКВЫ ТЧК
ОСОБО ОПАСАЮСЬ ЗАДЕРЖКИ ЗЕЛМЫСЕ УЧИТЫВАЯ ПРОГНОЗ
ЗАМЕРЗАНИЯ КОЛЫМЫ ТЧК ЖДУ ВАШИХ СРОЧНЫХ УКАЗАНИЙ
ЗПТ ЗДЕСЬ ЗАКОНЧИМ ЗАВТРА= КМ РЕЗЕПИН».

«Операции в порту Певек

Выгрузка — 680,2 тонны картофеля.
Сепарация в расстил — 1200 м².
Сепарация в переборки (доски) — 1200 м².
Время работы — ночное.
Температурный коэффициент — 1,1.
Районный коэффициент — 2,0.
Затарка рассыпанного картофеля — 15% груза.
Бригадирские — 15%.

Общая сумма — 1734 руб. (за 1 тонну = 2,55 р.)

Фактически за минусом подоходного и бездетности получили 1633 руб.»

Людмила по секрету сказала мне, что на «Тикси» выписали в два раза больше. И объяснила мне, лопуху, что порт посчитал нам только погрузку к ним на борт, а выгрузку из наших трюмов опустили. А именно на этой выгрузке Юрий Александрович и сорвал себе позвоночник.

Я поблагодарил Люду, чмокнул ее в щечку и пошел на мост командовать съемку со швартовых.

Люда:

— Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения в каюте, водопады, фонтаны и, простите, бури. А вы чего любите? — это она у Юрия Александровича спрашивает.

Он подумал и сказал:

— Бури не очень. А люблю большие корабли, особенно парусные. И мирные пушечные выстрелы в полдень у нас с Петропавловки...

16.00. Очередной инструктаж в конференц-зале при Штабе.

Встретил Юрия Андреевича Иванова.

Юрий Андреевич Иванов — заместитель начальника здешнего Штаба, гидролог и действительный член Географического общества АН СССР.

Он дал мне «Литературку», в которой стихи Поженяна, посвященные мне, — «Нордкап».

Уходят таланты и бездарь
кругами волков и лисят.
Пора оглянуться над бездной,
когда тебе за шестьдесят.
Когда от дыхания юга
остался незлобный накат.
И словно на проводах друга
прощальным виденьем Нордкап.
А дальше на север, а дальше,
за гранью свободной воды,
застывшие страсти без фальши,
безмерные, вечные льды.
Кто плавал у этих отметок,
у жестких ледовых границ,
тот знает, как зыбок и едок
осадок последних страниц...

Защипало глаза. И я обнял Гришу на расстоянии в... черт знает какое между нами расстояние в этот момент было.

У Поженяна есть примечание: «Нордкап» — самая северная точка Европы» — чушь!!!

Пришлось перетягиваться под бортом «Тикси», подгоняя наш трюм № 3 под их № 1. Во время перетяжки я орал с нашей стороны, а Людмила, в белой шапочке и белой косынке на шее, с их стороны. Теперь нам осталось грузить только бочки.

«РАДИО 2 ПУНКТА ТИКСИ ФЗМ ЧЕРНЯХОВСКОМУ ФХЭМ БОНДАРИЮ ЛЕНИНГРАД УЭХМ ПЛОТНИКОВУ= ПЕРЕГРУЗКА ЛУКА СИЛАМИ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ОДИН ХОД КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕНА ЗАКОНЧИТЬ ПРИЕМКУ ОВОЩЕЙ ПОЛАГАЮ 18.09 ТЧК МЕТЕЛЬ ТЧК ДАЛЬНЕЙШАЯ ЗАДЕРЖКА ПЕВЕКЕ РЕАЛЬНО ГРОЗИТ ПОРЧЕЙ ГРУЗА ЗПТ ПОТЕРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА ЗАПАД ТЧК НАСТАИВАЮ РАЗРЕШИТЬ ОТХОД ЗЕЛЕНЬИЙ МЫС СРАЗУ ОКОНЧАНИИ ПРИЕМКИ ОВОЩЕЙ= ДКМ КОНЕЦКИЙ»

Банный день.

Мытьевая вода у нас набрана из реки Колымы. Вообще-то там вода еще довольно чистая, но, будучи налита в ванну, глядится она почему-то черной. А в смеси с шампунем получается вовсе странного цвета бурда. И невольно ассоциируется с модной фрицевской «Бурдой». В нашу бы ванну Софи Лорен окунуть.

Смена белья.

Вот когда ловлю себя на нищенском рабстве, вошедшем в плоть и кровь еще с детских лет. Полвека сознательной жизни связано с гамлетовским вопросом: менять после помывки грязные простыни на новые? Или, может, еще недельку на грязных поспать?

Привычка к нищете. Это касается и смены полотенца, и даже носков. В училище считалось, что носки вполне годятся для употребления до тех пор, пока они не прилипнут к стенке кубрика, будучи об нее шлепнуты.

О чистоплотности. Здесь огромная разница между мною давно трезвым, когда у меня развивается просто мания чистоты, то есть желание мыть, стирать, скрести (включая собственное тело, волосы, шею, носовые платки и что угодно), и мною нетрезвым, когда у меня развивается страх перед жидкостью. Своего рода водобоязнь. Для старого моряка это бывает особенно неприятно. Засунуть меня в таком состоянии в ванну или баню — означает нажать во мне смертельного врага. Никому не пожелаю производить надо мной подобные эксперименты.

19.09. На диспетчерской встретил Купецкого, рухнули друг другу в объятия. Пошли к нему в барак, барак типично эзковский.

Валерий Николаевич подарил мне свою книгу с автографом: «Не судите колко историю только: осталась от елки гладкая палка... В.Н.».

Называется книга «Научные результаты полярной экспедиции на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в 1910–1915 годах».

Показал Купецкий и статью М. Ильвеса в «Магаданской правде» — «Его величество Ледовый прогноз». Журналист написал очень точно о том, что Купецкого по жизни ведет «радость удивления».

«Когда-то ему в руки попала научная работа, которая называлась так: «Уровень африканских озер и условия плавания в Арктике». Прямотаки «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Но статья потрясла его и

заставила задуматься. Он начал искать связь между льдами Северного океана, которые были делом его жизни, и другими явлениями природы, а это были уже поиски собственного пути. Так постепенно Купецкий пришел к осмыслению роли, которую на Земле играет Солнце. Он понял, что в основе тех изменений, которые происходят в атмосфере и гидросфере нашей планеты, тоже лежат солнечно-земные связи...

— Человек давно бьется над проблемой солнечно-земных связей, — говорит Валерий Николаевич, — уж больно много нитей тянется к нам от этого светила. Известно ведь, что даже цены на пшеницу на мировом рынке колеблются в соответствии с изменениями солнечной активности. Доказана связь ее с творчеством. Пора уже со всей серьезностью отнестись и к ее влиянию на природные процессы».

Свой первый ледовый прогноз для Востока Арктики Купецкий дал в 1969 году на год вперед. В 1980 году он завершил работу над прогнозом ледовой обстановки для всего СМП до 2010 года!

Прощались скромно, ибо я торопился.

Много раз за мою морскую жизнь мы встречались с Валерием Николаевичем. Свои письма мне он всегда подписывает «АНГО Купецкий». АНГО — означает арктическая научная группа, оперативная.

(Тогда я, конечно, не знал, что в 1989 году у северных берегов Чукотки разобьются два самолета ледовой разведки Ил-14 и Ан-26 Колымско-Инди-гирского авиаотряда. В первой аварии люди уцелели, во второй — нет. Среди чудом уцелевших окажется Купецкий.

Безучастная немилость
Не была тому виной.
Техника пообносилась:
Вечен с Арктикою бой...

6 июля через четыре минуты после взлета с Мыса Шмидта отказал правый, затем левый двигатель и самолет Ил-14 с полной заправкой упал в лагуну восточнее этого мыса.

Спасло Валерия Николаевича и еще четверых человек лишь искусство командира Ил-14 Ю.Н. Гордиенко, который дотянул до мелководья, скользнул, смягчив удар, и остановился на мели в двухстах метрах от берега лагуны. Экипаж отделался ушибами, кровоподтеками и ранениями. Прилетевший со Шмидта вертолет перевез пострадавших в санчасть аэропорта.

А 19 июля на базу не вернулся Ан-26 — из-за ошибки в счислении и не имея визуального обзора самолет разбился о скалы мыса Кибера около острова Шалаурова и взорвался. Погибло десять человек.

Валерий Николаевич скажет: «Если раньше эта работа без ложной скромности граничила с героизмом, то нынче она приобретает характер самопожертвования...».)

Закончили перегрузку в 14.00, а через полтора часа отошли от борта «Тикси». Торжественно отгудели «Тикси» два раза.

Рекомендации Штаба: «Найдите теплоход «Охлопков», а потом ждите ледокол «Капитан Хлебников».

Юрий Александрович категорически приказал мне спать.

20.09. 15.50. Подошел ледокол «Капитан Хлебников», взял на усы. Усы чрезвычайно длинные, прямо скажем, нестандартные, ибо троса за время навигации очень вытянулись. В силу этого нюанса мы болтались за ледоколом типичной сосиской. Экипаж на «Хлебникове» комсомольско-молодежный. Я этим джигитам говорю:

— Как нам эти длинные ваши сопли-то заводить?

— А как хотите, так и заводите!

Суббота. Море на замке. Прямой связи нет.

Юрий Александрович просил подтвердить продолжение рейса без догрузки.

21.09. 10.30. В ноль часов уже 21.09 вышли из перемычки. Уперлись в огромные ледовые поля — 10 баллов. Легли в дрейф. «Капитан Хлебников» нас бросил и ушел с «Охлопковым» на поводке.

Где-то близко бормочет в эфире злодей «Адмирал Макаров». «Ермака» тоже слышно.

Траверс мыса Северный Айон. Надо же: именно здесь в 1979 году долбанул наш «Колымалес» злодей-адмирал. Да, Рахметову на его гвоздях и не снилась такая ночка, которая выпала тогда нам... Все на круги своя, все на круги своя...

Море вокруг ровно и как-то равнодушно замерзает — тихо замерзает, миролюбиво, желанно, наверное, все-таки и потому умиротворенно.

И вдруг — в пять утра — бах! Будит Юрий Александрович, показывает радиограмму. Привычно зыркаю на подписи: обычно туда сперва надо нос сунуть, а потом уже текст впитывать. В финале радиограмм редко употребляемые слова «ИСПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРДИТЬ» и подпись замначальника пароходства. Приказ: взять в Певеке габаритные тяжеловесы.

— Куда нам их брать? — спрашиваю капитана.

— На палубу и в четвертый номер можно было бы, но вы время отправления посмотрите, — говорит Юрий Александрович.

Смотрю. Отправлена РДО была 19.09 в 18.30 по московскому времени, то есть уже тогда, когда мы из Певека ушли, приплыли сюда, к Северному Айону, и легли в дрейф у сплошных ледовых полей. И получается, нам теперь опять надо возвращаться в Певек, а Колыма-то замерзает на полный ход. Терпеть не могу возвращаться.

Натягиваю штаны и думаю.

— У вас сейчас очень философское выражение лица. Не обидитесь, если скажу, на кого вы сейчас похожи? — спросил Юрий.

— Ну?

— На помполита.

— Юрий Александрович, я вас распустил. Прощаю только потому, что вас скрючило. А вы знаете, что у помпы официальный диплом есть?

— Какой?

— Философский. Да-да, он кончил философский факультет Ленинградского университета. Неужели он вам диплом не показал?

— Нет. Но... «мы все, паладины Зеленого Храма, над пасмурным морем следившие румб, Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама, мечтатель и царь, гснущезец Колумб...»

— Хватит Гумилева! — взмолился я. — А если все-таки буду писать об этой нашей ледовой эпопее, то последнюю фразу знаю точно: «Дорогие начальники морского флота СССР, вы можете спать спокойно! Все! Больше я не езду к Великому северному фасаду Руси! Аминь!».

В разговоре со Штабом выяснилось, что они в Певеке не имеют пока никаких сообщений от нашего пароходства о тяжеловесах. Попросили часа два на уточнение ситуации и выяснение целесообразности нашего возвращения обратно.

Ясно одно, БМП ерзает под давлением Москвы больше всяких норм.

В девять часов утра Штаб подтвердил, что указаний о нас не имеет, реко-

мендует продолжать лежать в дрейфе и ожидать ледокол «Капитан Хлебников». А со своим пароходством разбираться самим.

Юрий Александрович попросил меня отписать пароходству, ибо боится запустить матом. Это человек, который ни разу за весь рейс не произнес ни единого матерного слова!

Сочинил очень спокойный текст:

«РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО ЧЗМ САВИНУ= ВАШ ХГ-2/190912 ПОЛУЧЕН ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ ПО ВЫХОДЕ ПЕВЕКА НАХОДИМСЯ ТЯЖЕЛЫХ ЛЬДАХ АЙОНСКОГО МАССИВА ОЖИДАНИИ ЛЕДОКОЛА ТЧК ОВОЩАМИ ЗАНЯТЫ ТРИ ТРЮМА ТЧК ТЯЖЕЛОВЕСЫ СМОГУ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ПАЛУБУ И № 4 ИЛИ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕГРУЗКА ОВОЩЕЙ ИЗ № 1 В № 4 ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И МЕТЕЛИ ТЧК СЛЕДУЕТ НАКОНЕЦ ПОДУМАТЬ ЛЮДЯХ ЖДУЩИХ ЛУК В БИЛИБИНО= КМ РЕЗЕПИН».

А радист вручил светлую весточку:

«ДНЕВНУЮ БЕСЕДУ ПОДОБНУЮ ЧУДУ КАК ДОБРОЕ КРЕДО ВОВЕК НЕ ЗАБУДУ ПОСКОЛЬКУ ДОВОДИТСЯ ЖИЗНИ НЕЧАСТО ДРУЗЬЯМИ БЛОКАДНОГО ХЛЕБА ВСТРЕЧАТЬСЯ ДОРОГА СЛОВЕСНЫХ МОРЯХ НЕЛЕГКА ПУСТЬ ЗЛЕЕТ ПЕРО И КРЕПЧАЕТ РУКА ПРИМИТЕ ВОСТОЧНОЙ НАУКИ ПРИВЕТ СЕМЬ ФУТОВ И ШКЛОВСКИХ* ПИСАТЕЛЬСКИХ ЛЕТ= АНГО КУПЕЦКИЙ»

А кто-нибудь из сухопутных людей думал, что советские моряки всю жизнь из своего кармана оплачивают РДО, отправленные матерям и женам?! Да и после каждого рейса у тебя высчитывают сотни рублей за эту эфирную пуповину, без которой нормальный человек в море существовать не может. Сколько было на моей памяти собраний, сколько морячки воздух сотрясали...

Как-то решил найти по справочнику Союза писателей тех, с кем вместе входил в литературу. Многих не обнаружил.

О гибели же каждого своего друга-моряка, от водолаза до командира корабля, я узнаю более-менее быстро.

Если в море люди идут всегда вместе, то в литературу идут как в суровое волчье одиночество.

Ну, «Хлебников»! У нас лук в трюмах мерзнет, ибо за бортом -5°. А он первым поволок, нарушая все морские законы, «Профессора Бубнова» — местничество. «Профессор Бубнов», как и «Хлебников», дальневосточник.

В 15.55, не подавая никаких звуковых сигналов, «Хлебников» возник из морозного тумана и прошел метров в 25 с правого борта. Затем полтора часа елозил, чтобы приблизить свою дурацкую корму к нашему форштевню.

На баке приемкой буксирных усов занимался наш чиф.

Вдруг орет по телефону в рубку:

— На свою ответственность буксирный трос ложить на носовые кнехты не буду!

Пришлось мне самому ковылять в нос и указывать, как закладывать гаши за бортовые кнехты и станину брашпиля. Все это под аккомпанемент воплей с «Хлебникова»: «Не хотите с тросами работать, так плывите, как хотите, к...».

Наконец поплыли узла по три. Хорошо, перемышка оказалась узкой.

Встали на якорь на рейде Зеленого Мыса. Очередь на разгрузку огромная. Здесь так плохо с продуктами для населения, как никогда еще не было.

* Имеется в виду Виктор Борисович Шкловский.

Введена обязательная продажа населению первого картофеля, ящиками и прямо с судов. Ящик на несколько человек или семей. На местном языке называется «на кучки». Думаю, при таком варианте отлично покроются все наши промежуточные перегрузо-погрузочные просыпки картошки.

«Профессор Бубнов» опять пролез к причалу вперед нас и выгружает какие-то железяки, а не жратву.

Да, забыл. Ночью у нас была паника. Второй механик обнаружил трещину в водяном танке. На откачку не брали ни балластные, ни осушительные насосы. Стармех продемонстрировал полное спокойствие: «Вот был бы крен градусов в пятьдесят, тогда...».

И оказался вполне прав. Паника липовая, никакой трещины в диптанке не оказалось — просто потек шпигат.

Все уже забыли, что Зеленый Мыс — это прежние Нижние Кресты.

На завтрак, обед и ужин щедро подается ворованный из трюмов свежий лук. Мы трескаем его даже с компотом. И вкусно, черт побери!

Картошку завезли на Русь в XVIII веке. Интересно называет картошку Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Дешевый сорт еды»!!!

Чук и Гек использовали относительное стояночное безделье для обивки жесткого рубочного кресла мягкой ветошью. Это забота, главным образом, обо мне. Я частенько краем задницы на него присаживаюсь — ноги...

В исполнение дурацкого приказа министра Гуженко о сдаче плавсоставом техминимума в портах захода (это он с перепугу после «Нахимовской» катастрофы придумал) на танкере «БАМ» якобы уже списали двух судоводителей.

Юрий Александрович отказался участвовать в этой ерунде. Молодец.

«Известия» дали сообщение о путанице в списках пассажиров и судовых ролях экипажа «Нахимова». А мы вчера получили эту информацию секретной шифровкой!

22.09. У всех судов СВУМФ на данный момент тяжкие ледовые повреждения.

Говорил с Леоном Демиденко. Объяснил, что у нас на борту всего 680 тонн, из них 2 тысячи бочек, которые можно не только не на склад, а хоть сейчас за борт бросать. Опять же, лук — не картошка, а высший деликатес. И следует нас быстрее обработать и отпустить на волю-волюшку, чтобы зарабатывать для страны валюту на игарской древесине.

Вспомнил, вспомнил, какую песню ревели капитан порта Леон Демиденко с капитаном «Индиги»левой Шкловским на рейде порта Нижнеколымские Кресты после водки и жареного муксуна. Слова Гриши Поженяна.

Ревут, ошалев, океаны,
Приказ отстояться не дан,
Не правы всегда капитаны,
Во всем виноват капитан...
За то, что он первый по чину;
За то, что угрюм и упрям;
За то, что последний в пучину,
Когда уже все по нулям...

Рассказал Юрию Александровичу замысел пьесы «Некоторым образом драма». Слушал внимательно, а потом вдруг попросил, чтобы я экипажу четко объяснил, что Фома Фомич Фомичев — это не выдумка, а действительность.

Пустой день. Весь день простояли на якоре. Все висит вопрос о пустых контейнерах. Есть приказ зам. министра — вывезти.

Несколько раз в жизни я видел умирающих людей, но, как это ни покажется странным, они не держали в своих руках и не прижимали к своей груди огромный том Библии.

Библию внимательно я не прочел ни разу. Зачем мне врать? Ведь если совру, это будет грех. Поэтому напишу правду: мне скучно читать Библию.

Я никогда не считал себя человеком богохульным. Любой пишущий человек, каким бы великим он себя ни считал, всегда понимает, что Книга Книг будет всегда самой великой. Но любой пишущий человек имеет и свою высшую любовь, и это может быть и «Каштанка».

Думаю, в моей жизни огромное религиозное воздействие оказала «Муму»...

23.09. Подтвердилось, идем на Игарку, лес на континент потащим.

Начали выгрузку на грузовики.

С утра приходится печатать кучу служебного дерьма.

Получил РДО от Курбатова:

«ИЗО ВСЕХ СИЛ НАДЕЮСЬ ВСТРЕЧУ КРАСНОЯРСКЕ СОБИРАЮСЬ БЫТЬ ТАМ ЧЕТВЕРТОГО ОКТЯБРЯ ПОДОЖДИТЕ МЕНЯ ЕСЛИ НА ДЕНЕК РАНЬШЕ ТАМ ОКАЖЕТЕСЬ Я ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛСЯ ОБНИМАЮ= КУРБАТОВ».

Тяжелый ночной разговор с матросами. Чук вдруг заявил, что на берегу пойдет в бармены. Я обозлился ужасно.

Пробую писать очерк в «Огонек». Как написать о том, что здесь происходит?

Колымский лоцман сквозь слезы объяснил, что жена уехала на материк, ибо у нее при северных сияниях тяжелая тахикардия. И когда он уходит на проводку, то десятилетний сын остается беспризорным. Жену ненавидит так, что может убить.

24.09. Дед помпохозу:

— У меня на борту четыре сварщика вкалывают, замечательные мастера! Их покормить надо — четыре порции на обед, а?

— Шеф уже сделал ровно тридцать четыре ромштекса!

Встревает буфетчица:

— А у меня чайная заварка кончилась!

Дед:

— Отстань! Я про сварку леерных стоек говорю. Без них лес в Игарке на палубу не возьмем.

Помпохоз:

— Нет лишних порций, Олег Владимирович!

Дед:

— Я сам есть не буду!

— А где я еще три порции рожу? — вопрошает помпохоз.

Дед:

— Я три дня обедать не буду...

— Так я вам и поверил... — перебил помпохоз.

— ... и завтракать, — дед не унимался. — И вообще, пшенная каша по понедельникам на завтрак — издевательство над мужчинами!

— С чего мужчина начал — тем он и кончает... — констатирует буфетчица.

Получил РДО от Левы:

«ВЫШЛИ СИРИИ УЖАСНАЯ ЖАРА БЕЗВЕТРИЕ ТЧК СЧАСТЛИВЫ ВЫСОКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ВАШЕЙ РАБОТЫ ЧУВСТВУЮ КРАЙНЮЮ НЕОБХОДИМОСТЬ ТВОЕГО ПЕРЕЛЕТА С МИЛОГО СЕВЕРА СТОРОНУ ЮЖНУЮ ОБНИМАЮ= ЛЕВА».

Читаю Бунина — смерть отца Мити, как тот на столе «белел носом, наряженный в дворянский мундир». И вспомнил, что мой отец отправился на тот свет в коричневом с серебром прокурорском мундире. Кажется, у отца гражданского костюма вовсе после войны не было. Бедный и любимый отец... пожалуй, он был еще несчастнее Любочки Конецкой...

25.09. Получил РДО от Анатолия Ламехова.

«ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ГДЕ ТО ТЫ ЗАТЕРЯЛСЯ НЕОБЪЯТНЫХ ОКЕАНСКИХ ПРОСТОРАХ СООБЩИ КОГДА БУДЕШЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА ЗАПАД ГДЕ НАХОДИШЬСЯ ТЧК МЫ ИДЕМ ЗФИ ТЧК ОГОНЬКЕ ПРОЧИТАЛ ТВОИ РАССКАЗЫ ЗПТ ДО СИХ ПОР СОДРОГАЮСЬ ОТ ХОХОТА ЖМУ РУКУ= ТВОЙ КМ ЛАМЕХОВ».

Когда шли на восток, атомоход «Россия» еще назывался «Леонид Брежнев»! Быстро у нас все меняется на Руси великой!

О глупой манере штурманов обижаться, если посоветуешь на другое судно сходить и уточнить у более бывалых судоводов что-либо. Я, например, знать не знаю правил перевозки пустых контейнеров: следует указывать вмятины, трещины, степень ржавчины? Посылаю кого-то из штурманов на «Охлопков», они сопротивляются.

Сегодня вызвал к себе типа, который сопровождает овощи. Пригрозил прокурором, т.к. очень много лука высыпается из ящиков, а он и ухом не ведет.

Трудно доходит до нашего брата, что возим мы не сопровождающих и гарантийные письма на тару для начальства, а овощи!

Нудно грузим контейнеры.

26.09. С 20.00 до 21.00 к борту не подошла ни одна машина с контейнерами. Я так обозлился, что позвонил домой Леону Данилычу Демиденко. Конечно, было неудобно — давеча мне от него доставили пуд какой-то хорошей рыбы.

27.09. Только чистокровный мат заставил шевелиться нашего старого друга Демиденко, когда диспетчер не подал грузовики под контейнеры.

Окончили погрузку в 02.00 и в 07.00 отошли — еще крепили, но не докрепили.

Всего 475 контейнеров, 285 тонн.

28.09. Ночью забарахлил гирокомпас. Юрий Александрович бестрепетно повел по магнитному, а меня выгнал.

К 07.00 вышли на чистую воду, легли на пролив Лаптева. К вечеру ветер усилился до 15–17 м/сек., шли по 14 узлов.

Книги людей действия, а не прозаиков или литературоведов, книги чисто дневниково-документальные (Скотт, Кренкель, Кусто, Ушаков и множество других) вовсе не хранят в себе загадок и тайн. Типично то, что эти люди никогда не пишут от «мы» — такого обязательного для литературоведов и множества других ученых. А за «мы думаем», «мы полагаем» не скромность и желание затушевать свое «Я», а, простите, инстинктивная боязнь личной ответственности.

Капитан всегда говорит: «Я приказал... Я считаю...». Он не может уйти за флер собрания, за видимость общего, большеголового большинства. Тогда разве можно считать судоводителя не открывателем нового? Ведь в каждый очередной раз решения он решает и открывает то, чего никогда раньше не было, ибо ситуации в жизни не повторяются — это не дебюты в шахматах...

29.09. В 05.00 прошли Кигилях. Чистая вода.

Утром принесли РДО:

«САМАРКАНД 25 28 1337= ЛЕНИНГРАД 780 ДОСЫЛ ТХ КИНГИ-СЕПИ КОНЕЦКОМУ ВИКТОРУ= ПРИВЕТ МОРСКОМУ ВОЛКУ ОТ ВЕРБЛЮДА ПУСТЫНИ ФИЛЬМ ЗАКОНЧИЛ УСТАЛ СМЕРТЕЛЬНО ЖДУ ТЕБЯ НА БЕРЕГУ= ТВОЙ ГИЯ ДАНЕЛИЯ»

Тревожно мне нынче за Гию. Он настроен на уморительную комедию, а у меня опасения не за провал фильма, а за физические перегрузки при съемках в пустыне, которые его могут убить. Да еще в обстановке всеобщего бардака. Сам же он после тяжелой операции... И после такой ужасной зимы полез в самое пекло — и в прямом, и в переносном смысле слова. Человек Гия мужества выдающегося.

Фильм, кажется, «Кин-дза-дза» называться будет. И все, до самой последней точки, в сценарии Гия сам придумал.

«ТХ ЛИГОВО ЛНГ/ММФ 30 28 2200= ВОЗВРАЩАЕМСЯ СРЕДИ-ЗЕМКИ ИДЕМ АНГЛИЮ ПРИХОД СОЮЗ ПОЛАГАЕМ СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ УВЕРЕН ВЫ УСПЕШНО ПОКОРИТЕ ПОЛЯРНЫЕ ШИРОТЫ НАДЕЮСЬ ВСТРЕЧУ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЕ ПРИВЕТ ОТ ЭКИПАЖА ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ ОБНИМАЮ= ВАШ АЛЕШИН»

С Леонтием Николаевичем Алешиным работал я на «Лигово» в 1985 году на Мурманск — Певек — Игарка. Отличный капитан и человек.

Арктика восемьдесят пятого года была довольно добродушной, обошлось без приключений... Нет, вру! И не на Певек, а только до Колымы, груз — картофель, который, конечно, можно было просеять сквозь любое сито. И приключения были — пробоина в первом трюме. И тогда Леонтий Николаевич мне сказал: «Вот вам отличная возможность продемонстрировать нам ваши аварийно-спасательные таланты...». Я хвастался в кают-компании о своем героическом прошлом...

От работы с Алешиным и его экипажем осталось тепло в душе.

А ведь, небось, и на этом Кигиляхе пограничники сидят и сапожную ваксу болтают — они из нее какое-то пьянство или дурь научились делать.

Офицерам-пограничникам здесь идет год чуть не за сто лет — и на пенсию. По возрасту пенсионному этих бугаев можно только с балеринами сравнить. До чего бесят! Вся держава морями омыта, и все пляжи — закрытая зона. Попробуй в Черном море ночью искупаться! А Финский залив по южному берегу... В этих запретных пограничных начальники, спешившись с местными коммунистическими начальниками и вне всякого взгляда со стороны и контроля, крушат все, от корюшки до лося, от лебедя до белого медведя. Герои государственной безопасности...

Ну что им здесь, в Арктике, делать? Какой еврей побежит в Землю Обетованную через Северный полюс? Это только уже вовсе русский еврей может такой фокус выкинуть. И если попробует, то следует немедленно дать ему, как космонавту, Героя СССР и доставить в Палестину со всеми воинскими почестями.

Значит, бояться, что из Ледовитого океана к нам на берег американский шпион-аквалангист вынырнет? Пусть выныривает — он здесь лапти откинет через пять минут — как только ему для сугреву стражи границы болтушки из сапожной ваксы поднесут, народ у нас добрый, отходчивый, а уж коли живого шпиона на Кигиляже обнаружат, зацелуют до смерти даже в мертвом состоянии.

Да, ежели бы моя ненависть не была бы такой животрепещущей, то не стал бы я сейчас сбивать в злобе ногти на машинке, ибо штормить начинает...

Пролив Санникова проскочили удачно по чистой воде, но в сплошном тумане и снежных зарядах.

Легли на остров Столбовой, на его северную оконечность.

И здесь чуть было не «приехали».

В рубке нас трое. Ветер был юго-западный, от юго-запада и зыбь катилась. Вдруг ветер резко сменился на северо-восточный. И все три судовода это засекли и обменялись друг с другом удивленными репликами: чего это с ветром случилось? Но никто не взглянул на компас, нормально продолжали пляться вперед по курсу. А это опять вышел из меридиана гирокомпас, и рулевой послушно поворачивал судно вслед за компасной стрелкой влево — прямо на камни северного мыса острова Столбовой.

Потом выяснилось, что подседа гирисфера в матке. В таком разе должен был врубиться ревун, который, ясное дело, не врубился. Во мне что-то шепнуло: «Мы близко от опасности, и потому надо «право на борт» и привести Столбовой на корму».

Но здесь врубилось знаменитое: «СТОП» — СЕБЕ ДУМАЮ, А ЗА ТЕЛЕГРАФ НЕ БЕРУСЬ!» — чувство неловкости: рядом еще два судовода, а я первым в панику и на борт скоманую?! И не скомановал. — Напомню, что шли в тумане и снеговых зарядах.

Ну, отвернули, ну, помянули добром магнитный компас, ну, обрушили на рулевого стог ругани за то, что он показания гирокомпаса не сравнивал с показанием магнитного компаса, ну, очередной раз отерли холодный пот со лба, ну, старались не глядеть друг другу в глаза от стыда.

Ночью развиднелось, третий штурманец, наладив гирокомпас, определил поправку по Альфа Боутис — это знаменитый Арктур, — и все ушло за корму.

В рубке обнаружил нечто новенькое, веселенькое и пестрое. Оказалось, Чук и Гек сшили для нашего общего закадычного друга — вахтенного чайника — шикарный наряд и утеплитель. Как у персидского падишаха. Стеганый чехол, бело-красно-зеленый, со специальной застежкой из «перлоновой» липучки.

Чаек вовсе не встречаем — значит, и чистой воды близко нет. Водяное небо по курсу — это просто рефракция.

Наш Тарас Григорьевич как-то на стоянке в Дании играл в сеансе одновременной игры на тридцати досках с чемпионом Олафссеном и свел ее вничью.

Он впервые узнал о существовании Семена Челюскина от меня и не знал, что мыс Челюскина назван в честь Семена Ивановича Челюскина! Он думал, что мыс назван в честь утонувшего и героически прославившегося парохода!

Спрашиваю его:

— Очевидно, если у вас вышла ничья с Олафссеном, то был момент, когда мелькнул и выигрыш? Тут-то и начали уступать?

— Нет, ни о каком выигрыше не думал, увидел, что могу попасть в позицию вечного шаха и залез в него. Олафссен работал за переводчика в Исландии на «Андижане», который собирал рыбу из всех исландских дырок. Исландцы не знают ни одного языка — ни английского, ни других. Это давно было...

Почему так много живописцев вылезают из собственной кожи и выворачивают наизнанку свои прямые и кривые кишки? А потому, что любой живописец (настоящий), достигнувший определенной степени профессионализма, начинает ощущать искреннее и вполне законное желание отличаться от всех иных миллионов художников. Стать Рафаэлем или Врубелем, то есть стать таким художником, который может бестрепетно не подписывать свои работы, ибо любой искусствовед мгновенно определит автора (о подделке речи не идет), просто талантливому человеку шансов нет.

И вот он начинает выворачиваться наизнанку. Отсюда такое количество «измов». И это вполне закономерно, и каждый на такое имеет право, ибо не за ради внешнего эффекта они выворачиваются, а из внутреннего и духовного закона и права на личностную неповторимость каждой личности.

Но живописцы (в отличие от писателей) картины не тиражируют в тысячах экземпляров и не обманывают, ведь привычный к чтению человек любой печатный текст хватает...

Большинство писателей рисовало и рисует.

Я понял этот феномен, когда прочитал у Толстого категорическое утверждение: «Главное условие человеческого счастья — связь с природой». Так вот почему в городской квартире меня так тянет нарисовать пейзаж или цветы! Я инстинктивно пытаюсь заместить утраченную связь с природой таким извращенным образом.

В 12.00 получили карту ледовой разведки. Остров Жохова окружен ледным массивом, сидящим по изобате 20 метров.

Туман. Штиль. Серятина и небес и вод.

Пака размышлял об этом, принесли радиограмму о том, что атомоход «Сибирь» работает по снабжению «точек» в Восточном секторе и на данный момент находится возле острова Жохова. Я рассказал 2-му помощнику, как производится выгрузка на необорудованный берег, какие есть правила грузоперевозки на этот счет и т.д. Помянул, конечно, что и сам принимал участие в выгрузке на остров Жохова каменного угля, кирпича и частей ветряка. Там мы кувыркались вместе с Гией Данелия.

01.10. Министра Гуженко смайнали в 02.00 судового времени, а я плыву себе спокойненько, ибо по курсу только нилос и молодой лед, а за нами следует «Капитан Кондратьев».

Наш помпоз происходит не из моряков; когда посылаешь его на замерку льял, он мерит их больше часа. Неплохой, в общем-то, парень. Шесть суток давал ночной вахте сыр, потихоньку от старшего помощника. Иногда похамливает старпому.

Дал Лева РДО на «Индигу»:

«ОТРАБОТАЛИ ЧЕЛНОКОМ КОЛЫМА-ПЕВЕК-КОЛЫМА ТЧК ОГИБАЕМ ЧЕЛЮСКИН МОЛОДЫХ ЛЬДАХ ДУДИНКЕ ПРЕДСТОИТ ВЫГРУЗКА ПУСТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ЗАТЕМ ИГАРКА ТЧК ВЕРОЯТНО ВЫЛЕЧУ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК СОСКУЧИЛСЯ ВЕЗИ ШИЛО ОБНИМАЮ= ВИКТОР».

Вместе с Гуженко разогнали всю Коллегию ММФ.

У Бунина в «Господине из Сан-Франциско» полно чуши. От прямых школьных ошибок: он помещает паровой вал в киль; капитан обязательно загадочная личность, «похожий на огромного идола»; за минуту до смерти господин из Сан-Франциско видит в читальне гостиницы: «стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами»... Ну, скажите вы мне, ведь видит американец, тупой миллионер, а зрит-то за него ястребиный Бунин! Знать не знает американец ни языческих идолов, ни тем более внешности Ибсена! Это Бунин нагляделся на идолов у себя в азиатских степях и в юности вечно пялился на знаменитых писателей, ибо им завидовал, но чтобы американец знал Ибсена! И чтобы американский миллионер, войдя в читальню, за считанные секунды изучил бы физиономию какого-то немца и определил бы, из чего у того очки, заметил сумасшедшие и изумленные глаза... А, между прочим, и нам внешность немца до лампочки — зачем она тут? Меня воротник душит, жилетка печенку давит, через тридцать секунд у меня в сердце сосуд разорвется, и шея моя напряжится, глаза выпучатся, я дико захриплю...

Полноте, Иван Алексеевич! Ни от инфарктов, ни от инсультов так люди не умирают, ибо Бог прибирает их быстрее, и нет, увы, сил мотать головой, хрипеть, как зарезанный, закатывать глаза, как пьяный... Если это скоропостижная смерть, то она и есть в миг, или нет, тогда его еще лечить надо, а не в плохое номера гостиницы таскать. Почитайте Амосова.

Насколько же классикам легче было! Изучать-то им только историю надо было... А нам?

02.10. С 01.00 до 12.00 были под проводкой АЛ «Ленина». Полпути между Фирнлея и Тыртова.

Я много раз говорил, что момент расставания с ледоколом после совместной работы-проводки хранит и в наше безромантическое время нечто, приподнимающее наш дух над буднями.

Юрий Александрович, пригласив в свою каюту, продиктовал мне несколько фраз, которые я должен был сказать «Ленину» при расставании.

«При прощании с ледоколом «Ленин» поблагодарить за проводку, упомянуть об отсутствии претензий, но затем заявить о том, что капитан сохраняет за собой право после окончания рейса и водолазного осмотра в Мурманске заявить об ответственности ледокола за возможные, на данный момент не обнаруженные повреждения.»

— Юрий Александрович, вы понимаете, что ваша претензия лишена смысла? — спросил я у капитана возможно мягче, ибо он лежал с закрытыми глазами и запекшимися губами. — Какую ответственность может брать на себя ледокол, когда мы расстанемся? Через полчаса я наеду среди чистой воды на одинокую льдину, получу повреждения, которые, возможно, мне выгодны, ибо меня потом отправят за границу на ремонт, а запишу эти повреждения на те, которые не обнаружил после проводки «Ленина»? Я же могу так сделать, могу...

— Есть циркуляр! Не знаете его?.. — негромко сказал Юрий Александрович. — А если циркуляр с такой оговоркой есть, то я его буду выполнять. Извольте передать на ледокол мою формулировку.

— Есть!

В три ночи «Ленин» велел давать полные хода, рекомендовал следовать обычными курсами до 125 меридиана и запросил претензии. К этому моменту я сочинил текст нашего заявления, несколько смягчив недоверчивые нотки в заявлении капитана. Получилось так: *«Благодарю за бережную проводку, никаких претензий не имеем. Капитан просит оставить за ним право в слу-*

чае обнаружения ближайшее время каких-либо последствий вашей проводки сделать соответствующее заявление. Счастливого плавания, мягкого льда».

Еще когда сочинял эту половинчатую чушь, то сказал Ивану Христофоровичу, что мне неудобно будет ее зачитывать.

— Я зачитаю! — с некоторой даже радостью предложил он.

Всегда находятся доброхоты для расклейки на заборах карательных объявлений. И я отдал ему текст. И он зачитал его своим намеренно тихим голосом.

«Морис Бишоп» — литовское судно, первый раз в Арктике! — слушал наши радиопереговоры... Такие слова действуют вообще-то на окружающих, быстро заражают — как толпу смех или ненависть.

Так вот, «Морис Бишоп» ограничился благодарностью в адрес ледокола, заявив об отсутствии претензий...

Бунин пишет, что был жаден к запахам не менее, чем к песням. И объясняет это степным происхождением.

«ТХ ИНДИГА= ВЫШЛИ ИЗ СКАЗКИ БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВОВ ДАНИЮ ПОТОМ БЕЛЬГИЯ ДОМОЙ ПОЛАГАЮ 23/10 БЫСТРЕЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ СПОКОЙНЕЙ СТАНЕТ ДУШЕ ОБНИМАЮ= ЛЕВ ШКЛОВСКИЙ»

Вот собака! Шляется по бархатным волнам под голубыми небесами, а у нас контейнера на палубе в ледяные горы превратились после шторма. И лед обкалывать нельзя — контейнерное железо довольно мягкое, легко можно ломом насквозь пробить. (Учтите, пожалуйста, особенности моей лексики. Мама очень любила, когда я называл ее собакой. Все от чувства и интонации зависит, а не от слов!)

Радист принес РДО и присел на минутку. Замкнутый мужик, под 50, основная ставка 175 р.; сыну 6 лет, паралитик, пацану необходим юг. Профком дает путевку и 40 рублей, но при условии, что поедет кто-то из родителей, работающий в пароходстве. Жена там не работает, а когда он вернется из рейса, то будет и на юге холодно, останется пацан без солнышка на очередную зиму.

Какой же изощренной фантазией надо обладать, чтобы придумать этикие законы?!

А что ответить на: «Викторыч, может, посоветуешь что?..».

Чук и Гек во время моего отсутствия залезли в каюту, полностью перебрали и вычистили мою «Эрику». Это я при них хныкал, что ногти сбиваю на указательных пальцах — тяжело клавиши пробивать. И вот сей миг играю на «Эрике», прямо как на пуховой перине.

За два месяца рейса их бакенбардные украшения соединились с черепными волосами и превратились в патлы. И, несмотря на золотые фиксы Гека-Коли и иностранные нашлепки на робе Чука-Славы, оба абсолютно утратили матросский облик и точно соответствуют героям очерка Слепцова «Владимирка и Клязьма».

Когда в шторм пришлось собственноручно будить буфетчицу Аллу Борисовну, я увидел на ее плечике наколку — змею, остальное не разобрал.

Алла очень смутилась и даже покраснела! — вероятно, первый и последний раз в жизни.

Притом она ни к селу, ни к городу пролепетала, что служила не в тюрьме, а на зоне, и все ее там очень уважали.

В заливе острова Тыртов обнаружили «Дроницына» с «Харитоном Лаптевым» под боком. «Харитону» (гидрограф) не повезло, а может быть, еще больше не повезло капитану «Дроницына».

Было так. «Арктика» проскочила сквозь какой-то ужасный торос, а «Дроницын» проскочить не успел. И нашвырял под брюхо «Лаптева» кирпичей (льдин).

Здоровенным кирпичам из-под харитоновского брюха деваться было некуда. И они вырвали ему две смежные лопасти из винта вместе с мясом, то есть вместе со всеми причиндалами. Единственный вариант — заводской док. И вот эфир гудит разговорчиками: якоря заваливать? Двойную брагу заводить? И т.д.

Но мы-то отлично понимаем, что между этими деловыми вопросами сквозит желание каждого из участников свалить все это дело на другого.

Между тем, ледокол «Пахтусов» уже снялся с Диксона и следует сюда для буксировки «Лаптева» в Архангельск.

Плохо, братцы, когда солнце в глаза, а лед блинчатый. А в блинчатом вкраплении этаких грубиянов-булыжников, которые мне почему-то напоминают злющих второгодников с тупыми мордами... Между прочим, дядя Витя уже немолод, и после шести часов во льдах дяде Вите кюхельбекерно и тошно.

Но если смотреть на закатное солнце в бинокль, то видишь то райские кущи, то этакий храм, сотворенный из лучей, а не поднятые рефракцией над горизонтом торосы и острова.

Видели ли вы, как замерзает море? Ну и не надо вам этого видеть.

Живая булькающая вода вдруг превращается в безмолвное холодное стекло.

За все плавание Иван — второй помощник — так ни разу и не вызвал меня на мостик — ни при тумане, ни при ухудшении обстановки. И ведь хотел бы, но именно так понимаемое им «ограждение своей независимости» оказалось сильнее страхов. И меня в результате приучил подниматься на мостик без зова, по кожному ощущению возможной беды и из сознания долга.

4.10. Двенадцать часов полным ходом в блинчатом льду... Встретили заблудившийся каким-то чудом ледокол «Киев», который у нас координаты выпытывал, хотя на этой машине всякой электроники больше, чем тараканов на камбузе одесской шаланды.

Потом встретили ледокольник «Пахтусов», с проклятьями возвращающийся уже с чистой воды на буксировку повредившего винты «Харитона Лаптева»...

Караван речников на контркурсе — куда это они в такое время на восток ковьяют? Флагманом идет какой-то Ефименко, с ним и поговорили. В караване «Севастополь», «Капитан Мошкин», «Петропавловск».

Траверз Диксона. Разговор с Утусиковым. Акивис был эвакуирован на Большую Землю в безнадежном состоянии.

Очень больно ударяет здесь известие о болезни или смерти. Но думать об этом не следует. Нарисовал акварельку — Диксон под красно-фиолетовыми тучами.

Повернули на Енисей.

Читаю «Очерки народной жизни». Объясняют поездку Чехова на Сахалин — отметить в народе «не засыпающее сознание жизни»...

Ну какой же уже запредельный идиотизм! Все карты Енисея секретные! Представьте себе, что со стороны Северного полюса сюда пробралась американская атомная субмарина и извивается в енисейских протоках, огибая какой-нибудь Каменный Бык... Сколько денег и тюремных решеток за этими дегенеративными секретами!

«КРАСН ДИВН 4 12 3 1230 ЛЕНИНГРАД 780 ТХ КИНГИСЕПП КО-

НЕЦКОМУ= КУРБАТОВ ОВСЯНКЕ ЛЕТИ БЫСТРЕЕ ЖДЕМ ДЕРЕВ-
НЕ= АСТАФЬЕВЫ»

По «Свободе» передавали статью Гумилева «Русская идея».

05.10. В 01.00 ошвартовались к причалу в Дудинке, сразу начали раз-
грузку пустых контейнеров на четыре хода.

В 08.30 сообщили о гибели нашей подводной лодки в 700 милях от побе-
режья США. Близко лазают ребята от садовой калитки потенциального про-
тивника! Рейган, вполне возможно, откажется встречаться с Горбачевым в
Исландии — больно повод хорош...

Откуда-то выписал: «...долгое морское путешествие не только обнаружи-
вает все твои слабости и недостатки и усиливает их, но извлекает на свет
божий и такие твои пороки, о которых ты никогда не подозревал, и даже по-
рождает новые. Проплавав год по морю, самый обыкновенный человек пре-
вратился бы в истинное чудовище. С другой стороны, если человек обладает
какими-либо достоинствами, в море он редко их проявляет, и уж во всяком
случае не особенно рьяно».

По парадоксальности это, пожалуй, Марк Твен, когда поплыл после своих
Миссисипи в Европу...

В Игарке, куда идем нынче, нет очистительных сооружений, и через вре-
менную канализационную сеть ежедневно сбрасывается в Енисей более 3000
кубометров нечистот! Без всякой очистки!

Город пользуется неочищенной водой, которая напрямую из водозабора
мелкой речки Гравийки идет в квартиры, и уже в трубах в нее добавляется
тройная доза хлора! Стоит ли удивляться, что Игарка — рекордсмен края по
инфекционным желудочно-кишечным заболеваниям.

В эту зиму город обеспечен теплом всего на 61 процент...

06.10. До Игарки плыть мне. И среди злых, метельных зарядов, среди
вспыхивающих в свете топовых огней снежинок буду искать мыс Агапитов-
ский, остров Давыдовский, Покинутый поселок, Избы Плахино...

Сколько раз здесь хожено... Теперь уж без всяких экивоков — послед-
ний. Попрощаюсь с мысом Каменный Бык под писк сверхсовременной спут-
никовой станции. Надышусь табачным лоцманским дымом — один будет смо-
лить «Стюардессу», другой — верный «Беломор», а я добавлю «Космос», что-
бы соответствовать нашему веку и навигационной спутниковой станции, в уст-
ройстве которой я так ни черта и не понял... Старость. Пенсия впереди по
курсу.

Не доходя Игарки, стали на якорь в очередь на погрузку.

1986 — март-август 2000

Я все-таки дотянул эту рукопись. 14 лет тянул.

За окнами мокрые крыши родного города, и по ближней крадется к слу-
ховому окну убежавший в самоволку кот...

Поет Анна Герман, и я читаю книгу: «...мой корабль стоит на якоре в
родном порту, где его не могут настичнуть штормы. Вот отчего я так расхраб-
рился. И все же не будьте слишком строги...».

Сергей Стратановский
Хор кириллицы

* * *

Вновь сошлись в поединке
Лермонтов и Мартынов
Обыватель земли
и заоблачных гор обитатель
Видевший ангелов лица,
помнящий очи того,

Кто у ложа грузинки
гостил до зари, до денницы
Холодно жить на вершинах,
трудно дышать на вершинах
Дела довольно в долинах
для поручика армии царской

1999

* * *

Бывают люди сквозные
Облака через них проплывают
Небо видно
и ангел по небу летящий
И скрежущий демон

тоже бывает виден
Не хочу быть таким
Быть хочу не сквозным, а земным
По завету земли жить желаю
Быть её обывателем

1999

* * *

О делах неприметных
над коими Чехов ещё...
В той, ну как её, повести,
или рассказе, не помню...
И о людях безвестных
в борьбе с нищетой и болезнями
Не щадивших себя

в непролазях уездных, беззвездных
И о всех, кто любя,
и не зная о будущем оползне
О чудовишном миге
когда броневик ошестинясь
И когда бронепоезд...

1999

* * *

Азбуку монахов — славянолюбцев,
буквы знакомые с детства
Буквы спрошу, хор кириллицы
Отчего так злосчастны, спрошу

Люди нашей земли
Те, кому вы несли
свет в озябших ладонях

1998

* * *

Смертных стратегий
Социально приемлемых
выбор не так уж велик
Можно, скажем, от идолов мира

В монастырь удалиться,
и душу спасая, молиться
Умирая для мира,
но вдруг заскучав, озверев,

Сергей Георгиевич Стратановский родился в 1944 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет по специальности русский язык и литература. До 1985 года не печатался. Соредатор самиздатовского журнала «Обводный канал». В сборнике «Круг» — первая публикация. В 1993 году издательство «Новая литература» выпустило сборник «Стихи». Лауреат Царскосельской премии 1995 года. Живет в Санкт-Петербурге.

От клопов монастырских,
от грязных интрижек, решиться
Добровольцем отправиться
к братьям — единоверцам
За морями живущим
и в гнев обращая безжалостный

Голубиную кротость,
вчерашнюю святость, назваться
Волком Огненным,
и под именем этим сражаться
И от пули желанной
погибнуть на Косовом поле

1999

Мусульманин

Там у лугов, за околицей
мусульманин живёт правосердный
Там — его ферма

Русский он, не татарин —
из Афгана вернулся, из плена
К матери, к братьям своим,
и на встрече с родней, за столом
Плюнул на пол с презреньем
«Грязно, — сказал, — вы живёте,
водку хлещете, мясо нечистое жрёте
И Закона не знаете»

Стал он хозяином вскоре —
выстроил дом за околицей
Семь коров у него
и племянник родной пастухом
У него на зарплате

Но погоди басурманин!
Всей деревней, за русскую веру
За Христа босоногого
встанем однажды, пойдём
И сожжём твоё логово

1999

* * *

Ты — человек асфальта
порождение субстанции уличной
Мерзкой тьмы подботиночной,
а не земли первовещной
Древоносицы вечной,
и в асфальт закатают наверно
Твою душу увечную

1998

* * *

Днём — человек,
ночью — бык буйный
Президент — Минотавр
и тоскливо ему в лабиринте
Горных туннелей,
где он носится в образе бычьем
Каждой ночью, а днём
Ждёт героя — врага,
чтоб согласно пророчеству давнему
В честной битве погибнуть
и не зверем ночным — человеком

1999

Болдинские размышления

«Из трагедии Вильсона
с англинского перевод
Кончить сегодня бы ..
В Болдине осень, дожди
И чума у порога,
и страхом объятый народ
Отравителей ищет,
и власти, видать, запретят
Из губернии выезд,
и ещё, говорят, где-то рядом,
Где-то возле Сарова,

в верстах сорока от меня
Некий старец живёт
почитаемый многими здесь
В том числе и дворянством
Съездить что ли к нему?
Но зачем?
На каком языке
С этим старцем молитвенным
прозорливцем великим, аскетом.
Говорить мне, поэту?

Светский я человек
он — святой человек. Целый век
Век ехидства Вольтерова
лежит между нами, а это
Баррикада немалая ...
Нет, не поеду к нему
Ну, а если б поехал
что б сказали об этом в двадцатом
Будущем веке?
Приоткроем в грядущее дверь:
Эйдельман не одобрит,
ну а Кожинов будет доволен
Скажет: «Не символ ли это...»
Нет, не символ,
а просто бывает порой
Тяжело человеку,
и хочет он что-то сказать
Что-то всем объяснить,

и не в силах
Вот чума у порога
и уже на дорогах кордоны
Грозной девы дыханье
разлито повсюду. Поля
Дождь кропит бесконечный...
О, бедная наша земля
Чьими молитвами ты...
Но не надо об этом, зачем...
Делай дело своё
за столом в кабинете рабочем
Из трагедии Вильсона
кончить пора перевод
Сцены той,
где зачинщика оргий певца
Обличает священник»

1999

* * *

Бог говорил Иóву:
«Слишком тебя я берёг
И от напастей берёг,
и от обманных дорог
Где без лица и ног
шляется лишь Ничто

И вот задул из пустыни
Ветер скорби великой
и время настало узнать
Кто ты есть перед Богом»

1998

* * *

Что ж... От тюрьмы и сумы
Зарекаться не следует...
Тьма дневная
В регионах отчизны,
в полях без конца и без края
Сором и мерзостью сделались мы, говорю,
Перед Господом жизни,
но хотя и отброшены Богом
Надо работать, надеяться...

1999

Санкт-Петербург

Валерий Исхаков
Другая жизнь — другая история
рассказ

Прожить жизнь в любви и согласии. Сделать блестящую карьеру. Вырастить прекрасных детей. И иметь все, что можно иметь за деньги. В сорок с лишним выглядеть на тридцать пять, а чувствовать себя на тридцать... Из этого должна получиться история. Может быть, уже получилась. Но какая — нам пока неизвестно, потому что спрятана в ящике письменного стола. И автор не спешит с публикацией. История, полагает автор, должна отлежаться, чтобы глянуть на нее как бы со стороны, заметить и устранить опiski, неточности, неловкие обороты. И слишком ловкие тоже. Да, конечно. Слишком ловкие обороты, от которых так и несет литературой. Это простая история, и рассказывать ее следует просто. Ну так и расскажи. Но она не закончена. Расскажи нам незаконченную историю. Ну, я не знаю... Нет-нет, не надо доставать рукопись из ящика письменного стола. Пусть лежит себе и ждет своего часа. А ты расскажи нам свою историю так, как ты ее запомнил. Расскажи просто, своими словами. Я попробую...

Прежде всего я хочу исправить неточность, допущенную в рукописи. Это не обязательно. Да, конечно. Но мне хочется. Мне нужно от чего-то оттолкнуться, чтобы начать, я не великий рассказчик историй, я все больше на бумаге. Так вот: в рукописи сказано, что мы с Игорем Ивановичем — так зовут героя моей истории — подружились на студенческой скамье. На самом деле мы стали друзьями еще в школе, а в студенчестве продолжали дружить, хотя дороги наши разошлись: Игорь Иванович, тогда еще просто Игорь, поступил на философский факультет университета, а я — в медицинский институт. По статистике, наибольшее число авторов — бывшие медики, и я не исключение. Красавица Марианна... Вот так сразу? Да, именно так: сразу, без подготовки. Как в воду вниз головой. Красавица Марианна (примесь польской, украинской и венгерской крови, соболиные брови, внезапно атакующие глаза: только что смотрела в сторону, но подняла взгляд — и ты в отпаде; трогательная — хочется потрогать — родинка над верхней губой) легко покорила мое сердце: днем я преподавал ей (остальной курс не в счет) психиатрию, вечером приглашал на свидания, угощал мороженым в кафе «Пингвин», дарил цветы, билеты в филармонию. Я не спешил делать предложение, не торопился овладеть ею, я рассуждал тогда, что таких счастливых мгновений невинной духовной близости у нас никогда больше не будет; никогда, никогда в жизни мы не будем так чисто и так нежно любить друг друга, как в эти несколько месяцев, заполненных до краев предчувствием и предвкушением будущей близости... А как к этому относилась Марианна? Не знаю. Однажды Игорь задал мне этот же самый вопрос. И я не смог на него ответить. Сказал, что не знаю. Что не спрашивал у нее. Ну и дурак, сказал мне на это Игорь. И ведь действительно — дурак. Теперь это так ясно видно, когда смотришь отсюда, из настоящего, в те давние годы. Но тогда...

Неизвестно — мне неизвестно, — как и когда Игорь в свою очередь поко-

рил Марианну. По крайней мере у нас в медицинском он никогда не преподавал. Но однажды он вошел в ее жизнь и в мою комнату, словно Каменный гость в разгар пирушки, — и, как Каменный гость, застыл молча и неподвижно у дверей. И в то время как я смотрел на него, вытаращив глаза и раскрыв рот, Марианна покорно — покорно! — встала и подошла к своему командору, и они ушли — ушли вдвоем, как давние любовники, оставив меня наедине с летней грозой. И что же ты сделал? Ничего. Я даже не встал со стула, не попытался что-то сделать или сказать: так и сидел и смотрел им вслед. Потом гроза миновала, я вышел из дома и побрел неведомо куда, и как-то незаметно для себя я оказался у порога лучшего друга. Тот встретил меня в дверях, мы долго молча смотрели друг на друга, а потом вдруг сделали шаг навстречу и обнялись, словно скрепляя окончательно некогда принятое обоими соглашение, что дружба превыше всего... Знаешь, сказал мне после объятий Игорь, если бы ты не пришел сегодня, мы бы, наверное, никогда бы не помирились. А мы и не ссорились, ответил я. И это было правдой, можете мне поверить, хотя потом, позже, когда на меня находило желание пожалеть себя, я извлекал дополнительную каплю горечи из тогдашних слов друга: сам Игорек, выходит, идти мириться ко мне не собирался. И в комнату к себе тоже не пригласил, возможно, потому, что там его ждала Марианна... Но я не осуждаю его — не осуждал тогда, не осуждаю и теперь, — потому что по-своему Игорь был прав: ведь это не он, это я был третьим лишним — как в песне. И как в песне, третий должен был уйти. К тому же от меня не требовали уйти совсем — достаточно было отойти в сторону. Чтобы не мешать другу. И любимой, которая сама сделала выбор. И поскольку я искренне старался не мешать, а друг и любимая искренне жалели меня и хотели мне помочь, мы с Игорем остались настоящими, а не показушными друзьями; мы и после выбора Марианны продолжали дружить, и даже довольно долгое время дружили втроем: втроем ходили в театр и в филармонию, втроем кушали мороженое в «Пингвине», втроем сидели во время зимних каникул на Чегет, где Игорь подвернул ногу, так что мы с Марианной целых четыре дня катались с гор вдвоем (то есть в составе довольно большой группы, но без Игоря — и в эти четыре дня я испытывал к Марианне такую нежность, на которую уже не считал себя способным), а летом собирались предпринять опять же втроем сплав по горным рекам на плотах и катамаранах — но по каким-то причинам не сплылось.

А к концу следующего семестра как-то само собой стало ясно, что Игорь с Марианной предпочитают Брамса и Листа Моцарту с Бетховеном, а цыплята табака под красное вино — мороженому, ну а увлечение театром сменилось у них вдруг неожиданной и какой-то детской, на мой взгляд, любовью к кино. И все это вполне искренне, не ради того, чтобы избавиться от третьего лишнего. Искренность вообще была в большом ходу между нами, оттого-то я так часто употребляю это затертое слово. А Брамса и Тарковского я все равно никогда не любил...

Дальше начинается собственно история семейного счастья. И оказывается, что изложить ее куда труднее, чем описать банальный любовный треугольник. Недаром же все сколько-нибудь приличные повествователи честно отступали перед попыткой описать счастливую семью. И оттого так много историй заканчивается стандартной фразой: «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». А если не умерли? Если жили и продолжают жить счастливо? Как описать их счастливую жизнь, чтобы не впасть в умильный тон дамского романа или, напротив, не начать ерничать и чернить чужое счастье, вид которого порой не так-то просто выносить? Может быть, в первую очередь следует сказать о любви? Да, пожалуй. Тем более что тут случай бесспорный. Любовь — была. Любовь была столь же яркой и горячей, как в те уже давние годы, — по крайней мере, такой она выглядела и такой ее воспринимали мои

герои, сохранившие с прежних времен привычку делиться со мной, старым другом семьи, самым сокровенным. Они любили друг друга — Игорь и Марианна — и не скрывали этого, и не делали специальных усилий, чтобы сохранить любовь. Не читали пособий по семейному счастью, не пытались слегка остудить страсть короткой разлукой, не подогревали любовное пламя при помощи ревности. Они просто жили бок о бок, иногда расставались — ездили в командировку или в отпуск, и отпуска не всегда совпадали; они спали вместе или врозь — когда один из них был болен или когда в доме ночевали приезжие родственники; они целовались при встрече и при прощании, но не превращали это в обязательный ритуал: хочешь поцеловать — целуй, не хочешь — до следующего раза. Просто оба твердо знали, что следующий раз обязательно будет, и не заботились о настоящем. Никогда не говорили они по телефону на американский манер: «Я люблю тебя, милый!» — «И я тебя, дорогая!» — разве что смеха ради, чтобы спародировать очередную американскую мелодраму. Они писали друг другу письма в разлуке и звонили по телефону, но писем этих я не читал и разговоров не подслушивал, я только могу догадываться, что в этих дальних звонках и письмах — особенно в письмах! — наверняка и таится секрет их вечной влюбленности, и уверен притом, что даже если я и прочту эти письма, то и тогда секрета не раскрою, потому что самое важное в них наверняка прячется между строк.

В детях влюбленные супруги были столь же счастливы. Сын и дочь, подгки, оба уже взрослые, оба успели обзавестись семьями, в ближайшем будущем ожидается появление первого внука. Еще не дедушка с бабушкой, но почти. Сын — красавец-офицер, ростом перещеголявший довольно высокого отца, лицом красив в мать, но в меру, чтобы выглядеть достаточно мужественным. Успел повоевать, легко ранен, награжден орденом. Когда проходит по улице в парадном мундире, все женщины оглядываются. Когда в штатском — тоже оглядываются, но смотрят как-то иначе, более пристально, даже с печалью, может быть, оттого, что ордена и погоны не заслоняют суть. «Почему не мой?» — читается вопрос в глазах одиноких (и не только одиноких) женщин. Дочь красотой чуточку уступает матери — но именно потому, что мать рядом, как эталон, когда матери нет, видна особая, более утонченная красота, на нее западают сразу и долго не могут отделаться, в ней что-то недосказанное, завораживающее. С матерью — то есть Марианной — всегда ясный солнечный день, а с дочерью — раннее утро над рекой, туман, голоса вдалеке, плеск русалок... Дочь прекрасно поет, профессора осторожно, чтобы не сглазить, пророчат блестящую оперную карьеру, все в доме ходят на цыпочках, когда она распевается перед экзаменом. Можно ли пожелать каких-то иных, лучших детей? Или остается только молиться, чтобы ревнивая Судьба не отняла этих?

Хорошо, попробуем перейти к следующему пункту. Что там у нас? Работа? Ну, здесь тоже все совершенно ясно. Игорь — Игорь Иванович — давно уже доктор наук, профессор, проректор университета, автор двух монографий, удачно заполнивших брешь в отечественной эстетике, когда она в одночасье перестала быть марксистско-ленинской. В работе новая книга, еще более фундаментальная, заранее обреченная на успех. И никаких явных врагов, разве что мелкие завистники — но у этих кишка тонка, чтобы Игоря Ивановича свалить. Его благосостояние настолько явно обеспечено упорным и плодотворным (это не всегда совпадает) трудом, что даже завистники не упорствуют, обвиняя его в использовании служебного положения: берет, мол, взятки за устройство отпрысков в вуз. То есть не то чтобы совсем не обвиняют, но, обвиняя, не упорствуют. Возможно, поскольку сам берет и им позволяет брать. А с другой стороны, где кончается взятка и начинается простая человеческая благодарность? Считать ли взяткой проданный за полцены новенький «форд-эс-корт»? Или на очень льготных условиях ремонт того же «форда»? Или... Да мало ли таких или! Что-то, конечно, было, дыма без огня не бывает, но в меру,

не столько ради корысти, сколько, возможно, чтобы самому ощутить свой вес в обществе: ведь скучно, согласитесь, располагая некоторыми возможностями, совсем ими не пользоваться. Да, пожалуй. Это уже нездоровый аскетизм какой-то, монашество. Вот именно: аскетизм! А Игорь Иванович — стопроцентный сангвиник, человек эпохи Возрождения, аскетизма на дух не переносит.

У Марианны — Марианны Теодоровны — симметрия требует отчества, и оно тут же нашлось — тоже сложилась карьера. Поначалу, правда, она приотстала от мужа — роды и еще раз роды, — но потом это отставание даже на пользу пошло. Растеряв немного за годы счастливого материнства лечебные навыки, Марианна Теодоровна сперва неохотно, потом с желанием пошла в рост по административной стезе — и вскоре стала крупной фигурой в Облздраве... Нет-нет, я не о размерах, фигура у нее по-прежнему была идеальная... ну, почти идеальная. Я о значимости, о важности говорю. Она стала весьма важной, значимой фигурой в Облздраве — и даже прошел уже слух, что могут ей предложить его возглавить. Но и хозяйкой притом ухитрялась Марианна Теодоровна быть отменной: пекла и стряпала так, что гостей и домашних от стола за уши не оттащишь, порядок в доме поддерживался всегда на уровне, но без излишней суеты, без страха перед каждой пылинкой, дом — чтобы жить, а не пыль пускать в глаза соседям и родственникам. Машина тоже была у Марианны Теодоровны иностранная, маленький «пежо», и водила она спокойно и уверенно, а когда в настроении — так и просто лихо.

Вкусы и настроения супругов удивительным образом совпадали или дополняли друг друга, так что то и дело легкая радость одного гармонично накладывалась на едва заметную грусть другого, не давая грусти прорасти в глубину души, но и не раздражая ее беспричинным весельем. Если же радость одновременно посещала обоих, в доме все звенело, пело и приплясывало, и к вечеру обязательно разбивали на кухне тарелку или чашку из какого-нибудь недорогого сервиза — дабы не искушать Судьбу.

В общем, глядя на жизнь счастливых супругов, представляется удачно отгадываемый кроссворд: еще не все слова найдены, не все клеточки заполнены, но уже вписанных букв набралось столько, что угадать оставшиеся не составит большого труда. А потом предстоит самое интересное: из отдельных букв в специально выделенных клеточках должно составиться какое-то выражение — и до чего же приятно заранее угадывать, что это за выражение, но не говорить вслух, чтобы не портить себе и другим удовольствие.

Однако меня, как автора, заботит другое. Ну, хорошо, допустим, я все до единой клеточки кроссворда заполнил. Допустим, я рассказал вам их историю до самого конца — то есть не в буквальном смысле, конечно, не до самого конца, не до могилы, но до логического конца, когда никакого развития сюжета уже не предвидится. И что в результате? В результате история выходит какая-то куца, лишенная финала, — а уж кому как не нам с вами знать, что начать историю можно с любого места, хоть с середины, но закончиться она должна в заранее намеченной, точно угаданной точке — чтобы читатель вздохнул с облегчением и мечтательно посмотрел вдаль... В моей же истории нет такой финальной точки, негде читателю остановиться и вздохнуть с облегчением, нет даже обозримой дали, в которую можно мечтательно поглядеть, прежде чем отложить книгу. Шел-шел по прямой и ровной дороге — и вдруг уткнулся носом в стену с надписью «Конец». Это форменное издевательство, возмущается читатель, за такое надо издательскую лицензию отбирать!

Тут отступ, отточие, пропуск строки, передышка. Короткая, но необходимая пауза. И в ней — нечто вроде разбора полетов. Прежде всего давай договоримся не путать твою историю и твою рукопись. Рукопись сама по себе, история сама по себе. Пусть рукопись не закончена, пусть она лежит в ящике

стола, как мы и договаривались, нас вовсе не интересует, будет она опубликована или нет, нас интересует история, которую ты начал нам рассказывать. И это *другая* история, понимаешь? Другая? Ну конечно, *другая*! В той истории, что осталась в ящике твоего письменного стола, в ней с героями ничего не может случиться, пока ты не достанешь ее оттуда, — разве что кто-нибудь достанет ее без твоего ведома и допишет за тебя. Но такого ведь не может быть, правда? Конечно, не может! Вот и отлично. Значит, *та* история тебя может пока что не беспокоить. Пусть она остается неизменной и ждет своего часа. Когда-нибудь ты обязательно вернешься к ней. Но поскольку сейчас ты все равно свободен, не трать понапрасну время, расскажи нам *другую* историю — не записанную на бумаге, существующую только здесь и сейчас, в процессе твоего рассказывания, — ведь она явно не кончилась на том, что твои друзья, Игорь и Марианна, сделали замечательную карьеру, породили и вырастили замечательных детей и продолжали жить в любви и согласии. Твоя *другая* история имеет какое-то продолжение, ведь правда? Может, ты поделишься с нами? Мы никому не расскажем, честное слово. Честное пионерское! Да ладно вам... Ну вот и хорошо, и чудненько, давай выпьем еще по чашечке этого замечательного кофе, закурим, и ты расскажешь нам свою *другую* историю, расскажешь коротко, без лишних подробностей, но уж, пожалуйста, до конца. До самого конца. До настоящего конца. И если в конце твоей истории мы снова упремся в гладкую стену с надписью «Конец», то... Что тогда? Ну, электрический стул тебе за это не грозит, не бойся, но и бурных аплодисментов не жди. Я понимаю. Мы рады, что ты нас понимаешь. Нам всегда нравились понятливые авторы. И понятливые рассказчики тоже. Вот именно. А как насчет понятливых слушателей? Ну, на этот счет ты можешь быть абсолютно уверен: с полуслова. Даже так? Именно так. Сейчас мы тебе это продемонстрируем. Интересно, каким это образом? А вот каким: как понятливые слушатели мы уже поняли из твоего незаконченного рассказа, что как только ты вернешься к своей истории — к *другой* истории, уточним, — так тотчас в жизни Игоря Ивановича появится *другая* женщина. Мы угадали? Ну, в общем... Вот видишь. Но мы не будем портить тебе удовольствие. Рассказывай так, как считаешь нужным. А мы будем внимательно — очень внимательно! — и с пониманием тебя слушать. Ну-ну...

.....

Я должен прежде всего вернуться в конец той, первой, изложенной на бумаге истории. Вернуться к тому неприятному для всякого повествователя моменту, когда я буквально носом уперся в эту воображаемую, но от этого не менее неприступную стену с надписью «Конец» — и сколько ни озирался по сторонам, так и не заметил ни лестницы, ни воздушного шара, ни доброго ангела с крылышками, готового перебросить меня на ту сторону, чтобы продолжить путь. Мысль о том, что за стеной может и не быть никакого пути, мне, кстати, тоже в голову приходила, но я отбрасывал ее, потому что тогда мой труд терял вообще всякий смысл. Что делать? В тайной надежде, в которой сам себе не хотел признаваться, я позвонил на службу Игорю Ивановичу, потом Марианне Теодоровне — непременно в таком порядке, как бы неназойливо подчеркивая, что проверенная временем мужская дружба по-прежнему превышает всего. Нет, никаких перемен, все так же довольны и счастливы, даже, пожалуй, слишком счастливы (это Игорь Иванович), тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить... Да, живем мечтами о внуке (это Марианна Теодоровна), уже планируем, как будем обустраивать недавно купленный дом в деревне — семьдесят километров в сторону Белоярки, чернозем, двадцать соток, крепкий бревенчатый дом, банька, в лесу полно грибов, приезжай, на всех хватит... Обязательно приеду, клянусь я. (Грибы? Нет, оба они слишком знают и любят грибную охоту, да и вульгарно это — отравить идеальную пару какими-нибудь строчками...) Не жди

осени, продолжает Марианна, скоро сенокос, пойдем в лес за свежими березовыми вениками, а потом — в баньку... (Может, энцефалитный клещ? Даже не обязательно смерть героя, достаточно тяжелой болезни, комы, инвалидности на всю жизнь: жалкая фигура, распростертая на кровати и поседевшая, подурневшая Марианна оборачивается ко мне, и ее глаза вспыхивают огнем благодарности и... Нет, они люди осторожные, наверняка сделали прививки, а мне вот все недосуг. Как бы самому не того...) Я перебирал все возможные варианты: пожар, печной угар, автомобильная катастрофа — и браковал один за другим. Нет, не желал я своим героям такого финала — потому что в сущности это был бы ложный финал, обычная уловка неопытного рассказчика, который, исчерпав материал и не зная, что дальше делать с героями, хладнокровно и гигиенично убивает их, являя тем самым миру свое авторское бессилие. Я же готов был скорее покончить с собой, чем публично признать свое литературное поражение. Нет, героев мы убивать не будем...

Но неужели же нельзя найти хоть какой-нибудь ход? Если ничего, абсолютно ничего нельзя изменить в их благополучном настоящем, то не потерялось ли чего подходящего для моих авторских целей в прошлом? Ведь не доцентом же родился наш драгоценный Игорь свет Иванович? И не первой же красавицей медицинского института явилась в мир драгоценнейшая Марианна свет Теодоровна? Разумеется, прошлое Марианны Теодоровны для меня более туманно — и потому более привлекательно для авторских целей, дает большую свободу воображению, но, увы, как раз воображение-то и отказывает мне сейчас, зато вдруг оживает память — и в памяти медленно, постепенно, как (простите за набившее оскомину сравнение, меня оправдывает лишь то, что употребляю его для собственных нужд, не для читателя — что было под рукой, то и употребил) на проявляющемся снимке, возникают контуры чьей-то фигуры, смутные пока что черты лица, какая-то особенная, бросающаяся в глаза походка... И осторожно, тихо, дабы не спугнуть призрак удачи, я извлекаю из дальнего угла коробку с фотографиями, а из коробки — старое групповое фото нашего класса. Я вглядываюсь в фотографию и вспоминаю... нет, не вспоминаю — я ищу. Ищу лицо, ищу фигуру, ищу походку новой, неожиданно возникшей в уже законченной, казалось бы, вещи героини. Ищу слова, которыми она заговорит. Это должны быть ее слова — и вместе с тем слова мои, автора, — и в гораздо меньшей степени слова той реальной женщины, что послужит моей героине прототипом. Послужит, сама не догадываясь об этом. Даже и не помышляя, должно быть, что один бывший одноклассник пытается с ее помощью разрушить жизнь другого.

Но разве я рушу чью-то жизнь? Я вполне искренне... Опять любимое слово? Да, ничего не поделаешь. Я действительно искренне, что бы вы по этому поводу ни думали, задаюсь этим вопросом. Ведь я не бог, не демиург, я просто писатель, сочинитель слов, в данном случае — рассказчик историй, что меня, кстати, вполне устраивает, я и не хотел никогда быть инженером человеческих душ, учителем и наставником, менее всего — проповедником. Я это я. Они это они. Я пишу про них — они читают меня. Иногда — редко — возникает обратная связь. Это когда по морде? Ну, не обязательно... но недовольные бывали. Однако большинству льстит. Жаждут быть описанными. Иногда намекают. Даже с просьбами пристают. Некоторые думают, что мы как журналисты: что вижу, то и пишу. Пошлют в колхоз — напишу про колхоз. Пошлют в армию — напишу про армию. Пошлют в космос... Ну, про это было у Брэдбери. Да, конечно, я тоже люблю этот рассказ. Хотя Вулфа так и не полюбил, как ни старался. Но космос — дело другое, если бы послали в космос, я бы тоже написал. Не счел бы зазорным опуститься до документа. Космос стоит мессы. Увы. Таких не берут в космонавты. Скорее Игоря бы взяли, чем меня. Атлет, не пьет, не курит, строен как в двадцать пять, давление и пульс в норме, содержание сахара в крови... Черт, куда меня несет, куда

вынесет? Это, оказывается, так легко — говорить все что в голову взбредет, не то что стучать по клавишам компьютера. Ну, компьютерные клавиши тоже чересчур легкие, вот по клавишам пишмашинки ты бы так не порхал мотыльково — живо б пальчики отбил, помнишь еще, не забыл, как болели, когда конец истории светил сквозь словесный туман, когда нетерпение заставляло гнать лошадей? Еще бы не помнить! А сколько при этом было опечаток... Жуть! И ведь не исправишь, как ныне, одним движением руки...

Так о чем же я? Да, конечно: я не разрушаю жизни и не исправляю их, я только описываю, и вряд ли меня можно обвинить во вторжении в чужую жизнь, ведь я описываю в прошедшем времени, пишу о том, что уже произошло или как бы произошло (выдумываю, господа, а вы как думали!), и вмешательство тут возможно только тогда, когда имеет место тайна личности: муж, скажем, не догадывается об измене жены, а я узнал и описал. Это, конечно, вмешательство. И притом за такое можно и канделябром по морде. Но я ведь не делаю этого. Никогда не делаю. По крайней мере — почти никогда. А почти никогда — это по нынешним меркам очень много. Мало кто из моих коллег способен даже на почти никогда. В общем, не надо, милая одноклассница, мне инкриминировать вторжения и разрушения. Будем каждый заниматься своим делом. Ты словно невзначай встретишься со своей первой любовью, я попробую это представить и описать. И даже не описать, а рассказать. Так что даже на бумаге никаких следов не останется. Пока не останется. А там посмотрим.

...Началом того, что ближайшие друзья и родственники Игоря Ивановича называли потом его падением и что он сам, напротив, считал возрождением, стал по моему замыслу малозначимый и, пожалуй, даже забавный эпизод. Однажды летом, в жару, Игорь Иванович выпил чересчур много пива в компании какого-то коллеги — тот так и остался безымянным, увы, и даже не заподозрил, какую важную роль сыграл в жизни товарища, — и вскоре начал испытывать вполне естественную потребность, удовлетворить которую в нашем городе не так-то просто. Как назло единственный платный туалет в пределах досягаемости оказался закрыт. Дело между тем не терпело отлагательства. И тогда впервые в жизни (за это я готов поручиться) идеальный Игорь Иванович совершил антиобщественный поступок — забежал в проходной двор и там, в узком вонючем проходе между глухой стеной и гаражом, с наслаждением, понятным каждому, кому случалось оказываться в его положении, облегчился. А потом, само собой, Игорь Иванович пошел обратно, к выходу на проспект. Весело пошел, с облегчением, но не проявляя излишней поспешности, пошел — и там, в узком мрачноватом тоннеле, ведущем из двора на проспект Ленина, неожиданно (тут я могу только виновато ухмыльнуться) встретил бывшую одноклассницу, в которую Игорь Иванович, тогда еще просто Игорь, был когда-то отчаянно влюблен. Она же как раз любила меня, к ней вполне равнодушного, и только от отчаяния позволяла Игорю провожать себя после кино и даже целовать в темном подъезде — зная заранее, что бедняга Игорь назавтра же похвастается своим достижением лучшему другу: вот, мол, целовался в подъезде сам знаешь с кем, и тем самым надеясь пробудить во мне ответное чувство. А не наоборот? В каком смысле? Ну, то есть мы не хотим обидеть уважаемого автора, но логика и опыт нам подсказывают, что человеку свойственно в жизни раз за разом играть одни и те же роли. И если вы однажды уже были несчастным влюбленным... Достаточно, я понял. Что ж, возможно, вы и правы. Возможно, было как раз наоборот. Возможно, я был влюблен в ту одноклассницу, одноклассница была влюблена в Игоря, Игорь был к ней равнодушен, и она... Да, вполне возможно, она старалась возбудить его ревность тем, что позволяла мне провожать себя и целовать в подъезде и все такое... Но что это меняет? Ничего. Вот именно. В нашей истории — в *другой* истории — в истории, которую я рассказываю, это ровным счетом ничего не меняет. В любом случае тогда, в детстве, ее усилия были бесплодны — и только теперь, десяти-

летия спустя, с холодным равнодушием профессионала я реанимировал старую школьную любовь и, пользуясь своей всевластием, позволил ей задним числом обрести взаимность. И чего только не творят эти бессовестные авторы... А иначе какого черта мы занимались бы этим безнадежным делом?

Однако обреченный на реанимированное чувство Игорь Иванович чуть было не порушил мои тайные замыслы, поскольку не сразу узнал бывшую одноклассницу: он только глянул краем глаза и отметил во встречной женщине некоторое сходство с той прежней, из восьмого «Б». Однако разойдясь с нею — она и подавно не обратила на него внимания — и сделав четыре шага (как истинный педант, он точно запомнил каждый свой последующий шаг) в направлении света, он заподозрил, что сходство было, пожалуй, слишком уж большим, чтобы оказаться случайным. К тому же, как он потом говорил, не смотря на минувшие годы, эта женщина сорока с лишним лет ухитрилась сохранить фигуру той давней девочки — и ту же странную, как бы слегка запинаящуюся на каждом третьем шаге, походку. Этот чуть прерывистый ритм ее движения не бросался в глаза, но отмечался зрением и запоминался подсознательно — как запоминается ритм музыкальной фразы, — и стоило ему обернуться назад от света, во тьму, и поглядеть ей вслед, как в памяти неожиданно ярко и отчетливо всплыло их давнее прошлое, и не нашедшая тогда ответа детская любовь остро, как кошка лапой, царапнула его уже немолодое сердце. Остро царапнутый, Игорь Иванович, однако, не окликнул женщину, не бросился следом. Он сделал по-другому. Видя, что школьная любовь намеревается срезать путь, хочет пройти двором и выйти через второй выход на улицу Луначарского, Игорь Иванович решил опередить ее и встретить лицом к лицу: на сей раз не в сыром полумраке тоннеля, а среди бела дня, на ярком солнце, когда сквозь все отложения времени она не может не рассмотреть в нем прежнего влюбленного одноклассника. Он кинулся к выходу на проспект. Он почти бегом, вприпрыжку, нелепо размахивая «дипломатом», промчался мимо старух, торгующих морковью и пучками укропа, мимо гостиницы, мимо магазина «Рыба», мимо кафе-мороженого «Пингвин», куда когда-то ходил с этой девочкой и где они ужасно поссорились — после чего он навсегда возненавидел мороженое, кафе-мороженое и даже ни в чем не повинных пингвинов, оттого и Марианну не водил в зоопарк и предпочитал угощать цыплятами-табака, — и все это: девочка, мороженое, пингвины, Марианна и цыплята мельтешили в его голове, смешиваясь в какой-то невообразимый салат, украшенный старушечьим укропом, куда он мчался мимо зеркальных витрин, искоса поглядывая на свое молодеющее и худеющее с каждым шагом отражение, так что к выходу из второго туннеля — не такого узкого и мрачного, как первый, — он поспел если еще и не юным, то по меньшей мере молодым, двадцатипятилетним, и это, видимо, не было только игрой его воображения, поскольку его женщина, его восьмиклассница, сразу узнала его и вполне искренне произнесла сакраментальную фразу: «Господи, Игорь! Ты совсем не изменился!» — и он вынужден был ответить ей тем же, хотя она, в общем, изменилась, конечно, и рыжая краска довольно плохо скрывала обильную седину в коротко стриженных волосах, а тональный крем-пудра — морщины.

Игорь Иванович, впрочем, утверждал, что это ее не портило. И тут я охотно ему верю. У меня перед глазами был пример Марианны. Она выглядела все так же ослепительно и молодо, как много лет назад, — и все мои попытки посмотреть на нее свежим взглядом и увидеть разницу не приводили ни к чему. И потом я уверен, что и седину, и морщины своей былой возлюбленной Игорь заметил — не мог не заметить после стольких-то лет, — и тут же забыл про них, потому что новый образ возлюбленной наложил на образ прежний, они совместились и стали одним образом — теперь навсегда, — и сколько бы он потом ни рассматривал старые фотографии в ее школьном альбоме, сколько бы сама возлюбленная ни вздыхала по прежней юной восьмикласснице,

ему нужна была только она, нынешняя, и он ни за что не согласился бы променять ее на призрак былой любви. К тому же не забудем о том, что прежняя юная восьмиклассница не любила юного Игоря... Или он ее не любил. Да, или он ее не любил -- но мы ведь договорились, что для данной истории это неважно. Или не договорились? Договорились, договорились... То-то же! В общем, будем исходить из того, что именно она, восьмиклассница, не любила когда-то Игоря, а нынешняя, сорока с лишним лет, повидавшая жизнь женщина его полюбила — и одно это перевешивало морщины, седину и попорченные временем и табаком зубы.

О любви, впрочем, они сразу не заговорили. Удержало какое-то врожденное чутье, а может, вмешалась Судьба, покровительствующая влюбленным. Оба разом почувствовали, что их прежнее чувство — а именно так по моей воле они его воспринимали, как общее прежнее чувство, словно меня, третьего, между ними никогда не было, — ничего, мне к этому не привыкать, — их прежнее чувство не исчезло, не похоронено под прахом времени, а стало лишь прочнее и умнее, ибо когда-то глупая влюбленность ранней юности наделала столько ошибок, что глупое же самолюбие юнцов не позволило обоим сделать необходимые шаги к примирению. Теперь они чувствовали себя достаточно созревшими для настоящей любви — и именно поэтому предпочитали о ней помалкивать, зная, что слишком много значащее слово, не подкрепленное еще ни прикосновением, ни поцелуем, ни объятием, покажется им легковесным и фальшивым и разлучит их куда вернее, чем осторожное молчание. Молча сели они в машину — старую ржавую «копейку», напомнившую мне своим тарыхтеньем пишущую машинку, на которой я писал рассказы и первые романы, покуда не написал достаточно, чтобы купить компьютер, — и так же молча, не сговариваясь и не строя планов, уехали. Астматически дыша и стуча клапанами, автомобильная древность повезла Игоря Ивановича и его женщину — не то вперед в прошлое, не то назад в будущее, в общем — неведомо куда.

Я, кстати, прежде чем продолжить рассказ, хочу предупредить вас, что твердо решил не придумывать для новой героини имени взамен настоящего и вообще не именовать ее никак — пусть будет и впредь просто женщиной, а чтобы не спутать с какой-нибудь другой — *его женщиной*. Мы не возражаем. Это нормальный ход. Не забудь его, когда станешь записывать эту свою *другую* историю. И когда будешь писать, слова «его женщина» обязательно выдели курсивом. Курсив *унижает*. Я выделю.

Вернемся, однако, к нашим героям. Какое-то время они продолжали жить своей собственной, внешне столь же счастливой жизнью, и если какие-то тревоги поселились уже в их уютном доме, то мне об этом ничего не было известно. Может быть, они еще надеялись тогда, что если не делиться со мной, то я оставлю их в покое, забуду про свою историю, не стану ради эффектного финала окончательно рушить их счастье, а может, просто не верили в силу слова — что, конечно, обидно для меня как для автора, но по-человечески понятно. Первые тревожные симптомы я отметил ближе к осени, когда впервые явно уловил некоторую сухость в разговоре Марианны со мной. Слова вроде бы все были те же самые, но за столько лет я изучил ее манеру разговора и сразу уловил, что говорит она несколько иначе, другим тоном. Опять же только я, старый друг, мог заметить и заметил это отличие в тоне — моя жена, подружившаяся с Игорем и Марианной много позже меня, присутствовала при нашей встрече и никаких отличий не заметила. Зато она разглядела что-то новое во внешности Марианны — и тут надо отдать женщинам должное, в физиономистике они дадут нам сто очков вперед. В лице *твоей* Марианны — это единственное, что позволяла себе жена, вообще-то она неревнива, — в лице *твоей* Марианны стало больше силы и решительности, сказала она. Будто раньше она плыла по течению, все у нее получалось само собой, не надо было прилагать никаких дополнительных усилий, как нам, простым смертным, а теперь...

Может, на службе какие-то перемены, сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало естественно, у них, чиновников, вечно кто-то кого-то подсиживает, им все время приходится доказывать начальству, что они самые лучшие, самые сильные, самые преданные... А может, что-нибудь с Игорем? Я что-то такое слышала... Ты?! Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать. Я слишком привык к тому, что пользуюсь безграничным доверием Игоря и Марианны — куда более безграничным, чем моя жена, — и получаю все новости о них из первых рук. Я как-то упустил из виду, что вокруг каждой семейной пары (наша не исключение) со временем образуется нечто вроде облака более-менее тесных или мимолетных связей, некий круг общения — и зачастую члены этого круга, не столь близкие к паре, образующей центр притяжения, как, например, я по отношению к Игорю и Марианне, узнают, общаясь между собой и обмениваясь информацией (попросту говоря — сплетнями) об этой центральной паре что-то такое, чего порой не только самые близкие к ним люди, но и сами они о себе не знают. Кто-то кого-то с кем-то где-то видел, кто-то о ком-то с кем-то что-то слышал... Бывают случаи, когда слишком тесная близость порождает узость взгляда; те же, кто стоит чуть поодаль, имеют более широкий кругозор. Именно так и произошло в данном случае: близкая подруга моей жены и одновременно сослуживица, точнее — подчиненная, Марианны жила в одном подъезде с моей бывшей одноклассницей... Той самой? Вот именно — той самой бывшей одноклассницей, которую мы условились называть *его женщиной*. Она жила в одном подъезде с *его женщиной* и, разумеется, не могла не заметить появления мужа своей начальницы рука об руку с этой вульгарной, потасканного вида особой — у нее, надо полагать, были вполне «добрососедские» отношения с *его женщиной*, что не редкость, но даже если бы отношения были вполне дружеские и если бы с г.лазу на глаз с соседкой эта сослуживица-подчиненная говорила вежливо и приветливо, то за глаза, в разговоре с другой женщиной, тем более — с близкой подругой своей начальницы, она не отказала бы себе в удовольствии слегка (а то и не слегка) принизить ее, приподнявшись тем самым в собственных глазах и глазах собеседницы за ее счет. Тем более что *его женщина* при встрече старательно прятала глаза, притворяясь, что не замечает соседку, чтобы, как та поняла, не знакомить с ней своего приятеля (любownika?), тот же явно не притворялся, а действительно не узнавал ее, хотя когда-то его жена, Марианна, их познакомила.

В общем, в результате моя жена обрела идеального информатора: соседка-сослуживица была достаточно близка с Марианной, чтобы сплетничать (назовем вещи своими именами) напрямую, но зато она была достаточно близка с моей женой, — а та в свою очередь достаточно близка с Марианной, чтобы служить надежным передаточным звеном. Соседка-сослуживица не знала только одного: что именно мне, мужу ее надежного передаточного звена, принадлежит вся эта история от первого до последнего слова, и что именно поэтому ее слова никогда не достигнут ушей Марианны. Моя жена твердо пообещала не говорить ничего Марианне, а она свое слово держит. Но кто-то другой — не обязательно знакомый той соседки-подчиненной — что-то Марианне сообщил. Даже не знаю — кто. Нет, честное слово, не знаю. Я ведь говорю: круг вокруг счастливой четы был достаточно широк, нашлись другие доброжелатели, которые видели Игоря Ивановича в компании *его женщины*, и они, эти доброжелатели, не были друзьями моей жены. Я, помнится, даже пошутил тогда по этому поводу: как же это так, ты — и вдруг кого-то не знаешь из окружения Марианны, не похоже это на тебя. Не очень, правда, весело пошутил. Потому что неизвестные доброжелатели явно задались целью рассорить меня с Марианной, связав меня с той бывшей одноклассницей — той самой *его женщиной*. Якобы это я свел Игоря с нею. Более — я устраивал им свидания у себя дома и в саду, прикрывал Игоря перед Марианной, когда он встречался с *его женщиной*, чуть ли не записки передавал. Сводничал, в с... А этого

не было? Разумеется, не было. Сошлись они, может быть, и по моей вине — если вы, конечно, верите в силу слова; в то, что автор может предвосхитить судьбу реальных, не выдуманных героев и заставить их действовать по своей воле, — но свидания на квартире, в саду? Зачем это? Квартира у нее была собственная — жалкая, положим, грязноватая, типичная хрущовка, к тому же далеко от центра, на Сортировке, дом так и кишел китайцами с битком набитыми сумками, — но все же отдельная квартира, ни мужа, ни детей, встречайся с кем хочешь в любое время дня и ночи. И сад тоже был — четыре сотки, щитовой домик, банька... И уж совсем глупо: про записки. Вы когда-нибудь слышали в наше время, чтобы взрослые люди, пусть даже и влюбленные, обменивались записками, будто школьники? Я тоже не слышал. К тому же в той жалкой квартире был у нее и телефон, а у Игоря Ивановича, как и положено солидному человеку в наше время, — всегда при себе сотовый. Так что ни для свиданий, ни для почтовой связи голубки во мне вовсе не нуждались. И если в конце концов я им все-таки понадобился, то не в качестве связного или посредника, а как профессиональный психиатр...

Да-да, пришлось, не удивляйтесь, именно в таком качестве. Вы ведь, наверное, воображаете, что Игорь Иванович, встретившись со старой любовью, погружился в этакий кипящий водоворот любви: розы, шампанское, черные шелковые простыни, свечи... Розы были, шампанское тоже, что же касается простыней — то только не черные, не шелковые, а самые обычные, бывшие в употреблении, с метками прачечной — и как-то спокойно оба обходились без свечей. Но не в этом дело. Дело в том, что у каждого из них была до встречи своя собственная жизнь. Со своими проблемами и мелкими и крупными житейскими заботами. И если у везунчика Игоря Ивановича проблемы и заботы решались как бы сами собой, между делом, то у *его женщины* не было за спиной ангела-хранителя с крылышками, ей приходилось буквально пробиваться, продираясь сквозь течение жизни — у нее на Сортировке словно бы сам воздух был плотнее, чем у него в центре города, так что ей приходилось куда больше усилий прикладывать, чтобы просто жить, двигаться, перемещаться во времени и пространстве. У нее даже походка была как у человека, идущего навстречу ветру: чуть наклонившись вперед и выдвинув вперед одно плечо. А Игорь Иванович шествовал себе вальяжно, вперевалку, и попутный ветерок тихо, нежно, заботливо подпирал его в спину. В общем, скажем прямо: даже в ту первую памятную встречу Игоря Ивановича отнюдь не сразу уложили на старенькие, но чистые простыни, сперва ему пришлось **проделывать** много-много всяких непривычных движений. Пришлось ехать на хрипящей и задыхающейся «копейке» через весь город на Агафуровские дачи, в психушку, где, оказывается, лежала с безнадежным диагнозом мать *его женщины*. Пришлось присутствовать при их безрадостном свидании и даже изображать из себя бывшего мужа *его женщины*, поскольку бедная шизофреничка сразу *узнала* его и отказывалась признавать за кого-то другого. Пришлось мотаться по городу в поисках какого-то дефицитного лекарства для больной — воспользоваться связями Игоря Ивановича *его женщина* отказалась категорически. Пришлось ехать в сад, где в яме хранилась посевная картошка, вытаскивать тяжелые мешки с картошкой из ямы, грузить в багажник машины — с тем чтобы завтра ехать за тридевять земель копать участок в десять соток и эту картошку сажать. Но и то хорошо хоть, что завтра. Что ночь, милосердная ночь, ночь любви все-таки ждала его допрежь картошки. И на том спасибо, тихо сказал себе Игорь Иванович, отмывая после картошки руки в бедной маленькой ванной...

На этом, впрочем, проблемы Игоря Ивановича не кончились. У возлюбленной его оказался еще и бывший муж — в заключении, и сын от бывшего мужа — законченный наркоман. Мужу надо было послать передачи, и тут гордая женщина поначалу избегала материальной помощи Игоря Ивановича,

но позже, когда они уже окончательно поселились вместе, отказываться перестала, так что и на бывшего мужа *его женщины* Игорь Иванович потратил немало душевных сил и денежных средств — не чрезмерно, нет, но все же достаточно. К тому же неприятно огорчала — сказать, что пугала, было бы слишком, Игорь Иванович был не из пугливых, — перспектива возможной амнистии и возвращения бывшего мужа, с которым окончательно не был урясен пресловутый квартирный вопрос. Что же касается сына-наркомана, то тут Игорь Иванович проявил истинно мужскую твердость. Тут он впервые, кстати, обратился ко мне за профессиональной консультацией, и хотя я непосредственно наркоманией тогда не занимался, но посоветовал лучшего в городе специалиста, и с его подачи сын *его женщины* был отправлен и помещен в специальное заведение для наркоманов в Испании, для чего Игорю Ивановичу пришлось проститься с любимым «фордом-эскортом». К тому времени они с Марианной уже окончательно разошлись — разошлись спокойно, интеллигентно, без скандалов и дележа имущества. Квартиру он, разумеется, оставил ей, себе забрал лишь одежду, машину и часть сбережений, что оказалось поистине спасительным для него и *его женщины*, ибо впереди Игоря Ивановича ждали новые проблемы.

Поначалу, впрочем, он не воспринимал это как проблему. Он и сам был не прочь выпить время от времени, иногда даже огорчался, что Марианна такая трезвенница и к бутылке в доме относится отрицательно, в общем, поначалу было даже приятно расслабиться после долгого воздержания, позволить себе лишнее — тем более когда «форд» уплыл и на службу Игорь Иванович стал добираться демократично — на трамвае. Но ведь одно дело выпить раз в неделю, два раза в неделю: в университете многие попивали, тем более поводов куча — защита, окончание семестра, начало нового учебного года, — и совсем другое, когда редкий день обходится без возлияний. И вот уже обязательное похмелье по утрам, вот уже пробежка до ближайшего ларька в поисках холодного пива, вот уже нетерпение в конце рабочего дня — скорей бы домой, принять пару стопочек под жареную картошку с селедочкой, а потом, глядишь, придут друзья-подруги *его женщины* и пойдет пир горой... Пир порой кончался скандалом, а то и потасовкой, и странное дело — как мне потом признавался сам Игорь Иванович, ему это было вовсе не противно, а, напротив, даже начало нравиться. Он ведь от природы был весьма крепкий мужчина, на полголовы выше меня, шире в плечах, играл в баскетбол и волейбол, катался на горных лыжах, плавал замечательно, кандидат в мастера спорта, боксировал, увлекался какой-то восточной борьбой, не помню, какой именно, — в общем, здоровый мужик, занятый чисто кабинетной, бумажной работой, в окружении истеричных баб и обабившихся мужиков (тоже его слова), дома все идеально, придраться не к чему, соседи сплошь интеллигенты, некому в морду дать — а сила-то не уходит, требует применения. То ли дело на новом месте! Пару челюстей свернул — и герой двора. Правда, когда милиционеру в глаз заехал, заработал пятнадцать суток, но зато сколько удовольствия... А то, что с работы уволили, то и черт с ней: деньги пока что есть, на еду и выпивку хватает, а не хватит — подзаработаем. Хочешь грузчиком, хочешь челноком...

Так вот и жил новый уже, *другой* Игорь Иванович, бывший проректор и профессор, челнок и водитель по найму с дипломом доктора философских наук, и все бы ладно, если бы работы не становилось все меньше, а выпивки — все больше. И уже через два — два с половиной года такой жизни оба они — Игорь Иванович и *его женщина* — снова сидели в моем кабинете, но на этот раз уже не кто-то третий, а они оба нуждались в помощи специалиста. Они были моей первой *тьющей парой*, как это теперь в психиатрии называется, именно с них и началась моя новая карьера, на них я изучал симптоматику, описывал психические отклонения, сопутствующие развитию именно парной разновидности алкоголизма, и отрабатывал методику лечения. И могу с гордостью сказать, что

они стали моим первым, но отнюдь не последним реальным достижением. Они вылечились. Нет, они не перестали пить совсем — можно было бы добиться, наверное, и такого результата, но они сами не хотели этого, им это было в кайф, но все же они вошли в берега. То есть пили столько, сколько хотели, а не до тех пор, пока выпивка и деньги в доме кончатся. Могли остановиться, поставить недопитую бутылку в холодильник. Могли и вовсе не пить несколько дней кряду, если не было денег или настроения или просто было слишком жарко, чтобы пить что-нибудь, кроме холодного пива. Жизнь их не была безоблачна, увы, все те же остались проблемы с сыном-наркоманом, бывший муж вернулся из заключения и время от времени донимал их, требуя денег не то за квартиру, не то за машину, в точности я не знаю, челночный бизнес приносил мало дохода, зато много хлопот, а порой становился просто опасен, им уже приходилось прятаться по чужим квартирам от кредиторов и срочно перезанимать доллары у друзей (в том числе и у меня), чуть было жизни не лишились — или по меньшей мере квартиры, тем более что машины уже не было, ее вдребезги разбила *его женщина*, сама уцелела чудом, но с тех пор заметно прихрамывает и плохо видит одним глазом; наконец, и между ними порой возникали разногласия, ссоры, даже драки, трижды они были на грани полного разрыва, но так и не разошлись, и в любом случае в моей помощи они больше не нуждаются — может быть, поэтому мы с Игорем видимся очень редко. Его новая жена — *его женщина* — похоже, недолюбливает меня, что вполне объяснимо. Я, наверное, кажусь ей слишком благополучным, целиком принадлежащим тому миру, которому принадлежал Игорь до встречи с ней. Возможно, она воображает, что я до сих пор на стороне Марианны и что я пытаюсь — или по крайней мере пытаюсь — убедить Игоря вернуться к первой жене. Я, кстати, действительно пытался, но это было давно, и делал я это не столько ради Игоря, сколько ради Марианны. Ведь не только его, но и ее я продолжаю считать своим другом.

Что же до Марианны, то с ней, пожалуй, все в порядке. Она сумела это пережить. Она по-прежнему столь же красива — пусть и с поправкой на возраст — и еще более деятельна и энергична. Карьера ее не порушилась, в детях и внуках она нашла успокоение и счастье. Нет, замуж она не вышла. И не хочет выходить. Даже и за меня. В особенности за меня. Я получила свою долю любви и женского счастья, сказала она мне, это было настоящее счастье, и суррогаты мне не нужны. И я проглотил это молча. А что я мог сказать? Я ведь даже не был уверен, что искренне предлагаю ей выйти за меня замуж, что я действительно готов, как это сделал Игорь, оставить ради нее мою вполне благополучную семью. Я ведь не бросил все и не пришел к ней, готовый на все ради нее, я просто сказал ей: если бы ты захотела, если бы ты согласилась... Думаю, она почувствовала разницу.

Ну, что еще сказать? Игорь Иванович встречается с детьми — одно время, когда он пил, они избегали его, но теперь встречаются и даже, пожалуй, охотно. Мне даже кажется, что нынешний отец им стал интереснее. Раньше он был для них лишь составной частью того, что они называли «родители», причем не главной частью, второстепенной, поскольку главной всегда была мать. Теперь же он приобрел отдельную, самостоятельную ценность. Так же, как и Марианна, впрочем. Но она к прежнему своему образу прибавила совсем немного, то, что раньше приходилось на долю Игоря. А он — много больше, чем имел раньше. И по-моему, это справедливо. Игорь Иванович часто навещает внуков, иногда его приглашают — одного — на большие семейные торжества. И хотя он сильно изменился и мало походит на прежнего профессора, доктора наук, но выглядит достойно. Высокий, немного грузный, в джинсах и кожаной куртке, сменивших прежний строгий костюм с галстуком. С крепкими руками и уверенной походкой. Теперь он тоже ходит чуть-чуть подавшись вперед и выставив одно плечо — будто разрезает ставший чересчур плотным воздух. И в свои пятьдесят выглядит именно на пятьдесят,

а не на несколько лет моложе. Впрочем, вы сами сможете в этом убедиться... Как это? Очень просто. Игорь Иванович работает теперь в перевозчицкой фирме, водит «Газель», и как раз сегодня мне понадобилось отвезти старый диван на дачу, я позвонил и попросил прислать именно его. Так что он должен появиться с минуты на минуту. Честно говоря, я немного побаиваюсь этой встречи. Сколько бы я ни говорил себе, что я ни в чем не виноват, что я в конце концов не подстраивал той встречи в проходном дворе, что Игорь Иванович и *его женщина* и без меня могли встретиться — на традиционной встрече бывших одноклассников, например, все же я никак не могу отделаться от чувства вины. Ведь если быть до конца честным, я не мог не завидовать его слишком уж совершенному счастью и не мог втайне не злорадствовать, когда счастье это рухнуло в одночасье, а сам Игорь Иванович должен был обратиться ко мне за помощью. И не знаю, как он воспримет мой сегодняшний поступок. Может, он подумает, что я хочу унижить его, показать, как низко он пал в сравнении с его прежним положением. Может, я действительно этого хочу? Не знаю. Я действительно не знаю.

К тому же я не знаю, как Игорь отнесется к тому, что я сделал его и Марианну героями своей истории. Я уже писал о нем и о *его женщине* — но писал в специальной литературе, приводил как случай из своей практики, описывал в качестве удачного примера излечения, причем, разумеется, не называя настоящих имен. Но он-то знал, что это написано о нем. И как он это воспринял? Ну, в общем, нормально. Даже попросил на память оттиск статьи с автографом. Сказал, что вставит в рамочку и повесит на стену, чтобы статья напоминала ему о прошлом недуге и удерживала от неосторожных поступков. Но не повесил? Нет, не повесил. Это я знаю точно. Та соседка-подчиненная — она по-прежнему подруга моей жены, но она вдобавок еще подружилась с Игорем и *его женщиной*, часто бывает у них, и от нее я знаю, что Игорь сперва часто во время дружеских застолий показывал гостям мою статью и даже зачитывал некоторые места вслух, но потом они поссорились из-за этого с *его женщиной*, и больше статьи никто не видел. Может быть, она даже порвала ее и выбросила. А может, он сам порвал, чтобы сделать ей приятно. И я егонисколько не осуждаю.

Но моя нынешняя история — это совсем другое дело. Это уже не случай из *моей* врачебной практики. Это часть нашей общей жизни. То есть та, первая, незаконченная история. Где для Игоря и Марианны все кончается благополучно. Та история принадлежала нам троим на равных правах, каждый из нас мог бы изложить ее по-своему, и, уверен, разница в интерпретации была бы несущественной. Так что ни у Игоря, ни у Марианны не было бы поводов для обид, если бы я опубликовал ее в таком виде — и какое им дело, что я не мог этого сделать, не имея эффектного финала. Но эта новая, *другая* история — она, конечно, целиком и полностью принадлежит Игорю, это его история, не моя, это ставит меня, автора, в дурацкое положение: должен ли я дописать мою незаконченную историю до ее настоящего конца, рискуя окончательно потерять своего старого и единственного друга, или оставить ее как есть — без конца, без финала, без надежды на то, что когда-нибудь смогу ее опубликовать? Наверное, следовало бы сделать выбор в пользу старой дружбы, но вот какое странное, даже дикое, согласен, соображение меня останавливает: а что если в результате изменения произойдут не в рукописи, а в жизни? Что если вот сейчас, с минуты на минуту, Игорь подъедет сюда не на потрепанной «Газели», а на все том же блестящем «форде-эскорте»? Что если отказ от завершения рукописи обернется для него, моего героя, отказом от *его женщины*, *его жизни*?

Почему-то мне кажется, что этого мне мой старый друг никогда не простит.

г. Екатеринбург

Николай Байтов
Волосы смыслов

* * *

Внутреннее утро. Стены да обои. Говорит о Боге беденький динамик. Где-то на диване родственник как будто жмурится от боли, нет, от удивленья.	Без согласованья шурин одинокий взял командировкой, как простой мыслитель. И одну из литер повторив в кроссворде, в третий раз компостер смотрит на билете.
--	--

* * *

Светом сочащийся свод хладен, безмолвен и ярок. В недрах толпящихся звёзд парадоксальный порядок ядерных метаморфоз. Брежит морозный озноб в мёртвой траве на полянах.	Держит и носит ноябрь скудные мысли лесов, — шепчет и распространяет. В парадоксальный порядок спутаны волосы слов. Хладен, безмолвен и ярок светом пронизанный свод.
--	---

* * *

Поздравьте себя: вы купили себе по дешёвке.
Оставьте себе для лучших потом путешествий.
Поздравьте меня, укравшего долю блаженства
здесь, — не выходя из координатной решётки.
Вот так и украл, — хотя и сижу в одиночке.
Ведь Дания — это тюрьма, как сказано выше.
Мои же эти мгновенья похожи на лыжи.
И в них мой талант виртуозен почти идиотски.
И вот я лечу с горы — и теряю санки.
Что может быть выше подобного наслажденья?
Поздравьте меня: я исполнил волю движенья,
хотя и сижу в отрицаловке и несознанке!

* * *

Если бессмыслица, извини, бред, то в релаксации получи мрак. Глупость небесная из меня прёт, и получается — я, как день, прав. Так образуется звуковой путь, где путешественник, в основном, мёртв.	Лишь на мгновенье, перестав спать, он приглашается в хоровод жертв. Тут бы зевотою разнесло пасть, кабы бессмыслица не легла в дрейф. Вот и небесная, как слюна, пусть глупость тянется из всех дыр-флейт.
--	---

* * *

Нечего мне сказать народу.
Он и не просит слов моих.
Знает он сам свою дорогу
из повседневных газет и книг.
Я — финалист президентских гонок.
Значит, я ни хорош, ни плох.

Ходит кругом повседневный город,
знает моё оскудение слов.
Он ничего не ждёт и не просит,
без сострадания глядит вокруг:
два претендента — Архип и Осип —
волосы смыслов друг другу рвут.

* * *

На Казанском вокзале
ты рассталась со мной.
В партизанском отряде
я вступал в комсомол.
Прошуршала газета,
прозвенели часы,
зазмеилась позёмка
вдоль опушек лесных.
Помню стройные сосны
в корабельном бору
и горячие слёзы
на холодном ветру.
Одиноко и грустно
в восемнадцать ноль-ноль,
и горит самокрутка,
согревая ладонь.
Состязаясь с метелью
в патриаршем лесу,
обвиваясь шинелью,
обуваясь в кирзу,
я подумал: где это
я вступал в комсомол?
Позабывтое эхо
улеглось за холмом.

Ни ларька, ни киоска
на московском плацу.
Только слёзы и звёзды
примерзают к лицу,
провожая в изгнание
воровской эшелон
на Казанском вокзале
в восемнадцать ноль-ноль.
Помню стройное эхо
вдоль опушек лесных:
прошуршала газета,
прозвенели часы,
пролетела сорока
от куста до куста,
молодая пороша
все следы занесла.
Ни ольхи, ни берёзы
в корабельном лесу.
Только жгучие слёзы
примерзают к лицу.
Торопливо и грустно
ты простилась со мной.
И горит самокрутка,
согревая ладонь.

* * *

Пошёл я гулять в чистое поле.
За первым полем увидел второе.
Прошёл второе — встретил козла.
Вышел в третье — а там Москва.
Глухое поле отваги и брани.
Поперёк и вдоль — овраги да ямы.
На семи холмах лопух да бурьян.
Восьмая Москва — алый мак-дурман.
Сидит в ней девушка на вокзале.
Голубыми плачет она глазами.
Плачет над мёртвой гнилью-трухой.
Чей-то череп гладит-рукой.

— По ком, скажи мне, твои рыдания?
— Убила я красивого парня.
Он изменил. Это был твой брат.
Теперь бери меня в законный брак.
— О, долго была у него ты в рабстве.
Теперь не мешает он нашей страсти.
Улыбнись, подставь мне губки свои.
Возьму тебя, увезу с Москвы. —
Она ведь поле гульбы и брани.
В могилу здесь сводят девушек парни.
И только пули свищут по ним.
В этом поле любовь — полынь.

* * *

Завтра в студёную вешнюю пору,
варежку бросив в снежную воду,
видимую в полынье одежды,
можно тебя спросить между
двух состязаний, в которых речь
плавится и исчезает, — ответь,
я не буду спорить.

Как ты ускоришь алчного зверя,
вдаль от начального измерения
нежным прыжком утолившего голод?
Как ты закинешь свой мнимый голос
льдинкой ручья в телефонную сеть? —
Ловится там иль уводит речь
сквозь ячейки спектра?

Так ли, по ветру в студёную зиму
варежку осторожно разинув
талой повадке твоей навстречу,
можно будет поверить ответу,

мимо вопросов глядя в дыру
даже сегодня, куда я нырну,
и не будет завтра? —

* * *

Всегда готовый компенсатор,
Всегда беспечный кредитор,
открылся вдруг мне каждый атом
твоих забот — и с этих пор
я стал спокоен.

сквозь ветви чащ просунул морду,
глядит на дальние дворы,
глядит на пашню, на дорогу
и ветер нюхает вдали,
и бодрый холод.

К приятию любых диковин
всегда готовый предикат,
пугливый тянется феномен
к твоим рукам, — а бред и мрак
бегут подальше.

Приветствую твою охоту —
незлобную, без жадных глаз.
Я бедствую, — а ты готовый
всегда являешься тотчас.
Откроешь численник: october,
картинка светлая ... О, кто бы
мне объяснил сей трубный звук?
кто эти трудные октавы
повёл бы стаями на юг,
всё примирив: и слёзный снег,
и шёпот дождика картавый?

Узнал я скромные пейзажи
песчаной местности моей.
Пропали грозные миражи.
Меланхолический олень
смиренномудро

* * *

Отодвинув квазар за телескоп,
Радхакришнан в гневе ушёл.
Морским, голландским набив табаком,
Минковский трубку зажгёт.

Он однажды вселенную так родил
и с тех пор навеки пропал».

Он сказал: «Мой вакуум поистине пуст.
Он пуст и линейен: он прост».
А я сказал, отодвинув стул:
«Но он неустойчив, босс!

Но Рудольф Минковский
смело взглянул,
разгоняя ладонью дым:
«Да, мой вакуум стоит, словно нуль
и чреват явлением любим.

В нём рождаются пары частиц или дыр —
виртуальный квантовый пар.

Молодого гуру встретив в саду,
я не скрою, что я не трус.
И когда-нибудь я так же уйду,
отодвинув звезду за куст».

* * *

Вот и весна. И куда-то
типичный коттедж
шьют наизнанку
портные кирпичных одежд.
Ветер солнцем опутал
кривую Пахру.
Вот и, в резину обутый,
вплотную к окну
встал-подошёл из-за стола
равнодушный прораб.
«Вот-и-весну» он разглядывает,
как будто не рад.

Вот и коттедж
(он закуривает) —
как будто барак:
он на ковчег
больше смахивает,
чем на корабль:
в этой халупе
в луга через лес
уплывать бы вдаль,
в талой лазури
покачиваясь,
как старый Мазай.

* * *

Цветы распустила республика
над всей бессловесной землёй.
Весенние губы распухли, как

бессовестный твой поцелуй.
Он длится до полного месяца
над примулами могил,

потом вдруг, фыркнув, рассмеивается
и далее — неуловим.
Рассеивается идиллия.

И блуд осознан, и бунт.
Несём их в свои владения,
как грунт и навоз для клумб.

* * *

В чаще лесной листоносный поток
прячься, тащит толпу высывающихся качеств.
Ты сама, вырисовываясь из воды,
изведи мне шелест из головы,
говори мне шалость и говори
тяжесть.

Их показал мой оракул в нагих цифрах,
хитро окинув взглядом
простых хриплых
пастухов, виноделов и рыбаков.
И покоится будто тень игры вокруг:
либо кровь лозы, либо козий пух,
либо...

Ты же бывала в потоках всегда мутных,
тыщи сманила лодочек весьма утлых,
с удовольствием готовых пойти ко дну,
к одному привязалась ты моему
мухомору, вползающему на ходу
в дупла.

Ветка, как чья-то явная над водой вежа,
въехала, будто нарочно качнувшись, в это
золотоплетение нитей и теней,
и тебе так легко со мной теперь
затеряться среди многих затей
ветра.

Вот он в пустыне пророс
из сухих скважин,
бодро и просто встал за своих и ваших.
Что идея — то, конечно, война и смерть.
И смотреть тут нечего и уметь.
Ему есть достаточно всюду мест
влажных.

Плющ тёмнолистый оплёл стволы буков,
луч жары заплутал в закоулках бликов,
в буколической сени высоких рощ.
Оросивший нас светоносный дождь
дрождью мелких брызг рассмеялся, прочь
прыгнув.

* * *

Два человека идут через луг
на огороды к дальней избе.
В пламени зноя плавают звук
их разговора о тайной судьбе.
Их провожает облако мух,
оводов нудный хоровод.
Злобные слепни, как стрелы разлук,
так и врезаются в их разговор...
Впрочем, меж ними не так много слов.
То есть, по сути, они молчат.
Разве что души двух голосов
соприкасаются на мелочах
быта, работы, погоды, поры, —
будто они составляют отчёт
или, о чём-то условлясь, они
видимость повторяют точь-в-точь.

Два человека идут через луг.
Вроде один человек — это ты.
Если теперь эти строки не лгут,
значит, кому-то с тобой по пути.
Медленно всходят на косогор.
Ниже — река, но она не видна.
Впрочем, отсюда их разговор
тоже не виден наверняка.
Овод присел на тонкий подол
белого платья, целясь сквозь ткань.
Но промахнулся я, бросив ладонь
в несоразмерную с нами даль...
Если ж и эти строки не лгут,
значит, другой человек — это я.
Вижу теперь, насколько был глуп,
чуждый взгляд напрягая в поля.

* * *

Каждый, кто в руки книгу мою берёт, —
тот и приятель, поскольку
не так уж глуп.
Мало моих портретов: я их берёг,
как мне советовал мой настоящий друг.

Мало и плохо надеешься ты на звук.
Шлешь мне повсюду
видов своих каталог.
Образы, думаешь, чётко тебя назовут
каждому глазу, который от букв оглох.

Скучно даю тебе я ракурсы лиц,
слабые позы, взгляды из-под волос.
Редко меня ловили фокусы линз.
Имя моё невидимо назвалось.

Если бы я забыл, как дрожит гортань,
буквы сквозь зубы пролезли бы тебе
в рот.
Если не так, то, конечно, назад отдай
каждый, кто в руки книгу мою берёт.

* * *

Где вы живёте, так много стрижей,
стражей небесной лазури?
— Мы, как поэты, снуём всё быстрее
в Богом забытой культуре. —

В полдень я вышел курить на балкон.
Катится жаркое лето.
Жадные звери живых облаков
толпами лезут на небо.

— Где же, стрижи, ваш высокий обрыв,
норки в пластах жёлтой глины? —
В них вы ныряете, крылья сложив,
и тормозите мгновенно...

Тёмной листвою шумят тополя.
Слушаю их — всё без толку.
Поздно, любимая, ты поняла,
как обманулась жестоко.

Плакала ты, а злодей был таков:
сердце, обросшее шерстью.
Выбросил на перекрёстке дорог
платье поруганной чести.

Буду, стрижи, ваш я призрачный гость...
Боже, о чём я толкую! —
Молнии вы, и не знаете гнёзд
в этой бесплотной культуре.

Все мы, поэты, у Бога в гостях.
Домом не может быть небо...
Я бы не мог на таких скоростях
делать броски вправо-влево.

* * *

Распили бревно — и там найдёшь меня.
Мне вреда не причинит твоя пила.
Обе половинки распили бревна —
вновь найдёшь меня без всякого вреда.
А попробуешь прибить к бревну гвоздём,
чтобы был уловлен я и уязвлён,
чтоб доступен был в любые времена —
глядь и нету ничего, кроме бревна ...

Не грусти: вот свет, завязанный узлом.
Развяжи его — и вновь найдёшь меня.

Анна Яковлева

Шуба

филологическая повесть

Собралась Вера Ваничкина наконец шубу купить. Время было самое подходящее: инфляция почти на нуле, судя по статистике в «Известиях», июльская жара постаралась — цены сбросила, ну и жизнь тоже: накинула Вере сверх полтинника какую-то мелочишку — 52 года, пора и в шубе походить, наглядно увидеть результаты защит диплома и диссертации. А то ведь всё — оглянись, не увидишь ли чего важнее, чем твои сапоги. Ну и проглядывалась: «красота спасет мир», «поле битвы — сердце человека». А того Федор Михайлович предвидеть не мог, что полем битвы станет жэк, и без сапог тоже нельзя: подошва стерлась, на асфальте — стекло, щебень, а ноги больные и голова гипертоническая — заносит.

Читая лекцию о хронотопах и архетипах, Вера в паузах задумывалась о житейских предметах, понимая, что не только стихи растут из сора, но и жизнь оттуда растет. Да и сор ли это — шестисотый «мерседес» крутого студента, а ты либо на «одиннадцатом» чешешь, либо братаешься поневоле в салоне душевого трамвая с такими же «интеллектуалами»: «Не читали, Краснов выпустил сборник о постмодернизме?», «А вчера началась конференция по семиотике». Слышали, читали...

Страна, а может быть, и жизнь были немилосердными. Подставляя каналы, поливая дождями в январе, собирая толпы в час «пик», они трудились над естественным отбором, но результаты были плачевными: вместо красавцев-спортсменов, которым все это преодолеть — раз плюнуть, ходили рядом с Верой такие же бедолаги в адидасовских костюмах, блестевших на солнце, и турецких юбках и не хотели умирать. А красавцы-спортсмены улыбались в объективы камер на полях Чечни и потом умирали публично, под привычные сводки о потерях на войне. Более удачливые тоже улыбались — телерепортам на европейских симпозиумах, и улыбки их были естественнее. Ну, это контрасты. А Верина жизнь плелась мимо этих контрастов.

Впрочем, судьба изредка дергала за уздцы и Верину жизнь. Бегая от церкви, где Вера испрашивала милость у Господа, до ракового корпуса, где лежала ее мать, она корила себя за то, что не видела счастья в обыденном, роптала на жизнь и поплатилась за грех уныния. А унывать было нельзя: Верой назвали. В этом она выгодно отличалась от Башмачкина, а если поразмыслить, то тот же Гоголь, та же ирония: Вера, но Ваничкина. И все рядом было на -ечк-, -оньк-: квартирешечка, кухонька-залипучонька — двое сидят, трое на цыпочках. До поры до времени места хватало, а как лишилась отдельной кровати, на которую лег студент-племянник на пять лет, да встала на вахту у плиты вместе с сестрой Любой, да начала слушать рэп насильно, ждать по ночам со свиданий и ходить по милициям после разборок племянника с городскими чеченцами, так поняла теорию относительности в ее житейском варианте на собственной шкуре. Утром в аудиторию — о любовно-психологических коллизиях тургеневских ро-

Анна Яковлева — филолог. Живет в Волгограде. Преподает, публикует литературоведческие статьи. С прозой выступает впервые.

манов, а вечером — житейские коллизии: «нужен адвокат, а зачем ударил, а не возьмут ли в заложники, могут взорвать». И отчаяние в темноте осенней ночи.

Все это — Верина жизнь, которая накатывалась на Веру своей громадой, превращая абстракцию газетных строчек в конкретный ужас с холодным замиранием души и ноющим страхом где-то посередине Веры. Душа была повыше места, где ныло, и когда душа падала на это больное место, Вера неловко и нелепо кружила вокруг стола, читая «Отче наш» с пятого на десятое.

С Богом у Веры были особые отношения. Ну, с заповедями все ясно, а вот с «грехами отцов, которые падут на головы детей», — это как? Почему человек, венец всего и подобие Божие, становится средством, а не целью? Очень этим Вера интересовалась, потому что на голову много упало. И оттого бунтовала, но бунт был — как у Щедрина — на коленях. И, как щедринские герои, терпит, терпит, а потом прошения начнет писать. До «значительного лица», впрочем, не доходила, а с прокурором переписывалась: я, мол, такая-то и такая-то, по пункту такому-то то-то положено — помогите. Были случаи — помогали, чаще молчали. Но от надежды до отчаяния — долгий срок, вот им-то Вера и жила, это и было Вериней жизнью — ждать и надеяться. Отчаяние короче надежды — в этом и утешение.

Кто верит в приметы — не верит в Христа. Но Христос — он когда заметит, а чет-нечет — вот он, рядом. Посчитает Вера вагоны бегущего поезда — да и ничего, вроде бы и жить можно. Чашки, впрочем, к счастью бились редко. Но, по опыту, примета хоть и старая, а ненадежная. Матушка лет сорок назад целую буфетную полку кокнула. А сколько счастья? Раз, два и обчелся, «невидимые миру слезы», а когда невмоготу, то и видимые. Ваночкины, одним словом, «бедные люди». С последним, правда, вопрос. Рядом были и беднее, но это, очевидно, веселая бедность, когда нечего терять. Верина матушка балансировала на этой грани потери авторитета, обшивая семью и парясь у плиты, где готовились зимние запасы и велись разговоры об урожае или грядущей засухе. И не то что голодно или холодно было, а как-то тесно и тоскливо. И тогда Вера уходила в придуманные ею миры. *Träumling* — сны наяву — так это, кажется, у немцев называется. Нежная ткань этих мечтаний была радужной и хрупкой, если начать ее описывать. Ну да, как у Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Именно поэтому не любила Вера спектаклей по Чехову. В ее воображении это было ярче и глубже; как сердце мысли, пульсировала изящная аура происходящего. Вера тешила себя надеждой, что это не фокусы «женского романа», которым она проветривала мозги по вечерам и спасалась от серьезности жизни. Нет, ей хотелось надеяться, что это рефлексия. Впрочем, может, и шизофрения — у психиатра она не была.

В самые трудные моменты принялась Вера за танки — стихи в японском стиле и, чтобы избежать пафоса, отправила в журнал, где обещали... Помните: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать...». Вот-вот. Александр Сергеевич получал рублиями, Вере посулили музыкальный центр. Смесь александровского стиха с японской экзотикой не получила ничего. Да и что с Веры взять: не Пушкин, училась не на восточном факультете, а на филологическом, в провинции, а в провинции учат — известно как. Но именно провинция с ее неспешностью заставила Веру посмотреть глазами созерцателя: «Уходит жизнь, проходит время, но тихо все вокруг — как будто ничего не происходит». И такая же дребедень, в том же духе. Иногда Вера боялась, что самоирония — так ей хотелось называть это качество — перейдет в холодный цинизм отчаяния. Она стояла на пороге этих чувств. Вот вам и «открытый финал», как у Антона Павловича. До подтекста не дотянуться, а «открытый финал» есть: стоит на пороге — и Бог с ней. Горизонт фабулы только вот закрыт.

Сходила Вера на выставку мехов, погладила золото и серебро завитков. А вечером Люба принесла индонезийские плащи с подстежкой. Подшили, погладили — любо-дорого.

Леонид Латынин

Круглое окно

* * *

Это жизнь налетает как ветер,
Крышу рвёт и бросает во тьму,
Словно нету мне места на свете,
Даже в собственном бедном доме.

Что я значу средь этой юдоли,
Что оставлю на скучной земле?
Крохи мысли в убогом глаголе ...

Крохи уголий в белой золе ...

А ещё невесомее пуха,
Незаметнее тени тенет,
Тускло, тускло устало и глухо:
То ли женщина, то ли старуха
Мне прошепчет в отверстие уха —
Безнадежно и бережно — нет ...

14 января 2000

* * *

Закрытие пало почему-то так,
Как падает не занавес, но штора,
А может, свет дрожащий светофора,
А может, на пол стёршийся пятак.

Закрытие отлетело, истекло,
Как влага из разбитого корыта,
И вот оно закрыто и забыто,
Как вдребезги разбитое стекло.

И голова от туловища вдаль
Куда-то плавно унеслась поспешно,
И стало вдруг грешно, точнее грешно,
В крутом расудке размешать печаль.

И всё опять звенит, напряжено,
Всё на пружине взведено и сжато,
Как будто в стены дряхлого Арбата,
Господь прорезал круглое окно.

И я смотрю на мельниковский дом,
И рук твоих тепло стекает в душу,
Я, может быть, и этот дом разрушу,
Что дался нам с таким большим трудом.

Девятый день сплошного января,
Зелёный чай пролит во время сна,
И ты босая сладко спишь у трона,
В растворе спирта пальцы растворя.

22 февраля 1999

* * *

Мы связаны бываем с целым светом —
Листком бумаги, ниткой телефонной,
И детскую игрой в любовь и долг.

Но вот приходит время расставаться,
И нити рвутся с треском или тихо,
И, кажется, ничто уже не тронет
Твоей души, ни искренность, ни право
Убить тебя реально или в мыслях.

Живёшь в лесу и ходишь за грибами,
И ловишь рыбу даже равнодушно,
Забыв, что у неё, быть может,
Подобная твоей,

угрюмая и нежная душа.
Отрезав голову и выпотрошив рыбу,
И вылив на железо масло,
Что привезла тебе печальная курсистка;
Застенчиво на нежность намекая,

Леонид Александрович Латынин родился в 1938 году в городе Приволжске Ивановской области. Закончил филфак МГУ, работал в издательстве «Художественная литература» и журнале «Юность». Автор книг стихотворений: «Патриаршие пруды», «Осенние часы», «Перед прозой». Живёт в Москве.

Ещё когда ты был свободен,
Не всунут в одиночество,
Как голос в тело, как гвозди
 в банку из-под краски,
Как мышь по шею в мышеловку,
Как скальпель в глаз, и как в кулак змея.
Однако же, вернёмся к сковородке.
Зажарив рыбу на шипучем масле, —
Полезной памяти курсистки,
Ты вытащишь из банки из-под краски
Хорошие и правильные гвозди
И, обкусав, конечно, не зубами,
Кусачками округлые головки,
Вобьёшь их в стену.
Для чего же рыба?

Конечно же, для силы.
Хороший завтрак прибавляет силы.
Но главное — сумей не переестъ.
Потом восстань, помой посуду,
И, разбежавшись, стукнись головою,
Но если смел, полезнее лицом,
Об эту стенку. И когда железо
Войдёт в твою расколотую плоть,
Ты, как и я, сумеешь ощутить
Живую связь тебя и мира;
Конечно, если гвозди
Уже успеют заржаветь от влаги,
В лесу её всегда намного больше,
Чем в городе, напичканном
 теплом и духотой,
Так, если ржавчина, считай,
 пришла удача.
Побившись головой или лицом
Об эти гвозди,

Иди живи, и пусть гниёт лицо...
И вот когда слепой, в коросте,
В хлопьях гноя, ты закричишь,
Не выдержав гниенья, —
Сумеешь ощутить, с какою силой
Твоим несчастьям сострадает мир...
Умри потом спокойно. Не забудут,
А будучи говорить:
«Он просто глуп,
Не стоило так биться головою,
Тем более лицом,
Смотрите ничего не изменилось ...»
Ты им не верь и не печаль души:
Как воды, загорожены плотиной,
Когда-нибудь весной, сумеют путь найти
Внизу ли, сбоку, а может,
 через край перевалив,
Когда-нибудь, но выйдут за
 пределы водоёма,
И проведут свою полезную работу...

Так твой поступок незаметно
Для их ума,
Изменит их и жизнь и представленье,
О том, как следует и жить и поступать,
И даже, к счастью,
Изменит жизнь неверующих в это.
Но какова механика влиянья
И в чём секрет и сам я не пойму.
Но станет мир щедрей на состраданье.

И никакая сила помешать не в силе,
Забытой боли сделать милосердной
Живущих после нас,
И вслед за нами.

Гроза

Как бешено люблю я эту воду,
Что хлещет сверху, золотом дымясь,
Лицо и грудь подставив небосводу,
Я с ней вступаю в медленную связь.

Деревьев ветви жёлты и прозрачны,
И алых маков головы влажны,
И облака — и дымчатые, и мрачные —
Из края в край плывут, обнажены.

И я молюсь и плачу не напрасно,
И вот вверху, пронзив земной зенит,

Кривой зигзаг колеблется прекрасно,
И колет вдрызг гранитный монолит.

Гроза моя, сестра моя по страху,
По ужасу, по свету и огню,
Залей дождём казённую рубаху,
Дымящуюся влагой первеню.

И задыхаясь, чудом поражённый,
Я в травы на колени упаду,
Полуживой, уже полусожжённый
В твоём, гроза, божественном аду.

Владимир Строчков
Замкнутый контур

* * *

В сорок третьем году, уходя, он просил: «Посмотри, что, пацан, в двадцать пятой больнице? Фашисты? Свои?»
В пренатальном плену находясь, я не мог отвечать.
Но теперь, приводясь на маяк позывного «03»,
я ушёл в этот поиск и, выйдя в эфир до зари,
нарушаю глухую радиомолчанья печать:
— Самаренков, сапёр, инвалид, пациент, конвоир,
как лунатик бродящий в ночи по палате, сипя,
спящий стоя и сидя, а лёжа сползающий в смерть!
В двадцать пятой больнице засели примерно свои,
только б лучше уж, верно, чужие... Уходим! В себя,
и чем глубже, тем лучше, тем выше твой шанс уцелеть.
Маскируйся под мёртвого, пленные им не нужны:
на живого приходится выдать баланду и хлеб,
а у них безразличные очи, голодные рты,
дети, жёны и внуки, и тёщи — почти полстраны,
их оклад так ничтожен, обход так поспешно-нелеп
и таблеток так мало на всех — так зачем же им ты.
Отходи, Самаренков, здесь всюду засели свои
круговой обороной противу любого врага,
и стоят они насмерть, поскольку стоят на своём.
Здесь цветы не цветут, по ночам не поют соловьи,
не живут пациенты и летом не тают снега.
Я сказал тебе всё, отвечай, Самаренков, приём!
Самаренков молчит на девятом десятке своём,
без штанов и кальсон колыхаясь над грязным судном.
Ягодицы его, словно сидор солдатский тощи,
отвисают морщинистым неаппетитным тряпьем
под истерзанной жизнью и жидким поносом гузном.
Он ушёл в сорок третьем, и нынче — ищи, не ищи, —
он ответил за всё, инвалид, конвоир, пациент:
за войну и за мир, ревматизм, диарею, базар,
за отсутствие денег и воздуха, сил и родни.
Я ещё не родился. Он скоро умрёт. Правды нет.
Он спросил в сорок третьем, и я с опозданием сказал:
— В двадцать пятой свои! Отползай, Самаренков! Они!..
Боже правый! Его, да и этих своих сохрани!
Или как там? «...лами, дами, савахфани!»

03-15.06.99, Москва

* * *

Это кто ж такой проворный,
зверский, словно аппетит,
треугольный, двухмоторный
в чистом небе, блин, летит?

Не вполне богоугодный,
но свирепый и лихой,
Всемогущий, Всепогодный,
совершенно, блин, Сухой.

Как изба на курьих ножках,
разбегаясь налегке,
он окружит, блин, немножко
и срывается в пике.
В этой маленькой избушке
ну, чего, блин, только нет:
пулемёты, бомбы, пушки
и подвески для ракет.
Он ширяет, блин, над полем
на дюралевых крылах —

то ли голубь, то ли голем,
то ли мстительный Аллах.
Если враг войны захочет,
оборзевши, блин, совсем,
мигом гада, блин, замочит
наш сухой Су-27.
Пусть врагу отныне снится
раз, блин, в несколько минут
боевая единица,
штурмовой Джаггернаут.

03.10.99, Уютное

* * *

*Ах, это было здорово! весело, весело.
Ах, это было невесело, — ужасно, ужасно.*

М. Айзенберг'

Нет, ненадёжно это всё, неустойчиво.
Да, неустойчиво это всё, ненадёжно.
Тучных коров нороят снова сожрать
тошние,
снова под Иерихоном трубят,
аж слушать тошно.
Да, неприятно это всё, нежелательно.
Нет, нежелательно это всё, неприятно.
Но всеобщее наше право тайно
и избирательно.
Столь избирательно, что это, право,
сделалось явно.

Нет, чрезвычайно всё это положение.
Да, положительно, всё это чрезвычайно.
Недаром готовится
явное жертвоприношение —
даром что будет оно от жертв сделано
тайно.
Да, безобразно всё это, отвратительно.
Нет, отвратительно всё это, безобразно.
Но ещё не вечер, которого,
предположительно,
мудренее будет утро стрелецкой казди.

14.09.99, Уютное

Замкнутый контур

искривилось искрит ну какие в звезду пассатижи
здесь горячая скрутка какие кусачки в звезду
изоляция ёк карболит у ворон не сплести же
не зачистив концов не сплюснув на одном кергуду
ну положим разрыв а попробуй-ка скинуть на грузки
ну какое в звезду заземлись если где те нули
тут у нас треугольник нейтрального нет и по-русски
говоря пусть идёт это всё до звезды от земли
ну поставили шунт а к чему проводить параллели
так ведь это ж не щит это ящик земля и обрыв
это пробки и вроде поставили только в апреле
но жучки в сентябре и извольте и будьте добры
и давно бы пора разделить общий счётчик жировки
поменять всю проводку за дверью поставить щиток
разменять наконец разлететься как божьи коровки
из пистонной коробки но как отрубить этот ток
если старые цепи и нет даже простенькой схемы
всё упрятано в стенах разводки прогнили давно
жил-то сколько пробило на массу в звезду теоремы
ты б ещё про Кирхгофа про карму про цикл Карно
ну казэ и казэ и харэ уже больше за это
подымит-подымит перестанет ну что гетинакс
ну воняет козёл ну спираль ну дерьмо изоленга
но какие в звезду теоремы когда это нас
коротит и колотит ну сменим контакты и клеммы
и навесим розетки под крест и в звезду легион
искривилось искрит и трясёт напряженье проблемы
треугольник в звезду это ты это я это он

21.09.99, Уютное

* * *

Круг интересов у меня
довольно-таки широк.
Меня интересует вкус
и запах колбасы,
её длина и толщина,
и вид её, и цвет,
изготовитель и цена,
название и сорт,
копчёность, твёрдость и жирок,
и оболочка нат.,
и срок хранения, и срок
изготовления!
Меня интересует всё!
Саями! Сервелат!
И мартаделла! И Басё,
и Курицын, и Гройс,
и Мартин Хайдеггер, и Барт

как философия,
И. Кабаков как весь соц-арт,
и Пьер Шарден как ум,
и Ерофеев В. как Виктор,
конец и тело Анны,
говно как вектор и как спектр,
Сорокин как Роман,
Яркевич тоже, Берг и Дарк,
весь постмодерн вообще
как парадигма. То есть как...
Как дискурс. Как дискурс;
смерть автора и мир как текст,
И. Бродский как стихи
и больше чем 1 эссе,
и Д.А. Пригов как Поэт
в России больше чем поэт...
И — меньше, но — суджук!

23.10.1998 г., Москва

Автоапология

Кто поёт в терновнике, кто в овсе,
кто во ржи,
кто кропает эссе
в поле у межи,
но все, все,
как один, виновники.
Так не пой!
Так не пой, красавица, ты при мне,
не пой этих Песен Песен.
Может быть, я тупой,
но этим и интересен...
Да! Ещё не пой при луне,
а также в безлунные ночи,
в звёздные и иные. Короче,
никогда не пой. Я тупой. Я не
хочу это слушать.

Наелся, сыт.
Удались в овсы, за межу, в терновник —
и молчи. Молчи! Затыкаю уши.
Я тупой прозаический сукин сын.
Но зато самый лучший.
Самый лучший не-слушатель из всех:
чукча не читатель, чукча писатель.
Это мой терновый венец в овсе.
Это я пою. А вы отстаньте.
И, пожалуйста, встаньте,
когда я пою!
Я пою для Вечности, не для вас,
моя песня губит смертного человека.
Вот я прокашлялся... Р-раз-раз-раз!..
и пою в микрофоне салона клас-
сиков XXI века.

25.09.99, Уютное

* * *

Пили брют и «Сердолик»,
«Бастардо» и «Талисман»...
Слишком перечень велик
для короткого письма.
Слишком краток этот Крым,
кроток, брют и сердоболен.
Ты доволен? Я доволен.
Все здоровы. Все добры.
Будь же добр — и будь здоров
после брюта и даров
«Солнечной долины».
Список вин довольно длинный,
но одна вина на всех:
срок кончается короткий,
и хоть есть ещё в коробке,
время вышло. Просто смех!
Смех и грех, слеза и брют.
Темнолик, здоров, доволен —
но как будто чем-то болен.

Кто не болен — слишком крут.
Я не крут, я так, в мешочек
собираю барахло,
допивая между прочим
«Талисман» и «Бастардо».
Я любитель, я не дока,
я лечился всем подряд.
Мне сказали, нужен доктор,
«Чёрный доктор», говорят.
«Чёрный доктор», посмотри,
что в мешочке, что внутри?
«Я не доктор, я полковник,
а в мешочке — «Пино-Гри»,
а на сердце — «Чёрный камень»,
а под сердцем — лёд и пламень,
солнце, воздух и вода —
беззащитная среда.
В этой маленькой коробке —
что угодно для души.

Брюта корковые пробки Есть и херес, и мускат,
в этот перечень впиши. но не велено пускать.
Напиши на дне коробки: Список длинный. Срок короткий,
«Есть и херес, и мускат»;
не осталось ни куска.

29.09.99, Уютное

* * *

Какой же я, на хрен, ворон, я здешний мельник.
Когда бы я мог накаркать благу ю весть!
Но я всё мелю, Емеля — в орешник, ельник
слетев — а куда ещё мне податься здесь?
Какой же я, на хрен, мельник, я местный ворон.
Добро бы, я мог, как мельник, молоть муку,
а я всё шелкаю клювом: «Держите вора!»,
отряхивая свой фартук на том суку.
Какой же я, на хрен, местный, я сам нездешний.
Застрял вот, машу руками, то крикну: Кар!
Скрипят жернова, вращаясь в моей скворешне,
в моей голове садовой: «Икар! Икар!
Давай, собирайся, дурень, уж ветры дуют,
вот перья и воск, довольно молоть чепуху!»
А я, весь белый от муки, пером колдую,
чирикаю им по воску, как на духу:
Я не ворон, не мельник, я белая ворона,
крылья у меня слабые и мягкий клюв.
Перо и дощечка с воском — вся моя оборона.
Не мучьте меня, дайте я пёрышком поскриплю.
Какой я, на хрен, нездешний, я сор вчерашний.
Тонко намолены муки мои, замес их крут.
Пекись о хлебе насущном, а сердцу страшно,
что воск мой, душа, растает, а перо отберут.

02.10.99, Уютное

Аллюзии

О. М. и Н. Б.

Я вернулся в мой город, чёрствый дискурс:
 знакомый как знак, — Поклюйте, а я попишу.
как простой иероглиф,
 как красный пиджак. Я ширнулся, мой город, считаю до трёх,
 а потом улетаю от этих застрех
Ты узнал этот голод — так жуй по углам мягким знаком
эти жирные складки разбухших реклам в строке кириллических птиц,
там, где врезался в шею, загривок, живот отводя, как затвор, одноразовый шприц.
этот красный пиджак вороватых свобод, Он свихнулся, мой город, считаю до двух
зверовидных свобод, тех, за чьи чудеса или даже до часу; но Гоголя дух
отдаём мы свои мертвецов голоса. пролетел ещё в полночь,
 и хрипло в ночи
Ты свернулся, мой город, «Поднимите мне веки!» —
 большим червяком, мой город рычит.
измерением, свитком, сырым молоком.
Сонно свищет в висок,
 угнездясь за углом, Глянет он из-под век
твой домашний АК милицейским щеглом. пистолетным зрачком,
 и прильну я к нему
Я пригнулся, мой город, фильтрую базар, полужирным значком,
типа, я ни при чем, я простой Кортасар, и ввернусь я в него: я из этих, из тех,
типа, типа, — я кличу и мелко крошу что всегда возвращались
 в привычный контекст.

21.09.1996 г., Уютное

Татьяна Бек
Вам в привет

Начала

Ирине Щербаковой

С самого начала жизнь моя, как говорят в народе, пошла слегка кувырком или на частичный перекосяк. Сразу же — история.

Я родилась на Арбате 21 первого апреля 1949 года, двадцати минут не дотянув до полуночи. Тогда бы явилась на свет Божий в один день с Ильичом, к чему и стремилась моя сознательная позднородящая мама и даже, по семейной (потом уже ернической) легенде, просила акушера подзадержать роды. Акушер на нее цыкнул — дескать, либо Ленин, либо вы, мамаша с младенцем. И я поспешила родиться.

Меня сперва хотели назвать победно — Виктория. Но, слава Богу (какая из меня победительница?), окрестили просто Таня. В честь героини Пушкина. Так что я — Татьяна не-Ларина.

Она в семье своей родной
 Казалась девочкой чужой...

В самом раннем детстве сначала была улица Башиловка, потом речка Таракановка, затем деревня Бузланово. Какие-то все татарские имена... А первую любовь (мне пять лет) звали Ледик.

Лестничный пролет между этажами. Тусклый зимний солнечный свет со двора в окно. Тайные игры. Разоблачают. Наказывают. Лишают елки. Страх, что «все узнают» (— А почему ты в этом году без елки? —), синяя юбка-плиссе, а верх как матроска, короткие чулки в резинку, сказки братьев Grimm, манная каша с рыбьим жиром, тетя — моя любимая Мика, — с которой мы разучиваем на ненавистном пианино ненавистного Гедике.

А лет двадцать пять спустя мама, искренне изумляясь, спросила не без обиды:

- Откуда у тебя в стихах «ужас детства»?
- Оттуда.

Пианино называлось «Ростов-на-Дону». Я его, уже лет в двенадцать, бо-лея то свинкой, то корью, использовала так: подымала крышку и клала на внутреннее устройство (металлические шутовкины, молоточки, колки, струны) том Мопассана, которого мне читать строго-настрога запрещали. Долго сходило с рук. Покуда некий родительский гость не кинулся неожиданно к инструменту «наиграть мелодию», — а она возьми и не наиграйся: струны-то при-давлены. Опять разоблачение. Опять кара. Опять «преступление и наказа-ние». Опять кругом виновата.

«Фоно» наконец кому-то отдали (с Богом), а от моих неуспешных заня-тий музыкой навеки осталась нотная грамота в виде, в частности, песенки:

До-ре-ми-фа-соль-ля-си...
Ты, мартышка, не форси.
Если будешь ты форсить, —
Мы не будем голосить!

Это еще что! Основной детский фольклор тех лет был куда debilнее. Например:

- Ты за луну или за солнце?
- За луну.
- За советскую страну.
- Я за солнце.
- За проклятого японца.

Полный бред. Но может быть (даже скорее всего), это была народная сатира, пародия на официальную идеологию «железного занавеса», на всех этих *мистеров Твистеров*? Ведь и во взрослых частушках звучали и тоска, и ирония.

...Говорила баба деду:
«Я в Америку поеду».

Далее — нецензурно.

Летом снимали дачу на Москва-реке. Ходили в платях с «крылышками» и «фонариками», иные — в панاماх. Перламутрово-розовых червей для рыбалки собирали в коробку из-под монпансье «Большевичка». Гамак. Крокет. Грядки с укропом. По крутым речным откосам росли полусадовая земляника и пронзительно-кислый щавель. Собирали и использовали на обед. Папа вышагивал по деревне в полосатой атласной пижаме и в тапках со шнурками на босу ногу. Здесь у него была репутация чокнутого, но он не унывал, делал по утрам зарядку на берегу в огромных «семейных» трусах и задавал местным аборигенам социологические вопросы невпопад. А если кто из нас, детей, шумел сверх меры, то он останавливал его загадочной, из допотопного городского фольклора, песенной фразой: «*Алеша, ша, возьми полтона ниже и брось арапа заправлять*». Смысл оставался невнятен, но окорот, как ни странно, воздействовал.

Няня Граня (Аграфена Каурикова) была ростом с Маяковского, и размер обуви — 45-й. Она, ибо родителям всегда было некогда, упорно учила меня азбуке, точнее — алфавиту (тут Граня делала ударение на втором слоге): «А — акно (имелось в виду «окошко»). Г — горох. К — Каурикова».

Еще Граня мне сказала, что Ленин и Сталин тоже «ходили» в уборную и по-большому, и по-маленькому. Меня это поразило — и харизма вождей моментально и навсегда треснула.

Кстати, о Маяковском, на которого была похожа няня Граня. Это я не поздним умом их сравниваю — близкое сходство я сама обнаружила именно в детстве. Маяковский был первый поэт, которого Граня мне читала вслух и «с картинками»: имелся у нас такой огромный юбилейный том — эпитафия из Сталина, масса иллюстраций, фотографии, всякие окна РОСТА, «крошка-сын к отцу пришел» и так далее. Я, требуя почитать мне трибуна, но речью еще владея не вполне, кричала, воздевая руки к фолианту: «Дай — МОИ КОТИКИ (вместо *дай Маяковского!*)». Взрослых это очень потешало.

(Стало быть, года в три я самостоятельно въехала в рифму, притом составную и дактилическую. А Маяковского с тех пор не люблю — вплоть до несправедливой агрессии.)

На даче в Александровке у соседской девочки керосином травили вшей на голове — в густых каштановых волосах, а потом взяли и постригли наго-

ло. Она горько плакала, будучи уверена, что навсегда превратилась в мальчика. Ее все лето дразнили: «Ганс!».

А меня, как только пошла в школу, дразнили, исходя из фамилии, «Бяка» или «Бекеша». Опять татарщина — прямо мистика татарская!

У Мики на коммунальной кухне в Колобовском переулке произошло при мне зловещее чудо. Сосед (или гость — точно не помню) разделывает привезенную с рыбалки рыбину — щуку. Нож огромный, острый, специально наточенный. Я ассистирую, воображая себя медсестрой при хирурге, которым я, кстати, долго мечтала и планировала стать: и впрямь пошла бы учиться в мед, когда бы не тотальная тупость в физике и в химии... Итак, «хирург» взрезает тугой щучий живот — о-о-о, там целая другая рыбина, как в матрешке, и он говорит: «Тоже щуренок». Вынул хищника из хищницы, и давай разделывать щуренка, а в животе у того — снова рыбешка, хотите верьте — хотите нет. Выходит, огромная щука заглотила живьем речного соседа, который к тому времени тоже кого-то съел. Я вся дрожу — то ли от азарта, то ли от ужаса. На ужин жареную щуку есть не смогла. Хирургом не стала.

Первые в жизни стихи я написала лет в шесть:

На лугу растет цветок —
Очень синий василек.
Я сорву его букет
И поставлю вам в привет.

Так вот и сказалось: вам в привет.

Следующие стихи были более публицистические, на злобу дня. Году этак в 60-м в Тихом океане на барже заблудились четверо молоденьких советских солдат, которые много дней провели наедине со стихией, без пищи и без пресной воды. Потом их чудом спасли — кажется, американцы, — и по нашему радио передали, что солдатам срочно была оказана медицинская помощь и приготовлена (диктор так и сказал) «грандиозная яичница». Помню, как моя интеллектуальная бабушка-библиограф всерьез спорила со своей двоюродной сестрой-педагогом, старой девицей Верочкой, сколько же в этой яичнице могло быть яиц. На четверых — по три? Или больше? Не вредно ли сразу?

А молодежь (включая меня) тем временем повсеместно распевала самодельную песню:

Поплавский — буги,
Поплавский — рок,
Поплавский съел
Чужой сапог!
Зиганшин — рок,
Зиганшин — буги,
Зиганшин съел
Письмо подруги.

Итак, я дружно распевала это со всеми вместе, но в душе параллельно воспаряла как тайный романтик и сочинила следующее:

Родная гармошка
И старый сапог,
А снится картошка
И пива глоток.

Штормило и выло,
Но все же ребята
Устроили пир
В день рожденья солдата.

«Пир» — это именно вареный сапог. Бабушка и Вера Соломоновна, которым я открылась, пришли в восторг и за чаем сравнивали меня с Бодлером как автором стихотворений «Человек в море» и «Плаванье». Они до старости лет были из гимназисток и из «благородных девиц».

Кстати, про Веру Соломоновну — чуть подробнее. У нее, говорили, был жених, он погиб на Первой (да-да) мировой войне, она чуть не умерла от горя, но родители взяли и повезли ее отвлечься в Египет, где она, Верочка, ездила верхом на слоне... Она живет в коммуналке на задах Склифосовского, ее очень любят ученики в школе, у нее коллекция открыток с портретами писателей, и вставные зубы, и черепаховый гребень. «Она наша ближайшая родня, она хорошая, ее обижать совсем нельзя», — просительно растолковывает мне мама, подслушав однажды, что я хоть и маленькая, но мучила ее иезуитскими вопросами. Как мучила, — не скажу: до сих пор — безмерный стыд.

Первая смерть — двоюродный брат Юра. Он был красавец, он учился в Консерватории, он участвовал в Фестивале, он женился на негритянке. Он был одним из первых отважно-вдохновенных джазистов. У него был свой «Москвич». Он, чуть за двадцать, разбился в автокатастрофе.

Шок.

С пожилой родственницей ходим по магазинам на Петровке и покупаем новые трусы, майку, носки, в которых Юру — хоронить. Она, очень полная и вся в веснушках, плачет, плачет, плачет и зачем-то все рассказывает продавщицам.

Как это: «навсегда остаться молодым»? До поры до времени не понимаю.

В Бога долго не верилось. Пока одна подружка, со двора на Песчаной, очень убедительно не рассказала, что сильно болела (нам лет по шесть), лежала одна и в жару, а мама ушла на работу. И вот она, девочка, стала молиться: «Бог, верни маму, верни маму», — и в результате молитвы мама пришла («представляешь, я молилась — и она пришла!») — и стало легче, и девочка выздоровела, и Бог есть точно. Именно тогда — до всякой церкви — я поверила.

В первый класс я пошла в школу № 144, а учительницу звали Евгения Терентьевна. Больше не помню ни-че-го. Амок.

Нет, кое-что помню. Школа была четырехэтажная, из грязно-красного кирпича. Ходили в почти тюремного вида черно-коричневой форме (а мальчики — в серой) с обязательными мешками для сменной обуви и с нарукавниками. С исключительно и только черными лентами в косах. Мне косы долго укладывали *крендельками* — была такая прическа. Потом на протяжении детства и отрочества фигурировали вокруг и такие прически (мне и сейчас нравится их называть): *ежик, бобрлик, кок, горшок, корзинка, хала, кукиш, валик, бабетта, гаврош, «я у мамы дурочка», вишивый домик, конский хвост* и так далее. Метафоризм обыденной речи.

На уроках физкультуры удушливо пахло резиной (маты и козлы) и потом. Когда нас, девочек, по пять-шесть заставляли виснуть на брусках, — то Физра (кличка учительницы) непременно про нас говорила, обращаясь к ждущим своей очереди мальчикам, одну и ту же фразу: «Ну, повисли как

сосиски!». Сравнение было точное. А шаровары у всех — вне зависимости от пола — были сатиновые, тускло-лиловые, тоскливые.

Пеналы — перочистки — непроливайки — табель — «Пионерская правда» — проверка ногтей и нет ли в горле вонючих «пробок» — гербарий из подснежников — новые слова и новые сведения во внеклассном лексиконе: «А у тебя отец с матерью тра-та-та?»...

Самое праздничное воспоминание той поры — пускаем мыльные пузыри! Долго готовим исходный материал и инструментарий — разводим мыло (можно угрюмо-коричневое «Хозяйственное», а можно ядовито-розовое «Земляничное»), размешиваем склизкую пену в воде, добываем толстую серую макаронину. Выходим на балкон. Дуем в трубочку — шар ширится, переливается всеми красками спектра, завораживает, бликует на солнце. Лопается — брызги во все стороны, — и сразу новый на смену. Красота! Еще красота — бензиновые лужи и «зайчик», пущенный из нашего окна в чужое маленьким зеркалом от маминой пудреницы. Оптическая тайна света и цвета.

Во второй класс я пошла в другую школу. Мы переехали от Чапаевского парка в район тогдашнего Инвалидного рынка, куда малолетней группой ходили *как бы* пробовать малосольные огурцы, чтобы ими наесться вволю. Новая школа была № 152. Интересно, зачем на всю жизнь нам запоминаются совершенно ненужные цифры и номера: телефонные, трамвайные, лотерейные? Там учительницу звали Лидия Николаевна, она была совершенно седая и бледная как мел, которым писала на доске прописи. Она была совсем одинокая: мы позднее ее, больную и на пенсии, с девочками навещали, и она кормила нас жареным хлебом с солью и с луком. Задолго до нас, еще до войны, Лидия Николаевна учила Зою и Шуру Космодемьянских и бесконечно нас этим, навсегда свихнувшим ее сознание опытом — мучила. «А Зоя с Шурой так бы не сделали (не прогуляли, не наврали, не нагубили)». Она и зимой, и ближе к лету ходила в мрачном темном шерстяном сарафане и в белой блузе с круглым отложным воротником, обутая в *баретки* — этикие закрытые туфли на пуговках и совсем без каблука. Как я теперь понимаю, она была тихая — не злая и не добрая — безумица.

В школе № 152 (впрочем, это была *типичная* советская бурса) вообще царило четко структурированное безумие. Завуч Неонила (за глаза мы их всех звали только без отчества, а на многих имели место и эпиграммы, вроде: «Неонила, Неонила, // проглотила крокодила») передвигалась как на протезах и чинно входила в туалет для мальчиков посреди перемены: «Чем вы тут заняты?». Директор Зинаида перед началом занятий в школе, ближе к 8-30, вставала у подножья лестницы и медленно опускала свою ладонь на голову каждой девочке: *нет ли начеса?* А вообще-то получалось, что мягко била нас по голове.

Классе в третьем меня назначили играть Снегурочку, а Дед-Морозом — мою соседку по дому и по парте, самую высокую по росту и самую дисциплинированную в классе девочку Лену. Она, помню, не знала, гордиться ли почетным отличием или страдать из-за того, что назначили-то мужчиной, — так и осталась со смешанным чувством превосходства и унижения.

Мне же перешли Снегуркину «шубку» из моего старого фланелевого халата — голубого в белый горох (это удачно, говорили домашние: горох как снежинки), оторочив самодельное одеяние снизу просто-напросто ватой в блестках из крупной хозяйственной соли. Получилось здорово! Школьный ве-

чер успешно минул, а дома на Новый год — утка с яблоками, ура, и я — к особому умилению моего дяди-строителя Сергея Федоровича Макаровича — надела все тот же фланелево-ватный наряд и стала, уже после полуночи, зажигать палочки с бенгальским огнем, горящим веером держа их в руке. Искра упала на ватную оторочку, я моментально запыхалась факелом, потеряла скудный разум и побежала по квартире куда глаза глядят. Взрослые за мной — я от них! Совершенно отчетливо помню чувство отдельности и гибели, упоение, отчаянье, окончательную утрату рассудка, желание сгореть дотла. Влетела в ванную комнату, где хотела — пылая — запереться на крючок... Что это было?

Сергей меня поймал, скрутил, обжег руки до волдырей, облил водой, сорвал обгорелый халат. Приезжала «Скорая». «Вы, — говорят, — отделались легким испугом!» И мне, и Сергею наложили повязки с мазью, которая терпко и надежно пахла дегтем, дали валерьянки, потом все взрослые, включая санитаров, выпили водочки за Новый год и за удачу.

Утром, 1 января, о, блаженство: я гуляю по двору с папой, обе руки перевязаны, гордая-прегордая, горе-Снегурочка, раненная как на войне, в центре внимания. Все соседи в курсе, все подходят, округляют глаза, без усталости спрашивают. «А вы? А он?» Мы охотно отвечаем снова и снова. Елка удалась!

В 1958 году я летом впервые побывала в Ленинграде. Там маме делали ужасную онкологическую операцию (она потом, и не инвалидом, прожила еще без малого тридцать лет), а мы с папой жили у знакомых, чтобы каждый день в окраинной больнице, где мама лежала в коридоре, ее навещать. Мы в то лето все друг друга любили особенно сильно... Да. Были белые ночи.

Из культурной программы помню помпезный балет «Медный всадник», где меня потрясло декоративное наводнение и тот факт, что оно, как мне объяснили взрослые, *из марли*. Наверное, в этот момент я — уже тогда клиническая максималистка — наотрез отказалась доверять театру и особенно балету. А вечером хозяйка квартиры, где мы гостили, — чудесная женщина с округлым именем Руна и со стрижкой под мальчика, — прочла мне великую поэму Пушкина, по которой было скроено либретто, вслух. «Нева металась, как больной в своей постели беспокойной», — это было потрясающе, это было и про историю, и про сегодня, и про маму в больнице. Тут я навеки предпочла поэзию — *марле* иных искусств.

Вскоре (мы уже вернулись из Ленинграда в Москву) к нам пришли гости — итальянцы, говорившие по-русски. Был среди них и мальчик Витторио, который очень плохо ел, а мой папа его подбадривал: «Виктор, *нажимай* на суп!» (суп был бульон). И тут Витторио — к нашей лингвистической радости — стал и впрямь нажимать на бульонную влагу большой ложкой, недоумевая: «Он жидкий — как же нажать?». После этого у нас в семье на некоторое время возникла стихийная игра, которую я теперь назвала бы *оживлением идиом*, а тогда просто любила как валянье дурака. Папа: «Ты с ума сошла» — я: «Сошла, но на конечной остановке». Папа: «Одевайся теплее — холод собачий» — я: «Нет, пока еще кошачий». И так далее. А потом незаметно надоело.

У меня сестра Нина — она старше на девятнадцать лет. Она уже замужем и живет отдельно, но к нам приходит почти ежедневно. Она ярко-рыжая, очень добрая, веселая, обаятельная, я ее обожаю, она учит меня вышивать крестиком. У нас для этого специальные, из сетчатого холста, тряпицы с канвой

(мелкими цветными квадратами, чей общий рисунок напоминает стеклянную мозаику в калейдоскопе), круглые пальцы и мягкие нитки мулине. Сюжеты на выбор: розовый куст, не то курица, не то жар-птица, ветвисторогий олень. Я стараюсь: вышиваю и медленно, и прилежно — главное, хорошо закреплять узлы с изнанки. До победного конца довела только розу на зеленом стебле — правда, малинового мулине не хватило, и я часть лепестков вышила лиловым. Получился чуть ирреальный гибрид, но нам с Ниной это даже нравится. А один родительский гость поглядел и сказал: «Роза-полукровка!». Я долго думала, что «полукровка» — это ботанический термин, и лишь позднее узнала, что это — я сама.

Нина из салфетки с розой соорудила подушку-думочку: клади под висок, лежи на диване и думай. Чем я и увлеклась — приду из школы, залягу и думаю, думаю, думаю. О будущем, о жизни на Марсе, о смерти... «Индюк думал и в суп попал», — философски рассуждает Граня с сестрой Фросей, которая приехала в Москву по чужим уголовным делам из своего сельского далека, а сейчас они сидят на кухне за тонкой стенкой и пьют чай с оладьями. Фрося заявляет сестре с вызовом: «Скажу лысому, что он кудрявый, а то он озлился», — а Граня отвечает не то одобрительно, не то пресекая: «Ишь ты». Ничего не понимаю. Опять думаю. Неохота расти и взрослеть. Мне боязно, и мучит предчувствие, что я с жизнью не справлюсь...

Мой брат Миша — он старше на девять лет, — кончая школу, решил заняться классической вольной борьбой (это когда можно хватать противника за ноги), а также таинственным видом спорта под названием «самбо» (я долго была уверена, что это — древнее восточное слово, а оно, как выяснилось, было всего лишь местной аббревиатурой: *самооборона без оружия*), — и, приходя с тренировок, отрабатывал основные приемы на мне, а я уворачивалась и визжала. Было весело и сердито!

В нашей школе с четвертого класса изучали немецкий язык («дойч») — честно сказать, вполне безрезультатно. На исходе второго года обучения пятниклассник-переросток Валера Кажаринов на вопрос Немки (кличка): «Was ist das?» — страшным голосом заорал: «Кислый квас!», за что был изгнан из классной комнаты в коридор, а затем перешел в ремесленное училище и вовсе канул. Немка Ирина Рафаиловна после выкрика Кажаринова резко побледнела и все повторяла одно и то же слово, которое нас дико смешило, смутно интриговало и даже тревожило: «Башибузук... Башибузук...». Мы интуитивно понимали, что оно не немецкое, но чье и что означает? Лишь недавно я неожиданно нашла в словаре четкую этимологическую разгадку, вряд ли известную самой Ирине Рафаиловне: «Башибузук — солдат нерегулярной конницы или пехоты в Турции XVIII века (тюрк., от баш — голова, бузук — испорченный)».

Отец другого одноклассника, Виталика Городецкого (кличка — Город) был настоящий чемпион Москвы по... шашкам. Он был профессиональный *шашкист*. Когда они переезжали из одного подъезда в другой, — а дом, что напротив школы, был сталинского ампира, метростроевский, — то Город-старший, у которого был очень длинный нос и жестко-курчавые локоны, стоявшие дыбом вверх, — все наличные в хозяйстве шляпы, как женские, так и мужские (а их в многосемейном гардеробе было с избытком), надел последовательно: одна на другую и все вместе — на голову. Увенчанный таким тортом-башней, он гордо прошел через весь огромный двор, и с тех пор метростроевцы, составлявшие дворовое большинство, признали шашкиста за *своего мужика* и, вопреки тупому антисемитизму, стали *уважать*.

Когда Городецкие, много позже, уезжали в Израиль, то их всем двором провожали, распивая по скамейкам «Солнцедар».

Вообще, в метростроевском дворе комсомольские активисты, когда вечерами напивались, то вместо «Бригантина подымала паруса» пели «Блевантина подымала паруса».

До восьмого класса нельзя было носить в школу: цветные ленты, заколки и обручи — мы, выйдя со школьного двора, сразу же их доставали из тайного отделения в портфеле и свободолюбиво надевали.

Дежурства с красной повязкой на рукаве. Бессмысленный сбор макулатуры и металлолома. Перехват учителями записок и вызов родителей.

Мою маму, уже классе в 7-м, по телефону предупредили, что у меня — нездоровое сочувствие Анне Карениной, всплывшее в процессе урока по внеклассному чтению. Предупредила словесница по кличке Люлек, которая с «шестимесячной завивкой» ходила опять же в черном в серую полоску сарафане (мода à la Крупская). В ткань в районе диафрагмы постоянно была воткнута крупная иглолка с длинной белой ниткой (забывала вынуть), каковое обстоятельство любой пафос Люлька донельзя снижало.

В буфете на переменках — спитой чай, котлеты за семь копеек и пирожки с повидлом (куда девалось и само повидло, и ласковое слово, его означавшее?).

Вторая запомнившаяся любовь — Жора Круглов: я в 6-м классе, он в 9-м. Высокий, мужественный, прекрасный, в военизированной, мышинового цвета, тужурке. На меня «ноль внимания, фунт презрения», как говаривала бабушка.

Во время большой перемены я — как якобы дежурная — придумываю дело на третьем этаже, чтобы с ним столкнуться возле кабинета зоологии, где у входа — чучело стоящего на задних лапах медведя со спортивной медалью «Крылья Советов» на бечевке, перекинутой через загривок, и равнодушно пройти мимо. Неожиданно краснею до пожара щек! Он добрый и деликатный, он все видит, он отворачивается к окну. За окном орут грачи и вороны. Ранняя весна 1961 года.

В космос полетел Гагарин. Инвалидный рынок окончательно снесли. Мика с Сергеем переехали в отдельную квартиру. Миша поступил в МАИ, съездил на четину, женился. Чуть позже умерла бабушка. У меня родились племянники. По квартирам долго ходил убийца Мосгаз (потом его нашли и выяснилось, что он конкретный человек Ионесян и вроде бы даже учился вместе с нашим покойным Юрой). Я впервые прочла «Темные аллеи», «Сестру мою жизнь», вдруг непоправимо повзрослела и перешла в ШПМ — школу так называемой *рабочей молодежи*, что в Марьиной роще. Детство и отрочество закончились — началась юность и «другая жизнь».

Март 2000

Владимир Гандельсман
Сиделка на ночь

* * *

Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.

Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный,
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?

Заслезит глаза гружённый светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,

выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несёт в палату
и треску с поджаристой коркой,

сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, — слабость, бисер пота
полднем неопрятным и сонливым,

голубиный гул, вороний окрик,
глухо за окном идёт газета,
если хочешь, спи, смотри на коврик
с городом, где кончится всё это.

декабрь 99

* * *

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть как сверкает ярко та

ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубую
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробы,

реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуусобье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря --
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри --

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей --
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.

ноябрь 99

Воскресение

Это горестное
дерево древесное,
как крестная
весть весною.

Небо небесное,
цветка цветение,
пусть настигнет ясное
тебя видение.

Пусть ползёт в дневной
гусеница жаре,

в дремоте древней
в горячей гари,

в кокон сухой
упрячет тело --
и ни слуха, ни духа.
Пусть снаружи светло

так, чтоб не очнуться
было нельзя --
бабочка пророчится,
двуглаза.

апрель 2000

* * *

А. Заславскому

1. С Колокольной трамвай накренится
к преступившему контуры дому
всё в наклоне вещей коренится,
в пронизательной тяге к разлому,

там прозрачные люди плащами
полыхнут над асфальтовой лужей,
и, сомкнувшись у них за плечами,
воздух станет всей улицей уже,

утыкаясь в размокшие астры
за пределами зренья, белеса
темнота на холсте и бесстрашна,
и, застряв в кольцеваниях среза,

из ладоней прикурит в продрог
человек, на мгновенье пригодный
дар свободы от всех психологий
воспринять как художник свободный.

2. Кто сказал, что он настоящий?
Да, темнело-светало,
но лишь неправильностью цветущей
можно поправить дело.

видел я, как вращается шина,
видел дом кирпичный,
их уродство было бы совершенно,
если бы не мой взгляд невзрачный!

Я стою на краю тротуара
в декабрьском дне года,
слыша песню другого хора --
кривизною звука она богата.

Нет в ней чувств-умилений,
есть окуроч, солнце, маляр в извёстке,
в драматичной плоскости линий
сухожилия-связки.

декабрь 99

* * *

Всё это только страх,
спросонок, многоглазый,
мерцающей впотьмах
слегка хрустальной вазы,

со скрипом пополам
блеск половиц в столовой,
и этот пышный хлам --
букет белоголовый,

когда его берут
за горло и в передней
предвидят точный труд
в испарине последней,

я говорю не то,
и путь ещё извилист,
о, тихое пальто,
ты куплено на вырост.

сентябрь 99

* * *

Кириллу Кобрину

О, по мне она
тем и непостижима,
жизнь вспомненная,
что прекрасна, там тише мы,

лучше себя, подлинность
возвращена сторицей,
засумерничает ленность,
зеркало на себя засмотрится.

Ты прав, тот приёмник,
в нём поёт Синатра,
я тоже к нему приник,
к шуршанью его нутра,

это витанье
в пустотах квартиры,
индикатора точки таянье,
точка, тире, точка, тире.

Я тоже слоняюсь из полусна
в полуявь, как ты,
от Улицы младшего сына
до Четвёртой высоты.

Или заглядываю в ящик:
марки (венгерские?) (спорт?),
и навсегда старёвщик
из Судьбы барабанщика, — вот он,

осенью, давай, давай, золотись,
медью бренчи,
в пух и прах с дерева разлетись,
Старьё берём прокричи.

В собственные ясли
тычься всем потом.
Смерть безобразна, если
будет её не вспомнить потом.

5 мая 2000

Чеченская тема

Друг великолепий погод,
ранних бронетранспортёров в снегу,
рой под эту землю подкоп,
дай на солнце выплясать сапогу.

Жидься, мальчик розовый,
мальчик огненный,
воздух примири с разовой
головой, в него вогнанной.

То стучат стучья комя вбок,
самозакаляясь железа гудит грань,
солono сквозь кожу идёт сок,
скоро-скоро уже забарбит брань:

Мне оторвало голову,
она летит ядром,
вон летит, мордя, —
о, чудный палиндром!

Пуля в сердце дождя,
в сердце голого.
Дождь на землю пал —
из земли в обратный путь задышал.

Мне оторвало голову,
она лежит в грязи,
в грязь влипая, мстит.
О, липкие стези!

О, мстихи, о, мутит,
о, бесполого.
Мылься, мысль, петлэй,
вошью вышейся или тлейся тлэй.

Я ножом истычу шею твою,
как баклажан,

то отскакивая в жабью присядку, то
с оборотами балеруна протыкая вновь
и опять кроша твою, падаль, плоть.

Я втопчу лицо твоё, падаль, в грязь
и взобью два глаза: желтки зрачков
и белки,
а расхрусты челюстей под каблуком
отзовутся радостью в моём животе:

Руки, вырванные с мясом
шестикрылым богом Марсом,
руки по полю пошли,
руки, вырванные с мясом
шестирылым богом Марсом,
потрясают кулаками:
не шали!

Ноги ходят каблуками,
сухожилия клоками
трепыхаются в пыли,
ноги месят каблуками
пищеводы с языками,
во в евстахиевы трубы
вбито «Пли!»

Развяжитесь, лимфатические узлы,
провисай, гириянда толстой кишки,
нерв блуждающий, блуждай, до золы
прогорайте, рваной плоти мешки.

Друг высокопарных ночей,
росчерков метеоритных, спрошу
я о стороне: ты на чьей? —
и одним плевком звезду погашу.

16 мая 2000

Баллада по уходу

Шёл, шёл дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, на их,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

Муж в халате полураспахнутом,
то глазами хлопнет, то ахнет ртом,
прахом пахнет, мочой, ведром.

Трое замерли мы,
по стенам часы шуршат.
Сколько времени! — вот чего нас лишат:
золотушной армии тикающих мышат.

Сел в качалку полуоткрытый рот,
я парик отправился в спальный грот.
Тело к старости провоняет, потом умрёт.

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

То обхватит голову,
то ковырнёт в ноздре,
пахом прахнет, мочой в ведре,
из дыры ты вывалился,
здыры ты опять в дыре.

Свесив уши пыльные телефон молчит,
пересохший шнур за собой влачит,
на углу стола таракан торчит.

На портретах предки так выцвели,
что уже
не по разу умерли, но по два уже,
из одной в другую смерть перешли уже.

Пой тоскливую песню, пой, а потом среди
надевай-ка ночи носок и себя ряди
в человеческое. Куда ты, старик? сиди.

Он в подтяжках путается,
в штанинах брюк,
он в поход собрался. Старик, zugück!
Он забыл английский, немец, тебе каюк.

Schlecht, мой пекарь бывший,
ты спёкса сам.
Для бардачных подвигов
и внебрачных дам
не годишься, ухарь, не по годам.

Он ещё платочек повяжет на шею, но
вдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,
тянет, тянет, утягивает на дно.

Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,
чтоб присматривать, ним, ним, ним,
за одним из них, аноним.

Жизнь, в её завершении, хочет так,
чтобы я, свидетель и ей не враг,
ахнул — дескать, абсурд и мрак!

Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,
но уж раз напрашивается такой
вывод, — делать его на кой?

Leben, Бог не задумал тебя тобой.

* * *

В земле странствования отца своего
я шёл, меня тогда предала
возлюбленная, ах, как она предала! —
так, что сгустился воздух в гниющее вещество.
Да, раскалённый, да жёлтый, желтее желтка,
когда от глотка идёшь до глотка
и что ни шаг —
тянешь себя, как навьюченный горем ишак.
И времени перед тобою — гора.
Гора.
Горагора, и над нею, как мозг мой горящий, — Ра.
Тогда я остановился и услышал: пора, —
и сел на землю, да, желтее желтка,
да, раскалённый, —
сбрось ношу, — я услышал, — и станет она легка.
И кто-то навстречу мне двинулся издалека.
То было будущее. Не отворачивайся, смотри в глаза
мои, из них тогда выкатилась слеза
последняя, и тогда же в них
перегорело время.
И не стало меня-двоих.
Я стал один. Отлепись от игр
человечьих. Не бойся, смотри в глаза
мои: не отраженье увидишь мира — увидишь мир.
Теперь выкатывайся отсюда, как та слеза.

сентябрь 99

Пакипси

Александр Твардовский Рабочие тетради 60-х годов

1964 год

1-е Мая 1964. Москва 6 ч. утра.

Государственная сердечность:

«Сердечно поздравляем с праздником.

Союз писателей СССР».

«Сердечно поздравляем Вас и Вашу семью... личного счастья и больших успехов в труде.

Секретарь Смоленского промышленного обкома КПСС (Трубицын)».

И т.п.

В первом случае — маленький прямоугольничек тонкого картона, на одной стороне по красному белым: «1 Мая», на другой — выщеприведенный текст печатными буквами. Здесь сердечность неизвестно к кому обращена и неизвестно от кого исходит (Союз писателей СССР в целом не может меня (или кого другого) поздравлять сердечно). Сердечность адресуется к безымянному пространству, но она и сама почти что безымянна, мнимо-скромна и мнимо-коллективна.

Во втором случае тоже типографским способом обращение содержит одно слово: Уважаемый... дальше точки-точки, и по ним уже машинописью «Александр Трифонович».

Т[аким] обр[азом], первоначальная сердечность этого обращения, если вдуматься, носит оттенок трактирно-звательного разряда: «Уважаемый», «почтенный», «Эй! Уважаемый, подкинь нам...»

Но зато мы хоть знаем, от кого именно лично и персонально исходит эта сердечность. Подлинная подпись перед скобкой «(Е. Трубицын)». Но опять же — это не Е. Трубицын сердечно поздравляет меня, а лишь находящийся при исполнении своих обязанностей «секретарь промышленного обкома», и то, что это именно секретарь и в первую очередь секретарь — несомненно. А Е. Трубицын, м.б., никого и не приветствует, и это приветствие (сердечное) ни к чему его не обязывает. Но оно не обязывает и «секретаря», поскольку он в данном случае носит фамилию Трубицына, а не Иванова или Фомичева.

Получается, что приветствие (сердечное) ни к кому лично, собственно, и не обращено и неизвестно от кого оно, чье оно в действительности.

Каждый праздник выбрасываю в корзину несколько десятков таких «художественно оформленных» сердечных приветствий. — Иногда, правда, они свободны уже и от обращения, хотя бы и безымянного, и от подписи, хотя бы и безличной. Просто — картоночка, на ней цветочек или флажочек и просто: «С праздником 1 Мая!». Тут уж, по крайней мере, без лицемерия: ни от кого и ни к кому. Но, нет, бывает, что на такой картоночке по цветку или флажку начертано собственноручно: «А. Аджубей» или «А. Чаковский». Однако это, по существу, предложение автографа, собиранием которых я, например, не занимаюсь, и за автограф на листке бывают признательны лишь в том случае, если он дан по просьбе.

Словом, отвратительная мода, не замечающая, что она в полном противоречии... и т.д.

Продолжение. Начало см. «Знамя», №№ 6, 7, 9, 11, 2000.

Залпом прочел «Процесс» Кафки, правда, во второй половине уже порой «партитурно», но объемя, угадывая дух и смысл бегло просматриваемых, схватываемых оком страниц. И мне уже не кажется анекдотичным то, что кто-то в Румынии или Венгрии связывал имя Кафки с моим, имея в виду «Теркина на том свете». Где-то у меня есть перевод этой заметки.

25.V.64. М[осква].

Главнейшие моменты этого м[еся]ца.

2.V. поехал в Рязань читать роман Солж[еницы]на, пробыл там 3, 4 и 5-го вернулся. Соседство с моим вагоном вагона-ресторана (правда, подготовка была уже и в Рязани) внесло путаницу дня на три, а там День победы, словом — провал недельный. Но с тех пор все хорошо.

15.V — 16.V. Заседание Идеологической комиссии и с приглашением примерно того же контингента, что и на историческую встречу, в ознаменование годовщины которой, собственно, и созывался этот сбор. Пустые дни. Ничего, даже кровопролития не было, только впервые был назван как печальное обстоятельство, которое нужно «отсечь» (?) антагонизм между «Н.М.» и «Октябрем», причем палка, рассчитанная как бы поровну на тот и другой объект, все же пришлась более длинным и толстым концом по «Октябрю».

На днях — покупка дачи, вступление в ДСК — пахринское. Все, как и следовало ожидать и, как ожидалось, нелегко, непросто, но уж даже затаенного желания вернуться к прежней безнадежной неустроенности рабочего места нет — при всех сантиментах. Организуется передача внуковского владения Вале — это немного смягчает перемену, а вчера уже с Машей копались на новом месте.

Серьезные записи — до полного переезда на Пахру. —

28.V.64. М[осква].

Началась все-таки хоть в чем-то внешнем (нет, не только внешнем) новая полоса жизни — перемена дачного адреса. Все опять же не так, как могло мечтаться: опять «ДСКТ», соседство Кремлева¹ (желтый забор на углу Средней аллеи). Отвыкать от внуковских дубов и привыкать к этому ельничку-березничку. Дом хорош, но опять же требует каких-то усилий, обмозговывания, хлопот — ибо многое не по душе — комнаты наверху слишком мансардовые, со скосами, сближающими потолок с низкими стенами справа и слева, — м.б., привыкну, а м.б., придется сделать, как больше по душе. Садик никакой, правда, дорожки, клумбочки, рабатки, расчистка ельничка-березничка чуть ли не такая, какую держу в памяти для рассказа «Дом на буксире». Конечно, конечно, дом зимний, все для жизни круглогодичной, вода из крана, камин, тепло, судя по кучам шлака, но кому жить? Одному? Боюсь, что будет трудновато. А Машу от Оли не оторвать и отрывать — грех. А Оле все это без интереса, как, бывало, и Вале. Сейчас, когда вчера мы заехали во Внуково, я ахнул и порадовался, и подивился: Валя, испаравшая руки по локоть при обработке крыжовника. И на крыше уже маляр — вот оно! Ну и давай им бог.

А у меня уже нету и нету былой жадности до «земляных работ» — делаю, только чтобы меньше копать Маше. Программа максимум: посадить осенью 4-5 яблонь, по возможности не двухлеток, а 5-7-леток. А во Внуковском саду большая моя антоновка, кажется, будет цвести порядочно — дождался яблоч, но уже должен общучивать эти дела с нынешней владелицей дома и сада. Все пустяки. Люди не только дачи, но и жен с детьми меняют, совмещают — и ничего. Мне этого не дано. Я все же с этим Внуковым похож на моего отца с Загорьем («хутором пустоши Столпово»): вел, вел участок к красоте и выгоде, рвал, рвал пенья да коренья, а потом столько раз бросал его и не мог бросить сам, пока не помогли с этим делом в 31 г. Нет, я все же сам <...>

Ничего, кроме редакционного давным-давно (с Барвихи) и не пытаюсь делать, все жду «запаса покоя», а до него бог весть сколько еще хлопотни, и тревог, и муки, а там, глядь, он уже и запоздает.

30.V.64. М[осква].

Хлопоты и заботы по Внукову и Пахре. Всего мы приучены бояться — вот некий промежуточный срок я — владелец двух дач. Толку нет, что одну из них я в течение 17 лет с огромной затратой физических сил (не только моих, но и Маши) и материальных средств «доводил до ума» (так и не довел), а другую приобрел за деньги, которые не просто честно заработаны, но являются лишь малой частью дохода, принесенного моими книгами государству, — все равно. И я не спокоен, я слышу эти мыслимые голоса и вижу эти мыслимые строки газетного фельетона: «Две дачи, одну подарил дочери, барство» и т.п. Да еще как вспомнишь о своем «дереве бедных» в Тимирязевском райсовете!

Третьего дня были у генерала армии², — давно просил и по телефону и письмен-но. Чудные старики (да и не старики еще, особенно генеральша). Люди хорошие и много чего испытавшие, а теперь с простодушным удовлетворением говорят: живем хорошо, уж так хорошо, что лучше и невозможно. Действительно: квартира у Никитских, и какая! — пожалуй, 7-8 комнат, вся заставлена и завешена тяжелым «роскошным» и отчасти дурацким трофейным добром, серебро — от чайника с кофейником до пепельницы и всяческих посуды, со впушенными в днища золотыми и серебряными талерами 16-17 вв. Открытый стол, за которым каждое воскресенье 10-12 чел[овек]. Дверь, как мне и было сказано Кондратовичем, не запертая ни на какой запор — толкни и заходи. «Запираем в 11 ч.»

В нем самом еще целиком помещается простой солдат, по понятиям которого генерал есть генерал, и все свое «богатство» он понимает как само собою разумеюще-ся генеральское оформление. Он не смущается им, не кичится и не оправдывается, не отшучивается, мол, обрастаем. Нет, он может даже указать, что эта тяжелая в золоченой раме картина написана не на полотне, а на фарфоре и т.п. Также он не смущен и тем, что «живем без прислуги», и говорит об этом, чтобы только подчеркнуть хозяйские и кулинарные доблести жены, с которой они, по всему (об этом есть и в записках) живут душа в душу. Хлебосольтво без видимой или мыслимой подосновы расчета или тщеславия, сам не пьет, но «водочка всегда» и «закусочка всегда». Ко всему этому благополучию — тут еще и успех мемуаров, книги жизни, которую не каждому генералу (да еще собственной рукой) дано написать и напечатать, хоть и в сокращенном виде, в самом популярном и солидном журнале, а в перспективе и выход всей в целом книги! — Вчера уже его тормозило АПН — нужна фотография для «Ассошиэйтед-пресс» и т.д.

При всем этом своем итоговом благополучии он (по крайней) мере, перед нами, людьми иного, чем военные, мира) не хвастун и не обременен сознанием своего величия, как могло бы случиться с иным генералом. Правда, цену себе он знает: война, — говорит он, — это то, что я умею, к чему я готовился и чему учился всю собственно жизнь, даже как-то сравнил себя с Ойстрахом³. Но я впервые в жизни встречаю генерала, который так часто возвращался бы к мысли (и в записках и на словах) об излишних и неоправданных жертвах войны. Не помню я ни одного генерала и вообще командира, который бы говорил о болезненнейшей стороне боя за населенный пункт, об уличных боях, о бомбежках городов, станций. Эта сторона обычно не имеется в виду. Заговорили о Жукове, о котором он весьма уважительно отзывается в мемуарах, которому он, единственный из всех военных (этому можно верить, что единственный), звонит по большим праздникам, поздравляет. И вдруг он просто и ясно обрисовал картину перед штурмом Берлина — штурмовать, вести уличные бои не было никакой необходимости, — можно было обходить его слева и справа, так о ю и было уже — и закрывать на запор. Но для рапорта, для престижа, для «историчности» там было положено свыше ста тысяч наших, не считая немцев и населения, — для водружения знамени на обгорелой крыше Рейхстага.

Третьего же дня — новинка из ред[акционной] почты: «типографским» способом изготовленная листовка на нескольких страницах от имени «партии демократических социалистов» с призывом к свержению «диктатуры КПСС». «Типографский способ» самый жалкий — буквы вкривь и вкось, точно каждая по отдельности от-тискивалась, подзаголовки «своим», ни прописных, ни курсива, ни жирного. Позвонил Вл[адимиру] Сем[енови]чу. — Пришлите мне. Вчера звонит: эти тр[е] ин учитель и два студента) уже взяты, успели выпустить 300 экзем[пляров]. Од... А на кон-

верте был штемпель «Челябинск» — наивная конспирация. Некоторое облегчение, что уже были взяты, что это не я, потому что, конечно же, это не более как мальчишество, хотя, надо полагать, оно дорого обойдется этим ребятам. —

Вчера на Горького, у сберкассы, где я ожидал Закса⁴, возвращавшего мне остаток ссуды, выданной ему в свое время на квартиру, вдруг вижу: «примкнувший»⁵. Заметил, что я не только не отвел глаз, но и кивнул ему, повернул ко мне и с такой очевидной радостью протянул руку, что не перекинуться двумя незначущими словами о здоровье, о чем-нибудь — было бы хамством. «Пятую книжку, говорит, получил»⁶. — Горбатова читаете? — «Да, как же, я воевал с ним. Очень вас отвлекает журнал от своей работы?» И он об этом, но я думаю, что как и Шостакович⁷, у которого я был дня три назад. Тот сказал раза два даже: «Я более всего хотел бы, чтобы вы только писали свое, берегли для этого силы, но годика два-три вы еще не должны бросать журнал». —

Вчера поехал в Пахру за Машей, куда она днем уехала на такси, чтобы встретить холодильник, организованный зятем, было после небольшого дождя, вошел в калитку, подъехавши дверца в дверцу, в чудный запах молодого веничка, точно этот настой там за штaketником отдельно стоял — по пути я его еще не слышал. И так мне все мило показалось, и я увидел, что скоро привыкну — стоит еще там пересадить или посадить что-нибудь. Пахра не Пахра, то ли се ли — имею я право быть выше всего этого. Давно уж говорю себе: живи самой банальной по внешности жизнью, не заботься об исключительности по этой части, думай о деле, в чем ты только и можешь быть самим собою и ни с кем тебя там не спутать. Забота об ином смешна, как борода Федина, отпущенная им вдруг к Киевскому пленуму.⁸ Бороду отрастил, а роман-то стронцо*, да и не выдавливается из пересохшего тюбика.

Мои соратники по «Н.М.» читают Солженицына по мере перебелки рукописи Софьей Ханановной. Кажется, их забирает, но уже ясно, что сталинские главы (съемные, как я их назвал еще в Рязани) придется дружными усилиями-таки снять. Без них все становится не беднее содержанием, но свободнее, необязательнее, т.е. художественнее. И вся суть в одном-единственном секрете: авторская ненависть к Сталину, вполне понятная сама по себе, не опирается на такое знание личности, обстановки и обстоятельств в данном случае, как во всех других случаях, когда он, автор, знает то, о чем ведет речь поистине лучше всех на свете. Бронестены и бронеока, пневматические запоры, ключи от графина с настойкой, подземные автострады — все это дешевка и неправда. Более того, если бы потом оказалось, что все это правда, автору-художнику выгоднее было бы оставаться не знающим всего этого. Уже пробовал я говорить обо всем этом автору, но слушал он вежливо и рассеяно, и только раз оживился было: «Я имею право рисовать так, как все это представляю себе». Но самое первое соображение: малейшая неточность, клюква, перебор по части этих деталей устрашения, и уже исключается надежда на поддержку со стороны лиц, знающих все это «около» до ворсинки.

И все-таки, все-таки, как их тряхнет этот роман, именно роман — всех толкующих на разные лады об отмирании жанра. Именно роман, т.е. произведение, обнимающее своим содержанием целую эпоху в жизни общества, взятую с ее трагической и самой исторической стороны. Роман, несомненно опирающийся на традицию, но отнюдь не рабски и не ученически, а свободно и дерзновенно гнуший свое, забирающий круче и круче. Другие, как и я, заметили, что где-то вблизи есть Достоевский (энергия и непрерывность изложения с редкими перевздохами), но это и не Достоевский не только по существу дела, мысли, но и по письму, никакой не Достоевский. Только бы дал господь!

Мысленно готовлюсь к разговору с Л[еономидом] Ф[едоровичем] или кем подобным: имейте в виду, перед нами просто-напросто великий писатель, и с этим ничего не поделаться, как ни стараться. Он не только неотъемлемо принадлежит истории литературы, но он вводит в эту историю и тех, кто так или иначе стоит у него на пути и навсегда запечатлевает их в их гнусном виде. И говорит это все человек (т.е. я, Твардовский), который не бросается такими словами, и куда скорее может быть обвинен в

* Твердый кал (итал.).

скуности, придирчивости, завышении требований, чем в готовности «опьянеть от помоев». В этакое духе.

Маршак — жуткая картина угасания не только чувства элементарной самокритичности, но просто разума и неугасимого возгорания чисто графоманской жажды стругать, выстругивать что-нибудь, хоть эти его четверостишия порой на уровне Степки Щипачева⁹, — выстругивать и немедленно, немедленно показывать, печатать, выколачивать похвалы — хотя бы неискренние, именно выколоченные, вынужденные. Разума нет, ибо разум исключал бы претензию на интерес мира к тебе, утратившему малейший интерес к чему бы то ни было в мире, кроме самого себя. Может быть, я жесток к нему, но сил моих нет — я должен ему звонить и хвалить еще раз уже хваленые мной и Лакшиным «эпиграммы», хвалить, но, ссылаясь на редколлегию, сказать, что часть их не будет в «Н.М.» <...>

1.VI.64. М[осква].

Воскресенье с 5 ч. утра до почти 5 дня работал на новом участке с увлечением, обычным во Внукове, подогретым еще и новизной. Опять «рукопись», которую так приятно редактировать, исправлять, планировать, как она будет выглядеть в результате таких-то усилий.

Дементьев и Кондратович, пришедшие звать нас обедать с чехами, как принято, расхваливая участок, дом, сказали, что теперь следует ожидать «нового этапа» в моем писательском деле. Я отшутился указанием на чеховского писателя, который, выбившись в люди, поставив большой стол в большом кабинете и т.д., увидел вдруг, что писать он не может, нечего. По правде сказать, тревога эта у меня только условная, но не исключено, что и здесь, где у меня все, о чем я мечтал годами в смысле бытоустройства — и «верх», и камин настоящий, и купанье (река), и новое поле для приложения рук и всяких «преобразований природы» (что опять же писательский городок — теперь я считаю, что это хорошо, т.к. жить так где-нибудь среди дачников обычного типа было бы попросту совестно), что здесь я буду по крайней мере некоторое время редактировать да комментировать то, что написано было в разных условиях, большей частью трудных, но при большем потенциале (возрастном). В лето нужно написать хотя бы «Дневники писателя» (Солженицын — Бунины), «Ленин и печник», потом, м.б., «Т[еркин] на т[ом] св[ете]» и хотя кое-какие стишки для цикла «Из зап[исной] книжки».

21.VI.64. Пахра. День рождения — 54.

Последний год мне «за пятьдесят», а там уж пойдет «под шестьдесят», как и сказала в этом году как-то Вая: «тебе под шестьдесят». Опасное дело в этом возрасте все еще устраивать «рабочее место», переселяться с дачи на дачу и все откладывать «главную книгу». Но что другое я мог бы сделать, так иначе поступить?

Вновь и вновь встает и требует решения вопрос, тянуть ли дальше ярмо «Н.М.» или как?

Только что написал это, пришла впервые в этот адрес телеграмма от коллектива редакции (и отдельно от Кондратовича). Оказывается, день рождения совпадает с шестилетием (?) вторичного прихода моего в журнал. Отсюда содержание телеграммы такое, как будто сам ее вчера составил и велел Софье Ханановне отправить за казенный счет. «За эти годы журнал заслужил любовь и уважение читателей, стал центром литературных событий страны. Все это в первую очередь Ваша заслуга» и т.д.

Трудно, почти невозможно представить, чтобы я, теперешний человек в нашей литературе, оказался бы вдруг просто членом ДСКТ, сидящим у этого окна с этими двумя елками и двумя сосенками перед ним и кустами молодых березок и просто писал бы «свое». Для кого? Для какого ж[урнала] или редактора? Ведь я так далеко залез в заострениях своей литературно-политической репутации, что уже случись, что я без своего ж[урнала], то нечего и думать напечатать где-нибудь это «свое», если только не что-нибудь нарочито безобидное вроде лирики или воспоминаний (да, да, время мемуаров!).

Да ведь и это у меня не получится безобидным. Но дело, конечно, не во мне одном. Я-то могу, если оставят в покое, писать и в сундук просто лет несколько. А что

же будет со всем тем, что тянется и растет, что есть и будет, развивается и крепнет лишь при этом «Н.М.». Конечно, нельзя представлять дело так, что все попросту замрет, многое, что взяло некий разгон, уж необратимо и хотя бы в сниженной форме уже не может не существовать. И однако.

Опять, когда встал вопрос с Ахматовой¹, которая мне не сватья, не кума, но перед которой ж[урна]л должен был схамить лицемерно по принуждению, — опять от самых решительных заявлений меня удержала куда большая задача впереди: роман Солженицына.

22.VI.64. Пахра.

Двадцать четыре года назад в этот день в дер[евне] Грязи я записывал, как ходил накануне в Звенигород и пытался писать безнадежно трудного «Теркина», когда Маша позвала меня внушить Вале, что она повторяет нелепые слухи о начавшейся войне, наслышавшись об этом на деревенской улице. Об этом в «Родине и Чужбине».

Прошла треть жизни, да какая треть — не полубессознательная треть из детства и юности и не та, что осталась впереди, а самая емкая серединка. И прошла она под знаком войны, сперва бушевавшей и сжигавшей день за днем свои четыре года, а затем висевшей над памятью, над сознанием и висящей до сих пор — что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, чего бы ни замышлял. Вроде присущей некоторым людям, мне, в том числе, постоянной мысли о смерти. И все в какой-то спешке, и все в лихорадочной подготовке «рабочего места» (Внуково — с его «строительством»), разработкой участка, колодцами (один из них нужно вырыть, а потом зарыть), ремонтом снизу дома, так не достроенного до сих пор.

Оленьи рожки, раковые шейки,
Березок мертвых духовитый лист.
День — Духов день. Собрание в ячейке
Иду в село, поэт и атеист.¹

10.VII.64. Пахра.

Еще один рубеж: вчера похоронили Маршака, умершего еще в субботу, 5.VII.

Все верно: что утрата большая, что его нам будет не хватать, что просто жалко старика, который так яростно не хотел умирать и даже слышать слово смерть, хотя уже терял не просто здоровье, но уже просто одно за другим все свои пять внешних чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. <...> Был тяжек своим лукавым непониманием, что это старость и конец, а не недосмотр врачей и т.п. С великим трудом через его сосредоточенный эгоизм и привычный самообман пробивалось понимание того, что смерть близка и пора к ней подготовиться. Это в последних «четверостишиях». <...> За день до больницы мы с Лакшиным поехали проводить его на юг, куда он уж совсем собрался, так и поехали повидаться, а вдруг, мол, с юга не вернется.

А потом этот ужасный приезд в воскресенье 6.VII. Розалии и В. Семеновны¹ ко мне в Пахру. Когда я был совсем плохой, настолько плохой, что мне в голову не пришло поехать с ними в Переделкино на поиски Воронкова или во Внуково к Суркову...

11.VII.

Вчера был на первом заседании комиссии по наследию и увековечиванию памяти С[амуила] Я[ковлевича], где купался в блаженстве Михалков, которому я уступил председательство (к огорчению и обиде Элика)¹.

Маршака нет, остался Маршакизм, а без Маршака его терпеть уж совсем невозможно. Непомерность претензий (10-томное полное, серия книг, которые были некогда отредактированы в маршаковой «редакции-лаборатории» и т.п.) удалось слегка сбить, но и этим заниматься — не моя задача. —

Подумать: около 30 лет я знал его, дружил с ним, обнимался и целовался при каждом здравствуй и до свидания (меня, по правде, угнетала эта его манера целоваться с огромным количеством людей), слышал его похвалы и сам хвалил его, держал речь на его 60-летию (на 70-летию из-за запоя не был — заменил меня Сурков) и,

наконец, проводил его на Новодевичье. И как это объяснить, но я и сейчас под свежим впечатлением похорон, полной незащитности покойника, который хоть под музыку и при большом стечении людей, и при всей помпе, но был в конце концов задвинут так-сяк в короткую экономичную ямку в сухой рушеной кладбищенской земле у стены с урнами и надписями <...>

Но стоит ли мне так много думать о нем и все что-то доказывать себе и другим теперь. Мне кажется, никто бы о нем не мог так написать, как я, никому он так не переел плешь, хотя всем кругом говорил о своей любви ко мне и мне самому, особенно в последние годы многократно и наянливо объяснялся в любви, вымогательски требуя слов взаимности, именно слов, он любил слова самые льстивые, обнаженно-условные и потому издавна держал вокруг себя этот фальшивый, но сладостный для него хор льстецов и льстих. —

Он понуждал ко лжи и фальши, мгновенно надуваясь и сопя, как только про его строчку скажешь, что она-таки слаба, нехороша, и, мгновенно расцветая и аякая («помаршаковски»), когда хвалили, хотя бы он и сам не мог не знать, что врут, льстят, почти не скрывая того, что именно льстят или похваливают по-принятому, навязанному им самим условию. — Бог с ним, однако.

Я издавна уже терпеть не мог этой его манеры называть переводы стихами («Я новые стихи написал» — смотришь, очередной Бернс или Шекспир), его вымогательства всякий раз, вопреки общепринятому правилу в наше время, указывать свою фамилию сверху, а не снизу² и т.п. Или я не могу отрешиться от этих мелочных наблюдений над мелочным и обостренно тщеславным человеком, который дело-то знал, что и говорить, но уж не упускал ни копеечки, ни грошика из того, что ему следовало, а стремился еще и надбавочку выклянчить.

— Тяжкий его грех было первоученичество. Маленького росточка, он сидел на первой парте, и всегда ручонка наготове: «Я знаю, г-н учитель». И он знал действительно и отличался, но ради отметки, похвалы, ради этого высовывания своих доблестей и добродетелей готов был на что угодно, как я представлю, во всяком случае, товарищи по классу его не могли любить. Да он и в своей автобиографии спустя 60 лет похвалится тогдашними своими успехами и отличиями. — Нет; я слишком еще зол на него сегодня, и то, что заносу здесь, м.б., не согласуется с тем, что говорил у гроба, и, однако, я и там не лгал ничуть, м.б., только в меру этого «жанра».

22.VII.64. Пахра.

Предыдущая неделя ушла в мою беду — отнесем ее на этот раз к поминкам Маршака, уход которого не так остро чувствовался — за всякими похоронными хлопотами — в первые дни, как потом и потом. Смерть эта меня очень заметно состарила. Покамест он был жив, я был моложе.

Задачи на ближайшее светлое будущее:

1) Статейка о Кулешове (уже, кажется, найден для нее ключик — «Бесядь»)¹.

2) «Избранное» для Вигорелли².

3) Собрание сочинений (получено уведомление от Косолапова о включении в план 5-томного (подписка во второй половине 65 г.). Потихоньку, но в порядке дописания — нужно, по кр[айней] мере:

а) сделать в нынешнем году статьи о Лермонтове, Бунине и свой «Дн[евник] писателя» («Ленин и печник», «Ив[ан] Ден[исович]»)³.

б) рассказ — тот самый

в) что-нибудь из жизни.

4) Все-таки Смоленск обязателен, неотложен — мама, Загорье, Костя.⁴

5) Что бог даст. Зовут во все концы, повсюду угроза пустопорожнего времяпрепровождения и неизбежного пьянства. В интересах ж[урнала] (хотя такие дни, как вчерашний, позволяют думать, что его-таки доконают⁵). — Новосибирск и Кишинев, откуда пишут министр культуры, предсоюза писателей, биб[лиоте]ка.

6) Франция — Италия с Машей и Олей⁶ — это было бы выполнением священного долга перед семьей. А там — зима, и за большую, наконец, работу.

Покамест ты был жив, я был куда моложе —
Как при отце — в любимых сыновьях.⁷

8.VIII.64. Пахра.

Перебрался наверх, гонимый малярами, орудующими внизу. Только сон, да утрення зарядка с лопатой и тачкой, да еще, конечно, купанье — вот и все дачные блага этого лета. А в остальном — спешка, забывания и вспоминания разных дел при поездках в город — не реже, покамест, чем через день — хлопоты и бесконечные огорчения по журналу, почта — пустопорожняя и режущая по живому и т.д. и бесконечное, уже привычное откладывание главного — до окончания ремонта, до зимы, до отпуска, который никогда у меня не бывает отпуском в смысле свободы от журнала и проч.

Дом хорош, комната, где сейчас сижу, хороша, и я уже примирился и сжился со скосами потолка (мансарда). Недостатков, без которых, как говорил Т. Манн, ему чего-то недостает в рабочем месте — достаточно. Образ жизни каждодневной все это время строго научный.

Нужно бы сделать много всяких записей, но в 12 машина, а тут еще нужно кое-что по ходу ремонта.

Третьего дня у Маши был явный сердечный приступ. Слышу, был на дровосеке, чего-то тюкал, зовет, а она зря не позовет, подбегаю — сидит на красной скамейке, раскинув руки, и руки в земле — высаживала свои внуковские примулы. Перестала пить кофе натошак, но дело, конечно, не в кофе, а в том напряжении, в каком она живет со времени переезда.

10.VIII.

Сломилось лето как-то вдруг.

Оно стояло в ровном напряжении жарких дней, в ожидании дождя, и как только прошел первый грозовой дождь, пошла другая погода, похолодало, и хотя вновь потеплело после больших дождей, но уже не по-прежнему. Жаркое, молодое, казалось, только набравшее силу, чтобы развернуться, оно вдруг и кончилось, уже позади его цветение и пение, запахи сена, уже и хлеба не пахнут, перестоявшие, обмытые и прибитые, прогнутые дождями. Впереди уже другие запахи, иной поры запахи — грибной, картофельной ботвы, яблок.

Все сроки кратки в этом мире,
Все превращенья на лету.
Сирень в году дня три-четыре,
От силы пять — стоит в цвету.¹

Только в поэзии стихотворно-песенной она бушует как бы все лето. Об этом у меня уже давно что-то написано: «Как быстры смены, кратки сроки». Но это мне пришло не из литературы, хотя там испокон веков речь идет о быстротечности и т.п. Но понадобился опыт целой жизни, чтобы увидеть и заметить это через себя, и это настолько мое наблюдение и ощущение, что оно все еще кажется не высказанным. —

Много грустного. Вл. Сем. уже вторую неделю, если не больше, держит отобранную нами, примерно первую треть рукописи «В круге»² — небывалое дело. При последней встрече: — Нет, еще не начинал, это же Солженицын, надо не между делом... И между прочим:

- У нас с вами недоброжелателей много больше, чем доброжелателей.
- Нет, Вл. Сем., уверяю вас, доброжелателей куда больше.
- Да, в таком смысле, но я говорю о влиятельных кругах.

Черноуцан о нем к слову:

- Он чувствует себя неуверенно.

Вдуматься — и правда. Он пошел поперек «отделу» и мн[огим] др[угим]. «Ив[ан] Ден[исович]» — помимо отдела (где он, конечно, был бы похоронен), «Теркин на том свете» — помимо (он тоже был бы вновь похоронен). От Солженицына Н[икита] С[ергеевич] в решительную минуту как бы отказался. Это очень понятно: он обжегся на вопросах лит[ерату]ры и искусства в затеянных «отделами» исторических встречах. Тут ему наговорили об отрицательных письмах читателей — каких читателей — об этом не речь. Он мог почувствовать, что опять дал мазу. И: «Я же не говорил давать премию, но мне нравится». Могло быть совсем по-другому, при естественном

ходе вещей премия решительно была бы за Солженицыным. И Н[иките] С[ергеевичу] было бы это приятно. Но пойти наперекор мнениям и опасениям «отделов» он не мог. Далее. Чтение в Пицунде, появление в печати «Т[еркина] на том свете» — опять «отделы» и «подотделы» оказались в стороне и затаили свое решительное неприятие этой вещи. Н[икита] С[ергеевич] естественно мог уже насторожиться в отношении помощника: что ты мне там подсовываешь? Ясно, что с новой вещью Солженицына уже не может быть решения в прежнем духе: не станет читать, не возьмется решать, пошлет в «отдел». А там — гроб. —

С Эренбургом по-своему еще хуже. Я не могу за него расстилаться, доказывать, я его сам не люблю, относился всегда как к неизбежному, и теперь, в сущности, отстраняясь от решения этого вопроса: как хотите. Ознакомленный с запиской, составленной Отделом для самого верха, я только сказал, что при такой характеристике вещи ее можно только запрещать, никакие «необходимые кулоры» и т.п. не изменят положения, да и автор — вернее всего — наотрез откажется снять «еврейский вопрос» или что другое («критику политики партии в области лит[ерату]ры и искусства»)³.

Седьмая книжка только-только печатается, послезавтра, м.б., будет сигнальный, след[овательно], № поступит к подписчику в конце не своего, а уже другого м[еся]ца.

С лихорадочным напряжением тянем ремонт и прочее в надежде на какой-то иной строй жизни, рабочий покой, отрешенность от бездны сует и хлопот каждодневных, но иногда прихлынет, как жестокая реальность, что ничего, ни черта такого не будет, покамест я связан с журналом, хотя и там уже время надежд, пожалуй, миновало. В сущности, нужно мне так решить: если Солженицын не идет — все ясно. Оставить эту вещь за бортом и продолжать что-то взамен этого предлагать читателю — имеет ли какой-нибудь смысл. Один только: не дать заступить на вакантное место одному из вурдалаков.

17.VIII.64. Пахра.

С 14.VIII. — встреча с Ч. Сноу¹ и малые последствия. Наближающийся кризис с Эренбургом (его письмо Н.С., посланное с секретаршей Вл[адимиру] Сем[енови]чу), икрометания Эренбурга. Сегодня — входит во все это.

Малярка в доме едва ли закончится и в след[ующее] воскресенье. Другие рем[онтные] заботы, соображения и предположения. Необходимые расчеты со Внуковым. Много времени уже застаю себя, как бы извне наблюдая, за всяческими хоз[яйственно]-строй[тельными] и т.п. заботами и соображениями. Все это под залог будущих трудов за столом, той сосредоточенности, какой давно уже нет. Вообще, вряд ли я смогу когда-нибудь, сидя за столом под крышей собств[енного] дома, отвлечься от него полностью, не думать о том, протекает ли крыша, не гниют ли половые лаги и т.п. Не говоря уже о саде. Все надежды на зиму, когда кроме уборки снега, уже нечего будет делать.

За целый м[еся]ц, кроме журнальных материалов, прочел, кажется, только Жана де Лабруйера (заканчиваю). Это одна из «книг-одиночек», биб[лиоте]ку которых я держу в голове.

1. Джон Теннер.
2. Энгельгардт. — Письма из деревни.
3. Лабруйер. — Характеры.
4. Ксенофонт. — Анабозис (?)
5. Житие протопопа Аввакума.²
- 6.

Есть писатели многотомные, которых можно спокойно не читать, — ничего в тебе не убавится, ничего особого не лишишься. Но есть авторы единственной (или главной) книги, которых нельзя не прочесть, без которых ты, как часть человечества, не можешь схватить хотя бы «через бездны незнания» (Т. Манн), хотя бы основные линии направления и «рукава» в развитии (духовном) человечества. Сейчас не приходится на память все эти «книги-одиночки». Но это давнее мое наблюдение в потоке чтения.³ —

21.VIII.64. Пахра.

Третьего дня — Эренбург и внезапно резкий (нет, не внезапно) разговор телеф[онный] с Вл. Сем-м. Эренбург подавленный, старый, уже и не острит и не заеда-

ется, но взять свое письмо Н.С. не согласился: какой, мол, толк — письмо, подписанное еще и Сурковым и др. было взято, но это не лишило возможности кому надо распространяться о «сосуществовании» в области идеологии.¹

Вл[адимир] Сем[енович] заговорил со мной непривычно и необычно резко, даже грубо. «Сами себя ставите в трудное положение, а потом...» — Что — «потом»? Ведь я не прошу ни о чем, а коснулась речь — говорю об ужасном положении журнала. — «Делаете проблему из Эренбурга» — Не мы делаем, мы делаем свое дело: подготовили к печати шестую часть его записок. ЦК запросил их от редакции, тем самым снимая с нее обязанности окончательного решения. — «Пошел он ко всем чертям» — Я так не могу говорить о старом и европейски известном писателе, хотя никогда не был его поклонником, как вы по вашим недавним словам. — «Не читал и читать не хочу, с меня довольно письма идеологического отдела». — Не узнаю вас, Вл[адимир] Сем[енович], не ваши слова: «не читал, но скажу» и т.д. и т.п. Мой разговор слышали Дем[ентьев] и Лакшин («Знаем мы этих Лакшиных», т.е. еврей).

После этого мы вышли под обратный навес кинотеатра «Россия», выпили коньяку, и я сказал, что испытываю даже как бы облегчение, стало все яснее по крайней мере. Кстати, все отметили, что разговор был с моей стороны твердый и правильный. Вл[адимир] Сем[енович], теперь понятно, ни слова о романе С[олженицын]а. О нем, конечно, уже не может быть и речи. И, вообще, бог весть, чем все это кончится. Жизни не видать, по кр[айней] мере такой, при которой имеет смысл держаться за журнал. Вопрос может, т[аким] обр[азом], решиться не на самом Солженицыне, а до него, на Эренбурге. —

23. VIII.

Все пошло ускоренным темпом. На другой (или третий?) день после крупного разговора Вл[адимир] Сем[енович] уже искал меня по телефону, чтобы передать рукопись Солженицына со своим резко-отрицательным мнением о ней.

— Я жалею, что в свое время способствовал появлению в свет «Ив[ана] Денисовича». — Вот до чего!

— Напрасно жалеете, Вл[адимир] Сем[енович], под старость это вам так пригодится, что вы способствовали. А вот о своем отношении к этой вещи вы, пожалуй, действительно пожалеете. —

Это не на лестнице, а натурально, в лицо ему. Я был доволен, что сохранил самообладание, был вежлив, благодарил «за все доброе».

Впервые он так холодно, не вставая с места, отпустил меня, хотя обычно провожал до лифта, рассыпался при дежурном охраны, благодарил, посылал приветы М[арии] И[лларионовне].

К концу дня, когда я уже все сообщил Дементу и Лакшину и когда уже все это солженицынское хозяйство было передано Заксу для заключения в сейфе, С[офья] Х[анановна] позвала меня к телефону: Лебедев.

— Я забыл еще сказать, что там он (Солженицын) говорит о Бухарине как о честнейшем и т.д., одном из первых, с кем расправился Сталин.

— Да, спасибо. Я все учту при повторном чтении всего романа, когда он будет окончен. И далее — все уже на смягчение «конфликта».

— Вы его отец, а я хоть повитуха или восприемник. Мы должны ему помочь вылезти из беды. М.б., мы встретимся вместе, когда А[лександр] И[саевич] вернется.

— Да, если мы от него отвернемся в трудном случае, это будет великая радость для некоторых.

— Еще бы. И какая радость! Вы того не знаете, не представляете, какая.

— Представляю все же.

— Нет, всего не представляете. — Это явно о том, что он имеет в виду не кочетовцев, а повыше.

Вчера впервые за лето выбрались по грибы на машине. Эпизод с Дементом, заблудившимся, испугавшимся и, выбравшись на шоссе, прождавшим нас 3-4 часа с пустой корзишкой возле лавки, где то и дело ему предлагали войти в долю «на двоих» или «на троих», но у него не было ни копейки, а одна старушка уже присматривалась к его корзинке: хорошая корзиночка.

10. IX. 64. Пахра.

Все не кончаются хлопоты по ремонту и подготовке жилья к зиме. — Если не иметь в виду мою сосредоточенную работу здесь, перемену самого образа жизни, то вся эта суета, и усилия, в жизнь на два дома обесмысливаются. Тоска настагает и здесь, даже с еще большей неотвратимостью, чем в городе.

Последнее событие огромной важности для судьбы моей, ж[урна]ла и Солженицына — статья Карякина в «Проблемах», ставящая вопрос в энергическом и недвусмысленном заострении против «маоистов», против всех, кто против 20 съезда и, следовательно, против повести Солженицына в ее политическом и идейном содержании. Разрешат ли нам ее перепечатать? Скорее всего, что нет, да еще взыщут за то, что, «не советуемся». Чему быть, тому быть.¹

Вновь запрошен Эренбург (верстка).

Ч. Сноу и малые последствия приемов и проводов. Бог с ними, этими знатными иностранцами.²

Рим и Париж решительно отпадают³, и не жалею — не стоит стольких усилий. Читаю Лермонтова и о нем, статейка никак не образуется, все идет в голову сказанное без меня.⁴ Нужно дописать еще «Ответ читателям» Теркина для нынешнего издания брошюрой, а тем самым и для Собрания, — нельзя же умолчать о «Т[еркине] на т[ом] св[ете]».

16. X. 64. П[ахра].

«Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу тов. Хрущева Н.С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».¹

Н[аталья] Л[ьвовна], заменяющая С[офью] Х[анановну]², которая в отпуске, наверно ответила, когда звонили из ЦК, как обычно: он в отпуске, и я не был на пленуме, хотя в этот день был в городе и был в полном порядке, т.е. на 3-й и 4-й день после последнего срыва. Звонил Поликарпову, — нужно было ему сказать по телефону или встретиться в связи с письменным ответом Эренбурга³ на «замечания» и отредактированным в «подотделе» проспектом антологии «Н.М.» для «Раццоли»⁴. Секретарша обещала соединить с ним, как только он появится. Прождал до полшестого, уехал, а в 6 был пленум. Это было 14. X. Настроение в этот день было крайнее в смысле решимости уходить, даже не дожидаясь конца отпуска. Даже Демент уже говорил, что, пожалуй, оно к тому идет, что дальше нечего тянуть. И когда пришло это крайнее настроение, стали, как обычно, выявляться все выгоды в связи с освобождением от ж[урна]ла: столько мучительных забот долой, столько обязательств побоку и т.д.

Утром 15. X. с 6 ч. сидел, сочинял письмо Поликарпию. К этому понуждала неловкость, почти невозможность передать письмо Эренбурга, пришедшее на мое имя: «поправки», о которых Вас просили сообщить мне» и т.п. Нельзя было подвести Закса, который ездил к Э[ренбургу] и, выходит, сказал напрямую, что «поправки» не наши, и не предупредил относительно условности формы — вот жизнь! Письмо мое мог передать Д[емент] или Кондр[атович], и тогда не обязательно было показывать письмо Э[ренбургу], которое я в главных моментах цитировал в своем со слабой надеждой, что «трагические» мотивы того письма дойдут-таки до чьего-нибудь сознания, и автор не станут понуждать к еще 11 купюрам, которые делать он уже с решимостью отчаяния отказывался и т[аким] обр[азом], отказывался от опубликования 6-й части.

После изложения письма Э[ренбурга] в цитатах и своими словами я писал:

«В существо дела я сейчас не вникаю, конечно, не по причине моего отпускного состояния, а по той, которую я излагал, когда мы были у тебя с Дементьевым, т.е., что считаю вопрос этот стоящим вне компетенции редакции с момента затребования тобою верстки Эренбурга. Кстати, я ахнул, когда увидел в окончательном тексте известного документа по этой книге указания на мое согласие с ним. Ведь когда меня знакомили с проектом этого документа, я лишь сказал, что, мол, можно, конечно, характеризовать рукопись И. Э[ренбурга] и так, но тогда вывода о возможности ее напечатания быть не может. Но об этом уж толковать теперь не имеет смысла. В Эренбурге, повторяю, мне, как и моим соредакторам, многое до крайности неприятно и чуждо, но непубликование ее в сложившихся условиях обойдется нам куда дороже, чем опубликование, — об этом я тоже говорил неоднократно.

Вчера же я ознакомился с новым проспектом антологии «Н.М.», предназначенного для итальянского издания (в связи с моим письмом в ЦК по поводу предложения изд[ательств]а «Риццоли») и опять же только и мог, что ахнуть. Проспект, перекроенный наново силами подотдела, возглавляемого тобой, выражает такое недоверие к умственным способностям моих и моих соредакторов, что дальше уже ехать некуда.

Словом, я не могу не поставить тебя в известность, что эта последняя акция в отношении журнала и меня лично, в совокупности со множеством других обстоятельств, впрямую побуждает меня решить вопрос о моей пригодности для ныне занимаемой мною должности. Дни отпуска позволяют мне решить его без всякой горячности, спокойно и здраво. (Это я хотел дать понять, что не имею в виду использовать весь «творческий» отпуск).

С приветом и добрыми пожеланиями. А. Твардовский.

P.S. Если ты захотел бы видеть меня, через редакцию можно вызвать в любое время».

18. X. П[ахра].

Все эти дни безотрывно почти голова занята Хрущевым и нынешним положением. И, пожалуй, не потому только, что судьба моя в это десятилетие решительным образом была связана с поворотами его настроений. Нет, скорее всего потому, что с годами я думал о себе, о литературе все более безотрывно от того, что происходило, намечалось и поворачивалось в жизни страны и всего света.

Третьего дня, отвлеченный садовыми заботами и работами, не успел записать, что хотел записать о предшествующем этому внезапному событию моему томлению и самых тоскливых думах. Дня за три до я как-то сказал Маше за столом на кухне, что порой мне кажется, что уже никакая разумная воля нами не управляет, никто снизу доверху ничего не знает, ничего не решается, все заколодило и все это в молчанке, полной тяжелейшего недоумения и тоски.

А в день самого Пленума, о котором я не знал, позвонив Лифшицу в ответ на его звонки, сказал ему, что дела дрянь, что сегодня хуже, чем вчера, а завтра, похоже, будет хуже, чем сегодня, и что в отношении журнала вижу, что терпению и выдержке наступают естественный конец, когда они уже ничем не оправдываются, не оплачиваются хотя бы минимальным удержанием позиций, т.е. когда терпение и выдержка иссякают не потому, что они тяжелы, а потому, что лишаются смысла. Ну погоди, сказал он, может, оно вдруг, как бывает, все обернется по-иному. Конечно, он сказал это просто так или в плане своих общих широких соображений. Я уверен, что ни он, ни кто другой не предполагал такого именно поворота дел. Сам я, вспоминая теперь, прикидывал невольно, сколько еще Н.С. может прожить — 3, 5, 10 лет? Вне его естественного конца не мыслилось что-нибудь решительнее. Но все же М[ихаил] А[лександрович] как в воду глядел.

Утром, часов в 12, приехав в город, звоню Дементу, говорю, что подготовил письмо Поликарпову, советуюсь, он поддакивает без особого воодушевления, чувствую, что из всего этого он видит только, что не мне, а ему идти к Поликарпию. Потом, точно вспомнив к слову еще что-то, относящееся прямо или косвенно к нашим заботам, говорит, что явилось какое-то новое неприятное дело, — я так понял, что он слышал что-то дурное, направленное против меня, но это, говорит, не по телефону. — Да ты скажи хоть, в каком разрезе! — Нет, нет, не могу, не стану, — прерывает он сам себя, как будто уже готов был что-то сказать, но удержался на самом краешке. — Тогда я иду сейчас к тебе. — Давай. — Иду и готовлюсь услышать о каких-то кознях, каком-то слухе, о чем-то таком, что должно еще вдобавок ко всему свалиться на меня, по пути отпускаю машину, с которой собирался ехать в ЦК или сперва в редакцию, а потом в ЦК. Он встречает меня на площадке — слышал, как я поднимаюсь на лифте. Идем в комнату, и он начинает что-то про свою Ирину, которая должна была ехать в Л[енинград], но позвонила вчера своему зам. редактору, тот и говорит: какой, мол, Л[енинград], тут такие дела... И далее будто бы она спросила в ее манере: — Ники? — Да, говорит тот, но толком ничего не говорит.

Д[емент]ьев разглаживает лежащую перед ним «Правду» и, дошлая бестия, говорит, что в номере нет ни одного раза имени Н.С. Правда, во вчерашнем разговоре Ирины со своим начальством были уже какие-то темные слова «сидим вот, цитаты вычеркиваем».

Тут пошли лихорадочные гадания, домыслы, предположения. Ирина еще позво-

нила по одному, другому телефону — никого нет, я позвонил Поликарпову — нет, Д[ементьев] — «Мишке Кузнецову¹, он всегда все знает» (тот сказал, что ничего не слышал, но есть предположение, что «Ленечка» (Л.Ф.) полетит, — словом, ничего не знает). Дозвонилась в конце концов Ирина, и мы уже по одной ее стороне телефонного разговора услышали, что дело серьезное, — были слова: «пленум», «по болезни» и т.п. И тут позвонил Поликарпов, разыскавший меня и приглашавший в 2.30 в ЦК на информацию. — Так пришло все это во всей своей неожиданности, внезапности и незамысловатости. —

Пришел и ушел «внутренним» порядком, — ни тогда, ни теперь никто ничего не спрашивал у народа, даже у партии. Все решается группой в десяток человек, а затем выносятся в круглый зал, происходит привычно-автоматическое голосование («прения не будем открывать?» — было спрошено и теперь для проформы) — избран. Казалось бы, военные неудачи, народные волнения и т.п. только и могут предпринять падение такой огромной власти, а тут уехал в Пицунду покупаться в своем бассейне с морской водой в 50 м от моря — и на тебе: «выезжайте, будет разбираться ваше персональное дело». (Так, рассказывают, вызвали его на президиум после двух отказов его выехать «по чрезвычайно важному делу»). Обидный финал, — никакой трагедии, никакой борьбы. «Да был ли мальчик-то?». --

То, что дальше держать его при безгласном послушании ему и при явном его маразматическом состоянии и поведении — это ясно. Но то, что устранение его проведено его же методом, «внутренним оформлением», без обсуждения, без объяснения народу истинных причин, под стыдливым и натянутым «собственным желанием» — это не сулит ничего хорошего. Пленумов не проводить, активов не созывать, секретари обкомов соберут секретарей райкомов, те — секретарей организаций — все говорят, что уже было высказано предложение не обсуждать и «письма» — все ясно.

Ничего во всем том развернутом решении Пленума, не предназначенном для печати, которое я знаю, правда, лишь по информации Поликарпова, — ничего там нового для меня и людей моего круга нет, все это называлось нами, общувалось и обсуждалось всерьез много раз, но говорить об этом было нельзя в открытую, как, впрочем, нельзя и теперь, поскольку это лишь «для членов партии». А должен ли и может ли член партии говорить об этом с беспартийными, с которыми строит коммунизм? Или, м.б., два члена экипажа «Восход» на время партийного обсуждения вопроса должны отключить наушники третьего от общего провода?

Долгое время казалось, что ему очень трудно, что он испытывает глухое сопротивление темных сил проведению решений XX и XXII съездов, были какие-то смутные надежды, что он пойдет на них войной в открытую, во всеуслышание. Но надежды все более тускнели, а уж когда он отрекся от Солженицына, совсем пропали. Перед этим его отречением от своего же прекрасного шага, как-то я завел речь с Вл[адимиром] С[еменовичем] на прогулке в Барвихе, и он подтвердил мои слова об «одиночестве» его. «Да, он очень одинок, а «они» нарочно сами ничего не решают, все подкладывают ему, чтобы потом сказать.» Вл[адимир] С[еменович] знал, конечно, больше нашего и был уже тогда грустен и удручен, м.б. тем, что Н.С. был уже недоволен им, его «подсовыванием» ему Солженицына, «Т[еркина] на т[ом] св[ете]».

Давление и сопротивление он испытывал, но он не захотел назвать их своими именами, противопоставить им гласность, демократию, открытый разговор с народом. Он мог быть сломлен, и тогда «они» бы, м.б., его и смяли, но это был бы другой конец.

Та же сила, что подняла его на вершину власти, та самая, с помощью которой он устранил даже такое на своем пути восхождения препятствие, как Молотов и др. — она же теперь и стянула его с ветки истории — обкомы.

Помню, как на одном из первых его Пленумов (по развенчанию Бери) плакал на трибуне один довольно слащавый украинский секретарь обкома: сколько он страху натерпелся в ожидании ареста. Плакал натуральными слезами. Вообще получалось, что «культ личности» — это прежде всего и главным образом — тяжелые переживания секретарей обкомов и равных им или вышестоящих в ожидании ночного визита бериянских молодцов. — С первых своих шагов Н.С. дал гарантии, что больше этого не будет, секретари могут спать спокойно. И тогда в 57 г. он позвал их в момент борь-

бы с «антипартийной группировкой», они явились и отплатили ему верной службой (рассказ П.И. Дорониной² об этом моменте, кажется, записан у меня где-то в тетрадях).

Но когда, увлеченный «зудом реорганизации», он дошел до амемого разделения обкомов, лишил их власти («два, значит, ни одного»), лишил этого объекта честолюбивых мечтаний о месте «первого», они, хоть и проголосовали автоматически за это решение, но уже простить этого ему не могли — все бы другое простили — кукурузу и пр. — а этого — нет. И вот их призвали, чтобы проголосовать против него, и они это сделали со сластью, вложив в автоматику традиционного голосования всю искренность своего волеизъявления — с репликами, аплодисментами, чуть ли не улюлюканьем (по словам Суркова) против него, сидевшего молча на крайнем месте за столом президиума. Боже мой, сколько запоздалого раскаяния, горечи, гнева и возмущения было в его груди на этом последнем для него Пленуме в круглом зале.

19. X. П[ахра].

Вчера Оля привезла Солженицына. Взволнован, с лихорадочной поспешностью, после первого обмена впечатлениями этих дней, излагает четко построенный план раскрытия рукописи романа «В круге первом».

— Вы помните, вам не нравилось название романа «Раковый корпус», на который у нас был договор. Потом был заключен договор на «Круг», поглотивший тот договор (там был на 10 л[истах], здесь на 30). Так вот, это было переименование романа «Раковый корпус» на «В круге первом» («первый круг лечения») и расширение объема рукописи. Я и работаю сейчас над этим романом, а «Круга первого» как такового как бы не было. Три экземпляра его вы заберите из редакции, спросят — нет и не было, автор работает над рукописью «В круге первом» — это роман о больных и врачах и т.д.

— Так заберите вы его себе, если хотите, но ни в какие такие плутни я не хочу и не стану и вам не советую вплестаться. Заберите, спросят — да, автор работает над романом о культовых временах, он получил много замечаний, рукопись обсуждалась на редколлегии, рецензировалась близкими редакции людьми, имеется «досье» — вот оно все в натуре и т.д.

Но забирать рукопись он явно не хочет, ссылаясь (смех!) на большой объем этих трех экземпляров, переписанных С[офьей] Х[анановной].

— Уложите в чемодан, — предложил было я, но вижу, что он просто не хочет забирать сам.¹

Едва уговорил его, успокоил.

— Я, — говорит, — исхожу из предположений худшего варианта. Представьте, что темные силы обратятся куда следует и разъяснят, что «Н.М.» — журнал, которому исключительно покровительствовал Н.С., фактов достаточно: «И[ван] Денисыч», «Теркин на т[ом] св[ете]», громкие чтения в Пицунде и т.п. И вот, мол, в редакции находится рукопись нового и злокозненного романа Солженицына. А тут еще это письмо американского издателя, пришедшее через «Н.М.», с предложением издать его. Бог знает, что можно нагородить!

Успокоить-то я его успокоил, но все же он под конец настойчиво повторял: если передумаете, то я прошу вас поступить по своему усмотрению. Т.е. забрать рукопись, сослаться на автора, который якобы сам ее забрал, и что угодно.

— Зачем мне ее забирать, если лучшее для меня место в сейфе Б.Г.², пока я являюсь редактором, — это же мой сейф...

— Ладно, как хотите, вам виднее, но если передумаете.

— Ладно...

В этот день это не было единственным столкновением с таким представлением о происшедшем, т.е. как о перевороте, сулящем торжество темных сил сталинистского порядка (поехал во Внуково за книгами — Валя, насупившаяся, недоверчивая, встревоженная). Вечером пришли Верейские, и Л.М.³ попросту спрашивает: а не будет ли реабилитации товарища Сталина? — Всех я успокаивал, разъяснял, что менее всего сейчас время расположено к эксцессам и т.п. Но ночью вставал, курил, ходил вниз (отчасти из-за грибок, которым отдал дань днем и даже вечером) и к утру раздумался так и так.

Действительно же во всем, что произошло, что исподволь готовилось, накапливалось, обнаруживалось во всей идейной атмосфере последнего времени, Солженицыну принадлежит, м.б., весьма существенная роль. Возьмем хоть один момент «одобрения» «Ив[ана] Д[енисови]ча» Президиумом под очевидным нажимом единоличной

воли Н.С. (Акция эта да будет ему навсегда доброй памятью — на это никто, кроме него, не пошел бы). Вспомнить безнаказанные выступления «Октября», по существу обвинявшие Н.С. в попустительстве «проискам» и т.п.

А если Солженицыну, то и мне — и не в меньшей, а в большей степени, имея в виду не только редактора «Н.М.», но и автора «Т[еркина] на т[ом] св[ете]» и «Далей», речи мои и всякое другое. Ну и пусть. Чему быть, тому быть, но, по крайней мере, не понапрасну, — этого никто у нас не отнимет.

21. X. П[ахра].

Третьего дня за обедом вдруг решили поехать все-таки на прием в честь космонавтов (билет и пр. было прислано утром). Можно, мол, пропустить десять обычных по порядку, но этот стоит посмотреть, как новые хозяева принимают.

Было многолюдно, думаю, что пришли все приглашенные: одни, чтобы показать, что их пригласили, с ними все в порядке, другие, как, напр[имер], я, отчасти, чтобы не навлекать на себя предположений об «опозиционном» по отношению к новому руководству демонстративном поведении, третьи потому, что никогда не пропускают такой возможности, а все вместе с известной долей любопытства: как оно будет без привычных за все эти годы речей и тостов Н.С.

Было, по правде, довольно скучно, речей почти что не было слышно, а когда мы от нашего отдаленного стола прошли вперед, чтобы посмотреть, как там что, то оказалось, что примерно на одну четверть зала президиум отгорожен, и в проходе стоят человеки в черных пиджаках и вежливо преграждают путь. К Н.С., бывало, выстраивалась очередь чокнуться с ним, и он это делал с неутомимой готовностью. Он любил быть хозяином стола, конечно, узурпируя простодушно права остальных членов на провозглашение тостов, на малейшее обнаружение своего присутствия. Он все брал на себя: и торжественную, официальную часть, и порядки провозглашения здравниц, и затейническую часть вплоть до приглашения к танцам.

Здесь все было заморожено, несвободно и как бы неуверенно, хотя внешняя сторона была на самом высоком уровне помпезности.

Из встреч была ценна встреча с А.М. Румянцевым, разговор о статье Карякина¹.

Слухи, легенды, варианты легенд о крушении Н.С. — Его вызывали из Пицунды по важнейшим делам — не поеду, отдыхаю. Вторично — не поеду. Тогда: выезжайте, рассматривается ваше персональное дело, в случае неявки будет рассмотрено заочно. Прилетел, по-хозяйски вошел в зал заседания Президиума: «Ну, что тут у вас?» — и двинулся было к председательскому месту. Тут ему начали «давать». Ощетинился было, но ненадолго, видит — все против него, взял лист бумаги и написал заявление об уходе по болезни.

В аэропорту, говорят, встретил его Семичастный² «со своими людьми»: Поедьте, Никита Сергеевич...

- Зачем он поехал в Москву, раз уж все было ясно?
- А куда же?
- Как — куда? Мало ли. Ленинград, Киев...
- ?

Рассказывают, что с крыши Мосфильма виден двор и сад его дачи на Воробьевых. И видно, как он все время кружит, бегаёт внутри той ограды. Какая бездна поздних беспродуктивных, холостых сожалений, негодования, раскаяния, доводов, отчаяния. Для человека такого типа это смерть, хуже смерти. Обычно низвергнутые или отстраненные правители имеют хоть такую отдушину, как сведение политических счетов с историей — мемуары³. Но это ему не дано. Порассказать он бы мог много любопытного, но всему этому уже другая цена, да и кому это теперь нужно. Конец ужасный. Что ему делать, чем занять время между сном, помимо еды, туалета и т.п. Разве что слушать радио разных толков, заочные комплименты или насмешки разных «обозревателей» или «коллег» из буржуазного мира. Но скоро и радио умолкнет.

Человеку, который был занят, м.б., больше, чем сам Сталин (тот был так далеко и высоко, как царь и бог, заведомо недоступен, а этот всегда на виду, в мнимой близости к жизни и народу), которого все эти десять лет ждала день и ночь, каждый час суток неубывающая гора дел, вопросов, запросов, неотложностей, который носился по стране и по всему свету, непрерывно выступая, обедая, завтракая, беседуя, принимая неисчислимое количество людей (часто без нужды), присутствуя, встречая и провожая, улетающая

и прилетая, уносясь несколько раз в году «на отдых», перенасыщенный теми же делами, приемами, переговорами, перепиской и т.п. и т.д. — этому человеку вдруг стало решительно нечего делать, некуда спешить, нечего ждать. Ничего, кроме обрушивающейся на него при столь внезапном торможении, подкатывающей под самое сердце старости, немощи, бессилия, забвения, м.б., еще при жизни. —

Удивительно все же, как такой многоопытный, прожженный, хитрый и комбинаторный человек от политики оказался столь незрячим в отношении собственного, самим им созданного окружения, не говоря уже о том, что он не заметил всеобщего нараставшего изо дня в день изменения отношения к себе, принимая за чистую монету митинговые аплодисменты «организованных» сборищ на площадях и стадионах, в многотысячных залах и в цинично-подхалимской печати — за выражение любви народной. Как он не заметил нарастания иронического к себе отношения. Ругают, боятся, даже не любят — это еще полбеды в судьбе государственного деятеля такого масштаба, а когда смеются, перестают слушать, зная все наперед — беда непоправимая.

При незаурядном природном уме, даже одаренности, он был глубоко необразованным человеком. Калинин, напр[имер], тоже человек из народа, но куда там!

Странное чувство с первого дня, с первого часа этой новости — чувство какого-то освобождения от безысходности, тупика (хоть худое, да другое) все еще не покидает меня, хотя вчерашний визит к Поликарпову принес ощущение, что ничего другого не произошло, ничто не переломилось, не пошло в другую сторону, — все как было.

Совсем забросил записывать природу, а она трогательна и прекрасна и на этом уклоне чудной, теплой и солнечной в большинстве дней осени. В нынешнем моем состоянии, кроме чтения и даже больше чтения отдаюсь «садово-парковым» заботам, перемещаю на участке то смородину, то не играющие на старом месте кустики черемухи, то тяну линию елочек к проему напротив б[ывшего] участка Слободского, чтобы незаметно для Маши заслонить его живой оградой.

Иван⁴ пишет о состоянии матери, очень верно и прочувствованно, но с очевидной литературной претензией. Нужно съездить, хоть это и тяжело и бесполезно.

Приглашая меня на свое пятидесятилетие (тщеславие!), он пишет, что будет обеждать меня, «как зеницу ока», не даст мне ни водки, ни даже и пива, — хорошо гостеприимство, завлекательная перспектива! Но это по глупости. —

24. X. 64. П[ахра].

Лечусь лопатой от бессонницы и нервов, отдыхаю в лучшем смысле, т.е. делаю то, что доставляет непосредственное и успокоительное удовольствие, устаю, но чувствую, что силенка еще есть и что все это мне еще пользительно. Посадил, между прочим, два дубка в косовье толщиной и думаю за них — как им прижиться с перерубленным генеральным корнем. Вопрос этот окончательно разрешится только к будущему лету — пойдут или не пойдут («пойдет дерево» — Сталин). Так хлопочу об этих дубках я, столько выкорчевавший больших и малых дубов на внуковском участке (правда, я и берег и подчищал остальные), где березка была в редкость — сажал березки, а здесь их то и дело под топорик. — Работают плотники — выправляют крышу сторожки, затем будет заделка по форме вместо ворот «гаража», дверные коробки, тамбур, козырек над входом. Выкопана траншея через сад от столба до дома для прокладки кабеля и проводов (свет, звонок, телефон будущий). Вчера привезли машину куриного навоза — золото! За этими заботами и радостями (которым не могу все же отдаваться так, как когда-то во Внукове), душа отходит и здоровеет. — Не вторая, не третья — последняя молодость.

Перемены наверху постепенно утрачивают остроту новизны, тем более, что они, эти перемены, и не желают четко обозначаться — все как было, только одно имя выпало. Что ж, Н.С., сам ты показал, как это делается, и сам подобрал и расставил тех, кто последовал твоему примеру. Но во что еще это все выльется, как обернется, в частности, для лит[ерату]ры, — бог весть. Чему быть, тому быть.

«Искренность должна взывать в каждом написанном тобой слове: так я сказал, и не могу иначе; в нем должно чувствоваться: я так написал, и готов отдать жизнь за это. И совершенно неважно, будешь ли ты жить, как собака или как князь, ибо таково достоинство правды, что ее бальзамическое благоухание заменит тебе все, чего желают люди, чуждые стремлений к ней».

«Разве есть различие между правдой искусства и человеческой правдой? Его не должно и не может быть, ибо искусство — это великая исповедальня, где мы все возрождаемся верой в смысл нашей жизни, в общий нам всем порядок, жаждой чистоты, воплощенной в совершенную форму, в красоту, которая и есть порядок и правда».

Это из романа Вацлава Ржезача «Рубежи»¹. Терпеть не могу художественного из жизни писателей, размазюкивания, где сюжет создаваемого в романе произведения и все перипетии этого дела — сюжет самого романа и т.п. Чаще всего такие романы у малых народов, например], у наших прибалтийцев.

Но это написано на очень серьезной основе углубленных раздумий об искусстве и, хотя не без беллетристики, но читается. Реальность мысли рядится в условность формы, автор на глазах читателя выдумывает судьбу своего героя, но она захватывает, как реальная судьба.

Еще хотел выписать одно место о «преодолении чистого листа», но видно, забыл подчеркнуть. Это верно, что как бы ни начать, нужно начать, чтобы, по кр[айней] мере, видеть, как не нужно начинать, оттолкнуться от этой беспомощной «реальности» письма, а там и набрести на «слой». Записывать готовое текстуально куда приятнее, но изложить смысл по памяти, от себя куда полезнее и памятнее. —

5.XI. П[ахра].

Как-то этими днями:

Как не спеша садовники орудуют
Над ямой, заготовленной для дерева.
На корни грунт не сваливают грудюю —
Разборчиво по горсточке отмеривают.

Сдобренной смесью ровно припорашивают
За слоем слой — в диету спящей яблони.
И впрок полив, вслед за лопатой граблями
Приствольный круг любовно охорашивают.

Но как могильщики — рывком,
Давай, давай, без передышки —
Едва ударил первый ком,
И вот уже не слышно крышки.

Скорей, в пожарный этот срок —
Песок, гнилушки, битый камень
Кой-как содвинуть в бугорок
И завалить его венками.¹ —

Как дружно заступы шуршат —
Скорей, живей — пожарный навык.
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек.

Как долго не было стихов —
Без них мы просто обходились
(Помимо) опыта веков.
И вот они явились.

Изведай жар такой работы,
Когда подъем смертельно крут,

Когда забудешь, где ты, что ты,
И кто, и как тебя зовут.

И ты почувствуешь, что можешь
В зените и на склоне дней
Быть самого себя моложе
И самого себя зрелей.²

Ах, и рада б я
По-другому жить,
Но вся жизнь моя
По огню бежит.
Не судьбу виню...
По огню, огню —
Прямо в полымя. (Пятки голые).

Утром по лесу. Уже позади не только «роскошь красок» нынешней осени, но и ее убыль, благостная теплынь, поредение леса, запахи лиственной закваски (прели) — лес начисто гол, тих, листва под ногами, припорошенная уже не первым заморозком — шуршит тише — потеряла уже свой шум. Возвращался задами — из ворот бегун Тендряков. (Всяк по-своему с ума сходит).

9. XI. 64.

Кажется, легла зима. 7. XI утро явилось белым, и снег был не мягкий, а сухой, порошистый, хотя земля под ним была еще не затверделая — накануне копал яму для зимней помойки. Не растаял он и вчера, а сегодня совсем зимнее, сухонькое и морозное утро — алый поздний восход.

Пожалуй, конец всяческим отвлечениям «по хозяйству» — только завершить вчерашнее сооружение для угля. И надо, наконец, писать и есть что.

Предложение «Правды» о 50-й годовщине Октября.

Статья для № 1 журнала — к 40-летию в плане освещения сегодняшнего литературного состояния. Еще никаких слов не сказано, но и старые уже неповторимы (не могут быть повторяемы). А между тем что-то проясняется, вышелушивается. Недавняя статья в «Правде» о теории незаметным образом дает некоторые опоры.¹ «Реализм — конкретнейшая черта политики КПСС. Не комментировать готовые решения, а готовить рекомендации для практических решений. Видеть действительность такой, какая она есть, со всеми (со всеми ли?) плюсами и минусами явлений, фактов».

Доклад Брежнева, маленький абзац о приусадебных участках — м.б., самый главный пункт в докладе.² —

11. XI. Nulla dies sine linea* — (цит[ирует]) Сартр в конце своей работы «Слова», «Н.М.». № 11.¹

Конечно, я знаю, что, следуя этому завету, Ю. Олеша, старый и разбитый эгоизмом и алкоголем, пытался обмануть себя и возможных читателей: авось что-нибудь получится из ежедневного выжимания из себя, как из пересохшего тюбика, по страничке, — вдруг явится нечто необычайное и значительное. Пишущий всегда на грани отчаяния и самообольщения. — Но ближайшим образом, для выхода из неписания, я решил было вспоминать и округлять ежедневно какие-то строчки — авось хоть еще цикл «стихов из записной книжки» наскребется.

Вчера:

Листва отпылала, опала, и запахом поздним
Сады и леса наполняла здоровым, сухим,
спиртуозным.
Последними пали зеленые листья сирени,
И все становилось обширней, светлей и смиренней.
И долго оно, это редкое время, держалось. —

* Ни дня без черточки (штриха) (лат.), то есть ни одного дня без занятий, — слова Плиния Старшего о греческом художнике Аппелесе.

Такую бы старость — чтоб так же свободно
дышалось,
Чтоб малые только ее навешали недуги
И шла бы она под уклон безо всякой натуги.
Под те же снега, что укроют и голую
осень
И буйно-зеленую,
Вдаль устремленную озимь.²

Полувековая юбилейная дата Октябрьской революции — это вышка, с которой уже и сейчас наш сектор обзора необычайно расширяется. В повседневных заботах нашего пути мы склонны видеть этот путь только по частям, на протяжении лишь нынешнего участка, преодолеваемого нами, и склонны именно этот участок считать и называть значительнейшим в нашей истории, забывая, что такими же историческими были и все предыдущие участки, перевалы и рубежи.

Пятьдесят лет в жизни отдельного человека срок вершинный, возраст полной зрелости, за которой уже следует нисхождение. Но в жизни общества, страны, объединяющей многие народы различной исторической судьбы и даже географической среды — этот возраст вмещается в немногих делениях многовековой исторической меры. И вместе с тем он на этот раз необычайно ёмок, и вряд ли на протяжении тысячелетий найдется равный ему отрезок времени, который вмещал бы столько перемен, потрясений и событий такого значения. Вряд ли в какое другое полустолетие переступало человечество столько порогов и рубежей своего развития, приходящихся на долю одного-двух поколений.

Это понятно (что мы нынешний участок пути считаем всегда самым великим и историческим), но каждая страница нашей истории — непреходящая ценность, и только в целостном постижении этих страниц мы можем найти ответы на вопросы, волнующие нас сегодня, и угадать те, что встанут перед нами завтра.

Художественной летописью Советской эпохи является в первую очередь наша литература в целом, оставленная уже ушедшими мастерами и создаваемая живущими ее мастерами всех поколений.

Она имеет немало подлинных достижений поэтической мысли, произведений редкой силы воздействия во всей мировой литературе на своих современников, редкостной правдивости свидетельства о времени, не утрачивающего своей достоверности...*

Но она по справедливости так часто вызывает и недовольство взыскательного читателя. Это недовольство («не то, не так, не все») в последние годы все чаще выражается в решительных попытках самих героев нашего времени рассказать о нем и о себе. Горбатов и др.³

12. XI.

Листва отпылала,
опала и запахом поздним
С земли отдавало —
горькавым, грибным, спиртуозным.
С тем духом мешался
машинный дымок запоздалый.
Беднее в полях,
но светлей и обширнее стало.
Как пот остывала
горячего лета усталость...
И думалось просто:
такую бы добрую старость.
Чтоб вовсе она
не казалась досрочной, случайной
И все завершало
как осень свой год урожайный
Чтоб малые только ее навешали недуги,

* Зачеркнуто («Тихий Дон», «Чапаев», «Разгром», Маяковский, Есенин).

И шла бы она
под уклон безо всякой натуги.
Под те же снега,
что укроют и голую осень,
Но с ней и зеленую,
вдаль устремленную озимь

13. XI.

Потихоньку налаживаю свою домашнюю «Барвиху», т.е. научную жизнь — трезвость, регулярность, прогулки и т.п. без элементов насилия, присущих Барвихе той, т.е. без необходимости дачи показаний относительно «стула» и т.п. Не было бы полной уверенности, что «Барвиха» эта наладится и закрепится, если бы не было обстоятельства, определяющего известную безвыходность: дача, печка (котел), необходимость поддержания «вечного огня» в ней, необходимость, наконец, жить на даче, потреблять ее, раз уж сделано дело. —

Преодолевая стыд, пытаюсь лепить стишочки «зап[исной] книжки». Нужно по край[айней] мере дать себе испробоваться до полной ясности. Это занятие, которое может быть лишь дополнительным и урывочным для человека, который должен сейчас писать «программу» статью к 40-летию ж[урна]ла. И, хотя неотложность этой серьезной работы заставляет отдавать ей предпочтение, знаю про себя, что она все же легче «стишочков». —

Написал Косте по случаю его ухода на пенсию (40 лет работы). Это в некоем пересчете, но и так — 40.

17. XI. 64. 3 ч. утра.

Вчера вернулся с пленума ЦК, закончившегося к раннему обеду в Свердловском зале, исчерпав повестку, обнимающую важнейшие вопросы внутренней и внешней политической жизни¹. В этом одном явно нечто новое, непривычное, но не в одной этой деловой краткости вместо былого многоглаголанья. Впервые большинство выступавших говорили без «текста», что отметил даже один из ораторов, кажется, Ахундов², признавшись, что речь у него была заготовлена, но он решил обойтись без нее. И еще: обстановка куда большей свободы, безбоязненности, — попросту отсутствие одного, который всегда мог прервать, сбить, скovyрнуть и т.п. Отсутствие одного, но уверенность и деловое спокойствие остальных, обходящихся без него. Пусть себе излишняя осторожность и опасливость — что в печать, что не в печать и т.п., пусть себе произношение Брежневым слов «начать» и «принять» с ударением на первом слоге, — дело идет, и слава богу. Приятна была также умеренность и благопристойность в отношении одного, названного, сколько нужно, по имени, но с неизменным добавлением «товариш», сдержанность в оценке собственных разумных действий, — не были, напр[имер], даже упомянуты приусадебные участки. О разделении обкомов и др[угих] организаций сказано было, что в свое время трудно было выступить против идеи приближения руководства к производству и даже сказано было, что все, мол, знали, что это ненадолго. (В скобках: жаль, что я только «на лестнице» придумал ответ Кованову П.В. на его критику «Забот и радостей Тимофея Лунина»³. Нужно было возразить: а вы, мол, когда «стукнули кулаком» против тяжелой воли «одного» (первого и второго), которая была над вами (всеми нами) как воля «Дуба» над Тим[офеем] Луниным? Лунин тоже соображал, что, авось, это «ненадолго», и еще менее вас (нас) имел возможности «стукнуть». А я лишь сказал, что Лунин — руководитель, не порвавший пуповину, связующую его с народной, колхозной массой, но и несущий всю меру ответственности не только перед этой «своей» массой, в чем Кованов как раз усмотрел противопоставление народного разума «руководству», хотя тут же признался, что в пору, когда сам был пред[седателем] колхоза, наезжавших руководителей старался уболагодворить, обговорить и выпроводить с богом, чтобы потом заняться делом.)

Очень понравился Мазуров⁴. Спокойная, рассудительная речь (и даже грамотная), как будто не в Кремле, а у себя в Минске выступает (при «одном» все они как-то утрачивали свою республиканскую или областную осанку и интонации первых секретарей), сказал, между прочим, что принижение советских органов, исполкомов, началось не в период «разделения», а гораздо раньше, и что, хотя этот вопрос сейчас, на данном пленуме не стоит и не решается, нужно думать, как быть с задачей более

решительной демократизации выборов в советы, можно ли и в дальнейшем предлагать на голосование одного кандидата.⁵

Аджубей⁶ — дерьмо, как это было известно и раньше, жаловался на свою нелегкую жизнь «в зятях», говорил, что он не злоупотреблял своими семейными связями, что жена — судьба, а он женат 15 лет, у него трое детей и т.п. и т.д. Сатюков был как маслом облитый, ликовал: меня, мол, снять-то сняли, но не вывели.

21. XI.

За моим широченным окном идет не очень густой, как бы перистый снег и облепляет свежие доски «солярия» — балкона в ширину всей комнаты. Стекла потеют. Над перильцами балкона вторая, верхняя часть ельника. Тихо. Картина, чаровавшая меня с детства. На душе относительно спокойно и ясно. Вот-вот должны по всему прийти какие-то ясные, добрые мысли, но как невдруг и как нелегко высвобождается правда-истина из-под «наслоений» многолетнего вранья, лжеучений, повторенных и перекрученных множество раз, ставших привычными и по инерции вылезавшими на первый план. —

Мы слишком много думаем и говорим об этих людях, думаем и предполагаем за них, несем вместе с ними всю эту ношу, хотя, м.б., они сами не столько и думают и не так ощущают на себе эту ношу ответственности. Слишком много в головах ежедневной политической неразберихи, очень мало остается для того, что называется поэтическим мышлением. Может быть, тут еще и возраст. Нужно, неотложно нужно, деваться некуда — писать статью для первого номера ж[урна]ла. А так бы славно под этот тихий снежок вызывать свободные, необязательные строчки «зап[исной] книжки».

Вчерашнее посещение концерта Шостаковича вызвало во мне только недоумение и какое-то не очень огорчительное сознание, что я тупица и ничего не понимаю. Со мной ничего не произошло, кроме разве что впечатления от истовой публики, — хоть и был там некий процент пришедших просто из тщеславия, но все, все же.

Примечания

28. V.

1. Кремлев-Свен Илья Львович — писатель.

30. V.

1. Имеются в виду депутатские обязанности.

2. Вместе с А.И. Кондратовичем и В.Я. Лакшиным А.Т. навещал генерала А.В. Горбатова, чьи воспоминания «Годы и войны» печатались в «Новом мире» (1964, №№ 3–5).

3. Д.Ф. Ойстрах — скрипач, народный артист СССР.

4. Борис Германович Закс — ответственный секретарь редакции «Нового мира».

5. Д.Т. Шепилов. В партийных документах перечень участников антипартийной группы (Молотов, Маленков, Каганович и др.) заканчивался формулировкой: «и примкнувший к ним Шепилов».

6. Майский номер «Нового мира».

7. Д.Д. Шостакович писал музыку гимна (по тексту А.Т.), собирался писать музыку к «Теркину на том свете».

8. Пленум правления ССП, посвященный 150-летию Т.Г. Шевченко.

9. С.П. Щипачев — поэт.

21. VI.

1. Речь идет о цензурных претензиях к публикации: «Анна Ахматова. Из трагедии «Пролог, или Сон во сне». С предисловием А. Сияевского — «Раскованный голос. К 75-летию А. Ахматовой» («Новый мир», 1964, № 6).

22. VI.

1. Первоначальный набросок зачина стихотворения «Погубленных березок вялый лист...» (1966).

10.VII.

1. Розалия Ивановна Вилтцин — многолетний секретарь и экономка С.Я. Маршака, Валентина Семеновна Гриненко — редактор Гослитиздата.

11.VII.

1. Иммануэль Самуилович Маршак — сын писателя.
2. Т.е. сначала имя переводчика, а затем автора.

22.VII.

1. Твардовский А.Т. Зрелость таланта. // «Правда», 1964, 16 августа. (Соч. Т. 5. С. 50. Дата публикации указана ошибочно). Статья А.Т. являлась рецензией на кн.: Кулешов А. «Новая книга». М., 1964. Проходящий сквозь стихи Кулешова мотив белорусской речки Беседь созвучен теме «малой родины» в творчестве А.Т. 28 августа А. Кулешов писал А.Т., благодаря за статью: «Я как-то снова почувствовал себя человеком, чего-то стоящим, а это, поверь, очень важно для меня сейчас» («Неман», 1980, № 9. С. 138).

2. Имеется в виду планировавшееся Дж. Вигорелли, генеральным секретарем Европейского сообщества писателей, но не осуществленное издание произведений А.Т. в Италии.

3. Опубликована лишь статья о Бунине («Новый мир», 1965, № 7), ставшая вступительной к собранию сочинений писателя в 9-ти томах (М., 1965). Статья о повести Солженицына осталась в черновых набросках на страницах «Рабочих тетрадей» 1964 г.

4. Константин Трифонович Твардовский, старший брат А.Т.

5. Из № 7 «Нового мира» сняты цензурой мемуары И.Г. Эренбурга (6-я книга).

6. Поездка не состоялась.

7. Строки возникли под воздействием смерти С.Я. Маршака.

10.VIII.

1. Зачин стихотворения, опубликованного в 1965 г.

2. Роман А.И. Солженицына «В круге первом», подготавливаемый «Новым миром» к публикации.

3. Идеологический отдел ЦК КПСС не давал санкции на публикацию-шестой книги мемуаров И.Г. Эренбурга, требуя многочисленных купюр. На встрече с редколлегией «Нового мира» (19.VIII) Эренбург, как и предвидел А.Т., отказался смягчить свою критику политики партии в области литературы и искусства и антисемитизма. До конца 1964 г. редакция продолжала борьбу за 6-ю книгу воспоминаний писателя, которая увидела свет в 1965 г. (№№ 1-4).

17.VIII.

1. Чарльз П. Сноу — английский общественный и государственный деятель, ученый и писатель. А.Т. познакомился с ним в 1960 г. во время поездки в Англию, переписывался и неоднократно встречался с ним, когда Ч. Сноу и его супруга, писательница Памелла Хенсфорд Джонсон, приезжали в СССР.

2. Де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.-Л., 1964; Записки Джона Теннера. М., 1961. См. об этой книге записи янв. 1962 г. и примеч. к ним; Энгельгардт Н.Н. Из деревни. 12 писем. (1872-1887). М., 1960; Ксенофонт. Анабасис. М.-Л., 1951; Житие протопопы Аввакума, им самим написанное. Academia. М., 1931. Эта книга была одним из первых приобретений А.Т. для своей библиотеки после переезда в Москву. Мемуарный и эпистолярный жанры высоко ценились А.Т., что сказывалось в его редакционной практике.

3. Рукouй М.И. Твардовской вписан перечень книг, которые мог иметь в виду А.Т.: «Герцен — «Былое и думы», Сервантес — «Дон Кихот», «Слово о полку Игореве», Достоевский — «Записки из Мертвого дома», Тургенев — «Записки охотника», Гончаров — «Фрегат «Паллада», Анненков — «Литературные воспоминания», Эд. Гонкур — «Дневник», Томас Манн (многое)».

21.VIII.

1. Приезжавший 19.VIII в редакцию И.Г. Эренбург познакомил А.Т. и его соредкторов с записью разговора своего секретаря с В.С. Лебедевым, настроенным резко отрицательно к его письму на имя Хрущева, в котором он жаловался на препятствия опубликованию своих воспоминаний. Лебедев заявил, что дело не в цензуре: редак-

ция «Нового мира» якобы также относится к ним отрицательно. Эренбург не хотел отзывать свое письмо, как советовал Лебедев. Он напомнил о письме группы деятелей культуры партийному руководству с призывом распространить принцип мирного сосуществования и на область идеологии. После того как оно вызвало гнев властей, подписавшие стали оправдываться, А.А. Сурков отозвал свою подпись, но обличение в печати сторонников «примиренчества», в том числе и Эренбурга, не прекратилось.

10. IX.

1. Карякин Ю.Ф. Эпизод из современной борьбы идей. // «Проблемы мира и социализма», 1964, № 9. Статья перепечатана в «Новом мире» (1964, № 9). В ней показано, что полемика вокруг повести «Один день...» стала «звеном идеологической борьбы на международной арене». Цитируются отзывы французской и итальянской коммунистической печати в поддержку Солженицына и резко отрицательные отклики на его повесть китайской компартии.

2. В 1974 г. в Англии вышли избранные произведения поэзии и прозы А.Т. с предисловием Ч. Сноу. Признаваясь в своей привязанности к А.Т., Сноу характеризует его как «честного и глубокого человека». «Он стоял как скала, при необыкновенной утонченности своей эмоциональной натуры, обладая простым и сильным умом», «Он был — и это самое глубокое чувство — страстным патриотом России, с такой привязанностью к русской земле, русскому народу, русскому языку, какую на Западе вряд ли кто смог бы понять» (Чарльз Сноу и Александр Твардовский. Публикация Р. Романовой. // «Вопросы литературы». Ноябрь — декабрь 1990).

3. Предполагавшаяся поездка не состоялась.

4. На 150-летие М.Ю. Лермонтова «Новый мир» (1964, № 10) откликнулся статьями И. Виноградова «Философский роман Лермонтова», А. Кулешова (переводившего поэта на белорусский язык) «Встречи с Лермонтовым» и П. Антокольского «Из пламя и света рожденное слово». В.Я. Лакшин зафиксировал в дневнике наблюдения А.Т. над лермонтовскими текстами на подступах к статье о нем (в частности, образ неба у Лермонтова и у Толстого).

16. X.

1. А.Т. цитирует Информационное сообщение о пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 14 октября («Правда», 1964, 16 октября).

2. Наталья Львовна Майкапар — секретарь редакции, временами замещавшая С.Х. Минц.

3. Речь идет о продолжении борьбы за шестую книгу мемуаров И.Г. Эренбурга. См. записи от 10 и 21 августа и примеч. к ним.

4. Издание в Италии антологии «Нового мира» не было осуществлено.

18. X.

1. М.М. Кузнецов — сотрудник ИМЛИ, ранее работавший в «Правде».

2. Первый секретарь Смоленского обкома КПСС.

19. X.

1. Передавая этот эпизод в книге «Бодался теленок с дубом» (М., 1996. С. 107), А.И. Солженицын не упоминает ни о своем тогдашнем нежелании забирать рукопись, ни о предложении редактору «Нового мира» взять на себя хранение романа, подрывавшего, по убеждению автора, основы режима. Запись А.Т. восполняет этот пробел.

2. Б.Г. — Закс.

3. Людмила Марковна — жена художника Ореста Георгиевича Верейского, друга А.Т. с военных лет, иллюстратора «Василия Теркина» и других его произведений.

21. X.

1. А.М. Румянцев — главный редактор журнала «Проблемы мира и социализма», где работал и Ю.Ф. Карякин. (См. запись 10. IX. и примеч. к ней).

2. В.Е. Семичастный — председатель КГБ.

3. Н.С. Хрущев, однако, оставил свои воспоминания (надиктованные), частично изданные его сыном Сергеем (Н. Хрущев. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997). Есть в них и строки об А.Т. «Его стихотворения были на устах у миллионов людей — и солдат, сражавшихся с гитлеровскими ордами, и тружеников военного тыла. Его поэма о Василии Теркине — бессмертное произведение... А ныне завер-

шается творческий путь Александра Трифоновича Твардовского без почета. Но ведь дело не в том, что он сейчас кому-то неугоден. Не признавать великой роли его творчества нельзя. Все равно его признал народ» (с. 501–502).

4. И.Т. Твардовский — брат А.Т.

24. X.

1. Ржезач В. Рубеж. Пер. с чешского. М., 1962.

5. XI.

1. Первоначальный набросок стихотворения, вошедшего в цикл «Памяти матери» (1965).

2. Набросок стихотворения, опубликованного в 1965 г.

9. XI.

1. Редакционная статья «Революционная теория освещает нам путь» («Правда», 5 ноября) утверждала необходимость для партии правдивой и точной информации — без приукрашивания и умолчаний.

2. Доклад Л. И. Брежнева, посвященный 47-й годовщине Октябрьской революции, упоминал о недопустимости неоправданных ограничений приусадебных хозяйств, роль которых нельзя недооценивать («Правда», 8 ноября).

11. XI.

1. Принцип «Ни дня без строчки (точнее черточки, штриха)», провозглашенный Ж.-П. Сартром, положенный в основу одноименной дневниково-автобиографической книги Ю. Олеши (М., 1961).

2. Первоначальный набросок стихотворения, опубликованного в 1966 г.

3. Черновые наброски статьи к 40-летию «Нового мира», в которой А.Т. думал поставить злободневные проблемы литературы.

17. XI.

1. Пленум ЦК КПСС по докладу Н.В. Подгорного принял постановление «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов» (см. Стенографический отчет Пленума ЦК КПСС 16 ноября 1964 г. М., 1964).

2. В.Ю. Ахундов — первый секретарь ЦК КП Азербайджана.

3. Речь идет об очерке Т. Борисова «Заботы и радости Тимофея Лунина. Страницы из жизни одного колхоза». («Новый мир», 1964, № 10). П.В. Кованов — председатель Комитета народного контроля СССР.

4. К.Т. Мазуров — первый секретарь ЦК КП Белоруссии.

5. Выступления на пленуме не публиковались.

6. А.И. Аджубей был выведен из состава ЦК.

Публикация В.А. и О.А. Твардовских.

Подготовка текста Ю.Г. Буртина и О.А. Твардовской.

Примечания Ю.Г. Буртина и В.А. Твардовской.

(Продолжение следует)

Джон Робертс

Сцены театральной жизни

Когда в далеком 1976 году три молодых литературоведа-англиста, ученики ныне покойной В.В. Ивашевой, профессора МГУ, — Лена Кешокова, Володя Скороденко и я — приехали в Альбион «по линии», как тогда говорили, Союза писателей СССР в качестве гостей Ассоциации «Великобритания — СССР», в лондонском аэропорту Хитроу нас, разумеется, встречали — директор Ассоциации Джон Робертс и тогдашний атташе по культуре советского посольства Андрей Парастаев. Тут же, в зале прилетов, мы стали свидетелями первой пикировки между встречавшими нас. Спор зашел о том, куда нас везти в первую очередь. Робертс настаивал — в Ассоциацию, для встречи с ее президентом. Парастаев настаивал — в посольство, для встречи с послом. «Они наши гости», — не без резона указывал директор. «Они советские граждане», — возражал атташе, в чем тоже был свой резон. В конце концов возобладал аргумент, который и в те высокоидейные времена был совершенно железным. «Их пребывание в Англии оплачиваем мы», — поставил точку г-н Робертс. И все поехали в Ассоциацию.

Мы, конечно, многого тогда не знали, да и вправду были молоды, но не настолько наивны, чтобы не понять: у нас на глазах только что произошла легкая, а бы даже сказала — товарищеская разминка двух мастеров подковерной борьбы. Образно говоря, из мутных вод конфронтации между коммунизмом и капитализмом выглянул крохотный кончик айсберга.

Давно это было. С тех пор Джон и я часто встречались, особенно со второй половины восьмидесятых, и даже подружились домами. Он не раз рассказывал мне удивительные истории о том, чего стоило человеку доброй воли, находившемуся на государственной службе, всеми правдами и неправдами устраивать личные встречи и налаживать связи между учеными, писателями, людьми искусства и культуры из двух «лагерей», пребывавших в состоянии то вялотекущей ссоры, то худого мира. Стоило, нужно сказать, немало, об этом, собственно, и написана его книга.

Добавлю: как и водится в мире со дня его сотворения, деятельность Джона не оценили по достоинству у него на родине. Более того, она вызывала и в консервативных, и в интеллектуально-либеральных кругах, равно не приемлющих советского тоталитарного устройства и вытекающей из него политики, раздражение, если не подозрения: ведь он же являлся с Советами. Несколько раз он не без горечи пишет об этом. «Своим среди чужих» он не стал, да и не мог стать в силу глубокого своего патриотизма и полного неприятия коммунистической теории и практики. Советам он был что кость в горле. А вот называть себя «чужим среди своих» у него, к сожалению, имелись основания.

Впрочем, высшая для него награда — то, что он был «своим среди своих» — тех замечательных людей, которых он разглядел, извлек из-за железного занавеса и представил на Западе *urbī et orbī*. Все они в подавляющем большинстве либо сыграли, как О. Ефремов, А. Тарковский или Б. Окуджава, либо, слава Богу, продолжают играть, как М. Ростропович, Г. Рождественский, Ю. Любимов, О. Табаков или М. Роцин, важную роль в отечественной и мировой культуре.

Но вернусь к рассказам Джона. Истории бывали порой печальными, ибо «идеологическая борьба» тосклива по определению и ничего веселого в ней быть не может. Порой жутковато-количными, каким и положено быть абсурду. Порой смешными, а то и озорными. И неизменно увлекательными, как всякое мастерское повествование о закулисных интригах. Мне всегда было жаль, что они существу-

ют лишь в устном виде. Поэтому я очень обрадовалась, когда Джон, вняв настояниям своих друзей в Британии и России, решил их записать, надлежащим образом выстроить и отдать в печать.

Книга появилась в Англии, скоро выйдет и на русском языке в издательстве РОССПЭН. Ее название как нельзя лучше отвечает тому, о чем в ней рассказано: «Speak Clearly into the Chandelier» — «Говорите прямо в канделябр» (имеется в виду, что в канделябре запрятан «жучок»). Пока переводчик ломает голову над тем, как точнее изложить на русском этот дельный совет, я с удовольствием представляю читателям «Знамени» одну главу из документального культурно-политического детектива Джона Робертса — страничку истории «культурной политики в отношениях между Британией и Россией. 1973–2000» (подзаголовок книги).

Екатерина Генцева,

В апреле 1982 года состоялся долго откладывавшийся визит в Англию трех видных деятелей российского театрального мира. Делегацию возглавлял главный режиссер МХАТа Олег Ефремов, наследник «по прямой» самого Станиславского. Таким образом, эта группа по своему уровню соответствовала группе Нунна, побывавшей в Москве почти за пять лет до того. Вместе с Ефремовым приехали ведущая актриса МХАТа Татьяна Лаврова, а также историк театра и критик Алексей Бартошевич. Их пребывание у нас позволило Ассоциации* значительно расширить сеть своих театральных контактов как в Англии, так и в России.

Ефремов и Лаврова были рады сделать передышку: они играли тогда в трудной новой пьесе Александра Гельмана «Наедине со всеми». Под названием «Человек со связями» эта пьеса имела потом и международный успех. Единственными ее персонажами являются некий инженер и его жена. Стремясь во что бы то ни стало выполнить план, Андрей посылает на стройку бригаду рабочих, пренебрегая правилами техники безопасности. Его сын, ученик в этой бригаде, теряет обе руки. Наташа обвиняет мужа с его честолюбием и, в завуалированном виде, всю систему в трагедии, случившейся с их сыном.

За десять крайне напряженных дней наши гости посмотрели: один фильм, восемь пьес, репетиции «Дон Кихота» Пола Скофилда в Национальном театре и «Генриха IV» Тревора Нунна (премьерную постановку Королевской шекспировской труппы) в новом «Барбикане». Они также съездили на один день в Оксфорд и к могиле Уинстона Черчилля в соседнем Блейдоне, на воскресный пикник с группой английских театралов, встретились с сэром Питером Холлом, Питером Джеймсом и Александром Шуваловым. Столь насыщенная программа и большое количество важных встреч стали результатом разделяемого обеими сторонами ощущения, что они получили возможность, которая выпадает только раз, и грех ею не воспользоваться.

Среди участников пикника в Хэмптон-Корте был Джеффри Уикем, выступивший потом в «Переводчиках» Рональда Харвуда вместе с Мэгги Смит и Эдвардом Фоксом — в роли персонажа, говорящего исключительно на русском языке. Еще была Кэрлайн Блейкстон, которая с тех пор часто появлялась в нашем расширяющемся кругу знакомых из русского театрального мира. В 1991 году ей довелось сыграть роль гувернантки Шарлотты Ивановны в «Вишневом саду». Это происходило в Таганроге, на родине Чехова, на той самой сцене, по которой, когда писатель был еще ребенком, ступала Сара Бернар.

Вскоре после премьеры спектакль был показан в Москве, а в следующем году Блейкстон выступила в той же роли в ефремовской постановке «Вишневое сада» во МХАТе. Впечатления первой английской актрисы, игравшей Чехова в России на русском языке, позднее легли в основу ее спектакля одного актера «Черный хлеб с соевым огурцом», широко шедшего в Англии и за ее пределами и завоевавшего приз «Золотой глобус» в Москве!

Одной из восьми пьес, которые посмотрели наши гости, была блестящая комедия Майкла Фрейна «Шум за сценой». Ефремова она так пленила, что впоследствии он

* Ассоциация «Великобритания — СССР», позднее Центр «Британия — Россия». В 1973–1993 годах автор занимал там должность генерального директора (прим. ред.).

уговорил одного из ведущих московских драматургов переработать ее для русской сцены. Прошли годы, напряженность в отношениях между нашими странами ослабла, и Ефремов еще не раз посещал Англию, либо со своим театром, либо для участия в работе различных семинаров и мастерских. С особенным удовольствием я познакомился с Дамой Пегги Эшкрофт* на кембриджской конференции, посвященной Чехову на британской сцене. В мой следующий приезд в Москву он очень настаивал, чтобы я посмотрел его в роли Генделя во МХАТе. В конце концов я увидел этот спектакль; как раз тогда в результате ограниченных экономических реформ, проведенных Горбачевым, в России стало появляться все больше бизнесменов с Запада.

В пьесе немецкого драматурга Пауля Барца «Возможная встреча» действуют, помимо лакея, всего два персонажа. Как известно, Гендель побывал в Лейпциге в тот период, когда И.-С. Бах работал в церкви Св. Фомы. В пьесе представлен воображаемый ужин на квартире у Генделя. Гендель — холостяк, уже знаменитый, преуспевающий и богатый, явившийся в Лейпциг, чтобы получить очередную золотую медаль, и Бах — непризнанный гений, прозябающий на скромной должности, бьющийся, чтобы прокормить большую семью, противопоставлены друг другу. В одном месте Бах, которого играл несравненный Иннокентий Смоктуновский, с тоской спрашивает Генделя, как там, в Лондоне. Ефремов вставал из-за стола, уставленного блюдами из морских продуктов и прочей северной экзотикой, которую привез с собой Гендель, выходил на авансцену и, явно обращаясь к залу, произносил: «Совсем как здесь. Всюду полно немцев». Эта двусмысленность, не предусмотренная автором, неизменно вызывала в зале вспышку веселья.

* * *

К тому времени, когда в июле 1983 года приехали Любимов и Боровский, чтобы начать работу над «Преступлением и наказанием» в хаммерсмитском театре «Лирик»**, Андропов сменил Брежнева на посту Генерального секретаря. Любимов был зол на московских надзирателей за культурой, запретивших после закрытых просмотров некоторые из его новых постановок в Театре на Таганке, в том числе «Бориса Годунова» и спектакль памяти Высоцкого. Он попросил меня помочь устроить ему эксклюзивное интервью какой-нибудь английской газете, в котором намеревался разругать советскую культурную политику, в частности по отношению к театру. Ни разу еще советский деятель культуры, особенно такого масштаба, не предпринимал подобных атак в западной прессе.

Это был смелый шаг, но у Любимова имелись основания считать, что Андропов не предпримет против него каких-то особых мер, а скорее всего, воспользуется неизбежным международным скандалом, чтобы сместить реакционного министра культуры Петра Демичева. В числе множества занимательных историй из своей жизни Любимов рассказывал о том, как Андропов, еще будучи главой КГБ, пообещал ему свое покровительство в благодарность за то, что он отговорил сына и дочь Андропова от поступления на сцену и посоветовал им сначала получить образование. Кроме того, в тогдашней прессе, например в «Санди таймс» от 24 апреля, то и дело появлялись заметки о новой энергичной кампании Андропова, которая была призвана очистить систему и навести шорох в Кремле и среди высшей партийной иерархии.

Брайан Эплгярд из «Таймс» принял наше предложение. Интервью с Любимовым, во время которого я выступал в роли переводчика, было проведено задолго до премьеры. Вопреки естественному инстинкту журналиста, Эплгярд положился на наши заверения, что мы не допустим утечки информации в другие газеты, и придержал свою «сенсацию» на несколько недель. В противном случае мы имели все основания опасаться, что Любимова заставят вернуться в Москву, прежде чем он закончит работу над постановкой. Помимо всего прочего, это принесло бы и серьезные финансовые убытки.

В середине августа мы с Элизабет на одну ночь свозили Любимова с женой и сыном в Олдборо, на тайную встречу с Ростроповичем². Мы хотели посоветоваться с ним насчет затруднительного положения, в котором оказался Любимов. Срок дей-

* Замечательная британская актриса, награжденная орденом Британской империи, дающим право на титул Дамы (прим. ред.).

** В одной из предшествующих глав книги автор описывает поистине макиавеллиевскую интригу, которую вынужден был плести, чтобы осуществить этот проект (прим. ред.).

ствия его советской выездной визы в конце концов закончится. Я сообщил, что уже получил от сочувствовавшего нам врача справку, будто бы Юрий не в состоянии путешествовать. Вишневецкая, сидевшая с нами за кухонным столом, расхохоталась, откинувшись на стуле: она вспомнила, сколько раз их со Славой объявляли «большими», вынуждая отказываться от заграничных ангажементов, — либо в качестве наказания, либо в знак недовольства Советов той или иной страной.

В субботу вечером состоялся концерт. Для сценического оформления были использованы проекции слайдов с портретов работы Габриеля Гликмана. В антракте подруга Максима Шостаковича сказала мне, что хорошо бы устроить выставку Гликмана в Лондоне. После концерта все мы вереницей поехали к дому Ростроповича. Потом Слава, Юрий и я вернулись в деревню, чтобы зарегистрироваться в гостинице и получить ключи. Слава записал Любимовых как мистера и миссис Андроповых, проживающих в Кремле, сказав при этом: «Самое замечательное здесь, что никто никого не боится».

Дальнейшее в моем дневнике описано так: «Мы отправляемся назад по главной улице, вдруг Слава резко тормозит возле лавки, торгующей рыбой с жареным картофелем, явно уже закрытой. Из машины мы наблюдаем, как он стучит в окно и ему наконец вручают большой пакет. «У меня при себе не было ни копейки — это стоит 20 фунтов, но они мне верят».

1 сентября 1983 года Любимов подписал документ, любезно и безвозмездно составленный для нас юристами из конторы, располагавшейся на верхнем этаже в том же здании, что и наш офис. Ссылаясь на статью в «Таймс», которая вот-вот должна была выйти, он просил защиты Британского правительства, если Советы предпримут какие-либо действия против него или его семьи.

Статья Эплгарда появилась 5 сентября, в первый день премьеры. Оставшиеся билеты были немедленно раскуплены, и началась международная шумиха. Один советский дипломат публично бросил Любимову в фойе: «Преступление уже налицо. Наказание последует». 13 сентября на первой странице «Дейли мейл» красовался заголовок: «В Лондоне боятся похитителей из КГБ: Особый отдел предоставил Любимову вооруженную охрану». Как-то вечером после представления должна была быть актерская вечеринка, а Любимов и его жена боялись оставить трехлетнего Петю с приходящей няней в снимаемой ими квартире. И вот впервые в жизни малыш провел ночь вдали от родителей — у нас в Челси, для пушей безопасности — в нашей кровати, между мной и Элизабет.

Андропов, по слухам, заболел. Как выяснилось позже, здоровье его ухудшилось до такой степени, что он уже никак не мог отреагировать на публичный протест Любимова. По мере того как скандал раскручивался, наши «перестраховщики» начали выражать желание, чтобы Ассоциация дистанцировалась от Любимова, но тут на карту был поставлен наш растущий авторитет в глазах тех, с кем больше всего стоило подерживать контакты в России. Любимов остался на Западе, и мне выпало счастье появиться вместе с ним на сцене в роли переводчика в январе 1984 года, на транслировавшейся по телевидению церемонии вручения премий лондонской «Ивнинг стандарт» в области драматического искусства. Он был награжден как лучший режиссер 1983 года. Джон Мортимер, представляя его, провел в своей речи параллели между Диккенсом и Достоевским.

На следующий день Ассоциация устроила вечер в честь Любимова. Масько* отвел его в уголок и стал уговаривать вернуться в Москву, уверяя, что ему ничто не угрожает. В интервью Радио «Свобода» Любимов недвусмысленно дал понять, что опасается: вдруг на родине на него «уже наточены ножи». Когда его английскую визу продлили, он сказал мне, что будет какое-то время торговаться и играть в кошки-мышки в надежде когда-нибудь вернуться в Москву на собственных условиях. Прошло более девяти лет, прежде чем это стало возможным и мы с Юрием вновь встретились в его Театре на Таганке.

* * *

В 1984 году Ассоциация организовала визит, имевший большое потенциальное значение: в Россию должны были ехать Фрэнк Данлоп, руководитель Эдинбургского

* В то время атташе по культуре советского посольства в Лондоне (прим. ред.).

международного фестиваля, и Тельма Холт, глава лондонского Театра комедии. Все устроилось в рамках нашего соглашения с Обществом «СССР — Великобритания» при ССОДе. Оба гостя рассчитывали на нормальный рабочий визит, в ходе которого смогли бы провести полезные деловые встречи в театральными деятелями.

К несчастью, принимающая сторона в Москве, как выяснилось, решила действовать по шаблону, и наша пара обнаружила, что им приготовили программу, сплошь состоящую из осмотра достопримечательностей и встреч с «людьми доброй воли». Только после угрозы немедленного вернуться в Лондон удалось добиться нескольких хоть сколько-нибудь значимых встреч. Данлоп сумел составить программу фестиваля с заметным участием русских не раньше 1987 года, после того как совершил еще несколько частных визитов в СССР.

* * *

Ассоциация больше никогда не занималась театральными делами при посредстве Общества «СССР — Великобритания». Стремясь потеснить почти полную монополию этого общества на наши двусторонние акции, я старался развивать все более тесное сотрудничество с другими организациями, в частности с Союзом советских писателей. Именно через этот канал в начале 1984 года попал в Англию драматург Михаил Рошин в сопровождении Светланы Прохоровой, курировавшей в Союзе связи с Англией после Мельникова. Ее пригласили, чтобы познакомиться поближе, хотя и так можно было предположить, что она будет играть роль сторожевого пса. Она была дочерью официозной поэтессы Екатерины Шевелевой, давно знавший Андропова лично.

Рошин был одним из молодых драматургов, тесно сотрудничавших с МХАТом, после того как Ефремов перешел туда из «Современника» в 1970 году. Его пьесы, например «Старый Новый год» или «Валентин и Валентина», пользовались огромным успехом, хотя его отношения с начальством над культурой переживали и взлеты, и падения. В его квартире есть фотография, снятая за кулисами МХАТа после закрытого просмотра «культурной полицией» комедии «Старый Новый год». В окружении улыбающихся людей, среди которых — Ефремов, Рошин и целое созвездие русских актеров, туча тучей сидит министр культуры Екатерина Фурцева. Постановку разрешили не сразу.

Незадолго до визита Рошина в Англию была запрещена его новая пьеса «Перламутровая Зинаида». Цензоры требовали также сделать купюру в его инсценировке «Анны Карениной». Очевидно, сцена встречи Левина и Облонского в гостинице «Англетер» весьма некстати напоминала зрителям об изобилии продуктов в дореволюционной России. Рошин комментировал это так: «Необходимо поддерживать миф, будто нынешняя их нехватка — из-за того, что у нас было всего 60 лет, чтобы поднять страну, словно нехватка существовала от века».

Помимо того, что Рошин во время визита должен был познакомиться с состоянием английской сцены в целом, Ефремов настоятельно рекомендовал ему посмотреть «Шум за сценой» Майкла Фрейна. При первой же возможности мы с женой привели наших гостей на ужин с Фрейном и Клэр Томалин. Фрейн немного подзабыл русский, но все же мог изъясняться, и оба Майкла (или Миши) мгновенно нашли взаимопонимание. Немало повеселившись, они обнаружили много общего в своих семейных сложностях (у Миши Р. было несколько детей от нескольких браков). Рошин также объявил, что обожает кошек. Миша Ф. в принципе был против домашних животных, но признался, что у него самого три кошки, и предложил написать продолжение знаменитой чеховской пьесы, назвав его «Три кошки».

На другой день ранним вечером в советском посольстве состоялся прием по случаю шестидесятилетия британо-советских дипломатических отношений. Рошин пришел со мной. Среди тех, кого мы там встретили, были: лорд Гоури, министр культуры, один из выступавших на вручении премии «Ивнинг стандарт», когда награждали Любимова; Джордж Уолден — член правления Ассоциации и один из немногих русских среди членов парламента; президент Ассоциации Гарольд Вильсон, с гордостью упомянувший, что именно его правительство провело Закон о создании Национального театра. Джон Лоренс, председатель Ассоциации, на приеме не присутствовал, но я попросил его быть позднее в тот же вечер хозяином на ужине в клубе «Атенеум», пригласив еще одного или двух человек. У этого ужина имелась тайная цель: после того как все поднялись пить кофе в гостиную, Рошин, выждав подобаю-

шее время, сказался усталым и попросил меня отвезти его в гостиницу. На самом деле это была уловка, чтобы, ускользнув из-под надзора Прохоровой, встретиться с Любимовым и рассказать ему, как обстоят дела в Театре на Таганке.

Первый свой уикенд наши гости должны были провести вне Лондона. В Хенли-на-Темзе, в дом артиста Дональда Гамильтона Фрэзера, неизменно гостеприимного члена Ассоциации, где нас ждало рандеву с оксфордским представителем Ассоциации, мы приехали поздно. Профессор Мэрфи громогласно спросил, что за ночные похождения заставили нас так задержаться с выездом из Лондона. Вот выдержка из моего дневника:

«Пришлось шепнуть ему, что Светлана не знает о визите к Любимову. Мишу очень заинтересовали фрэзеровская коллекция лаковых шкатулок, старинных и современных, и спаниель Король Карл, который, согласно до сих пор не отмененному указу Карла I, имеет право доступа в любое министерство на Уайтхолле. Дональд — балетоман, он показывает Мише фотографии артистов Кировского театра, сделанные, когда они в последний раз приезжали в Англию (в 1973 году). Миша называет некоторых танцовщиков своими друзьями. Он говорит: «У нас в балете сейчас небольшой кризис, потому что танцовщики хотят выступать в новых работах, а им не дают такой возможности». Дональд отвечает, что остающиеся на Западе часто бывают разочарованы, когда обнаруживают здесь тиранию консервативных вкусов публики, и им, в конце концов, все равно приходится танцевать все то же старье».

Вернувшись в Лондон, мы ходили на разные спектакли. Пьеса «Наставник Гарольд и мальчики» в театре «Коттслоу», за которую Атол Фугард тоже получил премию «Ивнинг стандарт», произвела сильное впечатление. Тема культурных беженцев, поднятая в «Голливудских сплетнях» в «Оливье», явно нашла отклик, а после спектакля Рошин получил возможность высказать свои впечатления коллеге-драматургу Кристоферу Хэмптону. «Мастер-класс» Дэвида Паунелла в «Олд Вике», как и предсказывали Майкл Фрейн и Клэр Томалин, не понравился. Это была почти фарсовая комедия, где Сталин и его палач культуры Жданов сражаются с Прокофьевым и Шостаковичем. В конце вся сцена усыпана осколками пластинок на 78 оборотов, словно после вечеринки с битьем посуды в греческом ресторане. Рошин сказал, что для любого советского человека опыт сталинского террора слишком свеж в памяти, чтобы воспринимать его в комедийном «ключе»³.

После спектакля мы встретились в соседнем ресторанчике с Брэггами — Мелвином и Кейт. Рошин, вероятно, расстроенный пьесой, утратил свою обычную общительность, мысли Брэгга были заняты его мюзиклом «Наемник», премьера которого вот-вот должна была состояться в Саутхемптоне, но я все же заручился его согласием участвовать в предстоящем писательском «круглом столе». Миша грустил о том, скольких писателей уже нет в Советском Союзе: «Чувствуешь себя ужасно одиноким, словно солдат, который бежит в атаку, потом вдруг оглядывается и видит, что все его товарищи убиты и он остался один».

Тимоти Уэст, игравший роль Сталина в «Мастер-классе» и незадолго до того открывший лондонскую выставку Гликмана, был в числе гостей Кэролайн Блейкстон на обеде, устроенном ею как-то для Рошина. Через несколько дней Кэролайн снова сыграла роль хозяйки на одной из множества вечеринок по случаю его дня рождения. Когда мы с Рошиным явились с небольшим опозданием, среди собравшихся за столом сидели Нелл Данн, недавно получившая премию за свою «Парилку», а также Карла Лейн и Джеффри Палмер, соответственно автор и исполнитель главной роли в шедшей тогда по телевидению комедии «Бабочки». По пути мы с Рошиным придумали один розыгрыш, о котором сообщили шепотом Кэролайн, открывшей нам дверь. Она провела нас в комнату и представила меня как московского гостя, а Мишу — как принимающего меня англичанина. Запинаясь, с сильнейшим акцентом я ответил на пару вежливых вопросов моих соседей по столу. Затем, притворившись, будто окончательно запутался в лингвистических дебрях, повернулся к Мише и на беглом русском попросил его перевести сказанное мной на английский (он не знал по-английски почти ни слова).

Наша проделка тут же обнаружилась, но она задала тон всему вечеру, который запомнился мне своим непринужденным весельем. Это был один из тех случаев, которые делают жизнь прекрасной и не имеют ничего общего с вечной необходимостью бороться с непроходимой скукой, сопровождавшей любые контакты с Обществом «СССР — Великобритания» и вообще с советскими официальными лицами. В ту пору я еще пребывал в блаженном неведении о том, что в свой срок и мои до тех пор сер-

дечные отношения с Уайтхоллом станут почти такими же напряженными. Примерно через месяц я вновь побывал в Москве и 29 февраля 1984 года записал в дневнике:

«Сегодня утром Парастав* яростно набросился на меня (несомненно учитывая спрятанные от глаз микрофоны) за то, что я не принес новых предложений, заявляя, будто вчера утром я так и не согласился ни на что конкретное. Он-де провел бессонную ночь; размышляя о том, как плохо идет дело. Я, без сомнения, рад буду потратить в Москве кучу времени на «встречи с друзьями», ведя между тем пустые разговоры с организацией, ответственной за мой визит».

Что касается особых профессиональных интересов, приведших Рошина в Лондон, — он от души хохотал на представлении «Шума за сценой» Фрейна, и четыре года спустя его версия пьесы под русским названием «Театр» вошла в репертуар театров Москвы, а затем и всего СССР. Я устроил Фрейну приглашение, чтобы он мог посмотреть постановку. Вот краткая выдержка из его в целом довольно ироничного рассказа об этой поездке:

«В багажном отделении московского аэропорта меня встретила Инна Данкман, режиссер-постановщик пьесы. Она была очень любезна, приветлива и весела, но меня смутило ее сходство с профессором Элизабет Хилл, возглавлявшей факультет славистики в Кембридже, когда я тридцать лет назад учился там русскому языку, — внушительной особой, которую мы любили, но и побаивались. На мой взгляд, человек, настолько похожий на Лизу Хилл, никак не мог быть режиссером фарса. Потом я увидел пьесу в искусной и безошибочной переработке Михаила Рошина на сцене Театра Моссовета, и все мои сомнения и скептицизм растаяли, как снег под солнцем. Постановка оправдала самые лучшие ожидания. Фактически это была лучшая постановка пьесы, которую я когда-либо видел, — умная, тонкая, стильная и очень веселая. Инна Данкман и ее актерский состав прежде всего поняли, что комедия — дело серьезное»⁴

* * *

То, о чем я сейчас расскажу, отнюдь не отступление от театральной темы, как может показаться на первый взгляд. 26 апреля 1986 года в 1.23 ночи на Чернобыльской атомной электростанции взорвался реактор № 4. Советские ученые давно предупреждали о ненадежности реакторов типа чернобыльского, но политическая верхушка ради сохранения престижа, а также по военным соображениям не желала к ним прислушиваться. Тщательно замалчиваемые Кремлем инциденты бывали и раньше. Жорес Медведев, советский ученый, с 1973 года живущий в Лондоне, недавно опубликовал книгу «Ядерная катастрофа на Урале» — о взрыве в 1957 года.

Советское правительство попыталось сначала утаить сведения о чернобыльской катастрофе от широкой общественности, но после того как в течение нескольких дней радиоактивное облако распространилось за пределы Советского Союза, ему пришлось отказаться от этого намерения. Тех, кто ценил в Горбачеве инициатора либерализации страны, а не лидера, разывавшегося — далеко не всегда успешно — взяты под свой контроль стремительно развивающиеся события, этот пример должен был бы заставить задуматься о вынужденности его политики открытости. До тех пор горбачевская «гласность» в основном состояла лишь в том, что в средствах массовой информации продолжались разоблачения коррупции среди государственных чиновников, начатые еще при предшественниках Горбачева, да была открыта всенародная — а не чисто внутрипартийная — дискуссия о политике реформ (перестройке).

Первым из советских журналистов в Чернобыле побывал научный редактор «Правды» Владимир Губарев. Увидев воочию героические усилия тех, кто, невзирая на смертельный риск, боролся с последствиями катастрофы, он, как впоследствии рассказывал мне, понял, что газетные репортажи не могут передать драму, свидетелем которой он стал, во всей ее полноте. Он решил написать пьесу и назвал ее «Саркофаг». Вести об этом спектакле начали разноситься по миру, и Королевская шекспировская труппа, собиравшаяся поставить пьесу в Лондоне, привлекла Ассоциацию к участию в своих планах.

По словам Губарева, лучшую постановку пьесы осуществили в Тамбове, провинциальном городе, известном специалистам как родина Г. В. Чичерина (1872–1936). До революции Чичерин боролся за реформы, несколько лет провел в изгнании, актив-

* Ответственный секретарь Общества «СССР — Великобритания» (прим. ред.).

но участвуя в рабочем движении Англии и других стран. После переворота 1917 года он объявил себя большевиком и был заключен в тюрьму «Брикстон» за «связи с врагом». Позднее, после того как его выпустили и выслали из Англии в обмен на сэра Джорджа Бьюкенена, он стал наркомом иностранных дел СССР.

Хотя в Тамбове не было условий для приема иностранных туристов и потому на нем как бы висела табличка: «Вход воспрещен», в феврале 1987 года туда отправились Джуд Келли, первая женщина-режиссер в Королевской шекспировской труппе, и старейший из английских переводчиков русской драматургии Майкл Гленни — по видимому, первые англичане, посетившие Тамбов за сотню лет, если не больше. По их приезде там шутили, что последним из иностранцев в Тамбове побывал в 1840-е годы Дюма-отец, да и то его рассказ об этой поездке вызывает сомнения, поскольку он пишет в одном месте, будто «...сидел под развесистым клюквенным деревом».

Объявление о выступлении столь редких гостей в местном концертном зале привлекло всю тамбовскую интеллигенцию. Вот отрывок из трогательного рассказа об этом событии, написанного позднее Гленни:

«Джуд Келли попросили рассказать о задачах, повседневной жизни и работе Королевской шекспировской труппы, что она и сделала с большим юмором и шармом, явно покорившими аудиторию. Ее рассказ произвел заметное впечатление на собравшихся, в особенности на актеров, осознавших, как долго и упорно приходится трудиться английским актерам, в отличие от их относительно избалованных советских коллег.

Затем меня поднял на ноги вопрос В.Ф. Пенкова (сотрудника культурного отдела местного райкома партии. — *Прим. авт.*): «Отмечалась ли как-нибудь в Англии 150-летняя годовщина смерти Пушкина?». Это позволило мне произнести монолог о восхитительных празднествах, состоявшихся с 6 по 8 февраля в Лутон-Ху. Наша аудитория явно была удивлена и счастлива узнать, что такое событие имело место и было организовано, причем с самым пылким энтузиазмом, в английском поместье прямого потомка Пушкина.

Эффект получился поистине потрясающий: пытаюсь передать свои впечатления о торжествах, я почти физически ощутил всплеск эмоций в душах моих слушателей, и, пока я говорил, несколько минут меня не оставляло совершенно исключительное чувство — меня словно подхватил мощный поток общих переживаний, между мной и аудиторией возник электрический ток, напрочь сметающий барьеры, которые, как правило, воздвигают между людьми недостаточное знакомство, отчужденность, незнание, идеология, следование общепринятым условностям. На какой-то миг эти 200 человек в Тамбове дали мне ощутить прежде неизведанное: что половина моей жизни, потраченная на изучение русского языка, русской литературы и истории, прошла не зря — дело того стоило».

Аминь! К несчастью, немного времени спустя внезапный сердечный приступ в Москве унес жизнь моего доброго друга Гленни. Думаю, он был бы только рад, что здесь я поведаю о том, что мы дипломатично опустили в опубликованной версии его рассказа⁵.

Во-первых, Гленни, как он мне рассказывал, конечно же, объяснил тамбовчанам, что Лутон-Ху связан не только с именем Пушкина. Торжества устроил тогдашний глава семьи Николас Филлипс. Он был внуком леди Зиа Вернер (1892–1977), правнучки Пушкина и Николая I — родство, которое наверняка привело бы в ужас обоих знаменитых предков.

Во-вторых, Пенков задал свой вопрос весьма неприятным тоном, явно намекая на то, что в Англии никому и дела нет до Пушкина или годовщины его смерти. Гленни почувствовал себя задетым вопросом Пенкова и отбросил обычную вежливую сдержанность, справедливо рассудив, что аудитория тоже раздражена поведением партийного чинуши и будет на его, Гленни, стороне. Именно пылкость самого Гленни захватила слушателей и вызвала ту эмоциональную волну, которую он описывает.

В-третьих, он поведал тогда аудитории, с некоторыми извиняющимися нотками, что одной из участниц торжеств была миссис Натали Брук, вдова Хамфри Брука, бывшего одно время секретарем Королевской академии. Миссис Брук, как он пояснил слушателям, — внучка последнего дореволюционного посланника при Сент-Джеймском дворе и прямой потомок графа Александра Бенкендорфа, шефа тайной полиции, которому, как известно, Николай I поручил цензуру произведений вольнодумного поэта.

Одна слушательница спросила Гленни, известно ли ему, что у Бенкендорфов было большое поместье под Тамбовом. Прежнего дома уже нет, сказала она, но фамильные

портреты хранятся в тамбовской художественной галерее. Не передаст ли он это миссис Брук вместе с приглашением приехать на Тамбовщину или даже провести здесь остаток жизни? Это предложение, сделанное от чистого сердца, прозвучало весьма смело в то время, поскольку советское правительство тогда еще не смягчило своей политики в отношении русских эмигрантов.

Можно представить себе, какой эффект на местную общественность должна была произвести такая редкая встреча с людьми из далекой страны, к которой они причислены были относиться с недоверием. Миссис Брук в конце концов совершила паломничество в Сосновку, тамбовское имение ее предков. Премьера «Саркофага» в постановке Королевской шекспировской труппы (с моим бывшим учеником из Мальборо Николасом Вудсоном в главной роли) состоялась летом 1987 года в «Барбикане», потом этот спектакль долго шел на сцене театра «Мермейд». Сосновка превратилась в детский дом; Лутон-Ху после трагедии в семье Филлипсов приобрела в 1999 году компания, владеющая сетью роскошных отелей.

В заключение должен сказать, что пушкинские торжества ознаменовались беспрецедентным случаем, ставшим как бы провозвестником грядущих перемен. Программа празднеств началась в Лутон-Ху, а закончилась поминальной службой в лондонской русской православной церкви Успения и Всех Святых. Церковь была переполнена. Все стояли с зажженными свечами в руках. В толпе я вдруг заметил Геннадия Федосова, преемника Масько на посту культурного атташе советского посольства.

Это происходило примерно за год до того, как советская идеология начала переходить от преследования религии к некоторой терпимости. Подоплекой такого сдвига являлось вовсе не что-то вроде христианского озарения, которое снизошло на апостола Павла по пути в Дамаск, да и с прогнозами Джона Лоренса насчет национального духовного возрождения он не имел ничего общего. То была Realpolitik. Советское правительство, по всей видимости, решило, что ему не стоит «проходить мимо» (как в евангельской притче о милосердном самаритянине), когда Русской Православной Церкви и десяткам тысяч верующих в стране и за рубежом вскоре предстояло праздновать тысячелетие крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

* * *

Визит представителей Королевской шекспировской труппы в Тамбов был одной из последних театральных инициатив, которыми Ассоциация занималась непосредственно. Начиная с 1987 года контроль государства в сфере искусства, как и в церковных делах, постепенно стал слабеть. Даже те писатели и другие лица, которые из-за чересчур смелых высказываний стали «невъездными», начали снова ездить за границу, и часто не по официальным приглашениям, а самостоятельно.

На Эдинбургском фестивале в 1987 и 1988 годах было много советских деятелей культуры, в том числе Александр Гельман и его жена писательница Татьяна Калецкая. После Эдинбурга они отделились от своей группы и на несколько дней приехали погостить к нам в Челси, дав нам тем самым возможность отплатить им за гостеприимство, которым мы периодически пользовались у них в Москве. Традиционному осмотру лондонских достопримечательностей они предпочли простые радости: гуляли с нашими собаками в Гайд-парке, наслаждались атмосферой карнавала в Ноттинг-Хилле — что привело к длительной дискуссии по поводу расовых проблем в наших странах.

В пьесах Гельмана, как я уже указывал в начале этой главы, обычно рассматривались социальные и экономические темы в их политическом контексте. Позже, например, он вместе с американским драматургом Ричардом Нельсоном написал пьесу «Мишин день рождения»⁶. Действие пьесы происходит во время трехдневного кризиса августа 1991 года, когда вице-президент Янаев и его сообщники, заключив Горбачевых под домашний арест на вилле в Крыму, временно захватили власть. В основе сюжета — день рождения, который персонажи празднуют в гостинице «Украина» — сталинской «высотке» на берегу Москвы-реки напротив Белого дома, вокруг которого разворачивается подлинная драма.

Автором «политических» пьес международного уровня в последние годы Советской власти был Михаил Шатров. Мы к тому времени уже слышали о Шатрове и даже знали его лично. Один из наших членов весной 1982 года писал нам о московской театральной жизни:

«Что касается МХАТа — под руководством Олега Ефремова он переживает но-

вый взлет. Три блистательные постановки: «Тартюф», «Наедине со всеми» (Гельмана) и «Так победим!» Михаила Шатрова — дали одному здешнему критику повод назвать нынешний сезон «Болдинской осенью» МХАТа. «Так победим!» ставит ряд важных вопросов. В конце жизни Ленин, уже больной, на один день возвращается в свой кабинет в Кремле и размышляет о прошлом и будущем»⁷.

Пьесу год не выпускали на сцену, хотя она была менее смелой, чем последующие работы Шатрова, написанные в бурную эпоху конца 1980-х. Ефремов рассказывал мне, как однажды «Так победим!» смотрели Брежнев и все Политбюро. В течение всего представления в зале раздавалось старческое бормотание глухого лидера, сидевшего в центральной ложе и «пояснявшего» своим спутникам, что происходит на сцене. Когда на сцену вышел исполнитель главной роли Александр Калягин и Брежнев громко про бурчал: «Это Ленин!», некоторые молодые актеры не смогли сдержать смехи.

Когда Лондон посетил Уоррен Битти, подбиравший актеров для своего фильма «Красные», он попросил меня организовать звонок Калягину в Москву и выступить в роли переводчика. Он восхищался игрой Калягина в фильме по мотивам Чехова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Вопреки плохой телефонной связи с Советским Союзом и благодаря посредничеству Олега Табакова нам с Битти удалось поздно ночью дозвониться до Калягина из лондонского дома Битти, и мы предложили ему роль Зиновьева, лидера оппозиции 20-х годов. Калягин рассмеялся и сказал, что был бы рад принять предложение, но сомневается, что ему разрешат. (И не разрешили.) Пока мы разговаривали, мне стало казаться, будто Битти понимает кое-что из сказанного Калягиным еще до того, как я успеваю перевести. Потом, когда я его об этом спросил, он ответил, что у подруги легко научиться языку: Натали Вуд была русской.

В конце февраля 1984 года я пошел посмотреть «Так победим!» Шатрова. Это было первое представление пьесы после смерти Андропова. Я отметил в своем дневнике, что зал острее обычного реагировал на многие моменты, содержащие скрытые отсылки к современности:

«Мы вернулись на квартиру Рощина вместе с Калягиным, Лавровой, Вертинской и Ефремовым. Огромное удовольствие было слушать, как они анализируют моменты, вызвавшие взрыв аплодисментов. Видимо, зал всегда хлопает, когда представитель крестьян говорит, что быстро урбанизирующееся общество должно поддерживать и уважать крестьянство, которое его кормит. Однако сегодня вечером впервые аплодировали монологу Ленина, в котором он высказывает свои опасения по поводу Троцкого и Сталина, предупреждая, что один-единственный недостаток в характере может иметь роковые последствия. По мнению Ефремова, аплодисменты в этом месте отражают существующую в обществе боязнь возврата к сталинизму. Рощин вспоминает случай на одном из прошлых представлений пьесы. В сцене партийного митинга один из актеров самозабвенно восклицает:

— Мы все будем жить лучше!

Голос из зала:

— А мы?».

Один американский академик в своем докладе о проходившей по Интернету дискуссии по поводу того значения, какое могут иметь события в России для внешней политики Соединенных Штатов, указывал, что самые смелые набег на официальную советскую историю предпринял не какой-нибудь советский историк, а драматург Шатров:

«Его пьеса «Брестский мир», поставленная на московской сцене в декабре 1987 года, произвела небольшую сенсацию. Время действия пьесы — Первая мировая война. Большевики пришли к власти и должны решить: разжигать ли им революцию в Германии или просить мира. Главные герои — Ленин, Бухарин и Троцкий. Особенно знаменателен тот факт, что к моменту появления пьесы Бухарин еще не был реабилитирован, а имя Троцкого находилось под запретом. Но Шатров не только заговорил о двух самых знаменитых жертвах Сталина — он дал им главные роли. Более того, он не сделал их негодяями и предателями — даже взгляды Троцкого представлены как имеющие под собой основание»⁸.

Вскоре после прихода к власти Горбачев, как до него Брежнев, в свою очередь провел вечер во МХАТе. После спектакля «Дядя Ваня» новый генеральный секретарь, слывший истинным любителем театра, выразил Ефремову свое восхищение, а тот немедленно попросил об отдельной встрече, чтобы обсудить положение театра в России, — точно так же, как сэр Питер Холл в свое время просил встречи на Даунинг-стрит. Горбачев ответил, что ему нужно сначала «запустить маховик», а потом они

обязательно поговорят. Подобная метафора вызывает в воображении образ человека, старающегося починить заржавленную и устаревшую машину, т.е. Коммунистическую партию и всю советскую систему в целом, а вовсе не великого новатора, каким многие на Западе упорно видят Горбачева.

В мае 1988 года Ассоциация «Великобритания — СССР» и Союз советских писателей проводили в Москве «круглый стол». В числе участников были Шатров и Тимоти Мо. Вот как Мо пишет о Шатрове:

«Потом пришел Михаил Шатров, человек дня. Приземистый, седой, задиристый, он не принимал участия в дискуссии на все 100%, а демонстративно читал спортивную страницу газеты, полностью загоротившись ею.

Мы восхищались его дерзостью. Когда же он отвлекся от дел московского «Динамо» и заговорил о себе, то сразу приковал всеобщее внимание. Пятидесятишестилетний автор таких произведений, как «Дальше... Дальше... Дальше!» и «Брестский мир», пережил расстрел Сталиным своего отца-инженера и арест матери. Тридцать членов его семьи погибли во время террора. Он получил образование в Горном институте и четыре месяца работал отбойным молотком. Большинство его пьес в свое время были запрещены. Он считал наступившую эпоху счастливой и полагал, что долг писателей — сделать все возможное, чтобы то, что было, никогда не вернулось.

На другой день Михаил Филиппович пришел на конференцию, когда та уже наполовину прошла, и снова устроил большое представление. В тот день наши друзья понесли, закусив удила, и говорили с поразительной откровенностью. Издатель Лариса Беспалова сказала, что 1988-й для нее — год победы: она только что смогла опубликовать «1984» Оруэлла. Она говорила быстро, много, с большим жаром, другие русские столь же горячо перебивали ее, игнорируя призывы переводчиков соблюдать спокойствие и дать им возможность переводить. Мы так и не поняли как следует, о чем шла речь.

Затем вмешался Шатров, заметив, что сталинисты по-прежнему занимают высокие посты. Он рассказал, как один такой говорил ему в той же комнате, где мы тогда сидели, что Леонид Брежнев — великий писатель, заслуживающий Ленинской премии. Эта задница все еще занимает то же кресло. «А совсем недавно он читал мне лекции о морали». Очки Шатрова вспыхнули. «Почему они не поступят, как порядочные люди? Почему не уйдут в отставку, как в демократических странах?» Молчаливые усмешки присутствующих⁹.

Шатров, никогда не бывавший в Англии, сказал мне, что хочет заняться там исследованием по вопросам истоков холодной войны и отношений Сталина с Черчиллем. Он принял мое приглашение в феврале 1989 года, когда гастролирующая труппа из России играла в лондонском театре «Брестский мир».

Я сводил его в гости к лорду Бримлоу, специалисту по Советскому Союзу, лично знакомому с темой насильственной репатриации (и очень болезненно к ней относящемуся). Будучи главой дипломатической службы, он в свое время устраивал в «Рице» прощальный обед для моего предшественника, впрочем, мы с ним встречались и до того. В качестве советника посольства Бримлоу принимал группу русистов из колледжа Мальборо, которую я привозил в Москву четверть века назад.

В Оксфорде мы с Шатровым бывали у Исайи Берлина, непосредственного участника британо-советских дел сразу же после войны, и у лорда Баллока, биографа Гитлера и Бевина, британского министра иностранных дел в начале холодной войны. Еще мы успели попасть на обед (для меня это была встреча со старым другом) в президентских апартаментах колледжа Св. Магдалины. Энтони Смит очень много помогал работе Ассоциации в области кино и телевидения, когда был директором Британского института кино.

В Лондоне Шатров вел долгие дискуссии с моим коллегой по Ассоциации сэром Фрэнком Робертсом, который сохранил ясные воспоминания о конференции «большой тройки» в Ялте, а также, будучи поверенным в делах нашего московского посольства в конце войны, опекал г-жу Черчилль, приехавшую туда на празднование победы¹⁰. Мы сходили на вечеринку, которую устроила у себя Ванесса Редгрейв для русского актерского состава «Брестского мира». К счастью, там не говорили о политике, хотя у меня сложилось впечатление, что Шатров, так же как Горбачев и Редгрейв, предпочитал усовершенствование социализма, а не замену его чем-то другим. Он нанес визит Татьяне Литвиновой, дочери Максима Литвинова, наркома иностранных дел после Чичерина, и, наконец, еще нашел время и силы, чтобы сделать доклад о современном состоянии театра в Советском Союзе на многолюдном съезде членов

Ассоциации. После этого за ужином у нас дома к нам присоединились Майкл Гленни и Роланд Смит, а также Хью Лунги, работавший переводчиком на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Я нарочно устроил Шатрова на время его пребывания в Лондоне в гостиницу «Рембрандт». Она расположена на широкой улице напротив главного входа в Музей Виктории и Альберта. Посреди соседней улицы разбит маленький и довольно редко посещаемый сквер. Там стоит, почти полностью скрытый разросшимися кустами, памятник жертвам Ялты. На нем есть табличка, поясняющая, что памятник воздвигнут в 1982 году, по политической инициативе всех партий, «в память бесчисленных невинных мужчин, женщин и детей из Советского Союза и других государств Восточной Европы, которые были заключены в тюрьмы и погибли по воле коммунистических правительств после своей репатриации по окончании Второй мировой войны».

Советское посольство встретило этот публичный акт покаяния в штыки, а председатель организационного комитета сэра Бернард Брейн жаловался, что и Форин Оффис ставит палки в колеса. Чуть ли не на другой день после торжественного открытия памятник был разрушен, предположительно — теми, кто симпатизировал Советам. В 1986 году на его месте поставили новую скульптуру, с надписью, указывающей, что она заменяет прежнюю, «уничтоженную вандалами, для которых правда оказалась нестерпимой»¹¹.

Мы отправились погулять в этом скверике, и я перевел Шатрову надписи. Он казался глубоко взволнованным. Я рассказал ему об одном уикенде, который провел в Берлине с Роландом и Кэтрин Смит. Это было в 1987 году, когда Роланд Смит исполнял обязанности политического советника и начальника канцелярии Британского военного управления в тюрьме «Шпандау». Он повел нас с Элизабет в полуразрушенное здание рейхстага на выставку под названием «Вопросы к немецкой истории». Это была свободная от каких-либо ограничений экспозиция, охватывающая большую часть столетия и не оставившая без внимания ни единого ужаса времен Третьего рейха. Там ходили с учителями группы немецких детей. Я шепнул Роланду, что когда-нибудь, надо надеяться, мы увидим, как русских детей приведут на такого же рода выставку в Москве. Он моего оптимизма не разделил.

Шатров так и не написал ничего на тему «Сталин — Черчилль», хотя в 1993 году в манчестерском «Ройял эксчейндж» состоялась премьера его последней пьесы «Быть может», написанной специально для Ванессы Редгрейв. После того как СССР перестал существовать, он вступил в новую организацию — «Мемориал» — и стал ее сопредседателем вместе с Андреем Сахаровым и известным историком Юрием Афанасьевым. «Мемориал» поставил себе задачу разыскивать и документально фиксировать все сведения о преступлениях, совершенных советской властью против своих граждан. Он также воздвиг памятник жертвам коммунистического тоталитаризма в центре Москвы. Подобно своему кенсингтонскому собрату, памятник стоит в сквере посреди оживленной улицы, только его не скрывают кусты. Основная его часть представляет собой гранитный валун с Соловков. Старинный Соловецкий монастырь после революции стал печально известен как лагерь для политзаключенных. Памятник весьма удачно расположен на краю Лубянской площади, откуда открывается вид на бывшее главное управление КГБ, и буквально в двух шагах от Старой площади, в зданиях которой размещался Центральный Комитет Коммунистической партии — подлинное средоточие советской власти.

В письме от 24 мая 1999 года Шатров рассказывает мне о своих делах. Начинает он с комментариев по поводу попыток радикальных реформ в России:

«...Теперь мы все еще на полдороге к финишу, ребенка из ванночки выплеснули¹², а вода стала еще грязнее. После того как танки обстреляли наш парламент в 1993 года (странное проявление демократии), я перестал писать пьесы. В марте 94-го я возвратился в Москву после восемнадцати месяцев жизни в США. Я вернулся в незнакомую страну. Мы еще поговорим об этом при встрече.

Когда-то, году в 1986-м, я выдвинул идею строительства Российского культурного центра в Москве. Все партийные лидеры, Горбачев, Ельцин и пр., эту идею поддержали, но не дали ни копейки. Поручили мне составить проект. Вот так я стал председателем совета директоров акционерной компании «Московские Красные горы», которая уже три года занимается строительством. В настоящее время это единственное, что придает смысл моей жизни. Я отношусь к проекту с большим энтузиазмом. У меня инженерное образование, так что кое-что получается».

* * *

Писательский «круглый стол», на котором присутствовали Михаил Шатров и Тимоти Мо, был третьим из мероприятий такого рода. То тут, то там мне уже приходилось касаться деятельности в сфере литературы. Литературная тема будет развита в отдельной главе.

Примечания

¹ Caroline Blakiston. *An Englishwoman Plays Chekhov // Britain – USSR*, 1992, № 92.

² Ростропович руководил тогда организацией музыкального фестиваля в Олдборо. Там же находился с выставкой написанных им портретов Габриель Гликман, чьи работы я впервые увидел годом раньше на даче Рождественского на Николиной Горе.

³ Клэр Томалин уговорила Рошина написать короткую заметку о своих впечатлениях для «Санди таймс» (от 19 февраля 1984 г.). Майкл Фрейн ее перевел. В отличие от Любимова, Рошин воздержался от протестов, не называл никаких имен, хотя встречался со многими видными людьми. Вот единственное сделанное им исключение: «Моя знакомая, простая женщина миссис Хейс, считает, что национальные вопросы, экономика, политика — всего лишь игры для великовозрастных школьников, и ничего больше». Миссис Хейс — имя нашей домработницы-ирландки.

⁴ *Britain – USSR*, 1988, № 79.

⁵ Glenny M. *Two Days Under the Cranberry Tree // Britain – USSR*, 1987, № 77.

⁶ Премьера «Мишиного дня рождения» в постановке Королевской шекспировской труппы (режиссер Дэвид Джонс) состоялась в театре «Пит» 14 июля 1993 г.

⁷ Calvert A. *Moscow Echoes – The Theatre Scene // Britain – USSR*, 1982, № 62.

⁸ Magstadt T.M. *Gorbachev and Glasnost – a New Soviet Order? // Policy Analysis*. 1989. № 117. Во время, к которому отнесено действие пьесы, Николай Бухарин, один из ведущих теоретиков большевизма, был редактором «Правды». Позднее его выставили в числе главных обвиняемых на процессах, свидетелем которых был Фицрой Маклейн. Бухарина признали виновным и расстреляли в марте 1938 г. Впоследствии советское правительство признало, что обвинение было ложным.

⁹ *Britain – USSR*, 1988, № 81.

¹⁰ Воспоминания Клементины Черчилль «Визит г-жи Черчилль в Советский Союз в 1945 г.» с предисловием сэра Фрэнка Робертса опубликованы: *Britain – USSR*, 1985, № 71.

¹¹ Точно так же Советы протестовали против памятника на кладбище Ганнерсберри, которое Шатров тоже посетил. Катыньский монумент жестко напоминает о 4500 польских офицерах, чьи останки были обнаружены в массовом захоронении под Смоленском. Советское правительство, вопреки очевидному, обвиняло в этом преступлении немецких захватчиков. Русских возмущало, что на монументе выбита дата: 1940 г. (т.е. до того, как немцы начали вторжение на восток). При открытии памятника в сентябре 1976 г., когда у власти были лейбористы, английским военнослужащим было запрещено присутствовать на церемонии в форме. Сэр Мэлби Крофтон, консервативный лидер Совета Кенсингтона и Челси, на которого давили и советское, и польское посольство, сказал тогда: «Я потрясен, но не удивлен тем, что нынешнее правительство отказалось присутствовать или быть представленным на церемонии. Подобная позиция — не только проявление политического малодушия, она еще и наносит огромный ущерб образу Британии во всем мире». В 1990 г. СССР наконец признал свою ответственность за катыньскую трагедию.

¹² По-видимому, имеется в виду социализм.

Александр Эткинд

Из измов в демократию:

Айн Ранд и Ханна Арендт

Два имени странным образом созвучны; впрочем, одно из них настоящее, а другое псевдоним. Обе женщины были философами и обе — европейскими эмигрантками. Одна бежала в Америку из большевистской России, другая — из нацистской Германии. Обеим, Алисе Розенбаум из Петербурга и Ханне Арендт из Кенигсберга, чрезвычайно повезло. Шансы погибнуть в лагере были намного больше, чем шансы жить и работать. Но чувства обеих, как они запечатлены в текстах, очень далеки от торжества. Напротив, они выразили свой опыт в тревожных и трагических предупреждениях. Сочинения Ранд и Арендт рассказывали не об их удачах в Америке, но о том, какие беды ждут эту страну, если она пойдет по пути Германии и России. Опыт оставленной Европы использовался как предупреждение американской демократии и демократии вообще. Запомним это наблюдение, пока еще ничем не подкрепленное, как проблему, требующую решения.

Алиса из страны чудес

Зиновий Розенбаум держал в Питере аптеку. Несмотря на еврейское происхождение и ограниченные средства, он смог дать дочери отличное образование: в женской гимназии Алиса училась вместе с Ольгой Набоковой, сестрой писателя. После большевистского переворота Розенбаумы тоже уехали в Крым. Набоковы сумели, продавая по пути драгоценности, вырваться в Англию, а вполне обнищавшим Розенбаумам пришлось вернуться в Петроград. Алиса поступила в университет, который окончила в 1924 году по актуальной специальности «социальная педагогика». Потом она зарабатывала продовольственные карточки, водя экскурсии по Петропавловской крепости. Пережив революцию и военный коммунизм, она не узнала в них эксперимента, ведущего в царство свободы, — надежда многих, кто жил в России, и почти всех, кто посещал страну. Ее личным выводом из советского опыта была ненависть к левым идеям, как бы они ни назывались. В 1926 году она подала документы на выездную визу, и ей повезло. Через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей был двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в отказе. Они умрут в Питере во время блокады.

Это все, что мы знаем о русском периоде Алисы Розенбаум. Начав печататься, она взяла псевдоним Айн Ранд, происхождение которого неизвестно; по-немецки это значит нечто вроде «границы». Воспоминаний Ранд не писала, но рассказала о своем русском прошлом в романе «Мы, живые», который закончила в 1934 году. В той просоветской атмосфере — дипломатические отношения были только что восстановлены, в Москву поехал Уильям К. Буллит, а Рузвельт готовился к союзу со Сталиным — роман не имел успеха. Он стал бестселлером на пике «холодной войны», в 1959-м (год максимального успеха «Лолиты» и «Доктора Живаго»), и допечатывается до сих пор: продано два миллиона экземпляров, немало по любым масштабам. Как Ранд объясняла с оглядкой на левых американцев, ездивших в Россию как на паломничество:

Эта статья является продолжением серии работ того же автора, опубликованных «Знамя» («The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым» — «Знамя», 1997, № 1; «Иная свобода: Пушкин, Токвиль и демократия в России» — «Знамя», 1999, № 6). Книга Александра Эткинда «Толкование путешествий. Америка и Россия в травелогах и интертекстах» готовится к печати издательством «Новое литературное обозрение».

это первый рассказ, написанный русским, который знает условия жизни в новой России и который действительно жил под властью Советов [...] Первый рассказ, написанный человеком, который знает факты и который спасся, чтобы о них рассказать.

Героиню зовут Кира Аргунова. Она сильная красивая девушка, землячка и ровесница автора и ее улучшенный автопортрет. Как это случилось с самой Алисой, семья Киры возвращается из Крыма в голодный Петербург 1922 года. Теплушка полна солдат и мешочников, вокруг грызут семечки и поют «Эх, яблочко». Кира поступает в Технологический институт и участвует в собраниях комсомольской ячейки. Она сходится с лихим парнем, который при первой встрече принял ее за проститутку; она приняла его за вора. Этот Лева Коваленский оказывается сыном царского адмирала, расстрелянного большевиками. Вместе они пытаются бежать за границу, но их берут посредине Финского залива. У Левы развивается чихотка. Чтобы спасти любимого, Кира отдается герою Гражданской войны, следователю ГПУ Андрею Таганову. Так завязывается любовная интрига нового типа. Беря деньги у Андрея, Кира лечит Леву; но ее все больше притягивает чекист. У него свои неприятности: его обвиняют в троцкизме. Накануне чистки он предлагает Кире бежать за границу, но она не может бросить Леву. Разоблачая партийных боссов, Андрей раскрывает финансовую схему, в которой в качестве юного нэпмана участвует Лева. Так мужчины Киры узнают друг о друге. Андрей освобождает Леву и кончает с собой. Лева бросает Киру. Та пытается пересечь латвийскую границу, и ее подстреливает часовой. Она истекает кровью ночью на снегу в белом платье. По словам автора,

«Мы, живые» не рассказ о Советской России в 1925. Это рассказ о диктатуре, любой диктатуре, везде и во все времена, будь то Советская Россия, нацистская Германия или — что, возможно, этот роман помог предотвратить — социалистическая Америка.

Жизнеописания троцкистов, нэпманов и проституток увлекательны сами по себе; но главная проблема в другом. Показывая Киру во всех видах и позах, автор вызывает сочувствие к ней независимо от моральной оценки ее действий. В мире насилия перестают действовать нормы, обычные для ситуаций свободного выбора. Нетривиальные действия Киры оправдываются не моралью или законом, а внутренним протестом. Как писала Ранд много позже,

Вынужденное подчинение насилию не есть согласие на него. Все мы вынуждены подчиняться законам, которые ущемляют наши права; но пока мы боремся за изменение этих законов, наше подчинение им не является согласием с ними¹

Читатель потому сочувствует Кире, что бы та ни делала, что имеет доступ к ее протестующему сознанию. В условиях «объективной» несвободы единственным критерием морали является «субъективный» протест. Насилие заставляет подчиняться, а скрытый протест является единственным отличием морального поведения. Человеческая мораль предполагает свободный выбор. Нет свободы — значит, нет ответственности и, значит, нет нравственности. Но в реальных обществах мало кто имеет такую роскошь, как свобода. Этическая теория, начиная с Канта полагающая свободу за основание нравственности, плохо сходится с политической теорией, которая начиная с Токвиля видит в свободе редкое достижение, требующее сложных и развитых институтов. Во что превращается категорический императив под пыткой? Однако мы знаем, что и в этих условиях одни достойны большего уважения, чем другие. На каком основании мы выбираем между ними? Как возможно моральное суждение в условиях несвободы?

Общества, которые лишили себя свободы, состоят из многих иерархических уровней. Каждый отдельный уровень подвергается принуждению, исходящему от более высокого уровня. Значит ли это, что вся ответственность лежит на лидерах? Такова была логика Нюрнбергских процессов, которые судили только руководителей нацистского государства. Одновременно с ними Карл Ясперс писал свой «Вопрос о виновности», в котором определил разные типы вины. Есть вина фактическая, которую разделяют соучастники преступления и которую определяет суд. Есть виновность моральная и политическая, которую разделяют те, кто своими действиями — например,

¹ The Ayn Rand Lexicon. New York: New American Library, 1986, p. 129

государством за нацистов в 1933 году — сделал преступление возможным. И наконец, есть виновность такого уровня, — Ясперс назвал это метафизической виной, — которую разделяют все современные преступления независимо от своего участия-неучастия. Замечу попутно, что русская философия ни в православных, ни в марксистских ответвлениях не вела и не ведет подобной дискуссии. И наверняка не потому, что местная история не предоставляет нужного материала.

В своем романе Ранд изобразила чиновника, который организует и лично проводит зловещие мероприятия режима: Андрей Таганов, который покупает тело Киры, — начальник следственного отдела столичного ГПУ. Но герой сложнее, чем его должность, и в конце концов добивается любви Киры. Позже Ханна Арендт напишет книгу о примерно равном по званию чиновнике нацистской Германии, одном из организаторов холокоста Адольфе Эйхмане. Зло банально, писала Арендт, изображая кровавого злодея как скучнейшего из людей. Эйхман был чиновником, выполнявшим чужие приказы, но это не освобождает его от ответственности. Человеческие институты основаны на презумпции свободы, и возможность отказа от участия сохраняется даже в самых бесчеловечных режимах. Нацист и чекист в равной степени свободны не делать ту карьеру, которую сделали. Ранд в своем вымышленном Таганове показала более сложную динамику, чем Арендт в своем реальном Эйхмане. Троцкист входит в оппозицию режиму. Он судит себя сам, забирая собственную жизнь вместо того, чтобы, как Эйхман, скрываться от своих уцелевших жертв. Поэтому он достоин сочувствия читателя и любви героини. В отличие от Арендт, Ранд сохраняет за своим героем важнейшие из прав человека — на сомнение, на раскаяние и, наконец, на изменение.

«Мы, живые» подвергался критике как ницшеанский роман, в котором Кира изображена феминистским сверхчеловеком, которой все позволено; и потому же, за силу, она влюбляется в Андрея. Такое чтение несправедливо, потому что не видит ключевой слабости главных героев. Кира и Андрей слабее отвратительных, но знающих свою групповую пользу партийцев. Оба подчиняются из слабости, а протестуют из силы; но сила, выраженная в протесте, в конкретных условиях ведет к заведомому поражению. Оба погибают, когда перестают скрывать свой протест. Внутренний протест способен оправдать женщину, продающую свое тело, и мужчину, продающего свою совесть. В попытке Ранд оправдать Киру я вижу одно из воплощений трагической мысли XX века, которая, как это было и у Ясперса, и у Арендт, пыталась найти возможность морального выбора в условиях запредельного насилия.

Объективизм: философская утопия

В полуразрушенном послереволюционном университете Алиса была студенткой неоплатоника Николая Лосского. Осенью 1922 года профессор уехал из России; если его лекции успели произвести впечатление на юную Алису, оно было негативным. Вслед за Соловьевым и основным руслом отечественной традиции Лосский верил в скорый рай на преображенной земле. Вместе с Бердяевым и другими современниками он воспринимал русскую революцию как начало предсказанной метаморфозы. Философы не сразу заметили, что царство Божие запаздывало с осуществлением, а заметив, продолжали учить об отложенном преображении. Даже в относительно благополучном, тоже американском конце своего пути Лосский продолжал верить:

Печальный опыт истории показывает, что весь исторический процесс сводится лишь к подготовке человечества к переходу от истории к *метаистории*, то есть «грядущей жизни» в царстве Божием. Существенным условием совершенства в том царстве является преображение души и тела.¹

Подобные и, вероятно, более горячие речи в холодных аудиториях революционного Петрограда выработали аллергию к мистическим планам преображения души и тела. Бывшая студентка Лосского прочно ассоциировала неоплатоновскую мистику с советским режимом.

В сегодняшней культуре доминирует философия мистицизма-альтруизма-коллективизма,

¹ Н. Лосский. История русской философии. Москва: Советский писатель, 1991, с. 475.

следствием которой является сильное государство в разных его формах: коммунистическое, фашистское или так называемое государство всеобщего благосостояния.¹

Собственную родословную Ранд, пропуская многие стадии от Платона как раз до Лосского, начинала прямо от Аристотеля.

Философия Аристотеля была интеллектуальной Декларацией Независимости. [...] Она определила *главные* принципы рационального взгляда на бытие и сознание: что существует только *одна* реальность, [...] что задача человеческого сознания в том, чтобы воспринимать, а не создавать реальность, и [...] что А есть А.²

Мало кто из философов не морщился, читая эти дефиниции — если, конечно, читал их. Главным и несомненным талантом Ранд было умение упрощать. Она доводила идею до ее крайности, высказывая сильные мнения с шокирующей уверенностью. Она назвала свое учение «объективизмом» и считала его логическим следствием веры в то, что «А есть А».

Она не сделала академической карьеры, но осталась эзотерической фигурой, предметом культа. Она опубликовала четыре романа-бестселлера и десяток философских книг; в Калифорнии есть институт ее имени. Хиллари Клинтон иногда ссылается на нее как на образец. Идеи Ранд правее взглядов большинства университетских либералов, а найденный ею жанр — сочетание философского романа с эротической авантюрой — еще менее приемлем для американской академии. Но социологические опросы, не знаю, насколько достоверные, называют «Потрясенный Атлас» Ранд самой популярной американской книгой после Библии. Для оценки ее влияния более важно, что в середине 1950-х в культовый кружок, регулярно собиравшийся с целью чтения Ранд в ее присутствии, входил Алан Гринспан.³ С 1987 года он возглавляет Федеральную резервную палату, американский аналог Центрального банка. Плавный экономический подъем Америки на рубеже веков — в немалой степени его заслуга. На вершине своего успеха Гринспан так вспоминал о Ранд:

Именно она убедила меня долгими разговорами и почными спорами, что капитализм не только эффективен и практичен, но морален. Ранд считала, что капитализм превосходит другие социальноэкономические системы, такие, как феодализм и социализм, потому, что только капитализм основан на добровольном обмене между рациональными индивидами, заботящимися о собственном интересе.⁴

Россия XXI века, проходящая болезненную школу капитализма, вправе испытывать патриотическую гордость: самый успешный американский финансист XX века проходил ту же школу у уроженки Санкт-Петербурга. В апреле 2000 года экономический советник российского президента Андрей Илларионов на презентации русского перевода «Потрясенного Атласа» назвал Ранд своим кумиром и сообщил, что рекомендовал читать эту книгу президенту. Переводчики объявили, что будут добиваться утверждения этого романа в качестве обязательного чтения в средних школах.⁵

Наряду с Владимиром Набоковым и Иосифом Бродским Айн Ранд является третьим — хронологически первым — примером значительного успеха русского писателя, работающего на английском языке. Но Ранд вряд ли мечтала о том, что ее будут читать в русских переводах. Память об оставленных в России близких вызывала тревогу в течение десятилетий. Вплоть до 1960-х годов Ранд скрывала от американских друзей свою настоящую фамилию, опасаясь, что ее разглашение причинит вред ее родственникам в России. Писавшая по-английски тысячестраничные, рекордно успешные романы, она до конца жизни говорила с сильным русским акцентом. При первом знакомстве с ней в 1950-м ее поклонник почувствовал, что «она более русская, чем я мог себе представить»⁶. Вскоре восторженный Натаниел, на двадцать лет младше Айн, читал рукопись нового романа; даже почерк казался ему «европейским». Она

1 The Ayn Rand Lexicon. New York: New American Library, 1986, p. 95.

2 Ibid, p. 34.

3 Jeff Walker. The Ayn Rand Cult. Chicago: Open Court, 1999, pp. 203–219.

4 John Cassidy. The Fountainhead — New Yorker, 24, 2000, p. 127.

5 Catherine Belton. Putin's Adviser Extols Ayn Rand — Moscow Times, April 26, 2000.

6 Nathaniel Branden. My Years with Ayn Rand. San Francisco: Jossey-Bass, 1999, p. 34.

рассказывала юному любовнику о том, что $A=A$, о петербургских прототипах «Мы, живые» и еще о Достоевском, который оставался ее любимым писателем; любимым романом были, как нетрудно угадать, «Бесы». Если первые ее произведения — «Мы, живые» и «Гимн» — посвящены переработке болезненного российского опыта, то в двух последних, самых известных романах «Источник» и «Потрясенный Атлас» об оставленной родине нет ни слова. Но везде очевидны идеологические уроки русской революции.

Из своей ключевой интуиции, что A равно A и должно всегда таким оставаться, Ранд делала вывод о том, что главным злом в экономике является инфляция, которая нарушает это тождество. Инфляция есть следствие раздутого государства. Инфляция есть цифровое выражение левых идей. Ничто, даже экономический рост, не оправдывает инфляцию. Политика Гринспана основана на том же убеждении; остальное — дело техники. Сегодня все это общеизвестно, но Ранд проповедовала *якажу* очередного поворота Америки налево. В 1965-м во время студенческих волнений в Беркли, она писала так:

Социальное движение, которое началось с тяжеловесных, головоломных конструкций Гегеля и Маркса, закончилось ордой неумытых детей, топчущих ногами и визжащих: «Я хочу прямо сейчас»¹

После Платона главным ее философским врагом был Кант, «первый хиппи в истории». Начиная с него, философия занималась только тем, что доказывала импотентность человеческого разума. Согласно Ранд, наше время завершает длинный путь саморазрушения, который начал Кант, когда разорвал разум и реальность и, таким образом, лишил западного человека его оружия. Современные философы, например лингвистические аналитики, только тем и занимаются, что убеждают студентов в их неспособности понимать реальность как она есть. Восставая против западной традиции, Ранд искала опору в здравом смысле бизнесмена, ценящего свое личное понимание как главное из средств практической жизни. «Человеческий разум является главным средством выживания и самозащиты. Разум является самым эгоистичным из человеческих качеств: [...] его продукт — правда — делает человека особенным, негибким, недоступным власти». Ее критика сосредоточилась на коллективизме, на этике индивидуальной жертвы во имя группы.

Коллективизм не считает жертвенность временным средством, направленным на достижение желаемой цели. Жертва есть самоцель, жертва есть способ жизни. Коллективисты хотят уничтожить независимость, успех, благополучие и счастье человека. Посмотрите на то рычание, ту истерическую ненависть, с которой они встречают всякий намек на то, что жертва не есть необходимость, что возможно общество, не основанное на жертве, и что только в таком обществе человек может достичь благополучия².

Современная философия не есть рационализация невроза современного человека — она есть его причина, считала Ранд. «Практическим результатом современной философии является сегодняшняя смешанная экономика»; в более решительном настроении она утверждала, что современная ей Америка реализовала все положения «Коммунистического манифеста».³ Обращаясь к бунтующим студентам, Ранд писала:

идеи ваших профессоров правили миром в течение последних пятидесяти лет, причиняя ему все большее опустошение, [...] и сегодня эти идеи разрушают мир так же, как они разрушили ваше уважение к самим себе⁴.

Как и большинство консерваторов, Ранд придавала идеям каузальное значение. Только с такой позиции можно говорить об интеллектуальной ответственности. Если верить в то, что идеи ведут к поступкам, человека можно призвать к ответственности за идеи. Радикальная мысль, наоборот, всегда ценила материалистические схемы. Среди

¹ Ayn Rand. *The Return of the Primitive. The Anti-Industrial Revolution*. New York: Penguin, 1970, p. 37.

² Ibid, p. 76.

³ Ibid, pp. 105, 45.

⁴ Ibid, p. 94.

прочих своих функций они полезны тем, что лишают саму мысль причинного значения, а значит и ответственности за собственные следствия.

Если вы хотите увидеть ненависть — не смотрите на войны или концлагеря, все это лишь следствия. Почитайте труды Канта, Дьюи, Маркузе и их последователей, и вы увидите чистую ненависть — ненависть к разуму и ко всему, что он за собой влечет — способности, достижения, успех.¹

На время вооружившись Ницше, она идентифицировала себя с Аполлоном, а своих врагов от Гераклита до самого Ницше и далее до Маркузе — с Дионисом. Сущность враждебного клана она определяла через три понятия: мистицизм, альтруизм, коллективизм. Взятые вместе, они ведут к антииндустриальной революции, считала Ранд. Если идеи новых досократиков окончательно победят в сознании американцев, их повседневная жизнь превратится в подобие советской жизни. Все зарплаты будут равны, а поскольку одинаково платить за хорошую и плохую работу явно несправедливо, хорошая работа будет запрещена; исчезнут холодильники, лампочки и бритвы; обездоленных людей будет одолевать необоримая скука. Ранд признавала, что ее идея — треугольная связь между разумом, эгоизмом и общим благом — неоригинальна. С другой стороны, ее предшественники — Аристотель, Адам Смит или Джон Стюарт Милл — не имели и сотой доли того опыта осуществленных утопий, которым располагали авторы и читатели середины XX века.

Тоталитаризм: политическая антиутопия

Ханне Арендт из Кенигсберга тоже повезло. В шестнадцать лет она покинула свой город, германское окно на Восток, так напоминающее историей своих переименований, пока еще не законченной, наше русское окно в Европу. Я не буду рассказывать о любовной связи юной Ханны с Мартином Хайдеггером². 34-летний Хайдеггер работал над главной своей книгой, «Бытие и время»; Ханне было 19, она только вырвалась из дома. Озабоченный невыразимостью Бытия, Хайдеггер хранил роман в тайне от жены. По этой или другой причине, Ханна в том же году переехала в Гейдельберг, где ее профессором был другой великий философ, Карл Ясперс. Потом Хайдеггер благословил нацизм, а Арендт бежала от него. После войны и в течение почти всей оставшейся жизни они сумели совместить глубочайшие политические различия с продолжением личной дружбы.

Она жила в Германии до весны 1933 года, когда ее арестовали нацисты. По слухам, в тюрьме она сидела недолго. Сразу после освобождения она нелегально бежала в Париж, сделав то, что была абсолютно не способна — хоть по льду, хоть ползком — сделать за десять лет до того Алиса Розенбаум. Нацисты не овладели еще искусством тотального контроля, в этом их намного опередили большевики. Осенью 1940 года Арендт получила американскую визу. Потом Арендт так вспоминала о своих переживаниях:

Я все равно собиралась эмигрировать. Я сразу поняла, что сверсям нельзя оставаться. [...] Вдобавок я знала, что дела пойдут все хуже и хуже. И все-таки я не уехала тихо и мирно. Надо сказать, это доставляет мне некоторое удовлетворение. Я была арестована, должна была уехать нелегально, [...] и чувствовала, что хоть что-то я сделала!³

Она не узнала ни пыток тела, ни чувства вины за участие в делах режима. В Нью-Йорке Арендт узнала о массовом уничтожении евреев. Чувство причастности к своему прошлому не оставляло ее спустя десятилетия. Она не была сионисткой, но примкнула к одной из сионистских организаций.

¹ Ibid, p. 86.

² Скандальную версию этих отношений см. Elzbieta Ettinger. Hannah Arendt/Martin Heidegger. New Haven: Yale University Press, 1995; более сдержанное сопоставление двух философов см. Dana R. Villa. Arendt and Heidegger: The Fate of the Political. Princeton University Press, 1996; я пользовался также двумя биографиями: John McGowan. Hannah Arendt. An Introduction. University of Minnesota Press, 1998; Young-Bruehl.

³ Hanna Arendt. Essays on Understanding, 1930–1954, ed. Jerome Kohn. New York: Harcourt Brace, 1992, p. 5

⁴ Ibid, p. 7.

Если кого-либо атакуют как еврея, он должен защищаться как еврей [...] Принадлежность к еврейству стала моей собственной проблемой, и эта проблема была политической. Чисто политической!¹

Именно это чувство Ясперс назвал «метафизической виной»: идентификацию с жертвами и, тем самым, обязательство рассчитаться с палачами. Как писал Ясперс,

Есть такая *солидарность* между людьми как таковыми, которая делает каждого тоже ответственным за всякое зло, [...] особенно за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я не сделаю того, что могу, чтобы предотвратить их, я тоже виновен [...] я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие [...] объяснения тут не подходят.¹

Объяснения не подходят потому, что метафизическая вина Ясперса является негативным феноменом: я чувствую свою вину не за то, что я сделал, а за то, чего не сделал. Формально рассуждая, эта область бесконечна; на деле она ограничена субъективно определяемой сферой *солидарности*. Подобно негативной свободе Исайи Берлина, негативная вина Ясперса относится не ко всем мыслимым событиям, но к тем, которые входят в мое политическое пространство, потенциальную область моего интереса и действия.

В конце 1945 года Арендт начинает работать над книгой «Истоки тоталитаризма», которая делает ее знаменитой. Трактат, начатый по окончании «горячей» войны, был закончен в разгар «холодной» войны в 1951 года. Арендт уравнила два сражавшихся между собой режима, немецкий нацизм и советский коммунизм, противопоставив их обоим американской демократии. Недавний союзник и недавний противник Америки были объявлены воплощениями одной и той же формы «абсолютного зла». Четыре признака тоталитаризма, по Арендт, таковы: трансформация классов в массы; замена многопартийной системы единым «движением»; контроль полиции над государственными институтами включая армию; внешняя политика, направленная на мировое господство.

Не Арендт придумала ключевое понятие: слово «тоталитаризм» появилось в Италии как гордое самоописание режима Муссолини. Не Арендт ввела в оборот идею о сходстве советского коммунизма и немецкого нацизма: американские правые давно пользовались таким приемом, а американские левые боролись с ним. После заключения пакта Молотова — Риббентропа раскаявшийся американский троцкист Макс Истмен провозгласил тождество советской и нацистской систем и предложил понятие тоталитаризма как общее для обеих. «Сталинизм хуже фашизма по своей грубости, варварству, несправедливости, аморальности, антидемократичности», — писал Истмен в 1939 году: московские процессы были живы в памяти, а о плане уничтожения евреев еще не было известно. Истмен насчитал 21 признак, общий для тоталитарных режимов и не известный в демократиях; Арендт потом укрупнила этот список.² В августе 1939 года четыреста американцев подписали Открытое письмо, которое выражало протест против «фантастических обвинений, что Советский Союз и тоталитарные государства практически одно и то же». В романе Айн Ранд «Источник» эксплицитная и, в военное время, небезопасная аналогия между союзником и противником Америки проводилась в 1943 году. Отрицательный герой этого романа, социолог левых взглядов, вербует сторонника:

Посмотри на Европу, дурак. [...] Одна страна [...] рассматривает индивида как зло, а массу как Бога. [...] А вот другая страна [...] рассматривает индивида как зло, а расу — как Бога.

В обоих случаях, у Арендт и у Ранд, обе системы, коммунистическая и фашистская, были важны как воплощения угрозы, актуальной для Америки.

Фашизм и коммунизм не две противоположности, но две банды, конкурирующие за одну территорию. [...] Это два варианта государства, основанного на коллективистской идее, что человек является бесправным его рабом.³

¹ Карл Ясперс. Вопрос о виновности. Москва: Прогресс, 1999, с. 19.

² Max Eastman. Stalin's Russia and the Crisis in Socialism. New York: Norton, 1940, pp. 81–94.

³ Ayn Rand. The Return of the Primitive, pp. 74–75.

Идеи суть инструменты, учит нас американский прагматизм; во время войны идеи становятся оружием. Книга Ханна Арентд была оружием холодной войны, и ее эффективность должна быть оценена как таковая. Концепция, описывавшая сходства и игнорировавшая различия между германским нацизмом и советским коммунизмом, была востребована тогда, когда стала необходима. Теория тоталитаризма была подхвачена академиком, делавшими реальную политику США, как советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и один из авторов конституции ФРГ, гарвардский профессор Карл Фридрих. После 1968 года концепция считалась устаревшей, критиковать ее в Америке стало хорошим тоном, и в конце концов упоминать само слово «тоталитаризм» в академической аудитории стало неприличным¹. Зато в России после 1991 года слово «тоталитаризм» стало употребляться как всеобъясняющий ярлык, негативный синоним Советской власти; стали появляться и новые образцы словотворчества, например, «тоталитарные секты».

Как мне кажется, академическая критика Арентд до некоторой степени основана на непонимании хорошо забытых определений. Современные историки сходятся в том, что лидерство пользовалось лишь ограниченной поддержкой советского народа, что контроль не был всеобщим и что иногда низы сами требовали репрессий верхов в надежде на вертикальную миграцию. На этом основании делается вывод о том, что тоталитарная теория является наследием «холодной» войны и не соответствует историческим реальностям. Между тем Арентд как раз и утверждала, что тоталитарное общество создается снизу и, в определенных условиях, отвечает глубоким потребностям масс. Именно этим тоталитарный режим отличается от тирании.

Арендт видела нацистский и советский режимы царствами диких мифологических сил, не имеющих ничего общего ни с интересами правительств, ни с благосостоянием масс, ни вообще с инструментальной рациональностью. Когда Гитлер уничтожил население сумасшедших домов, кто-то объяснил это стремлением уменьшить количество едоков в условиях военного времени. Ничего подобного, утверждает Арентд: пользуясь благоприятной ситуацией войны, Гитлер осуществил давний свой план. ГУЛАГ тоже рос вопреки всякой целесообразности, и целину осваивали не для того, чтобы решать продовольственную проблему. Социальная наука подходит к политическим институтам на основе представления об их явной или скрытой функциональности. Арентд утверждает бессмысленность этой идеи в применении к тоталитаризму, но за этим стоит более широкий вывод. Атомарные индивиды считают свое одиночество, бедность и несчастье неизбежным своим состоянием, а литераторы дают этим чувствам все новые образы. Массы потеряли религию, а потом их выключили из политики. Зато они обрели «науку», которая натурализует их несчастное существование, объясняя его социальными механизмами или законами истории. «Язык учености», по словам Арентд, «соответствует потребностям масс», и потому этим языком «так охотно пользовались тоталитарные режимы, а особенно советский». Массы потеряли свое место в культурном мире и в поисках утешения стремятся «к реинтеграции в ряду вечных, господствующих над миром сил»².

Зло не бывает совершенным

Обычный аргумент против концепции Арентд состоит в том, что ни одно из тоталитарных обществ не было совершенным: не все сферы жизни подлежали контролю, не все граждане поддерживали режим, и террор часто был для чего-то или для кого-то полезен. Однако нет ничего совершенного, и даже тоталитаризм не является исключением. Из того, что на свете нет абсолютно черного тела, не значит, что на свете нет черных тел или что понятие «чернота» является бесполезным. Это так же не значит, что тоталитарных обществ не было на свете и что концепция Арентд неверна.

¹ Солидный учебник социологии перечисляет четыре признака тоталитаризма по Арентд, чтобы заключить, что страны реального социализма им не соответствовали, поскольку «представляли собой общества более разнообразные, не укладывающиеся в рамки приведенного определения» (Энтони Гидденс. Социология. Москва: Эдиториал, 1999, с. 321.) Между тем как раз этому определению социалистические общества вполне соответствуют. Легко забывается, что идея тотального контроля, которой социалистические общества действительно не соответствуют, не содержится в дефиниции тоталитаризма по Арентд.

² Hanna Arendt. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, 1958, p. 350.

Подобное суждение основано на непонимании статуса политической теории. «Тоталитаризм» есть идеальный тип, а не исторический портрет, и сконструирован он с очевидными политическими целями, как, впрочем, и любая из теорий. «Истоки тоталитаризма» ставили перед собой классическую задачу испугать читателя, показав ему наглядную модель общества, в котором политические противники предлагают жить.

Если игнорировать различие между идеальным типом и эмпирическим описанием, не выдержит критики ни одна из политических теорий, от Гоббса до Хабермаса. Эта проблема вовсе не специфична. На свете нет абсолютно черных тел, но идея черного цвета остается полезной. Утопии не бывают вполне реализованы: антиутопии не бывают объективны. Это не отменяет значения тех и других. «Истоки тоталитаризма» есть антиутопия, одна из многих подобных попыток, известных XX веку, и самая развернутая. Как любая антиутопия, книга рассказывает об ужасах осуществления определенного утопического проекта, в данном случае двух; как любая антиутопия, она полна преувеличений; как любая антиутопия, она подлежит суждениям пользы и красоты в большей степени, чем суждениям исторической правды. Сравним трактат Арендт с первым опытом такого рода.

Роман «Мы» был закончен Замятиным в 1921-м и опубликован по-английски в 1924 году. Изображенные в нем люди тридцатого века достигли необычайных степеней технического могущества. Они не знают нужды, летают в космос и умеют делать тонкие хирургические операции, например, вырезать душу. Политическая система нового общества основана на отсутствии частной собственности, кастовой иерархии, слиянии частной и публичной жизни, массовой индоктринации, публичных пытках и казнях. Важной частью всего этого является особенный сексуальный режим. На регулярной основе любой член общества может заказать и получить секс с любым другим членом. Замятин показывает детальный контроль Государства над развлечениями граждан, их половой жизнью и исторической памятью. Общество целиком пропитано государством, частная сфера замещена публичной, а последняя основана на самоцельном, демонстративном терроре. Замятин показывает публичные пытки и казни, наследие феодального XVIII века, которое не стали реставрировать даже нацисты; к классическому эшафоту приближались только показательные процессы советских тридцатых годов.

На четверть века опередив «Истоки тоталитаризма», роман Замятина не имел под собой того исторического материала, который имел ключевое значение для Арендт. Модель Замятина богаче модели Арендт в одной важной области. Арендт проигнорировала половую динамику нового общества, которой с понятным интересом занимались Замятин и следовавшие за ним беллетристы. Впрочем, Арендт тоже указывает на разрушение института семьи:

Атомизация масс в советском обществе была достигнута умелым использованием периодических чисток [...]. Очевидно, что элементарная осторожность требовала избегать близких контактов — не для того, чтобы скрыть свои тайные мысли, а для того, чтобы устранить вероятность, что другие люди на тебя донесут [...] в силу необходимости разрушить тебя, чтобы избежать собственного разрушения (323).

Эти сильные слова не соответствуют исторической правде. На одного Павлика Морозова, якобы донесшего на своего отца, приходились тысячи людей, пытавшихся облегчить участь своих родственников.

Тоталитарные движения суть массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. [...] Преданность можно ожидать только от полностью изолированного индивида, который, не имея социальных связей с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, получает свое место в мире исключительно от принадлежности к движению или членства в партии.¹

Верно скорее обратное: люди тем больше ценят частную жизнь в семье и дружеском кругу, чем более разрушены остальные их связи. На деле режимы столетия много говорили о новой морали, но в области семейной жизни проявляли неограниченную умеренность. Какие бы эксперименты над полом и сексом ни предлагали отдельные мечтатели, все они провалились намного раньше, чем сами режимы. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе разрушение общества останавливалось на структурах

¹ Ibid, p. 323.

семьи. Тоталитарное общество, каким оно известно в Германии или России, состояло из атомизированных семей, а не изолированных индивидов. В области частной жизни советский эксперимент ограничился коммунальными квартирами, которые принадлежали к миру не идеологии, а нищеты. Впрочем, вполне особенным опытом была сексуальная культура ГУЛАГа, ужасающе близкая платоновским — от Платона до Платонова — аспектам всякой утопии.

Работа и действие

Для читателя «Истоков тоталитаризма» очевидна диспропорция между детальным анализом западноевропейского материала и схематичным обзором советского опыта. Осознавая эту асимметрию, через год после публикации «Истоков» Арндт подала заявку в фонд Гуггенхайма на грант для написания книги «Тоталитарные элементы» в марксизме. Рукопись этой книги существует, но Арндт была недовольна ею и не стала ее публиковать. Переделка этого материала вылилась в книгу, ставшую знаменитой — «Состояние человека»¹.

Источником несогласия Арндт с Марксом являются противоположные трактовки частной и публичной сфер. Для Маркса история определяется развитием человеческого труда в его материальных, технологических воплощениях. Все остальное является надстроечным и, в конечном итоге, вторичным. Арндт переворачивает эти ценностные отношения. Подлинно историческим и человеческим является лишь политическое. Оно понято необычным и сложным способом: как речь, слитая с действием, разделяемая сообществом и продолжающаяся в бессмертии. Образцы такой политической практики, как, впрочем, и теории, ищутся в античных полисах.

Все человеческие заботы подразделяются Арндт на три категории: труд, работа, действие. Труд поддерживает биологическую жизнь, Марксов «обмен веществ с природой»; это есть дело животных, рабов и домохозяек. Труд создает продукты, которые потребляются сразу по изготовлению, как еда; трудясь, человек не поднимается над уровнем животного, он все еще *animal laborans*. Труд производится телом, работа — руками, действие — головой, а в особенности устами. Изготовление орудий труда, любимый предмет Марксовых спекуляций, для Арндт мало чем отличается от добычи хлеба насущного: оба процесса в равной степени направлены на цель физического выживания. Материальную, практическую, технологическую сторону жизни Арндт относит к сущностям низшего порядка — к частной сфере в сравнении с публичной, к труду и работе в сравнении с действием. Маркс в своей заботе об экономических интересах не понял значения публичной сферы, справедливо считала Арндт. Марксизм подчинил публичную сферу производству и ведению хозяйства, тогда как для Арндт все наоборот: частная сфера, например семейная или хозяйственная жизнь, не имеет значения по сравнению с публичной сферой и общественной речью. В мире Арндт человечность производится не трудом и не работой, но действием.

Согласно Арндт, реальность действия вся находится в сфере речи, общения и политики. Рабовладельцы не работали и не трудились, рассуждает она, но все же оставались людьми; лишь немое, не способное к общению существо теряет признаки человека. Публичная сфера есть область свободы, частная сфера есть область принуждения. Все это противоположно тому, что обычно чувствует современный человек: в обществах и буржуазных, и тоталитарных он редко находит свободу в политике и публичной речи, но постоянно ищет и находит защиту и убежище — иными словами, негативную свободу — в частной сфере своей семьи и своего дома. Айн Ранд так критиковала позицию Арндт:

Экзистенциализм возводит хроническую тревогу в сферу метафизики. Страх, несчастье, тошноту он объявляет не индивидуальной проблемой, но качеством человеческой природы, predeterminedной особенностью «человеческого состояния». Действие является единственным выходом для человека. Какое действие? Любое действие. Вы не знаете, как действовать? Не ведите себя, как цыпленок, смелость состоит в действии без знания.²

¹ Книга переведена на русский «с немецкого и английского» под своим немецким названием: Ханна Арндт. *Vita activa, или О деятельной жизни*. Перевод В.В. Бибихина. Санкт-Петербург: Алтейя, 2000.

² Ayn Rand. *The Return of the Primitive*, p. 90.

Для Арендт только действие есть область свободы и ответственности, а значит, вины. Тирания разрушает политическую жизнь. Те, кто уклоняется от политики, помогают тирану ограничивать их свободу. Нацизм победил не потому, что в стране было слишком много политики, но потому, что ее было слишком мало. Единственным средством против массового общества является демократия, а значит, политическое участие. Это в точности тот же аргумент, на основе которого когда-то, после путешествия в Америку, разбирался во Французской революции Токвиль. Уходящие от невразумительных интересов Хайдеггера, идеи Арендт сближались с либеральной традицией Токвиля или Ясперса. Но разница оставалась существенной.

Согласно Арендт, тоталитаризм наследует западной политической традиции, потому что она вся основана на понимании правления как манипуляции человеческим материалом. Хороший правитель уподобляется ремесленнику, который знает образец для своего ремесла, а хороший мыслитель уподобляется эксперту, который знает единственные решения. Такое понимания действия уподобляет его работе и, тем самым, редуцирует высшие уровни человеческого бытия к низшим. На это Арендт возражала утверждением политики как античного агона, арены или театра, в котором свободно соревнуются ораторы и никто не знает верных путей. Действие всегда сопровождается словом: молчаливо только насилие. Действие неотрывно от мысли; более того, «в условиях тиранического господства значительно легче действовать, чем мыслить»¹. Эти «условия» принципиально важны для Арендт, недавнего автора «Истоков тоталитаризма». В условиях несвободы действие не является высшей формой жизни: таковой оказывается «мысль». Значит, действие не исчерпывает сферу героического. Но мысль как таковая, в отрыве от публичности, политики и, наконец, действия, не интересует Арендт.

В русской традиции «действие» у Арендт напоминает «диалог» у Михаила Бахтина. Но Бахтин писал о романе и уподоблял его политике; Арендт, наоборот, писала о политике и уподобляла ее античной трагедии. Кантовское определение эстетического как незаинтересованного, самоцельного отношения распространяется на политическое действие. Идеал Арендт уходит от политики в эстетику, от демократического, неманипулятивного принятия решения к большому театрализованному перформансу. Арендт иллюстрировала свои идеалы примерами из античной Греции, находя там буквальные и лучшие воплощения своего представления о действии. Со своей стороны, Исая Берлин утверждал, что в античном мире отсутствовали как идеал свободы, так и понятие о правах личности; но и Берлин верил, что в «реальной жизни» свобода у древних могла осуществляться.² Для современного человека сочетание свободы с бесправием трудно представимо. Именно от такого сочетания рождались утопии, которые с полным правом можно назвать тоталитарными. Большая традиция англо-американского либерализма формировалась в борьбе с Платоном, первым из врагов открытого общества³. Как мы видели, к походу против Платона присоединилась и Ранд, в учителя взявшая не Платона, но первого его оппонента, Аристотеля. Арендт в своем воодушевлении политическим действием, каковы бы ни были его экономические или кровавые последствия, возвращалась к утопизму Платона.

Между Платоном и Марксом

В своей критике либеральной современности Арендт забывает о важнейшем из ее достижений, о правах человека. Для нее индивидуальные права принадлежат к той же до-политической сфере, что и насилие: сфере не публичной, но частной жизни; а значит, сфере нелюбимой ею социальности. Если античный полис не знал прав человека, то главные ее примеры «политического» из Нового времени — американская революция, французское Сопротивление, будапештское восстание — очевидно связаны с борьбой за индивидуальные и групповые права. Но Арендт нечего сказать о тех ситуациях, когда права эти гарантированы и, более того, соблюдаются на деле. Нару-

¹ Ханна Арендт. *Vita activa*, с. 423.

² Isaiah Berlin. *Two Concepts of Liberty* — in his *The Proper Study of Mankind*. London: Picador, 1998, p. 201.

³ Карл Поппер. *Открытое общество и его враги*. Москва: Культурная инициатива, 1992, т. 1–2.

шение прав оказывается политическим актом, их соблюдение — нет. Хотя Арендт множество раз возвращается к проблеме античного рабства, восторг перед гражданами полиса очевидно более важен для нее, чем сочувствие к их рабам. Греки потому презирали рабов, считает Арендт, что те добровольно предпочли рабство самоубийству. Рабы, имея свободу расстаться с жизнью, выбирали исполнение телесных надобностей, а греки презирали жизненную необходимость. Объявив самоубийство самым страшным из грехов (убийц хоронят на церковном кладбище, а самоубийц нет), христианство лишило человека последней свободы, сожалеет Арендт. Возможно, за этими рассуждениями стояла реальность более актуальная, чем античная: единственный выбор, который был у узников нацистского лагеря, выбор между рабством и самоубийством. Арендт сожалеет, что иудаизм и христианство научили нас ценить жизнь как таковую, жизнь любой ценой. В политической теории именно отсюда следует социальная ответственность правителя. Арендт не согласна: удовлетворение жизненных потребностей есть путь раба. Путем господина была свободная реализация личности и, конечно, желания. Но свобода господина обеспечивается работой раба. Странно, что рабство не мешает Арендт строить ретроспективную утопию прекрасной Греции. Так и ее восторженной истории американской революции не мешает то, что борцы за свободу оставались рабовладельцами. Война за независимость как борьба против политического владычества вызывает у Арендт несравненно больше интереса, чем Гражданская война как борьба за социальное равенство.

Поэт действия и свободы, Арендт не была либеральным мыслителем. Нечувствительность к правам человека резко отличает ее как от Токвиля, так и от следовавшей ему англосаксонской политической философии¹. Теория действия была новой попыткой описать человеческую свободу в содержательных терминах, что, возможно, есть задача, логически неразрешимая. В удобных терминах Исайи Берлина, Арендт была поглощена позитивной концепцией свободы. Между тем основная апория либерализма состоит в приоритете негативной свободы, которая одна доступна рациональному определению, а значит, и правовому контролю. Достаточно определить те свободы, иначе говоря, права, которых субъекта нельзя лишать. Ту свободу, иначе говоря, действие, которое субъект в этих условиях выберет для себя сам, нельзя определить или контролировать именно потому, что это дело его свободного выбора. Только негативная свобода, или права человека, мыслима безотносительно к конкретному субъекту. Определение позитивной свободы субъекта ведет к ущемлению его негативной свободы.

Но история движется вперед, а политики ищут славы. История знает успешные реформы колонизаторов и просветителей, которые переделывали «человеческий материал», не доходя до террора. Дело философа в том, чтобы совместить гарантии свободы с пространством для публичной активности — раскрыть секрет действия, которое одновременно было бы свободным и совместным. Согласно Исайе Берлину, секрет в приоритете негативной свободы, иначе говоря, индивидуальных прав. Свобода собраний означает, что я могу ходить, а могу и не ходить на собрания любого рода. Всякая попытка позитивного определения свободы собраний ведет к тому, что меня заставят ходить на собрания, а точнее говоря, на Собрание.

Только концепция индивидуальных прав может противостоять трансформистской политике, которая относится к человеку как к средству. С головой погрузив субъекта в ткань публичных отношений, требуя от него не покоя и воли, но действия, и перенося свой идеал в античность, Арендт осудила то, чем отличается современный человек и чем он вправе гордиться: невиданный рост частной сферы и ее самоотделение от публичности. Технический прогресс и социальное перераспределение привели к тому, что множество ценностей и деятельностей, которыми раньше можно было заниматься только сообща, теперь оказываются индивидуальным или семейным делом. Даже информация, этот совместный мир миллионов, в подключенной в сеть «персональной» машинке обретает вкус и характер своего пользователя. При всех поворотах в пять XX век оказался временем грандиозной приватизации жизни.

Пытаясь дать корректное, не ограничивающее свободу представление о действии, Арендт удовлетворялась чрезвычайно абстрактными определениями. Пытаясь увести

¹ О зависимости Арендт от Токвиля, которую она предпочитала скрывать чаще, чем оформляла ссылками, см. Hanna Fenichel Pitkin. *The Attack of the Blob. Hannah Arendt's Concept of the Social*. Chicago: The University of Chicago Press, 1998, ch. 7.

политическое за пределы политики, Арендт оставила вне рассмотрения важнейшие феномены публичной сферы, которые современный человек привык считать гарантиями своей свободы и источниками ответственного действия: публичный журнализм, парламентские дебаты, избирательные механизмы и вообще демократическую политику. Американская политическая машина, европейская социал-демократия, современная политика не идут для Арендт ни в какое сравнение с временами Сократа и Перикла. Американское общество кажется ей обществом труда и потребления, царством победившего animal laborans. «Вполне мыслимо, что Новое время, начавшееся такой неслыханной [...] активизацией всех человеческих способностей и деятельностей, завершится [...] самой стерильной пассивностью, какую когда-либо знала история». Более того, современный человек уже настроился на «превращение себя в тот животный вид, от которого после Дарвина он считает себя происходящим»¹.

Человечность как таковая определяется через публичную сферу: «Кто не знал ничего кроме приватной стороны жизни, кто подобно рабам не имел доступа к общественному или подобно варварам вообще [...] не учредил открытую всем публичную сферу, собственно человеком не был»². Так рабы, варвары и граждане тоталитарных обществ лишаются права быть людьми. Арендт вполне отрицает возможность борьбы с тиранией путем ухода в частную сферу, которую утверждали как последнюю гарантию свободы Пушкин и Токвиль, а за ними Исая Берлин и, в специфической форме частного предпринимательства, Айн Ранд.

Растворение человека в пространстве межчеловеческих отношений и соответствующее пренебрежение ко всему тому, что человек способен делать один, для себя и сам с собой, роднит Арендт с социалистическими мыслителями. На последней странице своей книги Арендт признает, что исключила мысль из объема и содержания «Vita activa», хотя, добавляет она, мысль «все еще возможна». Поскольку человек только в публичной сфере становится человеком, постольку общественное вмешательство в частную жизнь не кажется Арендт особенно опасным. Платон, «зашедший в отмене частной собственности так далеко, что можно говорить просто-таки об отмене у него частной жизни»³, продолжает пользоваться любовью Арендт. Страшнее кажется ей возможность захвата общественного диалога в частные руки, чего всегда опасались критики капитализма. Античные тираны, которые переделывали полис как свою расширенную семью, вызывают у Арендт сильнейшую антипатию как прообраз социал-демократических попыток свести политическое развитие к экономическому и социальному, к практической заботе о росте и справедливости. Все это ограничивает публичную сферу действия и, стало быть, враждебно ее философу. Антимодернистский характер политического идеала Арендт очевиден почти на каждой странице «Vita activa»; и почти так же несомненна антиисторическая мифологизация далекой, едва ушедшей от шаманизма и кровавых таинств античности.

Если «Истоки тоталитаризма» объявляли «холодную» войну тоталитарной Европе, то «Vita activa» распространяет тот же жест на демократическую Америку. Воображением Арендт движет эмигрантская неудовлетворенность, более или менее разделяемая любым беженцем, и специфически немецкое романтическое наследие. Апология абстрактного действия в «Vita activa» есть самая большая уступка, которую Арендт когда-либо сделала наставнику ее юности, Хайдеггеру. Если читатель Арендт представит себе, в каких формах в современном обществе могло бы реализоваться действие, не уравновешенное правами, он увидит героя, театральным голосом провозглашающего новый порядок и слышавшего восторженные крики толпы. Моя гипотеза, возможно, слишком сильная, состоит в том, что в своем понимании действия и в своих греческих примерах Арендт делает полный круг и возвращает нас к тоталитарной политике. Под видом найденного идеала мы знакомимся с юношескими воспоминаниями о нацистских лидерах или, вероятнее, о той архаической философии, которую они по-своему выражали.

Утопии и антиутопии сходны в своем интересе к техническим достижениям будущего. Химики сделают еду из нефти, как у Замятина. Психологи будут программировать развитие личности, как у Хаксли. Политики будут контролировать любое иное мышление, как у Оруэлла. У Арендт полностью отсутствует этот интерес к технике.

¹ Ханна Арендт. Vita activa, с. 420.

² Там же, с. 51.

³ Там же, с. 41.

Между тем техническая база являлась определяющей базой любого тоталитарного режима. Лишь новые средства информации, транспорта и насилия делают возможным то, о чем не могли мечтать тираны Возрождения: всеобщий учет, сыск и слежку; гарантированное подавление сопротивления; пропаганду, однородную во всех классах и регионах; и наконец, массовые ликвидации. Для всего этого нужна техника XX века: телеграф, паровоз, радио, пулемет. Без них подобные режимы не могут существовать и не существовали. Странно, но «Истоки» Арендт молчат о технологической базе тоталитаризма. Молчат об этом и многие ее комментаторы; возможно, проблема кажется слишком очевидной. Ключевой вопрос для Арендт в том, служат ли человеку вещи, которые он создал, или же он служит вещам. «Состояние человека» начинается с восторга по поводу советского спутника 1957 года как нового образца героического, самоцельного действия. Благодаря мнимой бессмысленности этого свершения «человек более не является прикованным к земле». Это воодушевление по поводу техники, которая через пару лет станет главной угрозой человечеству, сегодня кажется наивным. Таковой же является и вся философия *Vita activa*, с помощью которой Арендт пытается выйти из порочного круга левой утопии, которая оборачивается тоталитарной политикой.

Философия и эмиграция

В характере философской интуиции всякий раз сказывается политический опыт. Ханна Арендт бежала из нацистской Германии, в которой ущемления индивидуальных прав имели резкий, но избирательный характер. Промышленность оставалась в частном владении, фюрер и партия поддерживали экономический рост, и интеллектуальная или инженерная элиты не нуждались в обосновании своих прав. Германская проблема состояла в радикально-позитивном определении жизни, которое дал нацизм всем, кроме евреев и двух-трех других групп. Идеология пользовалась поддержкой народа, и потому мечта о демократии не давала философского убежища. Нацистское определение политики следовало подвергнуть критике с тем, чтобы противопоставить ему тоже позитивные, но менее опасные ценности. Философской основой этого поиска оставался Платон, воспринятый через Хайдеггера; в этих рамках нелегко было дистанцироваться от собственного наследия. С другой стороны, Айн Ранд и Исайя Берлин сосредоточили свой жизненный сценарий на концептуальной охране частной сферы, личной собственности, негативной свободы.¹ Беженцы из большевистской России тоже были знакомы с народным утопизмом, но помнили и силу массового протеста, выплеснувшегося в годы Гражданской войны. Российской проблемой было радикальное ущемление негативной свободы, а вместе с ней и всякого творчества и роста. В интеллектуальной борьбе против тирании русские беженцы могли надеяться на здравый смысл простого человека и старые, аристотелевские рецепты свободы: иными словами, ценности либеральной демократии.

В своем обличении капитализма как «общества работы», а не общества деяний, Арендт была согласна с философами франкфуртской школы, самыми успешными из американских критиков американского капитализма. По своим политическим убеждениям такие люди, как Герберт Маркузе или Теодор Адорно, были несколько левее Арендт и бесконечно левее Ранд. Немецкие евреи, после эмиграции преуспевавшие в американской академии, все они в своем веймарском прошлом были социалистами. В американской эмиграции они продолжали верить во внутреннюю порочность буржуазии, в непреодолимую дисгармонию общества, основанного на частной собственности, и в возможность окончательного искупления революцией. К трагедии нацизма, к гибели друзей и всей родной культуры прибавлялась горечь эмигрантской жизни с ее языковыми проблемами, трудностями контактов, частыми переездами. Они представили свой опыт беженцев как типическую трагедию современного мира с его отчуждением, изоляцией, атомарностью.

Эти беженцы из нацистской Германии неизменно выбирали для своей эмиграции один путь — на буржуазный Запад и далее в капиталистическую Америку. Они

¹ В важном месте главной своей работы, когда Берлин говорит о политиках, для как к «человеческому материалу», он цитирует Бухарина (Berlin. Two C p. 209)

ящихся к лотs of Liberty,

могли поехать противоположным путем, в социалистический Советский Союз, и никто из них не сделал такого выбора. Историки до странности редко задавались вопросом о том, почему жизненные пути философов франкфуртской школы оказались противоположны их философским взглядам.¹ Возможность пути на Восток иллюстрирует судьба самого мистически настроенного и, одновременно, самого одаренного из франкфуртских философов, Вальтера Беньямина. Он один поехал в Москву и честно пытался работать на Советскую власть: общался с деятелями Интернационала, писал статьи для Большой Советской Энциклопедии, влюбился в московскую красавицу. Жить в Москве было слишком трудно даже для Беньямина; но пока он тратил время на невозможный проект, более практичные коллеги искали и находили работу в Америке.

Вполне очевидно, что причиной совершенного этими людьми выбора была информация о положении в России, которой они в обилии располагали. В веймарской Германии куда лучше знали большевиков, чем в рузвельтовской Америке. Но живя в эмиграции, Адорно и его коллеги посвятили оставшуюся часть творческой жизни безжалостной критике капиталистического производства и его зловещей надстройке, массовой культуры. Мало кто из них полюбил Соединенные Штаты; почти все сделали свои новые карьеры на обличении местной жизни. Эмигрантский опыт в который раз оказался важен для Америки: свежий взгляд европейца помогал осознать проблемы, которыми маялись местные интеллектуалы. Бунтовщики 1968 года и популярная культура хиппи так часто повторяли формулы Адорно, Маркузе или еще более левого, умершего в американской тюрьме психоаналитика Уильяма Райха, что само авторство этих идей почти утерлось.

В начале XXI века пришлось признать ошибку этих людей. Случилось обратное тому, что они наблюдали и предсказывали: не распространение законов производства на частную жизнь, но противопоставление работы и жизни, рабочего места и личного дома. Марксистская идея о том, что производственный базис определяет социокультурную надстройку, отражала ситуацию ремесленного производства: сапожник работал в мастерской на первом этаже, его семья жила в надстройке, и все по мере сил участвовали в творческом деле тачания сапог. Паровая машина изменила эти соотношения, но радикально преобразовал их только конвейер. Теперь рабочее место навсегда отделилось от жилья и семьи, и разница приобрела тотальный характер. Рабочие Форда стали домовладельцами, их жены стали домохозяйками. Эффективно и не особенно творчески работая в рационально организованной системе производства, рабочий возвращается в собственный дом и отдает немалый остаток сил своей частной жизни — потреблению, семье, хобби. Конвейер позволил перейти от потогонной системы к новому гуманизму, культивации прав собственности, индивидуального разнообразия, стабильной семьи. Американские историки называют этот процесс, связанный с распространением конвейерного производства, второй индустриальной революцией. Но у него есть и другая сторона: творческие силы рабочего больше не заняты производством, и высшие его потребности удовлетворяются не в рабочее, но в свободное время. Этот расцвет частной жизни далеко не совпадает с тем, о чем Ханна Арендт мечтала как о подлинном действии; и все же это явление выходит из пределы того, что она с пренебрежением называла работой и трудом. Критическая мысль Арендт оказалась верна не для ее времени, но скорее для нашего. В своем воображении Арендт лишила производство и научно-технический прогресс того первостепенного значения, которое имели они в культуре XIX и большей части XX века. Теперь, в XXI, мы наблюдаем, как этот процесс свершается в реальной истории.

Производство, работа как таковая, потеряло свое почетное место в культуре. Нас сегодня мало интересует новая техника — станки, прессы, конвейеры — и те, кто на ней работают. Изобретения в области микрочипов или самолетов едва находят место в наших новостях. Люди стараются жить как можно дальше от заводов; заводы стараются строить как можно дальше от людей. В течение последнего столетия реальные производства перемещались из географических центров цивилизации на ее периферию, и так же вытеснены они из чувствительных центров культурного внимания. Нас интересуют политика и искусство, путешествия и рестораны, состояние финансов и

¹ Пионерский анализ эмигрантского выбора франкфуртских философов см. Irving Louis Horowitz. *Behemoth. Main Currents in the History and Theory of Political Sociology*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999, ch. 10.

образование детей; нас не интересуют шахты, станки, конвейеры. Эта ситуация кажется естественной; но она разительно отлична от того, что было в XIX веке и в начале XX. Профессия инженера была престижна и высокооплачиваема. Заводы строились с колоннами и скульптурами, как дворцы. Философы, оставив другие заботы, рассуждали о пролетариате. Всего этого больше нет. В своей дискредитации работы, техники и производства Арендт оказалась права, хотя ее вряд ли обрадовало бы постмодернистское переворачивание ее идей. Различение между работой и действием было мотивировано критикой индустриального капитализма, но оказалось реализованным не в героической, а совсем в иной сфере: в постиндустриальном развитии сферы услуг. Пользуясь излюбленной ею аналогией с античным полисом, нетрудно увидеть: главные наши занятия продолжают не дела свободных граждан, но скорее дела рабов.

Диссидентство технократа

Критикуя Маркса за недооценку публичной жизни и политической речи, Арендт перекосила свой мир в противоположную сторону. Она катастрофически недооценила значение работы, техники, прогресса. В современной технике Арендт с неодобрением видит что-то вроде искусственной оболочки, которой человек окружает себя подобно улитке.¹ Но когда улитки распознают себе подобных, они делают это по своим прекрасным оболочкам, а не по их бесформенному содержимому; и в том, что человек начинает определять себя через свои технические продолжения, от домотканой одежды до интернетовского сайта, нет ничего бесчеловечного. Архитектор или врач делают нас человечными в той же степени, что философ или политик, и предпочтения здесь бессмысленны. Орудия и продукты труда — плуг и скальпель, самолет и компьютер — в огромной и возрастающей степени создают наш человеческий мир. Не менее важно, что машины могут использоваться вопреки своему назначению, каковым является служение пользе и различию; они могут применяться как враги индивида и орудия власти. Дело философа создавать свои инструменты, которые помогали бы разбираться во всех остальных инструментах. Философия Арендт не дает ключей к отношениям между целями и средствами; между добром, которое всякий получает от послушных ему машин, и злоупотреблением ими для слежки или насилия. Ни один режим не охватил мировой революцией всю планету и уже потому не являлся, в строгом смысле слова, тоталитарным. Режиму не удавалось остановиться на достигнутом уровне военной и прочей техники, потому что его внешние враги не довольствовались этим уровнем. Эта проблема имеет первостепенный характер. Именно она привела к катастрофе все тоталитарные режимы, — нацистский, советский, маоистский. Но Арендт пропустила всю проблему как несуществующую. Больше всего ее интересовали возможности политического действия внутри режима, волновали люди французского Сопротивления или венгерской революции; но судьбы мира решались не этими героями. Судьбы мира, каким мы его знаем, решались инженерами ядерных лабораторий и двойными шпионами, но более всего общей эффе́ктивностью политической системы. Куда яснее, чем Арендт, эту проблему видел за сто лет до нее Токвиль. Один из вопросов «Демократии в Америке» в том, может ли демократия выдержать военную угрозу диктатуры? Диктатура способна быстрее мобилизовать ресурсы, но в долгосрочной перспективе демократия окажется сильнее и жизнеспособнее, — на сотнях страниц аргументировал Токвиль. Теперь мы знаем, что так произошло и в горячей войне, и в холодной. Диктатура всегда воюет на два фронта, с внешним врагом и с собственными подданными; демократическое правительство воюет неохотно, но если воюет, то в союзе со своим народом.

Тоталитарный режим основан на высоких технологиях слежки, коммуникации и агрессии. Но технологии требуют первооткрывателей, изобретателей и вообще рабочую силу особенного качества. Контроль основан на техническом прогрессе; прогресс требует творчества; творчество требует свободы; свобода подрывает контроль. Непрерывный, мучительный компромисс между знанием и властью подрывает самые основы режима. В этом поле возникает важнейший феномен позднего тоталитаризма: феномен технического гения, который становится в оппозицию режиму и подрывает его основы. Иначе говоря, герой работы становится основоположником действия. Арендт

¹ Хаана Арендт. *Vita activa*, с. 421

ощущала эту возможность, но она противоречит важнейшим ее классификациям. «Vita activa», начавшись с восторга перед советским спутником, кончается так:

Способность к действию [...] все еще с нами, но ныне стала исключительной прерогативой ученых-естественников, которые расширили сферу человеческих дел до точки исчезновения устоявшегося раздела между природой и человеческим миром. В свете этих достижений, осуществлявшихся веками в непревзойденной тишине лабораторий, кажется вполне уместным, что поступки ученых приобрели большую ценность новизны и большее политическое значение, чем административная и дипломатическая деятельность так называемых государственных мужей. Не лишено определенной иронии, что именно те, кого общественное мнение упрямо считало наименее практичными и наименее политическими членами общества, оказались единственными, кто еще знает, как совершать поступки, и кто способен делать это сообща¹.

Это запоздалое признание мысли — действием, ученого и инженера — героем современной эпохи переворачивает всю систему. Похоже, Арендт кончает тем, с чего начинала Ранд. В романах Айн Ранд ученые или инженеры, сохраняющие способность действия тогда, когда государственные мужи и социальные идеологи ее утрачивают, являлись начиная с антиутопического «Гимна» 1937 года. Тогда еще была очевидна зависимость Ранд от самого тогда успешного из русских романистов на английском языке — Замятина. Новостью жанра, которую придумала Ранд в «Гимне», была деградация коллективистского общества до уровня каменного века. Как у людей в «Мы», у людей в «Гимне» нет имен. Как «Мы», «Гимн» написан от лица технического гения, восставшего против режима в двойную силу любви к знанию и любви к женщине; в обоих романах эти герои записывают свои прозрения для потомков. Ранд дала мотиву Замятина интересное развитие: новые люди, не имеющие частной собственности и не знающие индивидуальных чувств, забыли все личные местоимения. Они знают только слова «Мы» и «Они», которые применяют к себе и к отдельным другим. Когда главный герой влюбляется в женщину, он формулирует свои чувства так: «Мы думаем о Них». «Гимн» рассказывает об обществе будущего, обществе после большой войны. Большинство погибло, а уцелевшее меньшинство в попытке предотвратить дальнейшее уничтожение обратило цивилизацию вспять. Все книги сожжены, техника запрещена, и даже упоминание о прошлом запрещено под страхом смерти. Секс отменен, но в целях размножения практикуется дважды в год: партнеры подбираются властью и никогда не видят друг друга. Разделенные на касты, ходящие строем, спящие в общежитиях, люди живут в условиях каменного века. Недавним изобретением, вызывающим мистический трепет, является свеча.

Герой Ранд работает подметальщиком улиц и вступает в незаконный контакт с героиней-крестьянкой. Технический гений, он открывает вход в бесконечный туннель, оставшийся от Неупоминаемых Времен (он не знает слова «метро»). Он устраивает в нем свою тайную мастерскую, экспериментирует с найденными предметами и зажигает лампочку. Он пытается дать вновь найденный свет людям, но подвергается физическому наказанию. Тогда он бежит, вместе с лампочкой и крестьянкой. Найдя заброшенный дом в недоступных горах, полный книг и непонятных, увлекательных предметов, он дает начало новой цивилизации. Первым делом он изобретает слово «Я».

Ранд меняет экологическую среду антиутопии и, пожалуй, дает новый оттенок политической теории либерализма. У Замятина люди, не имеющие имен и собственности, живущие в прозрачных стенах и марширующие в ногу по два часа в день, делают выдающиеся изобретения. Мыслимо ли это? Здесь нужна, например, развитая система образования. Но чтобы выучить студента чему-нибудь, кроме строевой подготовки, ему надо дать свободу. Нужна система мотивации: хорошо работающий инженер должен жить лучше, чем плохо работающий, иначе оба будут работать одинаково плохо. Люди, лишённые свободы, не способны к развитию технической цивилизации. Вслед за свободой они теряют способность к изобретению и творчеству. Такой режим

¹ Hanna Arendt. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958, p. 324. Как раз в этом ключевом месте перевод В.В. Библихина становится крайне ненадежным: «it seems only proper» переведено как «уже не кажется уместным», а «It certainly is not without irony» передано как «Трудно не стать ироничными» (с. 422 русского издания). Вся конструкция приобретает обратный смысл. Эта ошибка, как и положено ошибке первоклассного переводчика, полна значения. Перевод сгладил трансформацию, которую идеи автора претерпевают буквально на последней странице книги.

деградирует именно в тех своих аспектах, которые считает единственно важными: в технике, силе и власти. Свобода не есть гуманитарная игрушка, изобретение философов и писателей, но необходимое условие технологического развития.

У Токвиля можно найти все; даже Замятин, очень умный социальный конструктор, не видел технологического потолка, в который упирается несвобода. Несмотря на солидный опыт либеральной мысли, идея циклических взаимосвязей между свободой и прогрессом принадлежит XX веку и отсутствовала в популярной философии XIX. В «Чевенгуре» Платонова, написанном за 10 лет до «Гимна» Ранд, утопическая коммуна тоже деградирует к каменному веку, а ее голодные идеологи проповедуют, что труд есть проклятое наследие буржуазии. Но ни Ранд, ни Арндт, конечно, не читали «Чевенгура». Слишком часто оказывается, что открытия в области политической теории делаются не теоретиками, а практиками: писатель, ищущий внятного образа для самых важных своих надежд и страхов, тоже является таковым.

Последняя стачка

Своего расцвета идеи Ранд достигают в двух последних и самых популярных ее романах — «Источник» и «Потрясенный Атлас». В обоих случаях центральные характеры — выдающиеся инженеры, герои практической работы, гении взаимодействия с земным миром. Они проектируют небоскребы и электрические машины, строят Манхэттен и то, что впоследствии назовут Силиконовой долиной. Они преследуют практический интерес и отрицают социальные условности, налипшие на их искусство и мешающие им работать. Они находятся в прямом контакте с тем, что Ранд называет Реальностью: это физическая материальность мира, которую технический гений обладает способностью приводить в соответствие с высокими потребностями человека. Красивые, умные и сильные женщины, которыми украшены оба романа, тоже воплощают в себе Реальность. В конечном счете природе судить о том, правильно ли построено здание, и она жестоко наказывает плохого архитектора. Так и великолепные героини Ранд награждают или наказывают своих поклонников от лица самой Реальности. У нее женское лицо: она прекрасна, загадочна и пассивна. Реальность и женщины в этих романах ничего не делают, но на все отзываются. Судят они без ошибки, и их любовь неизменно принадлежит инженерам. Но тем мешают сильные люди рузвельтовской Америки — социологи, журналисты и бюрократы левых убеждений. Эти люди живут в плену всего того, что направлено против Реальности: в плену устаревшего стиля, или социальных идей, или мелких своих страстей.

Как голливудские фильмы или романы социалистического реализма, книги Ранд всегда заканчиваются победой правого дела: здание построено, общество спасено, а женщина сама приходит к герою. В центре «Источника» архитектор-конструктивист, который борется с архаическим стилем 1930-х годов, нелепым в эпоху небоскребов. Герой проектирует здания из прямых линий, стекла и стали, но они остаются на бумаге, а Нью-Йорк застраивается стоэтажными дворцами с античными портиками. Главным врагом нашего функционального героя является знаменитый архитектурный критик и левый социолог, который годами убеждает публику в том, что только дорогие фасады с колоннами воплощают подлинно американский дух социальной справедливости и античного героизма. Будущее, конечно, за гениальным архитектором. Реальность имеет свои средства покарать того, кто нарушает ее права, и она вступает за тех, кто знает и любит ее больше, чем социальные условности. В «Потрясенном Атласе» мы следим за центральным конфликтом рузвельтовской Америки и обсуждаем главную проблему ушедшего столетия: от своих технических изобретений герой переходит к осознанию капиталистической экономики как выдающегося достижения человечества — не только самого эффективного, но и самого нравственного из механизмов социальной жизни.

Заботясь о себе, индивидуальные субъекты добровольно вступают в договорные отношения и соревнуются за успех в избранном деле; это и есть капитализм, самая совершенная система из мыслимо возможных. Система символизируется знаком доллара и формулой $A=A$. Современная жизнь вся, от самолета до унитаза или таблетки с витаминами, изобретена умными людьми. Ум инженера, руководителя, организатора производства достоин большей оплаты, чем глупый труд исполнителей. Нет большей справедливости, чем позволить изобретателю самому владеть изобретением и располагать полученной выгодой. Но публика и правительство живут иными идеями. Проф-

союзы требуют все больших выплат, налоги повышаются с каждым годом, разница между доходом умных и зарплатой глупых все уменьшается, и инфляция доллара опровергает то, что $A=A$. Под руководством социалистического правительства страна Америка знакомится с дефицитом, очередями, распределителями. Те же профсоюзы, что начали порочный круг своими требованиями незаработанной зарплаты, приступают к масштабным забастовкам. В стране стоят заводы, стройки, железные дороги. Правительство пытается подавить забастовки, но отказывается пересматривать экономическую политику. Социалистические бюрократы в Вашингтоне не понимают происходящего. Они пришли к власти, чтобы бедные стали богаче, а богатые беднее; но получилось только последнее. У правительства нет денег, и любая правительственная мера ведет к росту инфляции. Вместо того, чтобы снижать налоги, правительство повышает их. Протестующие американцы взрывают мосты в Нью-Йорке. Фермеры Южной Дакоты идут в поход на столицу штата, сжигая правительственные здания. Идет гражданская война между Джорджией и Алабамой: южные штаты отрезаны от Севера и погружены в нищету.

Главный герой «Потрясенного Атласа» Джон Галт выступает с радиообращением к нации. Он объясняет кризис лживой социальной теорией и предательством американской традиции. Он обращается не ко всем, но только к тем, кто умен и богат или был бы богат при другом режиме. Он призывает к национальной забастовке собственников, менеджеров и инженеров. Между нашей забастовкой, говорит герой, и всеми предыдущими есть большая разница: наша забастовка заключается не в предъявлении требований, но в ответе на них. Вы в правительстве считаете нас бесполезными эксплуататорами: что ж, мы перестаем эксплуатировать, говорит он социалистам. Теперь, когда мы перестанем работать, мир станет совсем таким, каким вы хотели его увидеть. Все беды, которые вы принесли миру, суть результат вашего непонимания того, что $A=A$. Нет ничего более морального, чем рациональность и хороший счет; и нет ничего более аморального, чем мистические призывы к всеобщему благу, подкрепляемые инфляцией. Всякий диктатор есть мистик, и всякий мистик есть потенциальный диктатор. Мистика и диктатура основаны на согласии без понимания. Человек стал человеком, когда мы отведаль плод с древа познания и почувствовал желание и стыд. Социализм пытается загнать людей обратно в рай, где они стали бы роботами, лишенными знания, творчества и радости. Я, говорит Джон Галт, не испытываю вину за свое знание. Я не буду жертвовать собой ради других и не хочу принимать их жертвы. Я горжусь своим телом, своей собственностью и плодами своего труда. Древние и новые учителя социализма расщепили человека на тело и душу. Они отрицали и отрицают целостность реальности, духовность секса, творческий характер материального труда. От этого страдаем мы — изобретатели, авторы, творцы цивилизации. Нас объявили аморальными людьми, а наше творчество недостойным делом. Пусть живут без нас. Мы объявляем забастовку.

В этой многостраничной речи Алиса Розенбаум высказала все, что привезла из ленинской России в рузвельтовскую Америку. Несомненно, это лучшая из формулировок философской и политической позиции Ранд. Эта позиция не менее радикальна, чем проект всеобщей забастовки собственников, и так же своеобразно отвечает потребностям момента. Философы часто основывали свои дискурсы на потребностях угнетенных меньшинств, будь то бедные, или женщины, или гомосексуалисты. В мире 1930-х годов угнетенным меньшинством стали капиталисты, и их классовый интерес нашел свой голос в текстах русской эмигрантки. Джон Галт прославляет не капитал, но капиталиста; не радость аскетического накопления и, тем более, не прелести люксового потребления, но ум и знание бизнесмена, изобретателя, менеджера. Тысячи честных людей своим талантом сумели добиться хорошей жизни для себя и своей семьи, а попутно создали небывало разнообразную, стабильную, удобную среду обитания для миллионов, лишенных этого таланта. Неблагодарный мир живет завистью к этим успешным людям, облагает их налогами и сопротивляется их влиянию. Большинство не понимает, что, ущемляя права успешного меньшинства, оно подрывает источник собственного благополучия. Образцовый капиталист, Джон Галт объясняет эту истину: социалистическому миру в той привычной форме, в который привык изъясняться этот мир, — в форме забастовки.

«Потрясенный Атлас» кончается вскоре после этой речи; и правда, автору немногое осталось сказать. Большой бизнес начинает забастовку. Пытаясь спастись, правительство хочет назначить Галта экономическим диктатором. Тот отказывается от сотрудничества. В надежде склонить его на свою сторону социалисты используют все

средства от подкупа до пытки. Как в советском романе, наш герой преодолевает все соблазны и страдания. Как голливудский фильм, история кончается счастливым концом. Америка свергает социалистов и вся становится как Джон Галт. Страна возвращается к утерянной на время вере в силу и успех отдельного человека. Антиутопия Ранд кончается так же, как все прочие произведения жанра начиная с «Мы»: картиной жуткого крушения нового мира, построенного на искусственных законах равенства и несвободы.

Роман был и остается чрезвычайно популярен. Читая «Потрясенный Атлас» в 1974 году, Алан Гринспан восклицал: «Айн, это невероятно. Никто никогда не показывал, что на самом деле значит индустриальный успех»: он значит моральную победу, доблестное свершение, свободный и ответственный поступок. В 1961 году Ранд объявила о культурном банкротстве Америки. Левые интеллектуалы завладели университетами, социальными службами, печатью. Они утверждают, что «Америка, самая благородная и свободная страна на земле, политически и морально ниже Советской России, самой кровавой диктатуры в истории». Лишь мир бизнеса свободен от коллективизма; но его не слышно и не видно, потому что ему отсечен выход к публике. Чтобы избежать индустриальной контрреволюции, Америке нужна интеллектуальная революция. В книжке 1961 года «За нового интеллектуала» Ранд предсказывала поколение, которое воссоединится с бизнесом, оставит мистику, поверит в силу разума, признает ответственность идей за события, например за экономическое развитие. Она оказалась права, поколение хиппи сменилось поколением яппи.

Ранд не любила слова «либерал» и не признавала себя консерватором. Ее не устраивал существующий порядок вещей, она утверждала его опасность и призывала его переделать; при чем тут консерватизм?

Объективисты не являются «консерваторами». Мы — радикалы от капитализма; мы боремся за ту философскую фазу, которой капитализм еще не прошел и без которой он осужден на гибель.

Результатом этой гибридизации была редкостная политическая порода: правый радикализм. Фигура Гринспана, недавно назначенного на третий срок в своем офисе, показывает, что идея не была совсем утопической. В «Потрясенном Атласе» американские бизнесмены объявляют национальную забастовку, но спасают Америку от еще большей катастрофы социализма. Здесь, похоже, образы Ранд делают полный круг. Она ищет избавления от своего раннего опыта в России и гарантии того, что он не повторится в Америке. Но она конструирует врагов с темпераментом и настойчивостью, которые куда более свойственны стилю советской родины. Под конец, как избавление и рецепт, она предлагает большому бизнесу Америки осуществить всеобщую стачку, более всего напоминающую события 1905 года в России — время и место ее появления на свет.

Большой спор

В отношении к таким ключевым проблемам нашей западной цивилизации, как техника, работа, рациональность и материальность, нет мыслителей более отличных между собой, чем Айн Ранд и Ханна Арендт. Первая преклонялась перед людьми инженерного труда, создающими сильные машины, высокие здания, умные приборы и, вместе с этим и сверх этого, сам капитализм. Новый капиталистический человек восстановит забытое единство тела и духа. Для Ранд только технические гении, мастера вещественного творчества, освобождают людей от всего, что мешает им жить и работать. Арендт, наоборот, отрицала человеческое содержание техники, товаров и материальности. Стремление людей к свободе и общению не соприкасается с их стремлением создавать вещи, обмениваться ими и этим обогащаться. Эти две реальности столь же отличны, как дух и плоть. Герои старых и новых эпох — люди действия, а не работы. Закрепление человека, как и его освобождение, целиком свершается в сфере публичной речи и не имеет ничего общего с материальностью жизни.

Романтика героического действия, неприятие социальной жизни и протест против массовой культуры обусловили особенный стиль Арендт. Герметическая сложность мысли сочетается с резкостью монологических формул, которые чаще заявляются, чем доказываются. Последователи и критики десятилетиями спорят о толковании введенных, но не определенных ею понятий. Читатель Арендт чувствует себя объектом ее критического взгляда и, пожалуй, осуждения. Это о читателе, человеке массовой культуры, говорится так много нелестных слов. Обличения обращены ко мне, но моего

ответа не ждут и не предугадывают. Это образец замкнутой на себя речи, с которой можно соприкоснуться, но в которой нельзя участвовать. Философ заброшенной в мир элитарности, Арендт искала и находила свое особенное звучание: тихую и высокую, ни с чем не смешивающуюся ноту, которая слышна немногим и не подхватывается почти никем.

Предельно упрощенные, вещественно выпуклые сочинения Ранд контрастны нарочито трудным текстам Арендт. Романы и эссе Ранд переносят философскую речь в обращение масс. Новые и сложные идеи воплощены в простейших литературных формах. Положительные герои всегда красивы, умны и благородны; отрицательные герои подлы, глупы, уродливы. Это эстетика массовой культуры, по форме близкая соцреализму, а по содержанию ему противоположная. Капреализм гораздо жизненнее. В условиях капитализма массовое производство не обезличивает товар, а массовое потребление не лишает его духовной ценности, потому что производитель и потребитель осуществляют свободный выбор. Суть этой системы — по Ранд, не только самой эффективной, но и самой нравственной — в свободе. Философ капитализма и его практик, Ранд сумела создать то, что хотела: успешный потребительский товар, который выдерживает массовое производство, не теряя своей человеческой ценности. Публичная сфера, любимая идея франкфуртских философов и Ханны Арендт, вся состоит из таких товаров.

Обе наши героини сохранили пожизненный интерес к политическому опыту, полученному в родной стране с ненавистным режимом. Не стоит это интерпретировать в психоаналитическом плане, как навязчивое и неизбежное возвращение ранних политических впечатлений. Более интересно понять мучительную память Ранд и Арендт как подтверждение идеи Ясперса о метафизической вине. Эту вину чувствуют даже те, кто сам не подвергся насилию и не применял насилия. Ее чувствует каждый, кто жил в эпоху тотального несчастья и кому удалось уцелеть. Ранд и Арендт научились применять старую боль к новым условиям, используя европейскую память для американской публики. Обе выстраивали сложные антиутопические конструкции, которые у Арендт носили характер исторической критики европейских режимов недавнего прошлого, а у Ранд разворачивались в беллетристическое предсказание американского будущего. Их голоса, звучащие из другой, более удачливой страны и к ней обращенные, доносят до нас мучительные воспоминания об их несчастных родинах. Счастливые беженки, Ранд и Арендт продолжали быть связаны страданиями, которых сумели избежать.

FORUM

Смена эпох, от Ельцина к Путину, среди прочего оказалась отмечена приходом во власть большого количества людей, которые не слишком уверенно

держатся перед телекамерами и на плечах которых под цивильными пиджаками очевидно проступают погоны. Можно, конечно, объяснять это явление единственно кругом знакомств нынешнего президента и его пиночетовскими наклонностями. Однако, так ли следует его наклонности определять или не так, но вопреки расхожему мнению он их, с первого своего появления перед публикой, от сограждан не скрывал, равно как и своего служебного прошлого. И был избран.

Если полагать, что история движется не совсем по Дюма и, скажем, войны между двумя странами начинаются не только потому, что Миледи срезала подвески у герцога Бекингема, а президента в России избирают не только в результате кремлевских интриг, — то следовательно, у таких событий может быть и объяснение более глубинное. Вовсе не хочу сказать, что сегодня у нас нужны во власти исключительно люди из армии или спецслужб. Но история пожелала выразиться предельно жестко и недвусмысленно. Символом первого периода российской буржуазной революции 90-х годов она сделала ученого-экономиста, литератора и внука двух писателей. Символом нынешнего полковника КГБ. Почему?

Советское общество признавало допущение, что существует некий идеал, вне личности и выше ее. Идеал этот был — утопический, ложный, людоедский; в него уже никто не верил, он сгнил и рассыпался на наших глазах. Все так. Но перестроечные времена, изобличая и разрушая содержание этого именно идеала, атаковали и саму презумпцию надличной ценности. Хорошо помню журнальную статью, в которой доказывалось, что все зло на земле — от идеалов.

От идеалов все войны, революции и междоусобицы. Кажется, даже чумные эпидемии от них же. И человечество заживет спокойно и счастливо только тогда, когда будет забыт последний идеал.

Приверженцев таких воззрений множество. Но есть среди нас и те, кто по определению, самой своей жизнью, утверждает: есть нечто выше и дороже их собственного существования. Эти люди военные. И не в том дело, что каждый из этих людей, выбирая себе армейскую судьбу, осознанно говорит такие слова.

И не в том дело, что каждый из них этому принципу будет следовать неуклонно и до конца. Все бывает. Но суть самого их ремесла, то, что и отличает их от всех прочих, «основной инстинкт» их профессии именно в этом. Он в повседневном самоограничении, в будничной дисциплине и субординации. А рано или поздно для большинства из них наступает час, когда речь напрямую идет о жизни и смерти — их собственной и тех, кто от них зависит.

Юлия Гинзбург

Основной инстинкт

Нужно ли все это нынешней России? Разговоры о «профессиональной» (то есть, в обычном понимании, наемной) армии ведь строятся и на той мысли, что рисковать жизнью — просто работа, такая же, как любая другая, то есть делается более или менее искусно и за большие или меньшие деньги. А потому — пусть ею занимается тот, кто хочет и умеет, а не мой сын, внук, племянник; такой беззащитный и воспитанный совсем для другого. Оставим в стороне тему денег. Где у нас в государстве такие деньги, чтобы ими можно было оплачивать жизни? Оставим и профессиональное мастерство. Сегодняшние контрактники потому и профессионалы, что успели повоевать, будучи призывниками. Откуда будут браться эти профессионалы через несколько лет после отмены всеобщей воинской обязанности? Оставим даже смущающий ум вопрос — а что было бы со страной, если бы, скажем, в августе 91 в танках сидели не такие же мальчишки, как те, что под эти танки бросались, а «профессионалы» — наемники?

Главное ведь не это. Предположим, все это вещи решаемые. И предположим, должное устройство жизни — это такое, когда каждый озабочен исключительно собственным благополучием и благополучием близких. Семья, рабочая карьера, комфортное существование. Хобби. Обязанности перед обществом я выполняю тем, что плачу налоги. И на них нанимаю государство — маленькое, ровно такое, какое нужно, чтобы обеспечить мой комфорт и мою безопасность. А желание, чтобы меня защищали чьи-нибудь чужие дети, и воспитание будущих мужчин, как домашних котят, есть не проявление естественного родительского эгоизма, а признак моей европейской цивилизованности, и в либеральном обществе должно признаваться высшей гражданской добродетелью. Человек выше государства? Отлично. Но у самого человека может ли быть нечто выше его благополучия? Или сама мысль об этом есть непременно рудимент советского сознания?

В несоветском, западном мире эпоха «бури и натиска», сноса одних построек и лихорадочного возведения других давно позади. Там уютно живет в сложенном предками доме (он, пожалуй, уже пообветшал и покосился — но это пока не наша забота). Можно думать о том, как усовершенствовать гараж. Или ватерклозет. И для этого, собственно, не требуется никаких идеалов самопожертвования. Клянусь, говорю об этом без иронии. Тем более, что западное общественное сознание занято другим, к примеру, делами милосердия, — так, как мы вовсе не умеем.

Но парадокс российской действительности в том и состоит, что даже если эти ценности принять как единственно достойные, даже если в перспективе у нас и вправду просто «нормальная человеческая жизнь», то чтобы добраться до нее, от нас сегодня требуется незаурядное напряжение духа. И немалая доля самоотверженности. Они нужны даже для того, чтобы находить основания не покидать страну, видеть ее красоту и величие сквозь все ее подлинные и все ей приписанные пороки, чтобы не пугаться опасностей и неудобств здешней жизни. Тем более — чтобы преодолевать уныние и неверие, чтобы стараться делать то, что считаешь нужным, даже если этот труд и кажется порой сизифовым. Нам не построить удобного, уютного и безопасного дома, если мы будем осмеивать свысока саму готовность жить в вагончике на стройплощадке. Тем более — в простреливаемой со всех сторон палатке на горном перевале.

Способность к служению чему-то, что выше тебя, — это основной инстинкт нации, а в определенные моменты истории — залог ее выживания. Может быть, этим прежде всего и ценны для сегодняшней России люди в погонах — естественные носители и хранители этого инстинкта.

Современная российская действительность отличается крайне высоким уровнем мифологизации. Наряду с мифами, созданными противниками ре-

форм (о «ельцинской семье», о «крепких хозяйственниках», о «грабительских реформах», о «русской духовности» и т.д.), левая интеллигенция, составляющая основу наших правых партий и движений, усиленно создает и культивирует свои мифы (о «гордом, свободолюбивом чеченском народе», о всегда и во всем безгрешных западных демократиях, о «профессиональной армии» и т.д.). В данной статье речь пойдет о **«профессиональной армии»**.

Создается впечатление, что большинство апологетов этой идеи очень слабо понимают, чего они, собственно, хотят. Вообще-то, профессиональная армия — это такая армия, в которой личный состав занимается не строительством генеральных дач и добыванием себе пропитания различными способами, а исключительно боевой подготовкой. К принципу комплектования это не имеет никакого отношения. У нас под профессиональной армией принято понимать армию, комплектуемую исключительно путем найма. Слово «наемная» звучит как-то некрасиво, поэтому и придуман эвфемизм «профессиональная».

Для начала следует заметить, что **немедленный переход к наемной армии вызовет рост военных расходов как минимум в 10 раз** (во столько раз придется увеличить зарплату рядовому составу и чуть меньше — офицерскому), а оптимально — в 20–30 (с учетом перевооружения), т.е. до 28% ВВП (такое бывает, когда страна ведет крупномасштабную войну). Есть подозрение, что таких расходов наша экономика не потянет. Кроме того, **никаких проблем Вооруженных сил переход в «профессиональной» армии не решит**.

Можно перечислить для примера 10 стран, в которых армия комплектуется по найму (то есть, является «профессиональной»): Бангладеш, Буркина Фасо, Гамбия, Доминиканская Республика, Катар, Люксембург, Мозамбик, Непал, Тринидад и Тобаго, Уганда. А вот, тоже для примера, 10 стран, где армия комплектуется на основе всеобщей воинской обязанности: Бразилия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Китай, Норвегия, Тайвань, Франция, Швеция. Любая страна из второй десятки в одиночку легко справится со всеми «профессионалами» из первой десятки вместе взятыми. Причем дело даже не в количестве и качестве стреляющего железа (армия Норвегии невелика и оружие у нее не самое современное), а в боеспособности личного состава. В 70–80-е годы во время многочисленных натовских учений укомплектованные призывниками танковые экипажи из Германии и Голландии почти всегда показывали значительно более высокий уровень боевой подготовки, чем их коллеги из чисто наемных армий США, Великобритании и Канады.

«Профессиональные» армии шести монархий Персидского залива (кстати, вооруженные самым современным оружием в достаточном количестве) в 1990-м году продемонстрировали абсолютную несостоятельность против призывной армии Ирака. Армия Кувейта до войны была просто огромной по масштабам этого микроскопического государства и имела абсолютно реальную возможность продержаться несколько дней в одиночку, дождавшись помощи от формально очень сильных (разумеется, «профессиональных») армий Саудовской Аравии и ОАЭ. В реальности «профессиональная» армия Кувейта просто рассыпалась, не оказав противнику вообще никакого сопротивления, а соседи-союзники даже не попытались помочь Кувейту (хотя по договору были обязаны это сделать) и стали в ужасе звать на помощь натовцев. Интересно, что после освобождения от иракской оккупации Кувейт немедленно перешел к всеобщей воинской обязанности.

В самую боеспособную в мире армию — израильскую — как известно, при-

Александр Храмчихин

Нужна ли России наемная армия?

зывают даже женщин. При этом, наверное, понятно, что ни немецкие, ни шведские, ни израильские призывники не строят чужие дачи и не страдают от дедовщины.

Можно перечислить варианты, при которых страна имеет армию, комплектуемую по найму.

1. Страна реально вообще не имеет и не собирается иметь армии (например, в Люксембурге армия состоит из одного батальона, который призван символизировать участие страны в НАТО), поэтому говорить о всеобщей воинской обязанности бессмысленно.

2. В стране существуют различного рода политические, расовые, национальные или демографические проблемы. Например, армия создается специально как гвардия местного диктатора, т.е. предназначена для решения внутренних задач. Или в стране так много народа, что наемная армия оказывается дешевой призывной (самые яркие примеры — Индия и Пакистан, где часто происходят беспорядки на призывных пунктах — молодежь рвется в армию, а ее не берут). Или надо отсечь от службы определенные группы населения по какому-либо признаку (например, в прежней ЮАР). Все названные проблемы присущи развивающимся странам, которые и составляют значительное большинство государств, имеющих наемные армии.

3. Что касается стран высокоразвитых, то кроме наличия этой самой высокоразвитости иметь наемную армию они могут в случае, если для них **не существует угрозы непосредственной агрессии**, то есть не обязательно иметь подготовленные к мобилизации обученные резервы. В годы «холодной войны» наемную армию из всех стран НАТО позволили себе иметь лишь США, Великобритания и Канада. Дело в том, что и в «лучшие годы» советский флот не имел возможности провести полноценную десантную операцию даже против Великобритании, не говоря уже о Северной Америке. Сейчас, когда советская угроза исчезла, наемными стали армии стран Бенилюкса, о том же думают Франция, Италия, Испания. Они теперь себе могут это позволить именно потому, что угроза вторжения исчезла. Только две натовские страны все время готовятся к войне (между собой) — Греция и Турция. И там даже речи никто не ведет о наемной армии.

Очевидно, что причины №№ 1 и 2 к России заведомо не имеют отношения, особое экономическое процветание в ближайшем будущем нам тоже не грозит, даже если программа Грефа реализуется на 200%, а непосредственная угроза агрессии не исчезнет для нас, по-видимому, никогда (поблизости у нас Китай, Турция и прочие «братья-мусульмане»). Поэтому и наемной армии у нас, скорее всего, никогда не будет. И не надо.

В переходный период, который наша страна будет переживать еще очень долго, наемная армия не просто не нужна, но представляет очень серьезную опасность для демократии. Если бы в августе 1991 г. Советская армия была наемной, то все приказы ГКЧП были бы выполнены беспрекословно, защитники Белого дома были бы уничтожены немедленно. И в нынешних условиях наемная армия, переставшая, по сути, быть частью общества, не потерпит невыплаты довольствия. В нашей армии подавляющее большинство контрактников, пришедших служить в начале 90-х ни в дисциплине, ни в боевой подготовке призывников не превосходит, более того, часто именно они создают командирам наибольшие проблемы, становясь абсолютно неуправляемыми. Если в ближайшие годы сделать армию чисто наемной, то есть сформировать из таких вот контрактников, через пару лет мы автоматически придем к военной диктатуре. Интересно, что нынешние апологеты «профессиональной» армии в этом случае станут ее первыми жертвами. Кстати, интересно спросить у этих апологетов — почему в наемной армии должна исчезнуть, например, дедовщина? Не дают ответа, даже не задумываются над ним.

Причиной дедовщины и прочих безобразий является вовсе не то, что армия у нас формируется по призыву. Причины совсем другие.

Во-первых, отсутствие института младших командиров. Если в западных (не только в американской) армиях сержант — царь и бог, полностью снимающий с офицера заботу о воспитании солдат и оставляющий ему решение чисто профессиональных, военных вопросов, то в нашей армии, сержант — фактически тот же солдат, так как не имеет ни реальных властных полномочий, ни опыта, ни, следовательно, авторитета. В результате между офицером и рядовым не остается никакой прослойки, он не имеет никакой опоры в подразделении. Офицеру приходится выбирать между полной анархией и хоть какой-то дисциплиной, которую, в отсутствие младших командиров, могут поддерживать только старослужащие.

Во-вторых, почти полное отсутствие боевой подготовки. Большой, чисто мужской коллектив, лишенный свободы передвижения и многих гражданских прав, должен хоть чем-то заниматься. Даже в советское время с этим были серьезные проблемы. В середине 80-х (до перестройки) в элитной Таманской дивизии стрелок-гранатометчик за 2 года службы производил 1 (один!) реальный выстрел из подведомственного гранатомета. Нынешнее безденежье привело к тому, что об учениях речь уже вообще не идет. Бессмысленность существования чрезвычайно угнетающе действует на неокрепшую психику солдат, да и многих офицеров.

В-третьих, отсутствие денег, крайне озлобляющее всех — от рядового, до полковника.

В-четвертых, отсутствие гражданского контроля над армией, непрозрачность военного бюджета, неподконтрольность гражданским судебным органам. С законопослушанием в нашей стране вообще большие проблемы (это уже национальная традиция), а уж армия всегда была государством в государстве и вторжение «каких-то гражданских» в сферы, в которые ранее доступ им был наглухо закрыт, вызывает у военных вполне искреннее возмущение.

В-пятых, резкое снижение качества призывного контингента, да и офицерского корпуса. Если в западных странах призыву подлежат не менее 90% контингента, то в России — немногие более 20%. В армию попадают почти исключительно призывники с наиболее низким интеллектуальным уровнем, из наименее благополучных семей. Все остальные всеми правдами и неправдами пытаются «откосить» и осуждать их за это довольно сложно. Однако, это ведет к дальнейшему понижению качества личного состава, то есть возникает порочный круг. Профессия офицера утратила престижность, лучшие представители офицерского корпуса (или потенциальные офицеры) понимают, что сейчас умному и инициативному человеку жизнь на гражданке дает несравненно больше возможностей для самореализации, чем служба в ВС.

В-шестых, отсутствие объединяющей идеи. Если не платят деньги, то хотя бы объяснили ради чего? В противном случае, чувство бессмысленности происходящего резко усиливается.

Поэтому, для решения проблем Вооруженных сил не надо делать их наемными. Надо совсем другое. **Во-первых**, установление реального гражданского контроля над Вооруженными силами. **Во-вторых**, создание действующего института младших командиров (сержантов и старшин) — «станового хребта» любой действительно профессиональной армии, независимо от принципа комплектования. **В-третьих**, нормальное финансирование (это одновременно и проще всего и сложнее всего осуществить). **В-четвертых**, изменение идеологических, доктринальных и организационных основ ВС, которые должны перестать быть «Советской армией Российской Федерации».

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вторая чеченская война показала, что есть возможность хотя бы частично решить некоторые армей-

ские проблемы. Сразу появилась боевая подготовка, появилась мотивация у военнослужащих и уважение к армии у гражданских. Даже деньги появились. И не появилось никаких доказательств, что наемники (контрактники) воюют лучше призывников.

Кстати, наша совершенно «непрофессиональная» армия воюет в Чечне очень неплохо. Среднемесячные потери у нас более чем в 2 раза ниже по сравнению с американской армией во Вьетнаме (без учета союзной американцам южновьетнамской армии, потери которой были в 3 раза выше, чем у самих американцев). При этом надо учесть, что свыше половины наших потерь приходится не на армию, а на внутренние войска, которые, вообще-то, к ведению боевых действий не приспособлены. Если брать чисто армейские потери, то они будут примерно в 5 раз ниже, чем у американцев во Вьетнаме и несколько ниже, чем у Советской армии в Афганистане. Потери в авиации вообще не идут ни в какое сравнение с вьетнамскими и афганскими (ВВС США только над Южным Вьетнамом, где им противостояли лишь партизанские формирования, часто за месяц теряли в 2-3 раза больше самолетов и вертолетов, чем Российская армия за год чеченской войны).

Нашей армии не нужны наемники. Ей нужны деньги и внимание власти и общества. Трагедия с «Курском» (экипаж которого на 70% состоял из офицеров и мичманов) это подтвердила целиком и полностью.

Ольга Славникова

Я люблю тебя, империя

Поиск национальной идеи напоминает классическую ловлю черной кошки в темной комнате: перед глазами ищущего плавают пятна, под руки попадают какие-то валкие матрешки, куски материи, обшитые кистями, увесистые мраморные слоники, рваный пионерский барабан... Комната набита рухлядью, среди которой нет ничего привлекательного. Человек, тайно надеющийся найти не столько кошку, сколько выключатель, — вовсе не Президент РФ и не политтехнолог одной из влиятельных партий, а герой современной русской литературы.

Все жители бывшей советской империи, сознают они это или не сознают, являются на некоторую часть своей глубинной сути литературными героями. Пусть даже сам персонаж не читает ничего, кроме ценников в магазинах или сообщений на пейджер, все равно его в каком-то смысле выдумали: он проживает написанные сюжеты и расхлебывает последствия тоталитарных воздействий литературы на действительность. Если про американца шутят, что он рождается на свет на пару со своим адвокатом, то россиянин, несомненно, рождается и живет на пару с литературным героем. Герой и есть его настоящий адвокат: он объясняет своего подзащитного изнутри.

Само устройство русской литературы некогда стимулировало человека быть, во-первых, главным героем, а во-вторых, героем положительным. Долгое время казалось, что эти «во-первых» и «во-вторых» принципиально совместимы. Соцреализм работал над этим, неизменно подгоняя художественное решение под готовый ответ. Однако центробежные силы сместили главного героя прозы на периферию социального бытия.

На закате социалистической империи главный герой актуальной литературы утверждал себя как частное лицо. Литература играла с ним на понижение и последовательно лишала его общественных ролей, социального статуса, семейных связей, имущества, жилища, прописки — что привело к неконтролируемому выбросу «чернухи». Эскапизм персонажа должен был способствовать его прямому контакту с высшими духовными сущностями. Энергетика текста поддерживалась за счет присутствия того, от чего герой уходил в частную нору: имперский социум, во всеоружии своих фантомов и своей идеологии, караулил снаружи и уже своими дурными размерами задавал масштабы конфликта. Вычитание империи — вот тяжелая и совсем не арифметическая задача, над которой духовно трудился гонимый отшельник, оставляя себе — себя, вернее, тот остаток собственного «я», что сохранялся после разрыва с действительностью.

Только теперь, когда монумент повалили набок и, полный, увезли на грузовике, литературный герой и его двойник «из мяса и костей» стали по-настоящему одиноки. Частное лицо перестало быть частью какого бы то ни было целого и, соответственно, утратило способность провоцировать глобальные конфликты: сегодня немислимо представить книгу, которую читали бы сотни тысяч носителей русского языка. Между тем тоска по утраченной империи овладевает массами.

Что бы там ни говорили конструкторы малых и сверхмалых русских литератур, общество по-прежнему литературоцентрично: наиболее эмоционально мы переживаем не реальность, но вымысел. Депрессивное состояние общества объясняется не только отсутствием вменяемой экономики, но и зияющими высотами там, где прежде располагался фальшивый, крашенный, запойный, сумасшедший, а все же положительный герой. Нельзя сказать, чтобы новое время вовсе оставило попытки выработать подобный образ, или, если угодно, имидж: этим, собственно говоря, и занимаются специалисты по пи-ару и свободные СМИ. Проблема, однако, в том, что представители российского бизнеса, озаботившиеся связями с общественностью, косят под героев зарубежной литературы и делают вид, будто заняты примерно тем же, чем их коллеги из стран Большой Семерки. Что касается публичных политиков, то эти герои настолько явно донна-

шивают свои и чужие белые одежды, что непонятно, почему избиратели все же покупаются на столь вторичную положительность. Недостоверность положительных персонажей новорусской действительности — по сути того же качества, что и недостоверность отечественных суперменов вроде Слепого и Бешеного. Сконструированные, дабы персонифицировать Добро и бороться за его торжество, эти нехитрые имиджи представляют собой всего лишь анти-Зло. Таким образом, новый русский положительный герой получился калькой с отрицательного; роковая зависимость от оригинала делает его рыцарем печального образа действия, что мы и ощущаем на собственной шкуре.

Неосознанно воспринимаемая нужды литературы как свои насущные интересы, российские граждане болезненно переживают недостаток феноменов, способных организовать события реальности в художественно полноценные сюжеты. Для положительного героя нашего времени по-прежнему существует возможность оставаться частным лицом. В этом случае он должен сделаться святым. В мейнстриме единственная за последние годы значимая попытка написать роман-житие предпринята Светланой Василенко: это очень трудный путь в жизни и в литературе, и роман Василенко «Дурочка» стоит особняком, не попав в соответствующий году публикации Букеровский список именно потому, что плохо соответствует инструментам, которыми меряют современную прозу. Среди множества отсутствий, которыми окружен сегодняшний читатель, особенно ощущается отсутствие нового Венедикта Ерофеева: старый, то есть прежний, то есть собственно Венедикт Ерофеев, изданный недавно «Вагриусом», временно отяжелел и лег на дно, то есть стал плавать в истории литературы, ожидающим свежего прочтения. Требуется новый писатель, который увидит истинно национальный способ ухода от реальности в собственный космос — но нет никакого смысла давать об этом объявление в газету.

Иное ожидаемое читателем движение героя — движение центростремительное. Тоска по империи — это не только ностальгия по «совку», или жажда «сильной руки», или сумма накопившихся обид предельно частного лица, которое все-таки заставили каяться в не им совершенных злодеяниях и платить за не им разворованные международные кредиты. Желание любого нормального гражданина быть частью силы, а не частью слабости по-человечески понятно, тем более теперь, когда в устах преуспевающего финансиста фраза «А не нужно быть слабым» звучит как оправдание любых комбинаций, которые финансисту удастся совершать и не нести при этом материальной либо юридической ответственности. Августовский кризис, а до него обвалы благосклонно незапрещенных финансовых пирамид, а еще раньше сжигание сберкассовских вкладов ясно дали понять, кто платит и будет платить за все замечательное, что происходит в стране. Так получилось, что нормальная, то есть попросту честная частная жизнь опять нуждается в бытийном оправдании, в своей независимой эстетике, способной выжить рядом с глянцевою эстетикой дорогого товара, в своих больших сюжетах, противостоящих удобным мифам насчет того, что население России поголовно ворует и что если вдруг окажется арестован тот или иной великий комбинатор современности, то, стало быть, сядем все. Сложный социально-психологический комплекс, порожденный тихой приватизацией уже не личной норы, но ряда государственных функций, приводит к тому, что единая для всех и доминирующая надо всеми империя делается крайне привлекательна. Империя нужна литературе и как сюжетообразующий фактор, и как глобальный образ, способный замотивировать само присутствие положительного героя. Империя, существуя не в реальности, но в головах (то, что мы имеем «в жизни», вряд ли кто-то может вдохновить), указывает литературе на плодотворную возможность ухода уже не на окраины действительности, но в сослагательное наклонение.

Свободнее, чем другие виды литературы, с сослагательным наклонением работает фантастика. Из фантастики никогда и не уходили имперские мотивы: роман «Аэлига» Алексея Толстого повествует о десанте представителей советской империи на территорию империи марсианской. Характерно, что в составе десанта было всего лишь два сугубо частных лица, ни на что официально не уполномоченных, но в силу простого пространственного положения за пределами Родины сознающих себя представителями своего общества и носителями ценностей, которые в каких-то частных случаях они могли и не разделять.

Фантастика не чужда элементов соц-арта: конструируя и запуская разнообразные машины времени, представители этого вида литературы (Василий Звягинцев, Михаил Успенский, Андрей Лазарчук) не столько анализируют, сколько эстетизируют тяжеловесную добротность пополам с абсурдом, свойственную как сталинскому им-

перскому быту, так и внутренней политике. Важней, однако, не экскурсы в прошлое, а экстраполяция в будущее. Понятно, что «будущее» в фантастике только маскируется под некий остров времени, до которого человечество может доплыть либо не доплыть. На самом деле это виртуальный феномен, мыслительная конструкция, где на особом, достаточно формализованном образном языке моделируется та или иная актуальная ситуация. (Здесь речь не идет о так называемых «фантастических боевиках», часто представляющих собой текстовые аналоги компьютерных «стрелялок» и «бродилок».) Любопытно, что имперские темы в новейшем урожае качественной фантастики не только зазвучали сильнее, но и приобрели совершенно явственную социально-психологическую провокативность.

Один из самых известных писателей-фантастов Сергей Лукьяненко, обладающий какой-то телепатической обратной связью со своей аудиторией, еще несколько лет назад ощутил психологический сдвиг, когда его молодые и продвинутые читатели, хлебнув демократии по-русски, вдруг заинтересовались, хотя бы в порядке бреда, имперскими моделями. Роман «Императоры иллюзий», сделанный в характерных для Лукьяненко грандиозных и безвкусных декорациях, обладает опять-таки характерным для писателя мускулистым сюжетом, ставящим мелодраму на службу холодному интеллекту. Планет в описанной Лукьяненко империи, как шаров на новогодней елке; среди них есть одна, почти не доступная для кораблей и называемая Грааль — там обитает божество, исполняющее желания паломника, но не любые, а только самые-самые настоящие, в которых человек не всегда признается даже себе самому. Мотив не новый, внятно прозвучавший еще в «Сталкере» Андрея Тарковского (в фильме сильнее, чем в его литературной основе). У Лукьяненко идея воплощается со свойственным этому автору оперным размахом. Божество создает паломнику его собственную вселенную, подогнанную строго «под него» — под его подсознательные фантазии. В этом мире человек становится тем, кем действительно хочет быть, то есть реализует свою подлинную природу. Сюжет романа — обнаружение главного игрока.

Надо отметить, что Лукьяненко вообще очень озабочен вопросом: что будет, если мир преобразуется согласно представлениям одной-единственной личности? Не окажутся ли благие намерения даже лучших представителей человечества разрушительными для той действительности, которую мы привыкли считать несовершенной? Вопрос, вообще говоря, не праздный и достаточно глубокий: речь идет о человеке как об образе и подобии Творца, об остаточном демиургическом потенциале нашей психики. Пытаясь выяснить, насколько мы в этом плане состоятельны, Лукьяненко построил не одну модель и написал не один роман. «Императоры иллюзий» любопытен тем, что «автором» иерархического мира, полного предательств, интриг, звездных межрасовых войн и прочей имперской литературщины, оказался вовсе не император Грей и даже не истинный хозяин империи, всесильный магнат Кертис Ван Кертис. Искомый демиург занимал невысокую должность в имперских спецслужбах, но делал стремительную карьеру и получал наслаждение от жестокой игры, осененной величием власти усталого тирана.

Вывод из романа (а фантастика, в отличие от более сложных и художественно самодостаточных видов литературы, поддается умственным истолкованиям) можно сделать такой: империя эстетически притягательна и этически комфортна не только для правящих высших слоев, но и для обычных подданных, составляющих ее строительный материал. Изначально определяя многие параметры личности литературного героя и отражающего его реального человека, империя избавляет персонаж от подвига святости, заменяя его подвигом соответствия. Для писателя империя привлекательна тем, что позволяет получать героев готовыми, разложенными по ролям и, не вдаваясь в их рефлексии, строить энергичную фабулу. Как показывает пример Сергея Лукьяненко, имперская модель не только обнаруживается в сознании читателей при помощи свойственных фантастике интеллектуальных технологий, но и соответствует творческим нуждам этого вида литературы.

Еще более выразительный пример прямого «считывания» коллективных подсознательных образов — роман Олега Дивова «Выбраковка». Написав «Выбраковку», Дивов совершил грубый поступок — соответственно, эта книга справедливо называется в числе самых читаемых изданий за несколько последних лет. Писатель, наплевав на политкорректность, буквально открытым текстом выдал то, что многие прокатывают в уме, но не желают формулировать до конца. Тоталитарный Славянский Союз, где простой работяга может за год скопить на машину, где сведена на нет уголовная преступность, прогулки по ночной столице абсолютно безопасны, а клановый бизнес

кавказцев побежден общепринятым правилом «у нерусских не покупаем», воспринимается как должданное простое решение отвратительно сложных вопросов. Сильное государство, где власть заключила союз со всеми хорошими людьми против всех плохих, — это ли не идеал того самого слабого человека, которого сегодня безнаказанно попирают бандит, чиновник и финансист? В романе, куда ни глянь, автор уже поместил для читателя кусочек сыру. И хотя читатель понимает, что перед ним система мышеловок, все равно с готовностью идет в роман — просто потому, что в качестве сыра ему предложена справедливость.

Есть у медали и оборотная сторона: порядок в Славянском Союзе обеспечивает силовая структура, по определению игнорирующая такую лукавую вещь, как права человека. Дивов, выворачивая наизнанку сложившийся в литературе и в сознании читателей образ карательных органов, описывает «хорошее НКВД», которое, как только где-нибудь ударят ребенка или посягнут на женскую честь, тут же спешит на помощь. Агентство социальной безопасности, сокращенно АСБ, наделено полномочиями «браковать» своих клиентов — по упрощенной процедуре отправлять преступников на каторгу. Кара даже за мелкое правонарушение столь сокрушительна, что ни у кого не остается возможности вести преступную жизнь — потому что никакой дальнейшей жизни после того, как человек попадает в АСБ, у него попросту нет.

Дивов провоцирует читателя, почти переходя границу, за которой тот должен наконец очнуться и воскликнуть: «Ну нет, это уж слишком!». И сразу отступает, чтобы скормить пациенту очередную порцию сюжета и снова подойти к пограничной черте. Автор нисколько не смущается работать с такими скомпрометированными понятиями, как «двухступенчатое правосудие», «враги народа», применяя известное из школьного курса обществоведения «отрицание отрицания». Механизмы романа простые и лобовые на грани фолла; смелость Дивова в том, что он позволил себе ими воспользоваться. Вследствие этого между текстом и читателем возникает тоже простой, даже примитивный с позиций сегодняшней литературы и потому необычайно редкий процесс: читатель начинает ставить себя на место героев. И вот тут ловушка захлопывается: читателя, неосторожно воссоединившегося со своим литературным подобием, автор протаскивает через сюжет, где утопическая, но тем более желанная модель «хорошего тоталитаризма» разрушается изнутри.

Понятно, что за отсутствием настоящих криминальных элементов роль преступников могут играть только уполномоченные АСБ. Дивов, писатель действия (как бы вают люди действия, в отличие от созерцателей и философов), не особо задается экзистенциальными аспектами ситуации, зато прекрасно моделирует динамику процесса. Когда перед сильными мира сего встал вопрос о ликвидации АСБ, то первым делом в Агентство набрали сотни стажеров — новый состав, который тайно предназначен для уничтожения ветеранов. Логика знакома из сталинской истории: тоталитарная структура, исправляя «перекося», может только расширяться и фатальным образом «перекашиваться» еще сильнее. Что и требовалось доказать.

Главный герой «Выбраковки», ветеран АСБ Павел Гусев — нормальный положительный герой приключенческого романа (авторские попытки усложнить героя за счет тайны его происхождения и соответствующих рефлексий есть дань уважения к собственной профессии, но не более того). Фигура Гусева работает, потому что она формальна: герой действительно стоит «за все хорошее и против всего плохого»¹. Фантастике, ставящей интеллектуальные эксперименты, нужна, в сущности, очень простая элементная база: многозначные образы ей противопоказаны. Острый сюжет сам по себе вещь формальная: для существования такого сюжета нужны «наши» и «не наши», «хорошие» и «плохие». Имперский социум, будучи структурой предельно формализованной, изначально имеющей периферию и центр, главных и второстепенных героев, а также понятие «наши», совпадающее с Добром, и понятие «чужие», совпадающее со Злом, представляет собой для писателя-фантаста те самые «нормальные условия», которые имеет в виду, пренебрегая реальным богатством эффектов, экспериментатор-естественник. «Выбраковка», как и многие другие фантастические романы, создана в имперской лаборатории: отношение искусства к действительности здесь лишнее органических связей. Однако писательский поступок Дивова в том, что он работал не с психологией героя, но с психологией его двоюродного брата — читателя. Как ни странно, в результате получился насыщенный текст, говорящий о человеке, может быть, не меньше, чем иные успешные произведения литературного мейнстрима.

Чем-то похож на «Выбраровку» роман Андрея Столярова «Жаворонок». Он точно так же цепляет, провоцирует, достает до воспаленного нерва, открыто излагает то, о

чем бормочет сегодня наша задавленная ментальность. Столяров, не чуждый в своей фантастике модернистских методов и контекстов, буквально пожертвовал здесь практически всем наработанным инструментарием. Он написал роман аскетический, прямым «статейным» текстом выдающий самую причину своего появления на свет: «Горек вкус национального унижения, и тревожен гул продвигающейся на Восток военной техники НАТО. Что бы ни говорили о репрессивной системе, созданной коммунистами, но Советский Союз был в истории человечества поистине уникальным образованием. Обществом без явной национальной вражды и без трагических религиозных противоречий. На колоссальном пространстве от Камчатки до Бреста, от полярной тундры до пустынь Средней Азии каждый человек, где бы он ни родился и на каком бы языке с детства ни говорил, чувствовал себя гражданином единой вселенной. Перестройка должна была раздвинуть эту вселенную еще больше, демократия — вывести государство в ряд сильных и процветающих стран. А вместо этого — потери территорий, населенных миллионами человек, уродливая колочка грани, враждебность вчерашних друзей»². Перед нами «голая» публицистика, но публицистика, играющая в романе роль главного провокатора. Если Дивов демонстрирует, что мы на самом деле чувствуем и хотим, то Столяров озвучивает, что мы на самом деле знаем. Писатель резко освежает истины, приватизированные политиками и ставшие от долгого употребления затертыми и частичными. Здесь, как и в «Выбраковке», авторская прямота вызывает шок.

Фантастика у Дивова и Столярова — не космический корабль и не параллельный мир, но невозможные по логике нашей действительности социальные феномены. Характерно, что и тот, и другой имитируют объективное исследование якобы реальных событий, виртуозно ссылаясь на вымышленные источники и организуя как бы очную ставку события с его очевидцами. Оба писателя работают с народными утопиями, но Дивов видит в их возможном воплощении упадок и катастрофу, а Столяров — победу человеческой правоты над политической целесообразностью. Речь, собственно, идет о воссоединении насильственно разведенных по разным государствам народов СССР. Понимая, что в пределах сложившейся реальности это невозможно, Столяров подставляет в сюжет фантастический фактор X: приход мессии.

Главная героиня Жанна, она же Дева из Севастополя, — российское воплощение Орлеанской Девы; элементная база романа — Евангелие. Структура евангельской притчи в романе столь очевидна, что позволяет автору экономить средства: «вечный двигатель» литературы работает исправно, и Столярову остается только подставлять в уравнище вместо вечных иксов, игреков и зетов их современные значения. Что касается главной героини, то ее осеменность — не та приватная человеческая святость, о которой говорилось выше. По-человечески эта девочка из глухой провинции мало что значит, и по мере развития в ней высшего дара значит все меньше. Соответственно писатель и не задается целью разрабатывать ее внутренний мир: конфликт высшего предназначения с человеческим «носителем» если и дан, то косвенно, через авторские предположения и не слишком авторитетные свидетельские показания. Столярову гораздо важнее конфигурация массы, что образуется вокруг песчинки, попавшей в перенасыщенный раствор.

Жанна способна творить чудеса — от водосвятия до обесточивания Кремля, — но чудеса эти локальны. Главная ее задача и главное чудо — пробуждение веры в осуществимость благих перемен. Жанна одновременно спасение и испытание для всех, кто вступает с ней в духовный контакт: за ней мало следовать, ей надо внутренне «ответить». Вдохновляя новую оборону Севастополя и затем мирный русский поход на Киев, Жанна как будто борется с двумя новообразованными империями, причем «незалежная Украина» обнаруживает тоталитарные замашки, каких не может себе позволить дискриминированная мировым сообществом Российская Федерация. На самом деле Деве противостоят не империи, но холдинги — скрытные и хваткие структуры, где малыми «контрольными пакетами» держится громадная масса одиночных «голосующих акций», то есть человеческих единиц. Здесь важно то, что Запад, соблюдающий свои интересы, подспудно держит «блокирующий пакет»: этим объясняется уклончивая позиция РФ, не решившейся принять в свой состав законно отделившийся от Украины исконно российский Крым. Освобождая большое из-под власти малого, Дева пытается собрать из человеческих атомов альтернативный и реальный «контрольный пакет» — на принципах, в корне отличных от демократических процедур. Однако массы сторонников Девы — не твердь, но облако: как только магнетизм мессии слабеет, мирное воинство вновь распадается в пыль.

Появление такой положительной героини, как Севастопольская Дева, — это крик о невозможности положительного героя в пределах человеческой реальности и «обычной» литературы. Апелляция к Святому Писанию оказывается остро актуальна в ситуации, когда бунт «за все хорошее против всего плохого» исторически скомпрометирован — но и не бунтовать нельзя, потому что иначе теряешь человеческое и национальное достоинство. Центристские силы в «Жаворонке» одновременно реальны (мы носим их в себе) и настолько погружены в «сослагательное наклонение», что сюжет романа кажется гораздо более фантастичным, нежели боевик с инопланетными монстрами; утраченная империя хотя и не идеализируется, но вспоминается чем-то более достойным, нежели нынешние холдинги, так удавшиеся «неполиткорректному» автору. В общем, Андрей Столярков написал страстную и острую вещь; очень может быть, что простые «лобовые» средства работают сегодня не хуже самых изощренных плодов воображения. Вероятно, социальной фантастике сегодня пристал не космос, но велосипед.

Роман Эдуарда Геворкяна «Темная Гора» — еще один образец «сослагательного наклонения», где дописывается миф об Одиссее. Отношение к культурному мифу как к исторической действительности (Лаэртид у Геворкяна, точно так же, как Иисус у Ивана Бездомного, выходит совершенно реальным человеком, повстречавшим в новом своем путешествии обломок цивилизации атлантов) предоставляет наше историческое «сегодня» в распоряжение литературы. Геворкян моделирует идеальную, предельно устойчивую пирамидальную империю, основанную на симбиозе людей с Менторами — высшими существами, пришедшими из Космоса. Одиссей, оказавшись на последнем острове Посейдона — на горообразном железном плавсредстве, отсылающем скорее к приключениям Гулливера, нежели к гомеровскому эпосу, — обнаруживает там странное божество — гигантского жука, обладающего телепатическими способностями. Видимо, появление Лаэртида что-то изменило в судьбе Темной Горы: жук и его потомство не погибли, как это, вероятно, произошло в «нашей» действительности (она всегда имеется в виду), но овладела исторической ситуацией и воспитали человечество на свой консервативный манер.

«Наше время» у Геворкяна в культурном отношении представляет собой бесконечно затянутый эллинизм, вооруженный технологиями Менторов, еще более древними, чем человеческие мифы и фольклор, и, стало быть, при всех чудесах космических перелетов бесконечно архаичными. Надо отдать должное Эдуарду Геворкяну: его идеальная империя обладает внутренней логикой, определяющей связь деталей и целого. В этом мире, что важно, полностью отсутствует электроника, вообще любые информационные технологии, расширяющие естественные возможности разума. Астронавты — это ремесленники, механики звездных машин, а сами пирамидальные машины напоминают внутренним устройством гигантские кухонные «ходики», внутри которых маленькие человечки переводят стрелки и подтягивают гиришки. Верховная власть, как это всегда бывает в империи, закутана в прочный мифологический кокон — и образность этого кокона представляет собой любопытный синтез псевдо-античности с «насекомными» мотивами, отсылающими к псевдо-демонизму современного масскульта.

Драма главного героя заключается в том, что он лишился сословной принадлежности и пошел скитаться по имперским «этажам», то падая очень низко, то забираясь довольно высоко. Смысл этого пространственного и социального путешествия — помимо того, что так создается приключенческая фабула, — в экскурсии по созданной писателем имперской пирамиде. Идеальная империя — это симбиоз народа и власти, чей источник — в надчеловеческом; таким образом, симбиоз людей и Менторов превращается у Геворкяна в метафору империи. В романе «Темная Гора» самое ценное, на мой взгляд, — не фабула, но образ главного героя (который и не герой в романтически-приключенческом смысле слова, но простак, попавший в жернова), тем более не главы «Одиссей-2», написанные трудоемким, изощренно-ритмизованным «гекзамером в прозе». Гораздо интереснее периферия романа, окраины вымышленной «современности», где все у автора получилось как бы само собой, сложилось одно к одному.

«Лабораторность» современного фантастического романа вовсе не исключает того, что в колбе может разрастись любопытная органика. Еще один пример тому — роман Андрея Лазарчука «Все, способные держать оружие», изданный не в коммерческой «глянцевой» серии, как это обыкновенно бывает с такого рода текстами, но в элитарной «Серой» (бывшей «Черной») серии издательства «Вагриус». Лазарчук также использует шоковые методы воздействия: империя, смоделированная писателем, — не

что иное, как Третий рейх. Однако перед нами не примитивная, голливудского толка, антиутопия, описывающая мир как фашистский концлагерь, где действует и побеждает пуленепробиваемый американец. У Лазарчука все выстроено гораздо умней. Действительно, во Второй мировой победила Германия, Советский Союз оказался разделен на Россию, входящую в рейх, и независимую Сибирь. Точно так же, как в этом разделении зеркально отразилось разделение Германии на Западную и Восточную, так же и в рейхе Лазарчука произошло нечто подобное разоблачению культа личности. Только случилось это на более раннем историческом этапе, еще до завершения военных действий, и возглавивший переворот Герман Геринг (гиперболизированный, даже и в физическом смысле, Никита Хрущев) живет на покое в благополучной русско-германской Москве.

Может быть, сам сюжет фантастического триллера (угроза вторжения из параллельного пространства, приключения разнообразных спецагентов и так далее) не столь существен для литературного качества романа, как сама имперская фактура. Лазарчук смоделировал котел, где «варятся» народы, смешиваются культуры и традиции, и «переборки» этой емкости устроены иначе, нежели в нашей реализовавшейся реальности. В этом смысле «Все, способные держать оружие» — политический роман. В какой-то мере Лазарчук, подобно Дивову и Столярову, потакает пойманной из воздуха читательской тоске по иному развитию событий — такому, где Россия не отгораживалась бы от мира «железным занавесом», а развивалась бы как часть западной цивилизации, пусть даже ценой поражения в войне. Комплекс неполноценности у победителя — это тяжелый груз, намертво сцементированный комок противоречивых самоощущений, порождающих, в частности, тайный интерес к фашистской символике и эстетике, очень похожий на зависть. Лазарчук отражает эти социально-психологические флюиды в зеркале текста — но и показывает, как на самом деле хрупка и уязвима имперская конструкция. Жесткие каркасы империи прекрасно «проводят» любую взрывную волну: удар, нанесенный по одному участку социума, расходится очень широко и рушит судьбы обывателей, как карточные домики. Может быть, именно эта «сверхпроводимость» и есть достижение сюжета, во всех других отношениях сделанного по стандартным рецептам «глянцевого» фантастики.

Видимо, остросюжетная фантастика как вид литературы все еще пребывает в том архаичном заблуждении, будто читателю можно и должно скармливать философию, упаковывая ее в привлекательную оболочку «интересности». Такое «оболочечное» понимание структуры текста (ощутимое не только в самих романах, но и в высказываниях авторов) есть самообман. На самом деле все наоборот: интеллектуальная идея лежит на поверхности, а «наполнитель» составляют приключения и неизбежные при остросюжетности (у хороших профессионалов обладающие, как правило, обогащенной фактурой) литературные штампы. Но возможен и третий уровень, когда весь фантастический роман, взятый как одна огромная молекула, становится значимой метафорой. Любопытно, что в урожае последних лет этот третий путь реализуется в книгах, так или иначе разрабатывающих имперские, «в порядке бреда» сконструированные модели.

Существует и другая фантастика, где механизмы остросюжетности не работают, а если и возникают мотивы, характерные для «экшен», то читателю понятно, что это цитаты из книг. Если на рентгеновских снимках «глянцевых» фантастических романов критик неизбежно видит характерный для жанра скелет (индивидуальное в этих книгах суть их поверхность), то просвечивание фантазмагории обнаруживает внутри одного организма множество других, плавающих в плазме авторского воображения и соединяющихся в причудливые группы. При этом «странные» тексты не претендуют на то, чтобы читатель, ознакомленный с условиями игры, принимал описанный мир — пусть только на время чтения — за связную действительность. Напротив: читателю на каждом шагу (иногда даже слишком назойливо) напоминают, что он имеет дело с литературными снами.

Такая модель «сновидческой» фантастики — любимая ниша графоманов. Обманчивая легкость создания условных миров, в которые, наподобие инструкции по эксплуатации, обычно встроена авторская «внутренняя рецензия» на самого себя, — большой соблазн для не слишком одаренных, но очень сильно начитавшихся людей. Молодые фантасты, как правило, начинают с «философских» этюдов; малая проза здесь вообще коллоидна, опорно-двигательный аппарат просто не успевает развиваться (из чего следует, что фантастический роман и фантастический рассказ — разные виды литературы). Что касается романов-фантазмагорий, то в них даже талантливые авторы, ис-

пользующие для «езды в неизвестное» не механику сюжета, но химическую энергию сновидения, по ходу длинного текста фатально впадают в графоманию. Такая болтливость — неизбежная и естественная плата за субъективность, за якобы неограниченные возможности комбинирования образов. Главная задача писателя — найти художественно внятный способ самоограничения и последовательно его придерживаться.

«Нормального фантаста» имперская тема привлекает иерархией структур, позволяющей легко запустить механику сюжета, а также возможностями мотивировать положительного героя принадлежностью либо оппозицией к имперским ценностям. Фантаст «ненормальный», то есть автор фантазмагорий, угадывает в империи глобальный «сон разума»: в империи, точно в сновидении, соединяются и перемешиваются народы, культуры, мифы, артефакты. Подобно тому, как во сне некие предметы преисполняются иносказательными значениями, так и имперские символы всегда нагружены мистическими смыслами. Фантазмагория достается иррациональная сторона имперских моделей. Один из возможных путей для писателя — разоблачение мифа, исследование его пустот. Этим, в частности, занимается избыточный Владимир Сорокин: он играет лишеными метафизики «пустышками» советского языка, причем с таким упорством, что напоминает персонажа записок Федота Кузьмича Пруткова лорда Кучерстона, каковой лорд, раз ударившись затылком при испытании незапряженной двуколки, далее «при каждом гостей посещении, пытаюсь объяснить им оное злослучение, по-прежнему в ту двуколку вскакивал и с нею о землю хлопался...»³. Видимо, разоблачительные и деструктивные манипуляции с мифом исчерпаемы, поскольку дают удручающе однообразные результаты.

Перед писателем, намеренным работать с неумерщвленными имперскими мифологемами, встает задача «перевести» общеупотребительный и общезначимый образ империи на свой индивидуальный язык. Ради этого «перевода» автор деформирует реалии, используя жидкостные эффекты кривых зеркал, когда материал плывет и плавится, образ вдруг начинает делиться, подобно гигантской клетке, далекие в реальности вещи слипаются, как сиамские близнецы. Исторические государственные границы делаются пластичны: то, что в действительности никогда не было единым образованием, вдруг сливается в некое новое пространство, в котором герои ведут себя именно как герои литературы; глобус превращается в текучий зеркальный шар. Такой прием имеет длинную и почтенную историю (вспомним хотя бы «Аду» Владимира Набокова), но сегодня он работает с особой интенсивностью. Имперская всеядность, готовность поглотить соседние территории и культуры безотнositельно их качественных характеристик, превращается в фантазмагорических текстах во всеядность в квадрате: все смешивается со всем. При этом понятно, что бесконечно расширяющаяся модель империи на самом деле модель в миниатюре.

Дмитрий Липскеров — пожалуй, самый заметный на сегодня автор свободных фантазмагорий. Поддаваясь, как и другие, на провокации жанра, Липскеров не всегда умеет ограничивать себя в неограниченном. Но для этого писателя характерно сочетание избыточной фантазии с жестким «радио» экспериментатора, поэтому Липскеров лучше других чувствует принципы, по которым строится «кривозеркальный» образ. У Липскерова есть одно «ноу-хау»: он знает, что разным людям снятся одинаковые сны. Одинаково относится не к объектам, поддающимся истолкованию с помощью сонника, но к характерным «художественным приемам» сновидения. Если не редактировать сон и не стягивать его пустоты логическими связками, то авторская субъективность будет создавать у читателя эффект «дежа вю». Поэтому в романах Липскерова, наряду с забалтывающимися кусками текста, встречаются точные попадания в подсознание, как индивидуальное, так и коллективное.

В романе «Сорок лет Чанчжоз» Липскеров создал Российскую империю в колбе, опытный образец, отделенный от мира прозрачными стенами инобытия. Чанчжоз, русский город с китайским названием, расположен где-то на окраине подразумеваемой «большой» Российской империи (в тексте упоминается наследник Базель, недвусмысленно отсылающий к цесаревичу Алексею): Город возникает в голой степи, то есть буквально в пустоте между небом и землей, первым строением становится землянка православного отшельника Мохамеда Абали. Далее в Чанчжоз прибывают разнообразные персонажи: подобно тому, как пестрой осенью бывает дополнительно пестр каждый отдельный листок, каждый герой несет в себе причудливое смешение национальных признаков. Полковник Генрих Шталлер, кореец Ван Ким Ген, он же граф Оплаксин, любвеобильная мадемуазель Бибигон и другие вместе составляют особого рода сообщество, где «русскость», утрачивая качества вещества, становится важна как

скрепляющий материал и приобретает «административный ресурс», реализуемый по ходу авторского управления романом.

Каждая прибывшая в город персона олицетворяет определенное сословие и фактически привозит его с собой (поименованного героя окружают сродственные ему непоименованные); общество Чанчжоэ, таким образом, собирается блочным способом из поступающего материала. При этом толковость сборки и узнаваемость социальной конструкции вступают в драматическое противоречие с тем, что весь Чанчжоэ есть на самом деле шифр, зашифрованный текст. Жена полковника Шталлера, городская сумасшедшая Елена Белецкая, отстучивает на машинке бесконечную бессмысленную рукопись: если к этой «фантазмагории второго порядка» подобрать подходящий ключ, то можно истолковать тайные смыслы Чанчжоэ (куски, расшифрованные в романе школьным учителем Гаврилой Теплым, остроумно представлены подлогом). В свою очередь, и «фантазмагория первого порядка» также может быть расшифрована, и тогда откроются смыслы «реальной реальности», предоставившей для строительства Чанчжоэ свои элементы. Абракадабра Белецкой — это «стенка», от которой отскакивает снаряд авторского воображения, чтобы устремиться туда, откуда его запустили, то есть в «нашу» действительность. Роман совершает не одно такое поступательно-возвратное движение, а несколько, при этом все движения совершаются вхолостую: ключ не дается в руки, никакой реконструкции не происходит. Российская империя, послужившая автору моделью, все больше погружается в сон о самой себе.

В романе «Пространство Готлиба» также имеются две империи, вложенные одна в другую на манер матрешек. «Малая» Российская империя помещается где-то на Арабском Востоке и напоминает средневековые эмираты. Это — рассказанная страна (в романе существует вставная повесть об изгнаннической судьбе наследника российского престола). Образ, созданный на контрастах (роль «борзых коней» играют верблюды, роль зловещего ворона — павлин, вместо снега всюду лежит песок), доводит имперскую «всеядность» до абсурда. Столь же абсурдна идущая в «большой» империи Метрическая война: там русским пудам и сажням противостоят вражеские килограммы и метры. По сути это война емкостей, незаполненных форм, пустот: символом веры становится деревянная линейка.

Первое, что лежит на поверхности: писатель упражняется в сатире. Но этому противоречит вся интонация романа, построенного как лирическая переписка двух калек, чья взаимность по нормальной логике неосуществима. Может быть, на сатиру накладывается ощущение, что империя дает человеку нечто такое, что больше него самого. Без признания за Метрической войной известной логики и даже значительности главные герои романа — инвалид войны Евгений Молокан, его друг ветеран Бычков, бедная Анна Веллер, получившая увечья в результате неудачного совместного самоубийства с возлюбленным, принадлежавшим к народу-врагу, — становятся смешны и жалки. Я думаю, что автор, балансируя между лирикой и сатирой, пытается добиться от великого и смешного того стереоэффекта, который и есть «тонкое тело» империи, ее наивная и страшная душа.

Роман Павла Крусанова «Укус ангела» построен по той же, что и у Липскерова, типологической модели. Описанная здесь «кривозеркальная» Российская империя слишком красочна и избыточна, чтобы совпадать со своими историческими границами: цвет растекается за контур, империя, преисполнившись мистической пассионарности, со страшной скоростью поглощает свои географические окрестности. Расширение империи — не только движение сюжета, но и строительство стиля: текст романа пышен и причудлив, будто обстановка дворца вельможи, управлявшего многими колониями и вывезшего из экзотических местностей множество драгоценных и странных вещей.

Если у Липскерова сверхъестественное показывается лишь боковому зрению и маскируется под неразгаданные природные феномены (купец Ягудин, бросившийся с Башни Счастья, пролетел, по свидетельству физика Гоголя, некоторое расстояние по воздуху), то у Крусанова колдуны, моги (те, кто могут) и магические виды вооружений законно входят во все переплетения сюжета. Причинно-следственные связи романа — это лестница барона Мюнхгаузена, по которой автор поднимается на Луну. Существенно в романе то, что персона императора и вся его судьба отражают борьбу мистических сил, извечную битву Бел-Князя и Тьму-Князя: император, в прошлом боевой генерал Иван Некитаев, получает власть не по праву земного рождения, но по праву небесной «истинности», потому что сделан из «глины, замешанной на воде верхней»⁴. При этом борьба Добра со Злом у Крусанова мало похожа на то, что мы видим

в «нормальной» фантастике, особенно в так называемом «фэнтези»: противостояние никак нельзя назвать прямым и однозначным. Иван Некитаев — отнюдь не светлый рыцарь и не благостный помазанник Божий: по мере того, как в личности монарха все полнее воплощается имперская идея, в ней остается все меньше человеческого. Распространенное прозвище государя — Иван Чума. Единственное настоящее чувство императора — кровосмесительная любовь к родной сестре — становится для земных и небесных режиссеров средством возбудить в Некитаеве ненависть к сопернику якобы за женщину, а на самом деле за трон. Империя в романе Павла Крусанова — это ворота в потустороннее: над Россией буквально разверзаются небеса, и в эту опрокинутую воронку всасываются все новые территории и человеческие жизни. Наступает момент, когда имперская экспансия уже не нуждается в земном обосновании: философ Петр Легкоступов, чьей задачей было благоприятное истолкование всех поступков Некитаева, подвергается жестокой казни.

Мрачный роман Павла Крусанова, полемизирующий с традиционным представлением о Святой Руси как об отражении светлого небесного града, пронизан мыслью об иррациональной природе империи. В отличие от «материализма» мещанских демократий империя способна на избыточное сверхусилие во имя нематериальной и даже нечеловеческой цели, и в этой бессмысленности — ее величие. Бросая войска на запад и восток, император по-своему совершает великие географические открытия; империя, не сдвигаясь с места, пускается в плавание подобно гигантскому и смертоносному Колумбовому кораблю. Павел Крусанов видит в имперской экспансии трагический художественный жест, что и пытается воплотить в романе. Видимо, задача настолько поглотила писателя, что он посчитал, будто все средства хороши: отсюда «сверхнавороченность» избыточного текста. При том, что роман «Укус ангела» вряд ли можно назвать гармоничным, — такой темпераментной прозы мне не встречалось давно.

До чего же договорились писатели «сослагательного наклонения», пленившиеся имперскими миражами? Уловив забродившую в обществе тоску по империи, некий новый социально-психологический код, они выдали свои расшифровки. Бойтесь желаний своих, ибо они осуществляются: эта мысль не нова, но обладает удивительным свойством регулярно забываться.

Однако дело не только в том, чтобы общество, уставшее от «демократических реформ», не впало в тоталитарный соблазн. Существует проблема бытийная, она же проблема «положительного героя». Демократия не даёт персонажу никаких бескомпромиссных ценностей вне его человеческой личности. Святость, то есть прямой контакт со своей божественной природой, не каждому по плечу. Слабый человек нуждается в мессии либо в земном посреднике между собой и Богом. Роль такого посредника и может выполнять империя. Однако литература уже давно лишилась невинности и теперь не может не видеть, что все земные ценности, претендующие на роль абсолюта, с неизбежностью суррогатны. Чему ни припиши надчеловеческие смыслы, будь то флаг, герб, императорский дом, национальная идея, марксизм-ленинизм, — из всего выходит все та же Метрическая война.

Все-таки литература, будучи сама избыточным сверхусилием, не может продолжаться, не возобновляя в себе наивной веры хотя бы в собственное существование. Добывая знание и многую печаль, литература параллельно занята и воспроизводством наивности, веры в святость некоторых земных реалий, с «материалистической» точки зрения себя исчерпавших. Что касается поиска черной кошки в темной комнате, то это самое что ни на есть творческое занятие. Полагаю, что национальная идея и не может быть сконструирована вне литературы. Если она вообще возможна — ее обнаружит не профессионал в области политических технологий, не философ и не модный газетный колумнист, но герой романа. Остается только написать такой роман и посмотреть, что из этого получится.

Примечания

¹ Олег Дивов. Выбравовка. Роман. М.: ЭКСМО-Пресс, 1999, с. 9.

² Андрей Столяров. Жаворонок. Роман. «Знамя», 1999, № 6, с. 70.

³ Прутков Козьма. Сочинения. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1986, с. 120–121.

⁴ Павел Крусанов. Укус ангела. Роман. СПб.: Амфора, 2000, с. 73.

Наблюдатель

рецензии

«Да?»

Иосиф Бродский. Большая книга интервью. Составление Валентины Полухиной. М.: Захаров, 2000. — 702 с.

Может ли книгой о жизни, «о том, что время делает с человеком» стать сборник интервью? Не может, но смог.

В то время как я пишу об этой книге, уже готовится ее второе издание. Столь быстрое переиздание вызвано не только авральным количеством ляпов разного рода в книге, поспевшей к шестидесятилетию Бродского с чуть безумным взором и недоодетой (без оглавления), но и ее приемом у читателя. Книга читается жадно, упоенно — именно как книга, а не сборник. Такой книги о Бродском еще не было.

О Бродском сказали свое слово ВСЕ, от Солженицына до Курицына. Включая и самого Бродского — в «Диалогах с Бродским» Соломона Волкова, которые еще больше имеют прав называться книгой, а не сборником интервью, поскольку Волков спрессовал их по темам, выпарив время. Получилась отличная книга — скорее о мире Бродского, чем о Бродском в мире, в жизни, не мыслимой вне текущего времени, ход которого пунктиром, в разрывах, но сохранила хронологическая композиция «Большой книги интервью».

Неизбежные повторы в ответах человека на типовые вопросы шести десятков журналистов в течение 23 лет, эти вроде бы издержки жанра интервью жанр именно и создают, вернее, играют свою роль в смене жанра — журналистики литературной: время работает на литературу. Ей только впрок идут лейтмотивы, рефрены. Включая эти утвердительно-вопросительные «да?» Бродского, «тик-так» его разговорной речи. Штрих абсурда, наносимый повторами, в литературе (с легкой руки Толстого) на стороне сил выразительности. К тому же все эти «пластинки» Бродского — «ссылка», «Ахматова», «Оден», «поэт в эмиграции» и многие, многие другие — слегка погнуты време-

нем, мерцают множеством оттенков, только в сумме дающих сколько-нибудь возможный адекватный ответ (на вопросы типа «В чем предназначение поэта?» или «Вернетесь ли вы в Россию?»).

Кто, говоря о «Большой книге», не будет подивиться на отсутствие оглавления к более чем 60 интервью? Но что сборнику скандал, то повествованию опять же впрок. Если не листать книгу в поисках знаменитостей среди собеседников Бродского, а сдать ее на милость хронологии, то она вынесет тебя в поступательном ходе жизни и на драму, и на комедию. Иначе можно и проглядеть многое из живого Бродского. Кому, например, понадобится некий Фриц Ридаль? А ведь он припрет Бродского к стенке утверждением: «В вашей прозе мятежный дух граничит с безжалостностью. <...> Мне кажется, что я разговариваю с человеком, который стремится изменить положение вещей. С другой стороны, сокровенная система координат поэзии Иосифа Бродского построена на неподвижности, на тищете окружающего мира, на неизменности личности». Бродский в ответ звучит взволнованно и вдохновенно: «Ваши слова меня встревожили и заинтриговали. <...> Мне не хочется писать прозой, поскольку это не доставляет мне никакого удовольствия. Поэзия настолько более концентрирована, она точнее, нетерпеливее, в ней больше мучительного напряжения, как в ночи любви. Я могу назвать себя «one-night-stand»*, ведь порой память об этой единственной ночи остается навсегда. А потом рождается любовь, и это же происходит с поэзией», но на вопрос о разломе своей личности на границе прозы и поэзии по существу не отвечает. Так же пылок он в защите «эстетики — матери этики» и так же противоречив — именно в этом интервью, в других самый спорный свой тезис ему удается защитить. Однако не менее, чем логика ума, интересна нам эмоциональная логика. И мы радуемся наскоку неизвестного журналиста, нам дорого смятение

* Сленговое выражение, означающее сексуальное сближение заведомо на одну встречу.

Бродского, подарившее столь пронзительную метафору поэзии. Также ничего не имеем мы против любопытства неизвестной британской славистки (с. 566), многостранично пытающей Бродского о секретах его творчества с эффектом литературно-комедийным. Позволяя нам войти в положение человека «с нимбом, которым на протяжении последних лет» он «как бы обзавелся». Разумеется, эту книгу, которая чуть ли не лопаётся по швам от тематического размаха бесед, от сверхплотности их материала, от объема личности Бродского, можно с удовольствием прочесть и соскользнув с временной оси. Но это еще вопрос, обернется ли тогда гусеница шестидесяти интервью книгой — многокрылой бабочкой.

Жанр интервью не всегда работает в режиме реального времени. Вот сборник «Strong opinions» («Нелицеприятные мнения») Набокова, он отвечал письменно на вопросы, представленные заранее. Вся набоковская обаятельная нелицеприятность, однако, не в силах создать иллюзию живой беседы. Бродский же по-набоковски нелицеприятен (не у него ли учился?), да еще имеет дело не с иллюзией, а с реальностью. «Я не умею против интервью ничего, кроме обычного набора оговорок, какие есть у каждого писателя, когда дело касается болтовни вместо писания. И все же я думаю, что могу это преодолеть», — отвечает он на одну из просьб об интервью. Кто знает, ради чего затевалось подобное преодоление, но оно результат каждой попытки. Я хочу сказать, что не вижу эстетических преимуществ у многих прозаических текстов Бродского перед «наболтанными» им вне уютного одиночества. Чистота интонации? Естественно, утрачена, особенно монотонность. Зато сколько непредсказуемых модулирующих естественного голоса, сколько режущих (не слух, а «по живому») нот, сколько «(хмыкает)» и «(смеется)»! Да что тут говорить. А смыслового урона его кардинальная тематика — религия и метафизика, поэт и язык, поэт и эмиграция и пр. — в разговорной речи не понесла. Изложенные в ясном, беспощадном свете дня, в чужое лицо и часто на чужом языке мысли проверялись на здравость, на переводимость не только с русского на английский, но и с абстрактного на земное, с мифа на реальность. Успех Бродского в этом деле обязан не только его дару устной речи, но и дару самого жанра — беседе, которой помогают не «стены», а «другой», как бы бездарен он ни был: таковы парадоксы жанра.

Один любопытный побочный эффект жанра: авторское толкование отдельных стихотворений. Чаще русских собеседников конкретные вопросы о стихах задают «иностранцы» (их вообще больше среди интервьюеров, особенно в донобелевский период). Мог ли Бродский ограничиваться отговорками типа «это как кошке ловить свой собственный хвост»? Нет, он отвечает, старается. И в каком же положении мы теперь оказываемся? В противоречивом — как если бы прилетели марсиане и сняли с повестки дня вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?». С одной стороны, облегчение, но что делать тем, для кого этот вопрос был профессией?

Да, можно теперь сверить свои решения задачек с ответами, данными в конце задачника, но ведь нас всю жизнь учили разбираться с поэзией без авторских подсказок! Правда, Бродский о секретах своей поэтики давно проговорился во множестве эссе о своих эстетических и метафизических собратях — Цветаевой, Одене, Донне, Фросте, Гарди, Кавафисе, Уолкотте и других. Однако его эссеистика — это та пёчка, от которой интерпретациям еще плясать и плясать. А тут вам, пожалуйста, авторский разбор «Сретенья». Ни в одном из известных его анализов мы не прочли, что в стихотворение «вкраплен некоторый элемент абсурда. Речь идет о грамматических повторениях. И это сделано потому, что Новый Завет отличается от Ветхого Завета именно таким же образом. То есть некоторые стихи Нового Завета, они звучат таким немножко абсурдистским рефреном к Ветхому».

Конечно, интерпретация далеко не закончена, но ее вектор уже среди данных, а не среди неизвестных уравнения. Совмещение ли это для нас приятного с полезным?

Если чистые литературоведы и откредитуются от авторского вклада в такой форме, так ведь и — не наукой единой, и отдав должное сомнениям в желательности контрбанды, признаем ее силу нас захватить.

Течение времени в «Большой книге» смоделировала Валентина Полухина, собравшая 153 интервью и отобравшая из них более 60. Ее содержательное послесловие «Портрет поэта в его интервью» анализирует эстетику жанра интервью, типологизирует конкретных собеседников Бродского, прослеживает их соответствующий вклад в создание его портрета, сравнивает методы создания Бродским автопортрета в стихах и в интервью. Валентина Полухина вглядывается в получившийся не без ее труда портрет с завидной несентименталь-

ностью, оставляя на долю читателя эмоциональный отклик, спектр которого определяется составом личности Бродского.

Естественно, нам выдан ее неполный состав, но то, что дано, — огромно. И если встанет вопрос, истинно ли это огромное, Бродский ли это без прикрас, то вопреки правилам жанра, не предполагающего полную откровенность говорящего, стоит на нее рассчитывать: Бродский представит мудрецом, а мудрость снимает вопрос об откровенности или неполноте. Другое дело, что у мудрости Бродского масса отенков, так что в любовании их переливами и предстоит читателю провести время за «Большой книгой» — книгой о мудрости, действительно «о том, что время делает с человеком».

Прежде всего, это мудрость человека, оставшегося живым, что бы «время» с ним ни делало — как бы ни швыряло вниз, вверх или в сторону: «Я собака. Разумеется, у меня есть интеллект, однако в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением».

Она же мудрость человека возможно более частного, чем представлялось даже тем, что был с ним на «ты». Из диалога с Адамом Михником:

А.М.: ...я всегда ценил и ценю русского интеллигента. Интересно, что ты не любишь этого определения.

И.Б.: Вероятно, кто-то может меня так называть, но сам я о себе так не думаю. Я всегда старался определить свою суть с помощью ясных понятий; хотел уяснить себе, смел я или труслив, жаден или добр, честен по отношению к женщинам или нет.

А.М.: Типичные вопросы интеллигента.

И.Б.: Какого еще интеллигента?! Об этом думает каждый человек, способный свести счеты с совестью.

А вот, например, мудрость бывшего эзика: «На зло концентрироваться не следует. Зло завораживает, побеждает, помимо всего прочего еще и тем, что оно как бы вас гипнотизирует. О злое, о дурных поступках людей, не говоря уже о поступках государства, легко думать, это поглощает. И в этом как раз и есть дьявольский замысел».

Или мудрость эмигранта: «Если я говорю о некоторых обстоятельствах, о местностях, мне дорогих, то отчего же избегать сентимента, если я его по отношению к этим местам и обстоятельствам испытываю? Но это ни в коем случае не ностальгия. Это сознание того, что жизнь — процесс необратимый».

Мудрость познавшего чрезмерную славу: «Эта степень интенсивности положительных чувств к моей персоне... С этим довольно трудно справиться. Положительные сентименты — самое тяжелое дело на свете. С ненавистью легче справляться».

Мудрость поэта: «Писание стихов — это просто сильное ускорение мыслительных процессов, да?».

Мудрость писателя: «Никто не может помочь писателю писать, да?» и мудрость читателя: «Я считаю его совершенно выдающимся писателем. <...> Но он пишет не с целью создать некие новые эстетические ценности. Он использует литературу, стремясь к древней, первоначальной ее цели — рассказать историю. И, делая это, он, по моему, невольно раздвигает пространство и рамки литературы. <...> Все началось с обычной новеллы, с «Одного дня...», да? Затем к более крупным вещам, к «Раковому корпусу», да? А потом к чему-то, что ни роман, ни хроника, а что-то среднее между ними — «В круге первом». И наконец мы имеем этот «ГУЛАГ» — новый тип эпоса. <...> Советская система получила своего Гомера в случае Солженицына. <...> Он сумел открыть столько правды, сумел сдвинуть мир с прежней точки, да?» (Что ответить на это «да?» теперь, после явления нам Солженицына в качестве читателя Бродского? Ответ знает Солженицын.)

Отмечу еще мудрость автора, оставшегося в живых (в отличие, например, от похоронивших себя в «смерти автора» и то тянувших в эту могилу Бродского, то выпихивающих его из своей компании — как это делает, например, Курицын согласно своему «медицинскому диагнозу» в «Русском Литературном Постмодернизме»). В 1995 году Бродский говорит нечто такое, за что его следует отлучить от постмодернизма раз и навсегда: «Вообще я не знаю, что в поэзии главное. Наверное, серьезность сообщаемого. Его неизбежность. Если угодно — глубина. И не думаю, что этому можно научиться или достичь за счет техники. До этого доживаешь или нет. Как повезет».

Милльон разных мудростей решительно делают эту книгу чем-то вроде сборника крылатых выражений или (я — серьезно) учебника жизни. В целом, мудрость Бродского — не «мудрость чудака», а мудрость здравомыслящего с его «презрением к мистической бессвязности». Со здравомыслием как-то не ассоциируется парадоксальность, которой хватает в суж-

дениях Бродского, но, приглядевшись, можно заметить здесь скорее установку на додумывание до конца в сочетании с горячим темпераментом и обостренной чувствительностью к языку; все это не мешает прочно стоять на земле. И — совершать метафизические странствия, для которых религиозные поиски — «это только трамплины, отправные точки, начальный этап». Его известное сравнение человека с ракетой, преодолевающей земное притяжение и движущейся в одиночестве в космосе, — образец здравого смысла, по-моему. Да, ракета. Метафорическая формулировка бесспорного факта жизни, только и всего. Метафизика времени и пространства у Бродского остро образна и рациональна. В его метафизике языка действительно есть пара «пунктиков», провоцирующих на разговоры о чем-то вроде лингвистической религиозности Бродского. Опыт откровения, который ему был знаком, здесь оставил, кажется, наиболее глубокий след. Последовательно иррационален Бродский только в своем языкознании, в вере, что «В начале было Слово».

А согласилась бы Цветаева с таким вот утверждением: «Голос, звучащий в цветаевских стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке»? Согласилась бы — заменив «язык» на «душу», начало координат ее вселенной. Кстати, задачу, которую ставила перед собой Цветаева — «смыслами сказать звук а-а-а», — решил и Бродский.

Его частое самоуничужение — «исчадие ада» и т.п. — не паче гордости, а следствие остроты зрения человека, видящего вещи как они есть. Любый человек — «исчадие ада», так что здесь Бродскому легче всего поверить. Может быть, труднее — получать удовольствие от этой формулировки в повторениях: слишком тяжело; один раз нормально, но больше — тяжело; вот такие повторы работают против себя, против столь тонкой материи — самоопределения в терминах нравственности. С другой стороны: «Если у меня есть относительно себя некоторая ясность, то лишь потому, что я знаю, что хорошо пишу на своем языке. Слова, которыми я пользуюсь, не вводят меня в заблуждение, и, предположительно, используя эти слова, я не обманываю кого-либо другого». Если это утверждение и спорно, то оно еще и хвалебно по отношению к себе, а это то, что нам сейчас нужно — показать, что отношение Бродского к самому себе сбалансированно, трезво. Вывод: без «исчадий ада» не мог обходиться. Вообще эмоциональность Бродского в разговоре поможет

сторонникам «холодной» версии его поэзии обнаружить тот горячий источник, откуда этот «холод» брался.

«Я помню себя в возрасте четырех лет, сидящим на крыльце дома в сельской местности, в зеленых резиновых сапогах, глядя искоса, глядя несколько вкось длинной, грязной улицы, размытой дождем. И постольку, поскольку мне известно, я все еще на том же самом крыльце, в тех же самых резиновых сапогах. Это не легкий жанр, то, что я говорю, это так оно и есть. Я думаю, что каким я был тогда, я таким и остался. Мне все немножко интересно, но на все это я смотрю немножко издали, то есть немножко так искоса, да?».

Лия Пани

Форма борьбы со временем — печальная попытка его уничтожения

Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света: Роман. — «Новый мир», 2000, №№ 8, 9.

Давно, еще в школьные годы, на любимый вопрос учительницы литературы, завершающий изучение литературного произведения: «Чему учит эта книга?», ученики бодро отвечали словами из учебника. Это казалось непреложным — книга существует лишь для того, чтобы учить. Литература признавалась лишь в качестве учебника жизни, а писатель, соответственно, в качестве учителя. Хорошая литература должна изображать жизнь такой, чтобы «простой» читатель узнавал себя. Сейчас история рабочей династии Журбиных или героя, в одиночку строящего узкоколейку, не пройдет. Опускаться до «розовых» романов тоже не хочется. Но черный психологизм Людмилы Петрушевской уже есть, лингвистическая эротика Валерии Нарбиковой — тоже, да и «бытовые» повествования Татьяны Толстой и Виктории Токаревой уже знакомы читателю. Остается сравнительно незанятой в женской прозе ниша философско-бытового романа, или романа-притчи, куда и пытается вписаться новая эпопея Людмилы Улицкой, исследующая бытие среднестатистической советской семьи интеллигентов.

Улицкая — мастер бытописания. Ее эпопеи последовательно и подробно прослеживают житие главного персонажа,

вместе с ним — историю всего рода данного индивида. Персонаж чаще всего женщина. Но Улицкую перестает устраивать простое описание простой жизни простого человека. «Маленький» человек достоин большего — философского осмысления своей жизни. Так появляется прием параллельных повествований, почти не связанных друг с другом. Обычная жизнь в какой-то момент прекращается, и героиня попадает в потустороннюю среду, похожую на бред, наполненную, как кажется автору, непомерным философским смыслом и высшими идеями о добре и зле, жизни и смерти. Героиня блуждает то ли в своем помраченном сознании, то ли в загробном мире, каким он представляется автору, то ли в песчаной пустыне безвременья-сна. На нормальную женщину — хорошую мать, примерную жену — внезапно сваливается некое откровение, новая религия.

Внешне достаточно благополучная семья. Муж — врач, ученый, занимается различными патологиями беременности и борется за разрешение аборт. В «обыденной» части романа присутствует некое инобытие, которое должно подготовить провал в философское пространство.

Но эти странности аккуратно укладываются в сознание массового читателя, так как не выходят за рамки странностей недавней постсоветской реальности. Так, у Павла Алексеевича неожиданно открывается дар «внутривидения», позволяющий ему внутренним зрением видеть у пациентов страшные болезни. Легкое недоумение по поводу нового Кашпировского или Чумака рассеивается тем обстоятельством, что Павел Алексеевич, как честный человек, лечить эти болезни не берется, он их только диагностирует. Впрочем, ясновидение никакой роли в развитии сюжета не сыграет. Это ружье не выстрелит, и непонятно, зачем оно вообще повешено на стенку.

Жена Елена Георгиевна, женщина, у которой «глаз смотрит внутрь», видит сны. «Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту фразу не обыкновенным образом, анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыба мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником. Жаль только, что, проснувшись, вспомнить фразу она так и не смогла. Но самый этот сон сохранился, не выветрился. После него осталась догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию, только надо напрячься, чтобы ее уловить». Жалко только, что такая удач-

ная находка геометрии слов никак далее Улицкой не развивается.

Улицкая описывает мир, заключенный в скорлупу семьи Кукоцких. Внешние события важны лишь в качестве реакции, лакмусовой бумажки, выявляющей некие черты характера. Все вращается вокруг одной проблемы — зачатие, зародыш, ребенок, человек. Эта проблема обыгрывается со всех возможных сторон. Павел Алексеевич — гинеколог, его ясновидение теряется после физической близости с женщиной; Елена Георгиевна не может рожать после операции, сделанной Павлом Алексеевичем; физическая близость с Еленой Георгиевной никак не влияет на дар Павла Алексеевича; их дочь работает лаборантом, готова препараты из мозга зародышей, а потом умирает во время беременности; разлад супругов связан с этической стороной проблемы абортов; и наконец, семья берет на воспитание девочку, мать которой умерла от криминального аборта.

Эти проблемы существуют и развиваются в двух разных планах повествования — в реальном и мистическом. «Сон» Елены Георгиевны, ее странствия в песчаном мире «множественной системы координат» и нескольких времен («время горячее, время холодное, историческое, метаисторическое, личное, абстрактное, акцентированное, обратное и еще много всяких других...») — временная яма, в которую проваливаются прошлое и будущее одновременно. Своеобразная вспышка ясновидения, которое, по мысли автора, должно стать ключом к пониманию всего произошедшего и предстоящего, а на самом деле оказывается лишь подпоркой сюжета. Ни Елена, ни кто-либо другой об этом навязанном даре богов не догадываются. Советская Сивилла после явившегося ей откровения заболевает странной болезнью беспамьяства. Именно здесь и заблудилось сознание женщины, вынужденное остаться по ту сторону невидимой границы, отделивающей время от вневременья.

Автору пока не удается совместить эти две стороны процесса — историю семьи в реальном пространстве советской эпохи и изображение странствия души в подсознании, нагруженном аллегориями и религиозным опытом. («Фиктивное пространство», — называет его героиня.) Если у Петрушевской реальное и ирреальное органично растворено друг в друге, то у Улицкой они существуют рядом, четко отграниченные пространством текста. Причем стилистически эти параллельные миры не различаются. Разговор происходит на том же языке. Все различие —

в месте обитания — пространстве, организованном по принципу библейской пустыни, по которой Моисей ведет народ израильтян в Землю обетованную, и некоторых чудесах — патологические роды, исчезновение младенцев, негасимый огонь, — то есть типичных приметах вешего сна или спокойного контролируемого бреда. Каждое действие имеет строго определенный символический — скорее даже аллегорический — смысл. Ведь символы тоже поддаются клишированию. Для освобождения и обновления душа должна пройти через пустыню отброшенного тела. Смерть тела становится рождением обновленной души. Умирая в земной реальности, душа рождается для вечной жизни, впрочем, способная вернуться в реальный мир. Это соседнее нулевое пространство заключено в мягкую упругую оболочку, своеобразное гигантское чрево Праматери Всего, где бродят души до рождения. И полет в небо — только символ рождения, выхода в иное пространство. Причем автор настаивает на этом несколько раз, старательно проговаривая, доводя до логического завершения, жестко контролируя символизм событий и добиваясь устранения вторых и третьих планов восприятия. Столь жесткий контроль за повествованием действительно направляет его в нужное бетонное русло и не дает возможности читающему создать свою версию происходящего — слишком уж управляем и рукотворен поток.

Впрочем, читающий может и не делать попыток вырваться из этого направленного движения — если ему нравится узнаваемость и доступность этого навязчивого сна. Улицкая сознательно возвращает читателю его собственную философию, отраженную в зеркале среднего культурного уровня и чуть приукрашенную вязкостью ассоциаций.

Вставная новелла вешего сна Елены Георгиевны так и осталась не у места — вытолкнутая из общего повествования в отдельную главу — так и осталась отдельной, отторженной, постоянно сбивающейся в невнятицу или бытописание с его пристальным вниманием к житейским мелочам или физиологическим подробностям. Главная неудача текста в том, что он не развивается вглубь, тяготеет к разливу и неизбежному обмелению, цветению стоячей воды. Притча выражает то, что в романе уже объяснено, просто делая это в другом, заранее подготовленном, искусственном пространстве, поэтому выглядит полностью «сделанной», представленной читателю в готовом виде. Романный мир

не знает ее предназначения, не умеет ею пользоваться, и она остается невыразительной безделушкой.

Финала у романа попросту нет. Он обрывается абсолютно насильственно в произвольном месте и оставляет читателя в недоумении — в зависимости в некоторой пустоте и неловкости («Простите, граждане, я все сказал...»). Занавес падает. Зрители расходятся.

Улицкая попыталась сломать или хотя бы обойти законы жанра, в котором она работает, но надо признать, что это ей не удалось.

Галина Ермошина

Между двух традиций

Дж. Джойс. Лирика. Пер. с англ. Г. Кружкова. М.: Рудомино, 2000. — 120 с.

Как известно, сейчас почти нигде (кроме России) переводчик не стремится к сохранению рифм и метра переводимого стихотворения. Вопрос этот служит предметом больших дискуссий, и тем интереснее посмотреть на книгу, предлагающую в полном смысле слова «экспериментальный материал» по проблеме.

Переведенная Г. Кружковым книга лирики Джойса состоит из двух существенно различных сборников, составленных самим автором. Первый — «Камерная музыка» (1907) — «цикл песен в духе английской ренессансной лирики» (Г. Кружков), изящные стилизации, легкие, ритмичные, мелодичные — и вполне клишированные по содержанию. Томление, стремление, сближение, расставание... Отчасти это связано с интересом Джойса к английской мадригальной поэзии и музыке XVI века и с его увлечением пением, отчасти это можно рассматривать как одну из первых джойсовских попыток свободного перемещения по стилям, одну из первых ступеней к «Улиссу». Второй — «Пенни за штуку» (1927) — «веи скитальческой судьбы Джойса... Большая часть стихотворений написана в Триесте в 1913–1915 годах. Их биографическая подоплека — чувство Джойса к его ученице Амалии Поппер, мучение безнадежной любви, смешанной со стыдом и виной» (Г. Кружков), это напряженные и сложные стихи. И также — одна из ступеней к многоязыковым напластованиям смыслов «Поминок по Финнегану», уже в названии

«Pomes penyeach» звучит одновременно и английское «poems», и французское «rommes» — то есть по пенни за штуку и стихи, и яблоки. Книга издана так, как и следует издавать переводы, с параллельными английскими текстами, честно.

В «Камерной музыке» Кружков, собственно, и переводит музыку, прекрасно передавая мелодию стиха.

*Любезный ветерок, лети
К любезной, к ней! —
И ароматом брачных роз
Её обвей.
Лети над тёмною землёй,
Над хлябью вод —
Ни твердь, ни хлябь не разлучат
Того, кто ждёт.*

Вероятно, переводчик опирается на традицию русской романсной лирики второй половины XIX века, с чем можно только согласиться. Это и есть романсы, Джойс желал, чтобы стихи были положены на музыку, и не так мало композиторов, это осуществивших. А отклонения смысла перевода от оригинала, разумеется, есть, но не замечаются за потоком мелодии. Совершенно иначе в «Pomes Penyeach».

*I heard their young hearts crying
Loveward above the glancing oar... —*

это совсем не

*Я слышал, как с весел сонных
Стека, звенит вода...*

Слова loveward в словаре нет. Love — разумеется, любовь, а — ward дает значение направления, цели (homeward — домой). Loveward — в сторону любви? Но ward также — больничная палата, тюремная камера, опека и еще много что. В одном слове Джойс концентрирует мотивы любви, болезни, несвободы, опеки, цели... А дальше будет еще loveblown — одновременно цветение любви и порыв любви, как порыв ветра. В переводе все это почти отсутствует, отсутствует даже попытка передать отклонение языка Джойса от стандартного английского.

Исчезают многозначные слова. Time's wan wave — изнуренная? бледная? тусклая? волна времени — просто опускается, этим значениям не находится места в короткой строке. Исчезают ключевые, несущие основную смысловую нагрузку слова. Как уложить в регулярный метр завершающее одно из стихотворений слово incertitude — неуверенность, неопреде-

ленность? Оно и не уложено — просто выброшено. Ритм стиха передается точно, с мельчайшими колебаниями интонации

*Ты слышишь, милый,
Как он зовёт меня сквозь
Шорох дождя — тот мальчик
мой влюблённый
Из ночи стылдой?*

Но — только ритм. Многозначность, рефлексия, работа с языком, напряженность Джойса сглаживаются. Возникает впечатление, что читаешь «Камерную музыку» — а это ведь «Pomes Penyeach».

Видимо, сравнение перевода двух сборников еще раз показывает, что, по крайней мере, поэзия XX века — это движение прежде всего значений слов, а не их звучаний (чему соответствует и переход этой поэзии к свободному стиху). И переводчику следует жертвовать звучанием ради значения.

Разумеется, это лишь очень относительное общее предположение. Верлибр не отменяет метрической поэзии, а лишь добавляется к ней. И нельзя запретить попытки передать метр стиха без больших потерь для смысла (впрочем, когда сборник переводится полностью — полагаться на удачу во всех без изъятия стихах опасно). И между разными направлениями поэзии нет жесткой границы, как и между сборниками Джойса. Кружков пишет, что критики находят в «Камерной музыке» пародийный аспект, «чуть ли не любую строку в ней можно вывернуть наизнанку, обнаруживая под лирикой фарс или непристойность», даже название «Chamber Music» «имело для Джойса некий второй, неприличный смысл (или, по крайней мере, оттенок смысла, связанный со словом chamber pot (ночной горшок)». А в «Pomes Penyeach» присутствует и элемент стилизации, связи с традицией любовной лирики елизаветинцев.

Но некоторые тенденции все же есть. И если их не учитывать, переводчик может быть захвачен инерцией не применимого к данному случаю стиля. «Gathers the simple salad leaves», «собирает простые листья салата», превращается в «собирает лунную траву». Но эти стихи — многозначная речь, а не возвышенная речь; стоит ли ее приукрашивать? И — привыкая к большой вольности перевода стиха во имя сохранения ритма — переводчик привыкает отступать от текста и упрощать его по своему разумению. А читатель, зная это, утрачивает доверие к таким переводам.

Вероятно, дело не в переводчице, в рамках старой традиции перевода Г. Кружков сделал, что мфг. Дело также и в том, что традиция действительно сложной поэзии в России, несмотря на блестящие достижения отдельных авторов, до сих пор не сложилась (или прервалась и не восстановилась). И обращение к лирике Джойса — еще один шаг в направлении формирования этой традиции.

Александр Уланов

Из жизни букв

Евгений Шкловский. Та страна. — М.: Новое литературное обозрение, 2000.

Биография прозаика Шкловского включает в себя некоторые недоразумения, в которых, строго говоря, он и не виноват, но обойти-объехать которые без помощи прогрессивной общественности не в состоянии.

Недоразумение первое заключается в фамилии. Слава, выделенная историей или подручными ей историками на долю различных Шкловских, уже израсходована на Виктора Борисовича, литературоведа да опоязовца, а также Иосифа Самуиловича, астрофизика. В результате предыдущей истории и литературы их неродственник Евгений Александрович остался почти что голым, то есть без фамилии, но, тем не менее, с именем.

Недоразумение второе — одновременно с прозаическими склонен Евгений Шкловский и к критическим занятиям, которые довели его до членства в АРС'С (чем хуже ОПОЯЗа?). И теперь, выступая в роли прозаика, Е.Ш. приходится остерегаться всяческих концепций, которые он выстраивал, уплывая в теоретические эмпирии. И к тому же наши критики, как правило, очень не любят, когда их коллеги в художники подаются. Потому что художников много, а искусство одно. И если каждый критик будет перебегать дорогу перед близко идущим процессом (=ситуацией)...

И эти недоразумения в значительной степени определяют если не стиль, то *походку* нашего писателя. Он все время словно чуть стесняется своего нынешнего легкомысленного занятия, а также старается обходиться вовсе без фамилий, заменяя их... ну, не прочерком, так инициалом,

очень похожим на прочерк. Пожалуй, не осталось в алфавите такой буквы, которую писатель не повертел бы в тексте, рассматривая: подходит на должность персонажа или нет? И не надо вспоминать тут Кафку. У того инициал можно расшифровать и так, и этак: и Крюгер, и Клейн, к примеру. А наш стеснительный современник буквами своими, по-моему, на нечто другое намекает. В математике бывают мнимые величины. Вот и персонажи писателя Ш. словно бы мнятся нам иль мерещатся в неверном эссеистическом свете фонаря-инвалида у подворотни литературы.

Последнюю мою фразу прошу не считать оскорбительной для прозаика, но хвалительной она тоже не является — чистой воды импрессионизм.

Этот писатель — словно музыкант из оркестра беззвучных инструментов, точнее — неслышимых инструментов. Тишизм (см. «Альтиста Данилова») здесь ни при чем. Просто как можно слышать страх, тревогу, боязнь, опасение, сомнение? И просто — как их можно не слышать?

Эссеизм — другое имя этой стеснительности-необязательности. В плане выражения это проявляется в том, что в рассказах много оборванных предложений. При первом чтении мне показалось, что переходные глаголы у этого писателя, робя, стараются обходиться без дополнений. При втором я убедился, что сие — частность. Вроде морщинки у глаз, когда человек улыбается.

Эссеизм — еще и потому, что нет (или почти нет) в этой прозе рассказывания историй. Пересказываются в результате не события, но ощущения. Поучительности часто заключается не в том только, что случилось, но и в том, что не случилось. Такая вольная притча — 3–4 книжные страницы. Столь похожая на переживания во время бессонницы иль в пылу неудач в личной жизни и боевой подготовке...

Но вернемся к недоразумениям. Рассказ «Без имени (История одного псевдонима)» выдает автора с головой. Ведь это он, прозаик Ш., доведенный до отчаяния уподоблениями бессмертному автору «Zoo» (клянусь, что глупыми: ничего обшего), изобретал в предзакатные часы себе маску. Вот послушайте:

Где у нас Сева Трубецкой (к примеру)? Звучит ведь, а? Почти как: а где у нас князь? Спросить же, где у нас Толстой или, того хуже, Наполеон (равно как Достоевский или Чехов) — и смех, и грех. Фамилия все равно впереди и заслоняет.

Замечательно это выдающее методу «заслоняет»! Стало быть, ничто не должно заслонять (тут глагол как раз и теряется на время переходность: кого, что заслонять? — вообще заслонять; не заслоняйте видимость водителю, писали когда-то в трамваях)...

Но дальше:

Борода или бородка мерещится. Морщины на челе. Пенсне. Вы случайно не родственник?

Вот как человек разросся (включая фамилию), что другим уже не осталось. Его уже лет сто как нет, а все про родственные узы интересуются. Вы из каких Толстых? Не из тех ли?..

Нет, уж лучше в таком случае Федей Ивановым.

Вот такая интересная вещь, самоосознание личности! Ведь доподлинно известно, что в этом самом процессе все ей будет что-то мешать. То пенсне помешает, то его отсутствие, то посторонние взгляды, то — что не смотрят, стало быть, не замечают и не придают значения. То вдруг почувдится, что ночью стучат (рассказ «Стук»), — открывать или нет? А не откроешь, будешь переживать: приходил ли кто и зачем приходил?

Пробовал. Примерял.

Не только имя чужое (а если родное?), но и такую жизнь. Тихий маленький человек (очень хочется сказать — человечек) тихо мечется по клетке, выделенной ему когда-то какой-нибудь жилкомиссией. И поставь железную дверь — будет метаться. В лифт войдет — испугается соседа («В лифте»). Встретит старого приятеля — испугается его оттопыренных ушей: вдруг отомстит за то, что когда-то надсмехались («Уши мистера Яза»). Со страху сочинит про диктатуру... Ну еще немного — и диктатуру людей с оттопыренными ушами.

Трудная штука жизнь! Никакой психотерапевт не поможет наладить. Зошенко (бремя страстей нашего быта) здесь встречается с Бабелем (печаль цвета заката), но за ними подсматривает кто-то третий, четвертый, пятый, десятый — и никого нет, есть эффект присутствия постороннего. Почему я так? Потому что все попытки сквозного персонажа, говоря в переносном смысле, разбежаться, сгруппироваться и полететь по (или хотя бы — к) счастливой жизни, не смешны, но печальны. Маленький человек титанически

мал. Он предпринимает титанические усилия, чтобы перейти (можно и с дополнением — перейти границу, переход, преодолеть промежуток), он даже спортом может начать заниматься: закалка-тренировка, в здоровом теле — здоровый дух. Поэтому надо беречься сквозняков, остерегаться дальних поездок, особенно по проселкам (рассказ «На проселке»: берется, остерегался, зимой машину держал в гараже, а все равно застрял на проселке — чего боишься, то и случается). Он рот может ладонью зажать, чтоб не закричать. Сплошная аннигиляция. Сплошные наши милые суеверья.

Когда нет никакого выхода из житейского тупика, прозаик может нажать на клавиатуре «Enter» — пробел как свет в конце тоннеля.

В рассказе «Бабель в Париже» (может, наиболее изобразительном в сборнике) нет лишнего пробела. У него небольшое, но пышное тело. И среди этой мопассановской красоты:

Без денег кисло, но разве это трагедия?

Трагедия осталась в России, где не было жалости и все они ходили по лезвию бритвы, по краю пропасти. Бабель любил острые ощущения.

Он хотел в Россию. Он хотел в Россию, которая корчилась в родовых схватках, пытаясь произвести на свет нечто невиданное, какую-то немислимую и невиданную красоту.

Это — провокативно (насыщенное пышностью безденежье перед чумой) написанный рассказ.

Любовь к острым ощущениям — как лекарство против жизни.

В других текстах, составляющих книгу, все иначе. Но есть мотив, который слышен с первой страницы до последней: жалость — жалкость — красота.

Бабелевскому персонажу надо, чтобы жилось или хотя бы умиралось красиво. Зошенковскому требуется, чтобы ложи были на месте, в прихожей, отчего ж невращения? От того, что жизнь представляет вещи в прихожей?

Прозаик Шкловский описывает слабость в ожидании силы, показывает убывание слабости как убывание жизни. Одним словом, промежуток, в котором может быть и темно, и светло, но, скорее всего, мутно, муторно. Ждешь кого-то важного и нужного, но и боишься встречи, оттягиваешь ее.

Какая-то сила, тяга л... ает жить,

перемешивая тесто существования, добавляя в нее толченого стекла опасений.

Сплошные ссылки на жизнь неудачника. Может, лучше сказать, *незадачника* — человека, у которого жизнь не задалась. Ситуация, в которой легче всего вписаться в толпу, стаю, клуб Т. (рассказ так и называется «Клуб Т. (Хроника одной ночи)»). Когда понимаешь, что речь, скорее всего, о толстых или тучных, не понимаешь ничего. Когда утверждаешься в мысли: слабость стремится к силе, с испугом вожделя ее, — и это опасно. Социально опасно.

Эти буквенные номера, коды, шифры — хоть какая да усмешка на безликой маске. Но есть ли разница, сколько знаков в коде, — когда тебя закодируют, будет поздно...

Состояние ожидания характерно для всех или почти для всех этих текстов. Все эти А, Б, В и т.д. все время чего-то ждут — то ли апокалипсиса, то ли прихода мессии (есть рассказ «Мессия»), то ли того и другого сразу. Само построение книги, расположение текстов по главам — организация движения художественной мысли по четкому холодноватому расписанию — усиливает это состояние. Особенно потому, что эссеистичные, обработанные под фрагменты тексты выглядят иной раз... ну, будто результатом прорыва на писательском продуктопроводе. Забил фонтан — родился текст. «По мне, в стихах все быть должно некстати», а в прозе, выходит, спонтанно. Форма книги, внешне противореча форме составляющих ее текстов, заставляет воспринимать предощущения персонажей как программную музыку. Но что этим объяснишь?

Первая часть называется «Воля к жизни». Некие безвременные (или, наоборот, послевременные) ницшеанские мотивы, повышенная тревожность персонажа, почти поэтическая плотность прозаической речи, ее «сверхнаsupленность» (а вот сыщи попробуй в рассказе слова «караул!» да «спасите!» — их вроде как и нет). Но супермен, сверхчеловек и *Übermensch* уже пришел, бояться поздно и неэффективно. Черные коты сбегают из дома, видимо, в предощущении чего-то мистически страшного, а может, приближая — вот гады неблагоприятные! — час Ч (или как там это по-кошачьи?).

Рассказ «Школа черного кота», которым открывается сборник «Та страна», самый загадочный в книге, хотя тут сюжет наиболее выражен. Проведенный мною мониторинг показал: чем меньше читатель задумывается над смыслом это-

го разворачивающегося на манер циркового аттракциона действия, тем больше он ему нравится. Введливый молодой человек (почти копия персонажа) воспринимает бритоголовых как социальную опасность. И никакого кота Мурра!

Надо еще иметь в виду, что книга очень музыкальна (не случайно на обложке — нотные строчки), а музыка соединяет все и тревожит всех. Особенно если учесть странную внутреннюю мажорность этих печальных пьес. Чем страннее или страшнее материя повествования, тем светлее улыбается автор. Но, собственно, улыбка эта обозначает некую радость хорошо работающего человека. Евгений Шкловский во всех случаях не фальшивит, даже когда просто слушает чужой (ну, явно не свой собственный) голос:

Болезнь — это праздность, а праздность враждебна воле к жизни. В ней, в жизни, все будет по-другому, жизнь не потрафляет слабости, в ней трудно, жестко... В ней кто не успел, тот опоздал. Кто смел, тот и съел. Народная мудрость. Жизнь — постоянное усилие (может быть, это выделить — как девиз, как лозунг, как урок мудрости):

ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ!

Что-то не люблю я такие мудрости. Что-то слишком правильные они. И всегда их вспоминают к случаю, когда из жизни надо выбить кого-то, кто мешает. Этакie тоталитарные мудрости, то есть на все-превсе случаи жизни...

Что касается критика Шкловского, то он, конечно, нигуда не делся. Местами очень даже заметно помогает однофамильному прозаику. И правильно делает, что помогает.

Александр Касымов

Как это делают в Киеве

Евгения Чуприна. Роман с Пельменем.
— <http://litera.ru/slova/chuprina/roman.html>

Значит, так. Таня любит Женю, Женя жених Наташи, Егор хочет Таню и спит с Наташей; Олександр Мыколаевич живет с Сережей, но тайно вожделеет Эдуарда Станиславовича; Валик, брат-близнец Жени, влюбляется в Таню и женится на Маричке, сестре Тани, такой же красивой, но

только моложе и ниже ростом. «В их поцелуе было столько же сладости, сколько в мускатном орехе. А горечи еще больше».

Таня должна была выйти замуж за Антона, но вышла за его сводного брата Егора (он же Джокер, «демонический шатен в берете и черных очках»); после развода с Егором Таня хочет выйти за француза Рено и живет с Женей, потом выходит опять за Егора, который на самом деле брат Жени и Валика, и они (Егор с Таней) уезжают в Амстердам. Вот. Если добавить, что Таня — бывшая мисс Украина и преподает в киевской школе русскую литературу, что Женя ее ученик, что Валик исполняет стриптиз в ночном клубе, что Егор художник, что Олександр Мыколаевич директор школы, в которой работает Таня, что Сережа одноклассник Жени, что папа Наташи владелец фирмы, где трудится Егор, и возлюбленный мамы Жени и Валика — то мы и получим сочинение киевлянки Евгении Чуприной «Роман с Пельменем». Текст помещен в Интернете на сайте «Сетевая словесность» и пользуется значительным успехом, что неудивительно, поскольку это, как, надеюсь, уже понятно, уморительно-смешная пародия на любовный роман. Подобная проза и сама по себе вполне идиотична, а стоит чуть-чуть добавить абсурда — и хохот гомерический гарантирован. Причем Евгения Чуприна человек грамотный и знает, как заинтересовать читателя, и как разнообразить повествование, и как соответствовать современной литературной моде, а если порой (особенно в начале романа) и хочется зевнуть, то ведь слишком уж уныла фабула: он любит ее, она его, а третья тоже. Впрочем, автор честно предупреждает: «...глупо читать женскую прозу, а потом плевать. Я требую, чтобы меня читали только женщины, а не противные, слюнявые самцы <...> Эти вонючие существа, видите ли, не любят мыльных опер!».

Все это хихиканье, все эти прыжки и ужимки хороши и сами по себе, но интереснее всего в книге Чуприной отступление. Точнее, некоторые из них. Дело в том, что она как литератор оказалась в ситуации особенной — ситуации русского писателя на Украине или украинского писателя, пишущего по-русски, — кому как нравится. Чуприна склонна эту ситуацию иронически отразить, добавив некоторое количество своеобразного киевского снобизма. «Мы, киевляне, не слишком правдоверные украинцы, а русские провинциалы из нас, как бомж — из короля Лира. У нас своя история болезни и свой рецепт лечения: не позволять никому на-

вязывать себе национальность. Мы, киевляне, породили оба языка — и русский, и украинский». И здесь же, чуть дальше по тексту: «И что новенького в библиотеке? Ничего украинского: старых гениев повывели под шумок социализма, а новые — слишком непутевые, чтобы выучить мову вместе с приспособленцами. Ничего русского: в Москве сроду не было приличной литературы, для трезвых людей. <...> Отсюда вывод: давайте в Москве говорить по-украински. Давайте в Киеве писать по-русски. Спасать-то надо обе культуры, они обе без нас погибнут». Несправедливо? Конечно. Но это глядя из Москвы, а у киевских собственная гордость. И приходится писать по-русски и одновременно утверждать, что «этого предмета (русской литературы. — А.У.) в реальной киевской школе вообще быть не должно», и одновременно спокойно констатировать, что родного языка киевляне не знают.

Сия русско-украинская коллизия могла бы стать темой чрезвычайно острой книги, но Чуприна, обозначив проблему, проходит мимо. Точно так же, как она, хотя и не упускает возможности пожонглировать стилями, но украинскую речь вводит в текст дозами гомеопатическими, чего не сделал бы автор, более склонный к лингвистическим играм. Чуприна же написала роман о любви. Все-таки — о любви. О взаимоотношениях мужчины и женщины, женщины, тонкой и очаровательной, и мужчины — грубого и отвратительного. Без которого тонкая и очаровательная жизнь свою представить не может. «...я даже когда начинаю со сцены проповедовать феминизм, то всегда косяка давлю: смотрит на меня вон тот высокий блондин или не смотрит. Если смотрит, тогда распускаю хвост, делаю пальцы веером и могу непрерывно вещать 24 часа без отдыха». Популярные мифы расчленяются, препарируются, и их бранные останки предъявляют публике. Публика, в зависимости от настроения, веселится и хлопает в ладоши или задумчиво рассматривает открывшуюся картину.

На этом можно было бы и закончить, охарактеризовав «Роман с Пельменем» как чтение необременительное, приятное, в меру серьезное, местами очень смешное, а иногда глубокомысленное. Но еще один штрих: уже был когда-то роман про любовь Тани и Жени, «Евгений Онегин» назывался, и там тоже было много болтовни вокруг да около, много отступлений и необязательных картинок, и взят он Евгенией Чуприной за образец. Чуприна хоть и насмешничает, да прилежно сле-

дует традиции. От русской литературы и в нэзалэжной Украине никуда не деться.

(А кстати, Пельмень — это Женя Пельменников, брат Вали Пельменникова, но вообще-то они оба Вяземские.)

Андрей Урицкий

Особенно слова

Ответная рецензия — сомнительный жанр. Однако невозможно оставить без внимания разгромную рецензию М. Ремизовой («Новый мир», 2000, № 5) на роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила» («Знамя», 1999, № 10–12). Я не возьму на себя смелость защищать эту прекрасную вещь и ее автора от несправедливых обвинений. В этом романе достанет и силы, и мастерства, и гармонии, чтобы исключить какие бы то ни было разговоры о литературных премиях, заграницах и личной биографии автора. Это вещи несоразмеримые. Мышиная возня вокруг сыра супротив взятия Измаила — аналогия из романа просится сама собой. Вряд ли стоит каждый тезис ремизовской рецензии снабжать антитезисом, подтвержденным цитатами из романа, однако некоторые наспех брошенные фразы все же нельзя оставить без ответа.

Как справедливо полагает М. Ремизова, своим романом Михаил Шишкин, вероятно, полагал написать симфонию, но, говорит она далее, — «получилось скорее *наподобие какофонии*» рабочего момента в коридорах консерватории, где за каждой дверью знай трубят свое, и целого это все вместе никак не составляет. Сумбур вместо музыки? Оставив на совести критика эту вполне скомпрометировавшую себя аналогию, попробуем все же не отметать ее с порога. Возможно, придя в консерваторию, критик первым делом отправляется в учебные классы, где долго ходит от двери к двери, прислушиваясь, как «кто-то *невидимый демонстрирует школу беглости*», другой репетирует арию, а третий бьет в литавры. Однако мой путь читателя и слушателя привел меня не в коридоры, а в зал. И там я услышала небывалую симфонию из сюжетов, лиц и эпох, человеческих страстей, взлетов и падений, ужаса и красоты, смерти и воскресения в не имеющей себе равных оркестровке русского языка.

Именно русский язык (этого не отрицает Ремизова) и есть мера вещей и времени в романе. Река, которую то вдоль (диах-

ронно), то поперек (синхронно) бороздят сюжетные линии романа. Но и здесь все оказывается не так просто. Ремизова с возмущением цитирует одного из героев (к слову сказать, душевнобольного): «*Мы лишь форма существования слов. Язык является одновременно творцом и телом всего сущего*». Позволю себе заметить, что мысль эта, столь возмущившая уважаемого критика, отнюдь не нова. Не буду напоминать, откуда она взялась и что было вначале, не буду ссылаться и на таких классиков философии языка, как Гумбольдт, Потенбня или Шпет. Напомню, что наш современник, поэт, чье посмертное шестидесятилетие мы отметили не так давно, скромно полагал себя не более чем инструментом языка.

Впрочем, у каждого свое мнение. «*Роман «Взятие Измаила» — это роман языковых пластов, <...> языковой стихии, задавившей собой все — прежде всего сам смысл текста*», — пишет далее Мария Ремизова. Не очень понятно, как язык может задавить свой собственный смысл, разве что, как унтер-офицерская вдова — высечь саму себя. Однако ответ отыскивается уже в следующем абзаце. Оказывается, «*читающий сталкивается с невыполнимой задачей: для полноценного восприятия текста требуется хоть приблизительно помнить, о чем шла речь в предыдущих частях, а запомнить это совершенно невозможно*». Я не профессиональный литератор и даже не профессиональный читатель. Я читаю медленно, и мне пришлось не раз возвращаться к уже прочитанному, потом снова вперед, затем опять назад и т.д. Утешением в таком непростом и медленном чтении мне служило сознание, что куда более замечательные читатели к середине ночи добирались лишь до половины гомеровского списка кораблей, и при этом отнюдь не сетовали на «*переусложненность полифонии*» «Илиады».

По ходу чтения рецензии складывается впечатление, что острое перо ее автора нацелено не только и не столько против Михаила Шишкина и романа «Взятие Измаила», и даже не против полученной им литературной премии «Глобус», присуждаемой Библиотекой иностранной литературы за произведение, способствующее сближению народов и культур. Похоже, что для критика и роман, и премия, и писатель, имеющий несчастье жить в Швейцарии, представлялись поводом высказать свои соображения о вещах другого порядка.

Все начинается мирно с разговора о литературе, о языке и современной прозе и

выхоленном содержании. Читаешь, радостно кивая головой. Кому же из нас не внятен пафос Ремизовой? Да, от звонко брошенного в пустоту слова звенит в ушах. А миг узнавания цитаты давно уже несладок. Да, прагматика в современной прозе, и, увы, поэзии временами почти заменяет семантику, а значит, и смысл. Термин *постмодернизм* потерял свое значение, и все чаще обозначает ту литературу, где за всезнающей ухмылкой обычно не кроется ничего, кроме страха высказать определенное мнение, обнажить суть своего сгедо и, нарушив свой душевный покой, подставить себя под дуло критики. Плакать, смеяться и любить многие современные прозаики и даже поэты (!) предпочитают за пределами страниц своих книг. Остается непонятным, при чем здесь «Взятие Измаила»? Именно в этом смысле роман Шишкина редкий агнецъ въ волцъхъ. Уж что-то, а палитра человеческих чувств, отношений, прозрений и страданий в этом романе представлена такая, что приходится время от времени откладывать книгу, дабы вместить.

Но здесь, по мнению М. Ремизовой, наивного сопереживающего читателя как раз и ждет подвох. Оказывается, все это умелая спекуляция на чувствах читателя. В особенности же там, где речь идет о детях, коих в романе фигурирует немало. Да как можно звать к сочувствию детям? Описывать от первого лица смерть сына, если сам автор сына не терял? А если терял, то как посмел описать наравне с *«игровыми эпизодами»*? У критики нет ответа. Но берегитесь, Федор Михайлович, скоро наша критика доберется и до Вас, и тогда несдобровать Вам со всеми Вашими илюшечками, катеринами ивановнами с детками, свидригайловскими девочками и проч. Так и дурак может вышибить дешевую слезу у неискушенного читателя. Деток-то всем жалко. Так природа захотела — почему? Не наше дело... А Вы, Федор Михайлович, лучше бросьте дешевые приемчики и оттачивайте мастерство. Напишите нам что-нибудь простое и взрослое, желательнее на основе собственной биографии...

Заключительная линия романа посвящена герою, потерявшему сына и нашедшему свою швейцарскую Франческу. У Шишкина ничего не бывает случайно. Возвращаясь с пасхальной всенощной, Франческа чертит черные кресты копотью от пламени пасхальной свечи на притолке московской квартиры. Славистка, она где-то прочитала, что *так можно охранить*

своим дом и тех, кого любишь, от несчастья <...> Мы ходили по ночной пустой квартире <...и> ставили кресты пасхальной копотью на всех окнах и дверях <...> В ту ночь, защищенные дымными крестиками, мы зачали своего ребенка. Мальчику суждено явиться на свет на фоне цюрихских облаков и кровавой летописи российской истории в книге, которую читает его отец. Сидя в номере своей швейцарской гостиницы в Альпах, он читает Сержа Лифаря о гражданской войне, о зверствах большевиков, о сражении за Киев мальчиков-гимназистов. А потом пишет жене: *«Вот сидел и думал, что есть какая-то удивительная связь между тем августом в Киеве и этим сентябрем в Валле».*

Между тем еще живым ковром на бетонном полу со стоком и вот этим золоченым туманом.*

Между матросом Полупановым и вот этим рожком почтового автобуса, отправляющегося обратно в Виссуа.

Между тем пятнадцатилетним мальчиком, гарцующим на крупе давно умершей лошади, и вчерашней паутиной, толстой, прочной, сделанной, как все здесь, на века».

Все едино и цельно. В эпилоге романа единство мира и времени воплотилось в этом ребенке, через которого прошла эта связь стран и эпох. Возможно, этому мальчику суждено возродить всех к новой жизни. Но дело происходит в эпилоге романа — здесь и сейчас, — а значит, еще творится и не поддается осмыслению. Пока что герой растерян и потерян: *«И все никак не могу понять — где я?»*. Роман кончается вопросительным знаком. Но сын родился, и какой-то указатель дан.

У другого героя романа, юриста, живущего почти на сто лет раньше этого, тоже рождается ребенок — дочь с синдромом Дауна. В бесконечной любви к своей Аничке он преодолевает не только общественное мнение, но и собственные представления о масштабах человеческого существования. Дети рождаются, живут и, да, умирают на страницах романа. Это роман ужасов, но и роман надежды. «Взятие Измаила» — это книга преодоления смерти, прежде всего через рождение детей. Роман Воскресения.

Трудно поверить, что все это не более чем повод для стилистических упражнений в изяществе пера. Но будь оно и так, это уже мало что может изменить в судьбе этого романа. Она уже отдана в руки

* Кровь пленных, расстрелянных чекистами перед отступлением.

читателей и, увы, критики. «Конечно, огорчивается Мария Ремизова, нельзя категорично утверждать, что Шишкин именно спекулирует, выводя образ отца, беззаветно любящего свою умственно отстающую дочь (раз нельзя, так зачем, спрашивается, утверждать?), но <...> само включение на равных правах таких эпизодов в общий корпус повествования, целенаправленно отвлеченного от человека и посвященного проблемам синхронизации и диасхронизации литературного пространства... само уравнивание этих фрагментов сигнализирует либо об этической индифферентности автора — либо (парадоксально!) о его художественной нечуткости». Следуя подобной логике, можно совершить немало прелюбопытных литературоведческих открытий. Такой же досадный промах допустил, например, и Лев Толстой, которому, видимо, всерьез не хватило этической и художественной чуткости, раз в «Войну и мир» он включил на равных правах философские рассуждения о ходе и смысле истории и, скажем, смерть Пети Ростова. А карманы, полные орехов? Хоть бы Толстой курсивом выделил, что ли. А то прямо взял и уравнил... Нетривиальным представляется и подход, при котором профессиональный критик прямо переносит соображения относительно личности и биографии автора на его героя, пусть даже названного в романе «я» и носящего фамилию Шишкин. Надо будет спросить у моей пятилетней дочки, считает ли она, что Чуковский плохой писатель, раз персонаж, от чьего имени ведется повествование, не уследил за Бибигоном и тот удрал на Луну. Но это мелочи.

Основной пафос рецензии Марии Ремизовой шире, чем простая литературная критика. Шишкин лишь повод для разоблачения главного врага. Вначале враг этот не называется, ближе к концу начинает застенчиво именоваться *западноевропейским романом*, затем *западным стереотипом*, и, наконец, просто и смело — *западом*. М. Ремизова так и пишет:

Современный западный роман не ставит и не решает человеческих проблем — западному обществу они представляются давно уже решенными.

От этого высказывания позволю себе лишь отгородиться многоточием и оставить его без комментария. Если это искреннее заблуждение, то автор сам преод-

леет его, если же выношенное годами убеждение, то возражать не имеет смысла.

Вернемся все же к русской литературе. Подробный разбор структуры романа, приемов и экспериментов, безо всякой оглядки на трепещущее живое содержание романа, более всего напоминает толстовский анализ литургии, где каждое ритуальное действие священника и прихожан подается как бессмысленный обряд в полном отрыве от его божественного содержания. Главная идея ремизовской рецензии в том, что Михаил Шишкин и иже с ним, сознательно подгоняя свои произведения под современные западные стандарты, мастерят их, дабы отправиться «вниз по лестнице, идущей вниз» (название рецензии), по проторенной дороге, ведущей в довольно тесное и отгороженное от жизни пространство, хотя и оборудованное кондиционером и компьютером, подключенным ко всемирной сети. Спорить не с чем Язык, в том числе и язык критики, — лучшее мерило. Оксюморон *про отгороженное от жизни пространство, подключенное ко всемирной сети* — красноречивее любых аргументов. Все было встарь, все повторится снова. Панталоны, фрак, жилет, западники, славянофилы, ргивасу, соборность, кондиционер, компьютер. К Михаилу Шишкину это опять-таки особого отношения не имеет, с этим лучше обратиться к господину Хомякову или ныне здравствующим его преемникам. Про особый/неособый (ненужное зачеркнуть) путь русской литературы (подставка «нации», «духовности» и т.п.) тоже, мягко говоря, неново. Наши духовные рыгаловки vs их бездуховные макдональдсы. Вспоминается, как одна моя интеллигентнейшая родственница, весьма яркая и неглупая ученая дама, на заре перестройки всерьез пыталась убедить меня (цитирую дословно) «в бездуховности dishwashera»*. Тогда мне показалось это диким, сегодня — просто скучным. Смее надеяться, что подобные вопросы вышли из фокуса общественного внимания, и мы все-таки дожили до времен, когда спорить про какие-то западные блага, про унифицированность западного сознания и вообще понятие «Запад»... уже и кюхельбекерно, и тошно. Тем более на страницах солидного литературного журнала. Лучше читать хорошие книги.

Читателям книги могут нравиться или не нравиться, их может быть интересно или скучно читать, над ними можно плакать или оставаться равнодушными — это зако-

* Посудомоечной машины.

ны человеческие. Критике все же уместнее судить книги по законам литературы и языка. Будучи по образованию лингвистом, я не могу отказать себе в удовольствии привести в заключение отрывок из стенограммы лекции проф. Силограма, прочитанной им в Санкт-Петербургском университете. Ибо Шишкину — шишкино.

Лекция № 1. Введение в лингвистику и семиотику.

*Язык велик тем, что бесконечен. Тем, что из конечного инвентаря фонем строит бесконечное количество слов, тем, что позволяет приставкам и суффиксам переодевать основы до неузнаваемости, надевать маски и срывать их, тем, что из слов может построить бесконечное число текстов, некоторым из которых в разной степени суждено одревенеть самим или быть омумифицированным историей и культурой, а значит, стать новым исходным материалом для создания новых текстов. То есть, говоря вслед за французами, они становятся основой последующих дискурсов. Этим и жив язык. *Conditio sine qua pop.* Особенно же касается это языка литературы.*

*«Любому веку нужен свой язык», — сказал поэт. Блестящий пример такого рода дает нам уже ставший классическим роман господина Шишкина. Написанный более полувека назад, он и по сей день изумляет впервые открывшего эту книгу гимназиста непрерывностью русского языка, а значит, и российского сознания. Ибо, как гласит гипотеза Сэпира — Уорфа, язык членит мир. Мы видим мир не глазом, но родным языком. Абориген, не умеющий считать, с легкостью различит десятки видов ползучих жуков и насекомых или без труда извлечет из памяти имя брата мужа племянницы своего двоюродного дедушки, ибо для любого родства в его языке есть имя, без знания коего жизнь его в обществе невозможна. Англосакс по просьбе ученого разделит кучку сине-зеленых бусин на две — синюю и зеленую (*blue* и *green*), славянин же разложит бусины на три кучки — ибо в его языке есть три слова — «синий», «голубой» и «зеленый». Эскимос назовет вам семь слов, означающих «снег», потому как один снег падает с неба, и это совсем не тот, что пухом покрыл землю, и уж тем более не имеет ничего общего с тем, что лежит давно и покрылся корочкой, по которой*

может пройти олень, и т.п. Значит ли это, что аборигены более способны к естествознанию и генеалогии, нежели к арифметике? Можем ли мы сделать вывод, что славянский глаз более художественно изощрен, нежели англосаксонский? И, наконец, неужели эскимосы совершили открытие разных состояний снега, которое другие северные народы проглядели? Нет, нет и нет, господа. Язык лишь зеркало национального гения и иерархии его мироздания. Не меньше, но и не больше. Ведь, ежели положить в основании любого суждения о народе лишь язык, то выходит, будто англичане дальтоники, аборигены тупицы, французы не помнят родства, а древние греки умели любить лучше наших современников, потому что в греческом есть несколько слов, переводящихся на русский как «любить». Последнее утверждение, впрочем, не столь ложно и достойно более пристального внимания. Ибо русский любит одним словом «любить» все без разбору — и Бога, и мать, и жену, и кошку, и музыку, и кофе с булочкой и, будучи неразвит, не отдает себе отчета в почти кощунственном объединении всего под одним словом. Древние же, умея назвать, умели лучше узнать.

В романе г-на Шишкина царствует язык. Он правитель мира, времени, истории и души. Историческая диглоссия (неразрывное сосуществование при четко разделенных функциях) русского и церковно-славянского в русском обществе, столь блестяще описанная проф. Б.А. Успенским, преломляется в некоторых частях шишкинского романа как диглоссия души человеческой. Речь внешняя и внутренняя, внешний и внутренний человек... Церковно-славянскому отдана истинная цепь явлений, мыслей и чувств. Герои выныривают в современный им русский язык лишь для светского разговора, для прикрытия своих истинных чувств и побуждений. Русский становится языком произнесенного, а значит, вторичного, ибо «мысль изреченная есть ложь». Но об этом в следующей лекции. Вернемся к азам.

*Язык (*langue*), как учил великий швейцарец Фердинанд де Соссюр, — есть система, набор единиц языка и правил; речь (*parole*) — система языка в действии. Соссюр сравнивает язык ... с шахматами: фигурами и правилами, речь же — с отдельной разыгранной партией. Тем самым знак в языке — есть шахматная фигура и правила ее поведения на доске.*

Знак имеет две стороны: «означающее» — физическая оболочка, и «означаемое» — смысл, значение. Тело и душа. Их единство и составляет то, что делает знак знаком. Они неразрывны и в литературе, если она таковой является. Об этом как нельзя лучше написал блестящий наш философ Густав Густавович Шпет в своей работе «Внутренняя форма слова»: «Связь звуковой формы с внутренними языковыми законами завершает развитие языка, достигая высшего пункта в истинном и чистом проникновении их друг другом. Это совершается в одновременных актах порождающего язык духа, так как с самых первых своих элементов языковое порождение есть синтетический процесс, и притом в самом истинном смысле этого слова, т.е., где синтез создает нечто, чего не было в связываемых частях, взятых сами по себе. Совершенный синтез получается не из частных частей, а из совокупности свойств и формы языка; он есть продукт силы языкового порождения. Язык часто, но в особенности здесь, в глубочайших и наименее объяснимых частях своих, напоминает искусство». Потому многие ученые настаивают на включении в понятие знака третьего элемента — синтактики — правил совместимости и сочетания знака с другими. Или, говоря другими словами, в изучении знаков языка они выделяют три аспекта. Семантику — науку о соотношении оболочки знака и его смысла, прагматику — науку о взаимодействии знаков и их пользователей (говорящего и адресата), и, наконец, — синтактику — науку о соположении знаков в речи. Ибо во внутренней природе самого знака заложены необъяснимые закономерности, позволяющие этому знаку появляться в одном контексте, и при этом строго исключаящие его из другого, допускающие его соседство в слове или фразе с одним классом знаков и строгойшее запрещающее любое другое соседство, etc. Невидимые правила сочетания и отторжения мелких единиц, составляющих более крупное целое, и есть синтактика — правила соположения морфем (приставок, суффиксов) внутри словоформ, фонем (звуковых единиц) в составе слова. Рассмотрим простой пример. Возьмем фонему русского языка «ы», по законам русской фонетики ей запрещено сочетаться с заднеязычными согласными — т.е., «к», «г» и «х»...

(Вопрос с места):

— А как же слово «акын»?

(Ответная реплика из зала):

— Я полагаю, что иноязычные слова следует исключить из рассмотрения. Отгородить колючей проволокой, пропустить через фильтрационные лагеря школьных учебников по русскому языку, и, если надо, произвести зачистку...

(Шум в зале)

— Тише, господа, вернемся к теме нашей лекции. Итак, синтактика суть нетривиальные правила сочленения знаков. Что есть великое в нашем мире, как не малое, воспроизведенное в другом качестве? Колония бактерий под микроскопом, муравьи на муравейнике, стадо слонов, толпа людей... То же и в языке. Звуки, слова, предложения, тексты... Сочинение г-на Шишкина — образец абсолютного слуха на синтактику текстов. Слияние стилистически несоединимого, разомкнутого во времени, прорастание друг в друга, казалось бы, случайных отрывков, а на самом деле, органически связанных «частей речи» — вот чудо языкового творчества.

Перед нами возведенная в литературный прием живая грамматика Слова. Не придуманная, но явленная.

Катя Марголис

История еретика и меча

J. Woodall. The Man in the Mirror of the Book. A Life of Jorge Luis Borges. London, Hodder & Stoughton, 1996.

J. Woodall. Jorge Luis Borges. Der Mann im Spiegel seiner Bücher. Berlin, Ullstein 1999, Propyläen Taschenbuch 2000.

(Дж. Вудолл. Хорхе Лунс Борхес, человек в зеркале своих книг. Лондон, 1996; Берлин, 1999; карманное издание Берлин, 2000).

Двадцативосьмилетнюю креольскую красавицу познакомили с писателем, о котором она много слышала. Эстела Канто была дочерью обедневшего помещика из Восточной республики Уругвай, работала секретаршей в рекламных агентствах и у биржевых маклеров, мечтала о сцене, но еще больше хотела заниматься литературой. Писатель, которому было сорок пять

лет, разочаровал ее. Писатель был высокого роста, но неловок и некрасив. Его рукопожатие показалось ей бескостным. Его опыт общения с женщинами был явно невелик. Он был взволнован, голос его дрожал. Кажется, Эстела произвела на него сильное впечатление.

Знакомство продолжалось, оба любители вечерние прогулки, засиживались в кафе на Авенида де Майо за чашкой кофе с молоком; ночью подслеповатый писатель провожал ее пешком до южной окраины Буэнос-Айреса, где Эстела жила с матерью; разговор шел о политике — оба ненавидели диктатуру Перона — и, само собой, о литературе. Обнаружилось совпадение вкусов; как и Эстела, дон Хорхе восхищался англичанами и американцами, Стивенсоном, Честертоном, Уэллсом, Мелвиллом, Уитменом.

Писателя звали Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо, этот пышный набор испано-португальских и аргентинских имен существовал только в документах; английская бабушка называла его просто Джорджи. Мать Борхеса, дожившая почти до ста лет, была, в сущности, единственной женщиной его жизни. («Кто не знает о том, что Борхес не женат, подумает, глядя на них, что это супружеская чета», — писал один современник). По-видимому, она готова была одобрить брак сына с какой-нибудь крепко стоящей на ногах девушкой-католичкой из приличной аргентинской семьи, «желательно с приданым», подругой, которая могла бы взять на себя заботу о беспомощном в житейских делах и постепенно терявшем зрение от наследственного заболевания сетчатки Борхесе. Неизвестно, отвечала ли Эстела Канто этому идеалу, вдобавок обе дамы не нашли общего языка. Как бы то ни было, дальше поцелуев дело не пошло. Биограф объясняет это страхом пуритански воспитанного Борхеса перед женщиной — или, что то же самое, страхом перед собственной сексуальностью. Но зато мы обязаны платоническому роману с Эстелой Канто созданным около 1945 года рассказом «Алеф», одним из его самых таинственных произведений.

Некогда Мопассан затеял судебный процесс против старого друга, издателя Шарпантье за то, что тот опубликовал его портрет. Автор весьма откровенных для своего времени новелл и романов протестовал против каких бы то ни было попыток сделать достоянием публики его собственную личность. Хорошо это или плохо, но времена, когда биографы не решались заглядывать в спальню знаменитых писателей, миновали. Западного писателя

не шокируют пространные рассуждения о том, состоялось или не состоялось некое событие. Нужно, однако, признать, что Джеймс Вудолл, английский литературовед и журналист, проживающий в Берлине, автор жизнеописания Борхеса, вышедшего на двух языках, поставил перед собой неблагодарную задачу, попытавшись проследить жизнь писателя, не избегая самых интимных сторон, «в зеркале» его книг. Ведь на первый взгляд кажется, что писания Борхеса — всего лишь плод усердного чтения, игра фантазии, вариации на заданную тему, словом, литература, всецело порожденная другой литературой.

При этом Вудолл не просто воспринял как нечто само собой разумеющееся так называемый, отнюдь не бесспорный биографический метод интерпретации художественных текстов. Похоже, что подчас исследователь злоупотребляет этим методом, — в особенности, если принять во внимание, что у Борхеса на редкость мало рассказов о любви. Собственно, лишь об одной, написанной в преклонные годы трехстраничной новелле «Ульрика» можно сказать, что любовь — ее главная тема. По мнению Вудолла, в новелле косвенно отразились отношения Борхеса и Марии Кодамы, полуаргентинки, полуяпонки, старинной приятельницы и бесконечно преданной помощницы, которую он знал с детства; брак с ней был заключен за восемь недель до смерти 86-летнего писателя. Существовал, по-видимому, проект женитьбы на Марии Эстер Васкес (которая одно время состояла секретарем Борхеса, а позднее опубликовала воспоминания о нем), но она предпочла другого. Что касается рассказа «Алеф», впервые опубликованного в журнале «Sur» («Юг») во второй половине 40-х гг., то он заканчивается — а не открывается, как принято, — посвящением Эстеле Канто.

Каждый год в день рождения Беатрис рассказчик навещает ее брата, бездарного поэта, на которого упал отсвет ее загадочного очарования. Однажды брат покойной возлюбленной впускает рассказчика в подвал. Во тьме подполья, похожего на пещеру Платона, ему предстает мистический Алеф — светящееся средоточие Вселенной. В каббалистической традиции Алеф, первая буква древнееврейского алфавита, числовое значение которой — единица, означает неизъяснимую сущность Божества. В математике это символ, введенный Георгом Кантором, создателем теории множеств и теории трансфинитных чисел; Кантор размышлял о проблеме бесконечности и ввел понятие об актуально-беско-

мечном — математическом эквиваленте абсолютного божественного бытия. С Алемфом каким-то образом соотносится образ умершей женщины; ее имя — Beatriz — не может не напомнить о возлюбленной Данте. Рассказ Борхеса написан в пору неосуществленной любви к Эстеле Канто, — довольно ли этого совпадения, чтобы аттестовать рассказ как притчу о самом себе?

Ульрика, точнее Ульрике, — героиня другой новеллы, и это тоже имя бессмертной возлюбленной, той самой, 17-18-летней барышни, к которой посватался в Мариенбаде старец Гете. («Образованный человек должен знать все его увлечения», — говорил о женщинах Гете Томас Манн). Ульрике Софи фон Левецов дожила до 95 лет; отказав Гете, она никогда не выходила замуж.

В первом же абзаце новеллы — если угодно, миниатюрного романа — вас уведомят о том, что это имя условное. («Не знаю и, видимо, никогда не узнаю ее имени». Перевод Б. Дубина). Проза, очарование которой невозможно изъяснить, излучает тускло-серебристое, сумеречное сияние. Это свет зимнего дня и вместе с тем колорит вневременного, потустороннего пространства. Вся история совершается словно во сне. Там сходятся действующие лица, там они могут носить имена героев скандинавских саг или персонажей Де Куинси, автора знаменитой «Исповеди английского потребителя опиума». Но одновременно рассказ помещен в конкретный «хронотоп»: встреча происходит в наши дни, в небольшой загородной гостинице в Северном Йоркшире. Рассказчик, некто Хавьер Отарола, колумбиец, знакомится с девушкой из Норвегии. На другой день они отправляются на прогулку. Идет снег, слышится вой волков, густеют сумерки; герои поднимаются в темную комнату под крышей, «и меч не разделял нас». Отзвук мотива из сюжетов о Тристане и Изольде и одной из легенд Старшей Эдды.

Известность Хорхе Борхеса в сегодняшней России, может быть, поможет какому-нибудь издателю набраться коммерческой отваги и выпустить на русском языке богатый фактами и наблюдениями, увлекательно написанный биографический очерк о Борхесе Джеймса Вудолла. Как водится, эта известность пришла с западанием. В 1984 году, когда вышел первый сборник прозы Борхеса на русском языке, имя старого мастера уже давно гремело на перекрестках мира. Тут недостаточно было бы кивать на свирепость идеологической цензуры, превратившей огромную страну в глухомань. Начальство

всегда находило усердных пособников. Изрядную долю вины за то, что крупнейшие писатели XX века, те, кто воздерживался от просоветских высказываний, оказались не доступными для читателей в бывшем Советском Союзе, несут литературоведы старшего поколения, постаравшиеся начинить учебники и энциклопедии справками, которые правильной будет назвать политическими доносами.

Другое обстоятельство, внутреннего свойства, со своей стороны затруднило рецепцию Борхеса в нашем отечестве. Это качества его стиля, его тематика и жанры; то, что можно обозначить как консервативное новаторство. Ныне Борхес виртуозно переведен на русский язык, тщательно откомментирован, солидно издан. (Здесь нужно указать на особую заслугу Бориса Дубина). Но безоговорочное признание так и не пришло. Причина в том, что творчество Хорхе Борхеса в глазах многих — это ученая литературная игра, нечто чуждое, малопонятное, слишком далекое от реальной жизни, хотя то, что в России называется литературой «о жизни», при ближайшем рассмотрении довольно часто оказывается всего лишь литературной рутинной. (Никто из этаблированных критиков в толстых журналах не обратил внимания на появление его книг).

У себя на родине Борхесу пришлось выслушивать упреки в том, что он космополит, в лучшем случае европеец. За границей, рассказывает биограф, Борхес страдал от того, что не мог наслаждаться своими любимыми латиноамериканскими кушаньями; в музыке он, кажется, предпочитал немецким классикам милонгу и несколько старых танго. На обвинения в недостатке литературного патриотизма, в пренебрежении национальным колоритом и т.п. писатель ответил в статье «Аргентинский автор и литературные традиции». Там говорится, что в Коране, самой арабской книге, нет упоминаний (это заметил Гиббон) о верблюдах. Если бы эту книгу написал арабский националист, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но Мохаммед знал, что можно быть арабом и не сидя на верблюде.

Один из парадоксов творческой биографии Борхеса состоит в том, что именно тогда, когда он спрашивался с «ультраизмом», а заодно и с авангардом вообще, он стал по-настоящему современным писателем. Отказавшись (в большой мере под влиянием «Адольфито» — своего младшего друга и соавтора Адольфо Бьоя Касареса) от барочной избыточности, Борхес обрел *стиль*. Это стиль предельной

концентрации. Мы говорим здесь о прозе зрелого Борхеса, а не о его стихах, но именно проза, миниатюры и короткие новеллы, отвечают определению поэзии, которое дал Пастернак: скоропись мысли. Борхес опускает промежуточные звенья. Это делает его прозу загадочно-неожиданной, зигзагообразной, паралогичной. Читатель вступает в поле высокого напряжения. Такая проза не только противостоит стилю другого великого аргентинца, младшего современника Борхеса — Хулио Кортасара, но и очевидным образом далека от русской традиции, по крайней мере от ее основного русла, в котором лаконизм Пушкина и Чехова остались изолированными островами.

В полустраничном тексте «Борхес и я» (к какому жанру его отнести, неизвестно) говорится о двух увлечениях: о мифологии окраин и об играх с пространством и временем. Новеллы о гаучо, авантюристах и бандитах, острые и увлекательные, конечно весьма далеки от представления о реалистической, «жизненной» (жизнеподобной) словесности; еще меньше их можно считать литературой о нуждах и чаяниях народа. Новеллы же второго рода (тут жанровое определение тоже чрезвычайно шатко), кажутся чистым порождением ума и от «жизни» еще дальше. Вдобавок в них присутствует нечто такое, что определенно смущает, если не отталкивает, многих читателей и критиков в России: эстетизация умозрительных моделей и философских учений при очевидном равнодушии к истине. Рассмотрим — или скорее напомним — одно из самых известных произведений, лишь мельком упомянутое в книге Дж. Вудолла, — «Богословы».

Действие, если можно говорить о действии в этом рассказе, который напоминает историческую хронику или гравюру в старинной книге и, конечно, представляет собой fiction, происходит во времена становления христианской догматики, по всей видимости в V веке. Антагонисты — глава диоцеза в Северной Италии Аврелиан и ученый богослов Иоанн Паннонский (т.е. венгерский): оба ведут борьбу против гностического учения о неизбывной бесконечности сущего и круговороте истории, оба — соперники. Иоанн успешно разбивает доводы ересиарха Эвфорбия на церковном соборе, и Эвфорбий заканчивает жизнь на костре. Мучимый завистью Аврелиан добивается того, что Иоанн Паннонский сам становится жертвой обвинения в инакомыслии; ибо ультраортодокс легче, чем кто-либо, рискует быть уличен в ереси. Иоанна сжигают, от его

трактатов до нас дошло всего двадцать слов. Но с его уходом жизнь потеряла смысл для Аврелиана; он скитается по диким окраинам гибнущей империи, пока его, наконец, не настигает смерть от пожара в далеком северном монастыре.

«Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами... Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского» (перевод Е. Лысенко). В заключение нам сообщают, что для «непостижимого божества» оба, Иоанн и Аврелиан, еретик и ортодокс, были одной и той же личностью. («Обе стороны этой медали перед лицом Бога одинаковы», как сказано в другой новелле, «История воина и пленницы»).

Рассказ «Богословы» можно понять, как иллюстрацию факта, известного в истории церкви (а также тоталитарных государств): догма пожирает своих творцов. Его можно интерпретировать, как историю духовного противостояния, в котором человеческие страсти бушуют не менее яростно, чем у соперников в любви. Можно, оставаясь в рамках сюжета, предположить, что этим рассказом Борхес хотел продемонстрировать свою любимую мысль о том, что теология есть род фантастической литературы. Можно толковать рассказ как аллегорию раздираемой противоречиями души, как философскую притчу о единстве противоположностей и придумать множество других объяснений. Каждое будет более или менее правильным и всегда недостаточным — то есть в конечном счете ложным. Маленький рассказ — меньше шести страниц — неуловим, неохватим, как сама истина.

Зато он вводит нас в суть литературной философии Хорхе Борхеса. Она состоит в том, что философские системы и догмы вероучения могут стать предметом художественной литературы не менее привлекательным, чем «жизнь», но с условием, что они остаются для писателя лишь материалом. Красота и фантастика абстрактных построений — вот что привлекает художника; отнюдь не вопрос о том, настолько они истинны или ложны. *Уважение эстетической ценности религиозных или философских идей... того неповторимого и чудесного, что таится в них*, — фраза Борхеса, которую цитировал в интервью с ним по аргентинскому радио журналист Антонио Карриси. Эстетической ценности, а не какой-либо иной.

Хотя писатель повторял, что он не мыслит своей жизни вне Буэнос-Айреса,

последние тринадцать лет, практически лишенный зрения и с каждым годом все неуютней чувствующий себя на родине, он почти непрерывно разъезжал по свету. В 1985 г. он поселился в Женеве, где и окончил свои дни 14 июня 1986 года, в субботу, в утренние часы.

Две строки из дошедшей до нас в рукописи XIII в. «Саги о Вельсунгах» выбиты на камне, под которым лежит Хорхе Луис Борхес на женевском кладбище Пленпале. Древнеисландская цитата — не что иное, как эпиграф к новелле «Ульрика»: *Hann tekr sverthit Gram ok leggri methal theira bert.* (Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собой и ею). Внизу, под эпитафией, стоит: «От Ульрики — Хавверу Отарола».

Борис Хазанов

...А жизнь продолжает себя

Альманах «Окрестности», сб. 4. М.: Автохтон, 2000. — 220 с. 300 экз.

Вестник молодой литературы «Вавилон», вып. 7(23). М.: Аргориск, 2000. — 220 с. 500 экз.

Практически одновременный выход двух держащихся на издательском плаву альманахов, представляющих (как в авторском, так и в редакторско-организационном плане) так называемую молодую литературу, — знаменательное явление, и не только для той области литературного пространства, которую они представляют. Прежде всего, оба альманаха достигли того уровня профессиональности, при котором как-то даже неловко и вспоминать о вещах типа типографски оформленного самиздата. Вероятно, в силу этого данные издания, весьма разнящиеся своими издательскими проектами, сильно сблизились.

Существующий еще с 1989-года «Вавилон» (гл. ред. Дмитрий Кузьмин) был заявлен как вестник, дающий как можно более панорамное представление о том, что пишут действительно молодые, отделяя их от многочисленных в то время 35–50-летних «молодых». Выходящие с 1996 года «Окрестности» (гл. ред. Алексей Корецкий) претендовали если не на отражение, то хотя бы на нащупывание точки видения, присущей действительно современной литературе, не возводя при этом в ранг принципиальности год рождения автора. В результате «Вавилон» сконцентрировался на

«горизонтальной» компоненте, стремясь охватить как можно большее число как можно более молодых авторов в как можно большем количестве регионов. Правда, при этом наблюдалось явное тяготение к материалу; содержащему как можно более ярко выраженный языковой эксперимент, что объясняется, видимо, формированием концепции альманаха в период расцвета и засилья концептуализма. Организовавшись уже совершенно в другое время «Окрестности» отдавали предпочтение «вертикальной» компоненте — начавшись с текстов членов молодежной группы «Междуречь», они постепенно стали вбирать в себя все большее количество текстов «со стороны», которые по той или иной причине оказывались близки духу этой группы. Не отказываясь от материала, построенного на языковом эксперименте, редакция альманаха явно пыталась ориентироваться не столько на форму, сколько на содержание, в конечном итоге даже заслужив упреки в так называемом пассаизме.

Однако сегодня положение изменилось, и это связано с тем, что изменилось положение литературного поколения, к которому относятся редакторы обоих альманахов. Можно сказать, что эта молодая литература постарела или, если угодно, возмужала и стала зрелой. Сложились и профессионально состоялись ее лидеры, возраст которых подошел к пороговому — 33 года. Рядом с ними сформировались как авторы те, кому ныне 20–22–24 года и которые слегка отличаются от «патриархов», но сходны с ними в том, что и для тех, и для других, скажем, Пригов и Гандлевский были всегда. Или, как написано в предисловии к последнему выпуску «Вавилона», это поколение самоидентифицируется как те, «кто делал первые шаги по самоопределению в мире литературы на рубеже 80–90-х, на фоне радикальной ломки иерархий и грандиозной реструктуризации культурного пространства». Между представителями этого поколения и предыдущих нет непроходимой пропасти, и это демонстрируют «Окрестности», в которых возраст автора можно определить только из приведенных в конце номера примечаний. Но «радикальная ломка иерархий и грандиозная реструктуризация», наличие которых отрицать невозможно, неизбежно сопровождаются сменой художественного сознания и художественного видения — новая эпоха ищет свое выражение своих смысловых проблем через своих представителей. Последние же оказались внутри безбрежного информационно-знакового пространства с огромным количеством вза-

имодельствующих философий, религий и идеологий, в сумме дающих виртуально-расплывчатую картину мира. Как пишет Иван Маковский (Москва, «Вавилон»):

*где слова ничего не обозначают
не обнадёживают
не печалят
а висят, как какая-то азбука
на ветру*

В этой ситуации в литературе на первый план выдвигается ее мифотворческая способность — автор сканирует мир, действуя бессознательные и иррациональные уровни восприятия, пытаясь уловить то предельно-обобщенное, что стоит за данной ему явленностью, заполняя ее мистифицированными, иллюзорными идеями. Как правило, эмоции автора при этом загоняются глубоко внутрь текста, проявляясь только по мере выхода из этой ситуации. Можно сказать, что ведется работа по переходу из знакового пространства в символическое — литература работает с опережением философии, создавая материал для ее формирования.

Особенно ярко это выражено в прозе, для которой характерна чуть ли не традиционная сюжетность, однако события, происходящие в, казалось бы, совершенно реальной обстановке, одновременно происходят в некоем иллюзорно-мистическом мире. И все это на фоне примет времени: дискурсы, коррупция, преступность, воспринимаемая на уровне быта, диффузия английского языка, компьютерная терминология, новые русские и так далее. Так, у Светланы Богдановой, которая на сегодняшний день является одним из самых сильных прозаиков, в «Снах Максимилиана» (Москва, «Окрестности») шофер Максимилиан Ответов возит в шикарном лимузине некую вполне реальную Веру во вполне реальные пункты назначения, но лицо героини изменчиво и почти все время прикрыто вуалью, а общий смысл поездок неясен. Герой текста Льва Усыскина «На войне» (СПб, «Окрестности») — некий находящийся в условиях военных действий сын сенатора, с которым, казалось бы, происходят обычные для этих условий события, однако совершенно неясно, что, собственно, происходит, кроме размышлений героя о «стальных оковах Случая да Божьего Промысла». У Ирины Шостаковской (Москва, «Окрестности») среди меняющихся, но имеющих непосредственное отношение к литературе героев и мест действия некая Madelein — «девушка школьного, очевидно, возраста» — учит истории

мира, в котором в начале «Инсайд и Аутсайд были одним и тем же местом, поэтому мир был един, как едины в нем были люди, пока не разделились надвое»: те, которые «устали смотреть внутрь себя и выглянули наружу, стали называться аутерами, оставшиеся были иннеры». У Сергея Соколовского в «Трагической истории Камило Сьенфуэгоса, борца за свободу» (Москва, «Вавилон») судьба привезенного с Кубы и находящегося в его квартире бюста команданте Камило Сьенфуэгоса неопределимо, но бесспорно ощущается связанной с судьбой этого человека. Один из лучших прозаических текстов — рассказ Андрея Филимонова «На дороге» (Томск, «Вавилон»), в котором описывается, казалось бы, банальная поездка на попутке бросившего институт безденежного Паша. Обыденная реальность здесь практически воедино слита с неявной, неуловимой высшей реальностью, проявляющей себя через детали обыденного. И в конце рассказа от безденежья назвавшийся буддистом Паша на захолустном переезде слышит, как «женщина в тулупе» говорит: «Тут все буддисты. Это дело такое, карма, от нее не зарекайся», и видит «бритоголовых людей в желтых билетах поверх ватников».

Поэзия на сегодняшний день явно обрательная в сторону традиционной поэтики. Все больше текстов, построенных на прямом лирическом высказывании, — поэты прежде всего ориентируются на глубинный внутренний голос. Время изменилось — стало возможным говорить просто, отражая парадоксы жизни и сознания без помощи языковых экспериментов. Как, например, Андрей Нечаевский (Донецк, «Вавилон»):

*Я на клиросе сижу
покурить хочу ужасно
но молчу — жужжит мой принтер
и жуёт бумагу часто
Как большие канарейки
рядом певчие поют
благодарть! — а мне икону
отсканировать дают*

Переход к более простой, прозрачной ткани стиха и усиление голоса лирического «я» демонстрирует один из отцов-основателей «Вавилона» — Станислав Львовский (Москва). В его последних стихах («Вавилон») ярко выражено присутствующее всему поколению чувство тревоги, идущее от ощущения неблагополучия в духовно-культурном пространстве:

*как же это произошло
как далеко это зашло*

*выздоровливать вроде рано
не выздороавливать странно
всё остальное страшно*

Все более характерной чертой нынешней поэзии становится то, что условно можно обозначить как квази-стилизация на мифо-религиозные темы, а точнее — попытка моделирования сознания разных эпох и культур. Характерный пример этому — «Хозфоры» Андрея Полякова (Симферополь, «Окрестности»): внутри почти что гомеровской речи мелькают Вавилон, Ассирия, Иудея, Крым, Ангел, Феб, Ориген, Плотин, Карпократ, Троя-святая, Орфей, «развалины дачи покойного Пана» и такие фразы, как «Вдруг телевизор сказал, что распят Дионис».

Соединением восточного колорита с поисками современной поэтики привлекают стихи Санджара Янышева (Ташкент, «Окрестности»):

*Кислота виноградных листьев
в твоём имени, Кохинур.
Ты срываешь ягоды — корни
остаются в недрах
от невозможности обнять твои ноги
и не растерять,
не расплескать при этом
вверенную им землю.*

Самым сильным автором, представленным обоими альманахами, является, на мой взгляд, поэт Мария Степанова. Ее мощный, замешанный на фольклоре и вобранный в себя множество самых разнообразных приемов стих пронизан ощущением исходной и неизбежной трагедийности устройства мира и человека. Герои ее лирико-эпических текстов, напряженно живущие между «земным» и «там, наверху», — отнюдь не праведники, но все они — личности, способные к активному действию и имеющие мужество никого не винить в своих грехах и ошибках. Как и героиня поэмы «Летчик» (Москва, «Вавилон»):

*...Простите ж меня,
хоть прощенья нет,
За гибель девчонки двенадцати лет,
Невинно пропавшей за то,
Что в бездне воздушной,
как рыба в ухе,
Небесная Дочка живёт во грехе,
А с кем — не узнает никто.
...А жизнь продолжает себя.*

В последнем номере «Вавилона» — 75 авторов, «Окрестностей» — 31. Раньше подобные издания называли «братскими могилами» и читать их было невозмож-

но. Однако эти альманахи читаются с ослабленным интересом. Они отражают, как выразался еще Ипполит Тэн, «состояние умов и нравов» тех, кто, являясь порождением нашего времени, только и способен адекватно выразить его суть. В сущности, они заняты тем, чем всегда была занята литература, — пытаются нащупать присущую их времени связь между предметным (физическим) и духовным (содержащим идеи) мирами, отображая в своих текстах ту ненаблюдаемую реальность, в которой эти два мира неким непостижимым путем объединены. Как пишет Ника Скандиака (Нью-Йорк, «Вавилон»):

*В пространстве лежат
n-мерные сферы
И пересекаются во множестве точек.
В каждой из точек растёт человек
Или хотя бы цветок.*

Многие авторы присутствуют в обоих альманахах, более того, Данила Давыдов, ранее бывший редактором «Окрестностей», ныне — соредактор «Вавилона» и автор обоих альманахов, а редакторы «Окрестностей» Сергей Соколовский и Максим Волчкевич — авторы «Вавилона». И последнее — ирония авторов этих альманахов практически всегда направлена на себя, они словно бы иронизируют над состоянием собственного сознания, поставленного перед решением сложной задачи. Как писали братья Стругацкие, «будущее просто шло своей дорогой».

Людмила Вязмитинова

Записки русского барина

Максим Соколов. Поэтические воззрения россиянина на историю. В 2-х тт. М.: Русская панорама, 1999.

Сложная работа предстоит тому, кто попытается, скажем, лет через двадцать понять или воссоздать происходившее в России в последнее десятилетие двадцатого века. Ему придется воспринять миллиарды бит информации — то, что писалось в газетах, говорилось по телевидению, размещалось в Интернете, вникая при этом во множество текстов, разбираясь в сотнях тысяч разных мнений, интерпретаций событий, и так далее и тому подобное. Двухтомник Максима Соколова способен оказать этому исследователю (а такой, надо думать, обязательно будет) немалую помощь: в нем он найдет и широкий охват

фактического материала, и детальное описание многочисленных политических или прочих эпизодиков — все это поданное одним человеком, можно сказать, своими глазами все это наблюдавшим. Том журналистских статей, разделенных по тематическим главам — «Прошлое», «Импери́я», «Верования», «Нравы», «Ящики» (это о ТВ), «Умы», «Герои», «Война», «Мир», — и том «Дневников» охватываю- ть годы 1991–1992 и 1995–1999.

Однако предполагаемому историку-исследователю при обращении с этими томами придется проявить немалую осторожность. Уже само название издания отсылает к знаменитым «Поэтическим воззрениям славян на природу» незабвенного исследователя фольклора и мифологии А. Афанасьева. Более того, в отличие от Афанасьева, Максим Соколов склонен не только воспроизводить и обсуждать хитро-сплетения политических, исторических и культурных мифов, засевших в головах россиян, но и создавать свои собственные мифологические конструкции. После чтения его книги возникает двойственное представление. С одной стороны, об этом добродушном русском барине, любящем то порассуждать об исторических уроках, то повозмущаться незлобиво насчет царящих нравов и верований, частенько присовокупляя к этому что-нибудь из Св. Писания. С другой стороны, формируется образ пламенного публициста-либерала, кого-то вроде современного Петра Струве, разоблачающего козни явных и скрытых врагов либерализма и предупреждающего о грядущих опасностях.

Как же удается Максиму Соколову выступать одновременно в двух довольно-таки различных амплуа? Дело в том, что Соколов — не только журналист, он еще и кукловод в созданном им кукольном театре. Вряд ли ему удастся затмить кукольное телешоу Шендеровича, но в совмещении этого жанра с журналистикой он преуспел немало. Куклы Ельцина, Горбачева, Березовского, Чубайса, Гайдара, Явлинского, Лужкова, Зюганова и прочих действующих лиц нынешней российской политической сцены активно действуют в статьях и дневниках (представляющих собой по своим сути, форме и пафосу те же журналистские статьи) Соколова. Автор усердно мифологизирует своих героев, создает им устойчивые имиджи. Вот Чубайс и Гайдар — рыцари приватизации и либерализации, вот Явлинский — притворившийся либералом, а на самом деле отстаивающий линию поведения советской интеллигенции, вот Лужков — «мэр в кеп-

ке», оплот чиновничьей либерализации, вот Березовский — «величайший специалист по проблеме преемственности власти», а где-то на заднем плане фигура вечно пинаемого всеми, но все же не такого уж плохого Ельцина. И так далее. Метод Соколова, в сущности, состоит в том, чтобы взять политическую фигуру со всеми уже накрученными вокруг нее мифологемами и вести ее таким образом, чтобы она играла в предложенной журналистом сценке.

Десятки обзорных газетных статей, дневники, похожие на те же газетные политические обзоры, в которых обсуждаются те или иные сиюминутные политические стычки, конъюнктурные действия политиков в Думе, в Правительстве, в Президентской администрации, в Мэрии, в Белоруссии — для чего все это было объединено в двухтомник, систематизировано, разложено по хронологическим полочкам? Что это, приступ самолюбования своим журналистским мастерством или желание сложить обширную калейдоскопическую картину (вернее, даже две: 1-й том — тематическая, 2-й том — хронологическая) российской истории 90-х годов? Возможно, что и то, и другое. Но чувствуется и третье. Максим Соколов прекрасно ориентируется в описываемом им политическом закулисье, в чем-то схожем с кэрроловским Зазеркальем. Находясь в нем, он пытается самоидентифицироваться, найти ту нишу, расположившись в которой, можно иметь дело со всем этим, по выражению Честертона, «хаосом исключений». Куклы играют в свои игры и, играя в них, играют людьми. Желание не стать игрушкой в руках кукол рождает пафос публициста, который с характерной для нашего постмодернистского времени язвительной иронией разоблачает попытки кукол манипулировать живыми людьми. С другой стороны, Соколову трудно отказать себе в удовольствии самому поиграть в эти куклы, выказав при составлении сценария уйму недюжинной исторической и философской эрудиции. Именно отсюда — привкус уверенно-сниходительного тона русского барина, «спокойного националиста» с «буржуазно-либеральными» взглядами.

Что же до будущего историка, который, быть может, решит воспользоваться двухтомником Максима Соколова для своих изысканий, то его реакция на эту книгу будет зависеть от его собственного взгляда на вещи. Человек, понимающий, что не только любая точка зрения субъективна, но и что во многом наша жизнь — это игра, скажет: интересно! Стоящий на других позициях, возможно, только пожмет плечами.

Андрей Цукапов

...Кругом одни...

Чинара Жакыпова. Конфискация жизни. Бишкек, 1999.

Самое главное — это то, что нас снова двенадцать.

Т. Манн. Иосиф и его братья

Эта книга раскрывает еще один трагический эпизод в истории евреев второй половины XX века. Два существа боролись в авторе: профессионал-историк и личность, достаточно много испытывавшая и повидавшая в детстве, юности и позже...

Поэтому книга написана человеком, для которого архив — мастерская художника, и другим, для которого фантазии детства — лучший исторический аргумент. В конечном итоге получился симбиоз документа с воспоминанием, факта с эпистолярным — своеобразное художественное исследование. Не больше, но и не меньше.

Воспоминания, показания, приговоры и рядом письма любящих людей, сны о детстве — все, что можно назвать мозаикой жизни.

То, что одни факты эпохи анализируются, другие не упоминаются, — это понятно. Жакыпова рисовала свою жизнь в эпохе и, соответственно, эпоху в своей жизни. Написание книги сопровождал поиск: документов, родственников «трикотажников», писем, воспоминаний, материальных примет того времени.

Сразу оговорюсь: в книге не раз упоминаются понятия, хорошо известные коренным фрунзенцам: «Карпинка», «трикотажники» и т.д. «Карпинка» — улица имени Карпинского — мир детства автора и местного криминала, «трикотажники» — цеховики, привлеченные к судебному процессу об экономических преступлениях в 1961–1962 годах. Думаю, эта разговорная интонация не испортила повествования, так же, как индивидуальность каждого из тех, кто вспоминает, чьи домыслы дополняются слухами, а увиденное — тем, что устоялось за десятилетия.

В книге не случайно раскавычено слово «трикотажники», т.к. помимо непосредственного смысла, в нем присутствует еще и понятие стихийного протеста против идеологии и экономических теорий социализма.

«Ворюги» — так или примерно так о них говорили при жизни, да и после смерти о них продолжают так думать люди, близко их знавшие, ну а те, кто их не знал, — другого мнения о них не сложат. Советскую пропаганду отличали два качества: 1) примитивность; 2) настойчивость.

И чушь, растиражированная многократно, вьедалась в сознание, как грязь под ногти.

Поэтому-то сколько бы ни говорили, сколько бы ни повторяли о их невиновности, обязательно найдется некто, который произнесет вновь: «Ворюги». Их нельзя оправдать в глазах обывателя, потому что обязательное «мы недоедали, а они как сыр в масле...» социально раз и навсегда поместило их по другую сторону баррикад, и никакие логические доводы о деловой хватке, о предпринимательской жилке не объяснят и не оправдают их перед тем, кто слушает только себя и зазубренное со слов пропаганды. Да и оправдывать их уже нет необходимости. Жизнь доказала их правоту, обернувшись для них же пулей в затылок, неизвестными могилами, десятилетиями, проведенными по тюрьмам и лагерям, исковерканными судьбами тех, для кого это все и затевалось.

Провинция своей обывательской дремотностью опутывала, как паук свою жертву. Это подметил еще Чехов. И человеку энергичному становилось невольно от ежедневной размеренности. Активность гасилась всезнайством и высокомерием окружающих. Но постоянно то здесь, то там вдруг появлялись «возмутители спокойствия». Их утихомиривали власти, общественное мнение или всемогущее время.

Надо было родиться не похожим на окружающих, чтобы пересечь границу между безвременьем и временем.

История, предвставшая в книге Чинары Жакыповой, — именно о таких людях. Они остались в ее воспоминаниях о детстве и о близких людях, которых время в прямом смысле слова раскидало по свету, расставив где точки, где запятые, где многоточия, потому что у нарушившего закон есть дети, а у детей опять же свои дети, и вопрос: «За что боролись наши деды?» — вопрос не праздный, вопрос судьбы и биографии тех, кто и дедов этих не видел, если только на пожелтевших фотоснимках... Им и для них эта книга разорванных судеб, надорванных документов, клочковатых воспоминаний, где подсмотренное и прочитанное переплелось и стало художественным исследованием времен, которые, перефразируя поэта, не выбирают, в которых живут и трагически умирают...

Инициативные люди всегда подвергались гонениям, в какой бы области они ни проявляли свою инициативу.

Наука, военное дело, изобретательство... А если экономика, то «ату» производится раньше, чем появляются первые результаты. Герои книги попытались преодолеть косность мышления, сделать ок-

ружающих нарядными (конечно, не забыв при этом себя). Массовое сознание запомнило лишь последнюю фразу, отбросив их устремления.

Это заметно в той части книги, где вспоминают и жертвы, и палачи, и их подручные...

Звон металла заглушает музыку гармонии

Поэтому, отправившись вместе с автором по городам и весям — во времени и в пространстве ее жизни, помните, что деньги не были главным для героев книги, но стали проклятием и при жизни, и после смерти.

Это повествование о тех, кого людская молва нарекла «ворюгами», о тех, кто вписал еще одну трагическую страницу в историю страданий евреев 2-й половины XX века, в которой власть у «трикотажников» и их потомков вместе с имуществом, исковеркав жизнь, конфисковала уготованную Богом судьбу...

И последнее... В книге 13 разделов. 13 — число, несущее в традиции разных народов несчастье, в еврейской традиции знаменующее любовь... Символика, не нуждающаяся в комментариях.

*А.С. Кацев,
директор Центра изучения еврейской
культуры Кыргызско-Российского
Славянского университета*

Путеводители по прошлому

Л.В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь. М., 1999. — 525 с.

Ю.А. Федосюк. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 1999. — 263 с.

Вспомним гоголевского «Ревизора». Вот городничий спрашивает у квартального Свистунова: «Где Прохоров?». И слышит в ответ: «Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен». На вопрос «как так?» Свистунов отвечает: «Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили — до сих пор не протрезвился». Наш современник (читатель, зритель) наверняка подумает, что пьяный полицейский лежал в доме одного из городских жителей. Однако его привезли в служебное помещение полиции — местопребывание частного пристава и его канцелярии. Для читателя (зрителя), не знающего этого, остается не понятным комизм положения. А частный

пристав — это полицейский офицер, возглавлявший полицию определенного района (части) города. Небольшие города, вроде изображенного в «Ревизоре», не делились на части, и единственный частный пристав был ближайшим помощником городничего. Хрестоматийное произведение, а сколько там еще слов, значения которых нынешний читатель не знает

Две книги, о которых пойдет речь, — это работы, рассказывающие в основном о реалиях прошлого (например, рассказ о церковных праздниках, который содержится в словаре Л. Беловинского и в книге Ю. Федосюка, нельзя отнести к пояснению реалий далекого от нас времени). А реалии имели названия. Такие названия языковеды именуют историзмами (словами, обозначающими уже не существующие сегодня реалии). Аналогов обеим книгам у нас не было.

Словарь Л. Беловинского и книга Ю. Федосюка понимают быт очень широко (особенно это касается словаря). В него вошли названия государственных учреждений, оружия, видов морских и речных судов, сухопутных средств передвижения, фортификационных сооружений, сословий, чинов, званий, титулов, военных и гражданских должностей, духовных санов, видов гражданского и военного форменного костюма, духовного облачения, городской и крестьянской одежды. Словарь рассказывает о народном и церковном календаре, предметах домашнего обихода, орудиях труда и освященных сосудах и предметах, породах и мастьях лошадей. «Поскольку словарь российский, а не русский, он охватывает быт многочисленных народов Российской Империи», — пишет в предисловии автор. Но здесь он вынужден был ограничиться лишь названиями тех реалий, которые вошли «в быт русского народа».

Разумеется, обе книги будут очень полезны не только преподавателям русской литературы и ее читателям, но и авторам примечаний к произведениям писателей XIX — начала XX века. К сожалению, зачастую в таких примечаниях встречаются неточности. Порой же в примечаниях нет вообще нужных пояснений.

Словарь Л. Беловинского тематически шире книги Ю. Федосюка и уже только поэтому превосходит последнюю по числу освещенных реалий прошлого. А там, где авторы касаются одного явления, словарь пристальнее, подробнее вглядывается в него: ср. например, рассказ о сословиях. У Ю. Федосюка нет даже упоминания о казачестве, а словарь называет его в числе сословий в статье Сосло-

вие и посвящает ему, как и другим сословиям, отдельную большую статью. Тут я обращаю внимание читателя на определение казачества, данное Л. Беловинским в этой статье: «Особое военно-служилое сословие», а заканчивается статья так: «Таким образом, казачьи войска произвольно формировались из местного населения окраин, включая нерусское население, и столь же произвольно расформировывались, так что К. не представляло собой особой этнической группы». Вспомним указ Б.Н. Ельцина, где казачество было причислено к репрессированным советской властью народам. Казачество не особый этнос. И репрессировали его не как этнос, а как сословие.

Коснусь недочетов. В какое время года происходит действие в «Ревизоре»? Не зимой, не поздней осенью и ранней весной: окна открыты. Но в каком месяце? А ведь Добчинский говорит о мнимом ревизоре: «Приехал на Василья Египтянина». Однако в обеих книгах нет ничего об этом дне. Ю. Федосюка не стало в 1993 году. Поэтому ограничусь лишь советом, обращенным к редактору возможного переиздания: хорошо бы проверить точность ссылок на художественные произведения. Вот два примера неточности. Автор пишет, что частный пристав Уховертов извещает городничего в «Ревизоре», где находится Прохоров. Но это делает квартальный Свистунов. И не Уховертов титулуется городничего «ваше высокоблагородие», а слуга Хлестакова. Это мелочи, но лучше бы их не было.

Теперь о недостатках словаря Л. Беловинского в надежде, что часть из них будет устранена при переиздании. А оно, видимо, потребуется, хоть тираж нынешнего (3000) по сегодняшней мерке не маленький, но явно недостаточный: хочется, чтобы эта книга была в каждой городской и районной библиотеке, чтобы была доступна учителю литературы и истории.

В ряде словарных статей не различаются омонимия и многозначность: два разных слова представлены в одной статье

(Бабки, Дача, Дворник, Кадет, Куверт, Охотник, Приказной, Сентенция и др.). В статье Наган находим слово *обтюрация*, которое непонятно неспециалисту, но оно никак не объяснено. Сходное есть и в других статьях. Есть в словаре *присутственные дни*, *присутственные места*, но нет *присутствия*. В статье Земщина сказано: «бытовое понятие для обозначения всей земли, населения в отличие от всего государства». Понятие ничего не обозначает (это одна из форм мысли), оно составляет смысл обозначений. В статье Сарпинка читатель узнает, что это хлопчатобумажная ткань, «тканая из тонкой, заранее окрашенной ткани». Ткань из ткани?

В словарь включены слова, которые живы и сегодня: *выгон*, *выпас*, *дебелый*, *иститой*, *пуризм*, *ратин*, *стог*, *трюизм* и др. Зато не нашлось места для, например, *гербовника*. В статье Майор ничего не сказано, что же стало с людьми, носившими этот чин до его отмены в 1884 году (и с продолжавшими служить в армии, и с находившимися в отставке), т.е. носителями какого чина они стали после отмены прежнего. Читатели чеховского рассказа «Упразднили!» не найдут в словаре ответа на этот вопрос, как и на вопрос об отставном прапорщике и об отмене титулования действительного статского советника *ваше превосходительство*. Что здесь авторское преувеличение (показывающее уровень способности персонажей к адекватному пониманию произошедшего), а что факт. *Дебаркадером* называли не только платформу железнодорожной станции, но и плавучую речную пристань. В словаре есть *сволочь* в прежнем значении (смысловый архаизм, ср. у Пушкина: «Из мелкой сволочи вербую рать»), но нет *подлый* (генерал-аншеф князь Волконский писал о первой жене Пугачева, что она «Человек слабый, подлый»). Это не брань, а констатация сословной принадлежности), *славный* (в одном из официальных документов XVIII века разбойник аттестовался славным, т.е. известным).

Эр. Хан-Пира

ВЫСТАВКА

Глазами человека (Выставка «Глазами медведя» в Московском Центре искусства на Неглинной)

Название выставки канадской художницы Морин Эннз, уже 4 года навещающей

со своим партнером – исследователем Чарльзом Расселлом Камчатский заповедник на озере Камбальном, представляет мне несколько претенциозным. Если и «глазами», то, конечно, не медведя, а человека. Но человека, безусловно, достаточно оригинального.

Вообще, эта выставка представляет собой странную смесь (а может быть, в наше время это уже и не странно?) рекламной «широковещательности» и подлинных озарений, обдуманного «делового» проекта и «руссоистского» бреда, «научных» притязаний и глубинных интуиций, китчевой «дизайнерской» усредненности и неожиданной проникновенности.

Тут есть какая-то тайна, которую я не берусь разгадать. Образ «отважной» эмансипированной женщины, которая то пересекает на верблюде австралийскую пустыню, то «укрошает» медведей в камчатском заказнике и предстает на цветной фотографии этакой «фотомodelью» в окружении словно бы игрушечных медвежат, как-то не связывается с поразительными рисунками зверей, сделанными углем на основе фотографий. Увеличенные черно-белые изображения «трех медведей» (архетипический мотив народной сказки) дают такую обжигающую, живую, страстную картину жизни звериной души, которую и на человеческих-то портретах сейчас почти не встретишь. И где они — эти портреты? Умирующий жанр. Исчезающее лицо. Но лица (не морды!) диких бурых медведей («грязли») незабываемы и отчетливы, как античные маски, и столь же выразительны и эмоциональны.

Голос живой, таинственной, непознанной за тысячелетие нашего с ней общения природы. Где нам знать мир «глазами медведя», когда мы и человеческими-то глазами его не видим, живем «в сем мире, как впотьмах», по слову Тютчева? Но, вероятно, экстремальность ситуации пребывания вдвоем на отдаленнейшем чужом полуострове дала необычайную пристальность и эмоциональную утонченность **человеческому** взгляду. Тут бы еще поразмыслить, как выживали эти двое «чудаков» в нашей «северной пустыне» в течение четырех месяцев? Чарли прибыл туда на своем самолете. Морин довезли на вертолете. А потом? Чем держались? Любовью? Чувством общей опасности? Ненавистью к оставленной «цивилизации»? Творческими импульсами? А может быть, предвкушением успеха и шума вокруг этого необычного «проекта»?

Во всяком случае, в цветных фотографиях и картинах, написанных яркими акриловыми красками, меньше всего чувствуется «погружение в мир медведя», декларируемое художницей.

Возникающий на выставке мир очень современен, насыщен техникой, рекламно-

бросок и китчево аляповат, что художница бесхитростно объясняет воспоминаниями детства, когда «яркость палитры» была для нее «синонимом счастья». Но тут-то и поджидает нечто поразительное. Вдруг понимаешь, что сосредоточенное вглядывание в «лицо зверя», в его следы, его повадки, в «белое безмолвие» вокруг — даром не прошло.

Отсюда звериные «портреты» углем и блистательный раздел «Антропоморфизм», где в духе концептуализма визуальные образы перемежаются словесными текстами.

Три осиротевших медвежонка, отданных «на воспитание» канадской паре, стали тут основными героями.

Образ Медведя неожидан. В памяти культуры он выступает то как могущественный тотем, то как сильный, но «приглововатый» царь зверей русских сказок («сила есть — ума не надо»), то как чудовищный или романтический «возлюбленный» (мотив «Локиса» Проспера Мериэ, «Железной шерсти» Ивана Бунина или даже шварцевского «Медведя»).

Здесь же медведь — существо, чья природа столь же глубока и таинственна, как природа человека. Изображения медведей «гиперреалистически» точны, так как сделаны с помощью фотографий. Но вдохновенная человеческая интуиция насыщает эти рисунки такой долей проникновения в «тайное тайных», что мы как бы подсматриваем за сокровенной жизнью наших «меньших» (меньших ли?) братьев. Медведь печально размышляет. Торжественно восседает на снегу, точно сфинкс. А вот и любовная пара, тянущая друг к другу мордами (или лицами?). И подписи, вынесенные в особый квадрат, и, к счастью, не сопровождающие изображения. Тут слова из самого высокого человеческого лексикона: сочувствие, волнение, любовь, радость... Их, в сущности, можно преумножать до бесконечности. Да, любовь и сочувствие, но еще тысячи оттенков, не подвластных языку. Не тотем, не «очеловеченный» зверь, а соприродная человеку душа. О собаках и кошках, лошадах и телятах, — догадывалась давно. Теперь вот знаю и про медведя.

На выставке 6 разделов, причем очень разных. Кому-то захочется послушать зафиксированное урчанье «брюха» медведя. Кто-то полюбуется «открыточными» видами. Каждый найдет свое, как нашли, вероятно, жители Канады, Словении, Франции, где выставка уже демонстрировалась.

Вера Чайковская

незнакомый журнал

Расцвет «Розы»

«Роза ветров»

Почему-то (или не почему-то, а ясно, почему), но к сборникам произведений разных авторов, объединенных по принципу «национального», «этнического», «конфессионального» сходства, сродства, единства (ненужное зачеркнуть), относишься с некоторым подозрением. И мне было как-то неловко, когда я взяла в руки альманах «Роза ветров в Москве» (Тель-Авив, 1999). «Вот! — думалось невольно, — сейчас пойдут авторы наперегонки клясться в своей неизменной любви к Тель-Авиву, Иерусалиму и проч.». И как приятно было вместо ожидаемого обнаружить неожиданное.

Сколько авторов, хороших и разных, уместилось в пространстве небольшой книжечки в мягкой обложке.

Вот известный и популярный Михаил Веллер, которого представлять читателям давно уже не надо — и без того знают. В альманахе он представлен хлесткими эссе о литературе «Кухня и кулуары». Интересные вопросы: сколько человек прокладывало узкоколейку в романе «Как закалялась сталь»; насколько правильно с точки зрения сугубой реальности описана история спасения раненого Маресьева в «Повести о настоящем человеке»; читали ли Лермонтов Стендаля?.. В суждениях Веллера видны отчетливо: острый глаз, меткость, точность, чувство юмора, жизненный опыт. Короче, крепко сколочено, плотно сбито, как, впрочем, большинство текстов Михаила Веллера.

Казанский насельник Роман Перельштейн, в отличие от Веллера, не знаменит, и судя по короткому рассказу «Елка», — зря не знаменит. Когда-то такие рассказы, где каждое слово — живое и на месте, называли еще «свежими». А сам рассказ — проще некуда — отец с маленьким сыном идут на елку. О чем рассказ? Да просто о радости жизни, которая вдруг охватывает тебя так подарочно-подарочно...

А Борис Исаакович, герой рассказа прозаика-медика Юрия Крелина «Отцы и сын», отец уже взрослого сына. И вот что говорит сын своему интеллигентному отцу: «Пока вы выдумываете ваши правила игры, вас, нас, меня без всяких правил просто поубивают. Вы все хотите что-то себе придумать. Вас бьют, дают, не пускают, выгоняют, — вы все правила игры строите». Нельзя сказать, чтобы неактуальные слова.

Читаем дальше. Поэзия. Зачастую самое слабое альманашное «место», проза в альманахах всегда лучше. Но в 1999-й «Розе ветров» имена (и стихи) далеко не худшие — Виктор Куллэ, израильтине Эфраим Баух и Елена Аксельрод... Можно сказать, пожалуй, что в «розововетровых» стихах доминирует интонация задумчивой попытки осмысления, как, например, у петербуржанки Натальи Перевезенцевой. То есть осмысления чего? А разного. Разных «проклятых вопросов»:

*...В бедной Моравии,
смутной Богемии, башенной Праге
дождь без конца — и не вправде,
не вправде я
вас уверять, что словам на бумаге
надобно верить...*

Поэты в «Розе ветров» очень разнообразны: от «классика-авангардиста» Ильи Бокштейна до авторов, пишущих стихи «по совместительству» с какой-либо «основной» профессией. Но обратимся снова к прозе. Леонид Гомберг сдержанно рассказывает очень реальную в своей абсурдности, абсурдную в реальности историю под названием «Не видеть Париж и умереть», историю, в которой почти главное действующее лицо — Жан Арменович Тетельбейм, художник и преподаватель французского языка, и в которой не судьба попасть в мифический Париж, взлелеянный душой московского школьника. Леониду Гомбергу принадлежит и интересный фрагмент «Война и мир Юрия Левитанского», посвященный, естественно, Юрию Левитанскому, своеобразной фигуре советской поэтической «фронды». Рядом Дмитрий Малкин вспоминает о Нонне Слепаковой.

Занятно вспоминает Марк Гольбиц («Липранди и другие»). Основная тема его воспоминаний — судьба потомков известных и знатных российских семей. От воспоминаний плавно переходим к неким критическим суждениям. Израэль Шамир занятно разбирает Тимура Кибирова с точки зрения наименований половых органов (человеческих, наружных и внутренних) по-русски и на иврите. Петр Люкимсон очень любопытно разбирает Бабеля («Крыса в синагоге»), сурово определив «принадлежность» последнего: «Бабель, безусловно, принадлежит к литературе еврейской куда более, чем к русской...». Бог его знает, каким боком принадлежит

к «еврейской литературе» человек, не принадлежащий к ней. В этом смысле прав, конечно, цитируемый Люкимсоном Булгаков: «Во всей русской литературе сейчас есть только один человек, который пишет со мной на равных, и тот еврей — Бабель!». Кстати, авторы «Розы ветров» всеми буквами своих текстов доказывают, что можно тысячу раз жить в Израиле; через каждую строку каждого своего стихика повторять: «Хамсин, Тора, Тора...», но естественно, оставаться русским автором, пишущим на русском языке... Кажется, некая «еврейская литература на русском языке», к которой Петр Люкимсон так горячо желает пристегнуть Бабеля, — категория совершенно мифическая...

Пожалуй, это мое утверждение подтверждает и милая повесть «Гелявивца» Олега Горна «Тропа Кабарги», ностальгически возвращающая нас, читателей то есть, к этим стильным «северным» повестям Р. Фраермана («Никичен», «Дикая собака Динго»).

Израильтянин Леонид Финкель не пытается доказать, что Лев Толстой — еврейский писатель, или хотя бы, что все свои произведения великий писатель написал под влиянием Талмуда. Нет, эссе Финкеля «Как раввин Талмуд рассказывает...» достаточно тонко и сбалансировано касается дневниковых записей Толстого, посвященных именно талмудичес-

ким цитатам. Достается, правда, мимоходом Софье Андреевне (то есть от Финкеля ей достается, а не от супруга), но что ж, ей не привыкать, какие только критики не забрасывали ее камнями...

Что ж, вот, пожалуй, и все. В целом альманах «Роза ветров» (1999) удался. И даже более того. Среди авторов и текстов есть одно... Открытие. Это Майя Фурман (1935–1984), жила в Саратове, писала прозу, не публиковалась никогда. Это ее первая публикация, посмертная. Рассказ «Катя» и фрагмент из повести «Рычковы». Эта удивительно свободная яркая проза, где значительность рождается именно из внимания к «мелочам жизни», напомнила мне писания Елены Гуро, которую, пожалуй, только-только начали ценить и так еще и не оценили. Я думаю о повести «Рычковы», я думаю о прозе Майи Фурман. Как хорошо, что хоть что-то увидело свет в альманахе «Роза ветров» (1999). Как было бы хорошо увидеть опубликованным и остальное, написанное ею...

«— ...И стали они жить-поживать, добра наживать, — доносится издалека чей-то размеренный голос.

Кате очень хочется спать.

...Нужно спать, чтобы проснуться уже по-настоящему.

Когда будет утро.

Когда будет завтра».

Фаина Гримберг

конкурс

Альфа-Банк помогает писателям

Год назад Московский Литфонд и Альфа-Банк учредили 15 годовых стипендий для писателей, работающих над новыми произведениями любого жанра: от прозы и поэзии до эссеистики и мемуаров.

В этом году благотворительная акция Московского Литфонда и Альфа-банка была продолжена, а объем назначаемых стипендий увеличен вдвое. На основании трехсот с лишним развернутых творческих заявок, представленных под девизом на закрытый конкурс, жюри, состоящее из

руководителей журналов «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», «Москва», «Наш современник», «Новый мир» и «Октябрь», определило имена 15 стипендиатов 2001 года.

Это прозаики и литературоведы Владимир Ковский, Владимир Микушевич, Владислав Отрошенко, Людмила Сараскина, Инна Симонова, Виктор Смирнов, Капитолина Смолина (Кокшенева), Игорь Эбноидзе, Асар Эпшель, поэты Надежда Пупко (Мальцева), Виталий Пуханов, Юрий Разумовский, Владимир Салимон, переводчики Михаил Рудницкий, Нина Световидова.

Содержание журнала «Знамя» за 2000 год

ПРОЗА

- БОГДАНОВА Светлана — Сон Иокасты. *Роман-антитеза*. № 6
БУЙДА Юрий — Щина. № 6
ВАСИЛЬЕВА Александра — Егора. *Рассказ*. № 4
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — Вот такой гобелен. *Повесть*. № 8
ВОЙЦОВИЧ Владимир — Монументальная пропаганда. *Роман*. №№ 2-3
ВОЛКОВ Юрий — Книга Ависаги. № 10
ГОРЛАНОВА Нина — Рассказы. № 2
ДАВЫДОВ Юрий — Бестселлер. *Книга третья*. № 8
ДОЛГОПЯТ Елена — Тонкие стекла. *Повесть*. № 11
ДУБОВ Юлий — Теория катастроф. *Повесть*. № 9
ЕРМАКОВ Олег — Вариации. *Повесть*. № 5
ЗОРИН Леонид — Господин Друг. *Повесть*. № 4
ИСКАНДЕР Фазиль — Рассказы. № 1
ИСХАКОВ Валерий — Другая жизнь — другая история. *Рассказ*. № 12
КОНЕЦКИЙ Виктор — Последний рейс. № 12
КОРОЛЕВ Анатолий — Человек-язык. *Роман*. № 1
КУЗНЕЦОВА Анна — Рассказы. № 11
КУРАЕВ Михаил — Разрешите проявить зрелость! *Рассказ*. № 9
КУРЧАТКИН Анатолий — Два рассказа. № 7
ЛЕВИТИН Михаил — Два сюжета. № 4
МАКАНИН Владимир — Удавшийся рассказ о любви. *Повесть*. № 5
ПЕТРОВ Григорий — Путь на Дно. *Рассказ*. № 8
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила — Четыре рассказа. № 3; Найди меня, сон. *Рассказы*. № 10
ПОПОВА Елена — Восхождение Зенты. *Роман*. № 4
ПУШКАРЬ Дмитрий — За Родину и все такое. *Повесть*. № 1
ПЬЕЦУХ Вячеслав — Русские анекдоты. № 7
РАГОЗИН Дмитрий — Поле боя. *Повесть*. № 9
РУБИНА Дина — Высокая вода венецианцев. *Маленькая повесть*. № 2
СЕНЧИН Роман — Афинские ночи. *Рассказ*. № 9
ХУРГИН Александр — Три рассказа. № 6
ЧЕРЧЕСОВ Алан — Венок на могилу ветра. *Фрагмент романа*. № 7
ЧУДАКОВ Александр — Ложится мгла на старые ступени. *Роман-идиллия*. №№ 10-11
ШКЛОВСКИЙ Евгений — Рассказы. № 3
ЮРСКИЙ Сергей — Голос Пушкина. *Апология 60-х*. № 5
ЯКОВЛЕВА Анна — Шуба. *Филологическая повесть*. № 12

ПОЭЗИЯ

- АЙЗЕНБЕРГ Михаил — О простых вещах. *Стихи*. № 2
АМЕЛИН Максим — На потеху следопытам. *Стихи*. № 11
БАЙТОВ Николай — Тридцать девять комнат. *Стихи*. № 3; Волосы смыслов. *Стихи*. № 12

- БАСТРАКОВ Павел — Что до меня... *Стихи.* № 11
 БЕК Татьяна — Узор из трещин. *Стихи.* № 4
 БОБЫШЕВ Дмитрий — 2000. *Стихи.* № 1
 БРУСЬЯНИН Владимир — Такие, как я... *Стихи.* № 10
 БУРИХИН Игорь — Ольго-Грозная баллада о взятиях Грозного. *Стихи.* № 5
 ВАНШЕНКИН Константин — Перкалевый купол. *Стихи.* № 11
 ВЕРНИКОВ Александр — Из трансa. *Стихи.* № 5
 ВОЛКОВ Иван — Крымские сонеты. № 9
 ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — Сиделка на ночь. *Стихи.* № 12
 ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Два стихотворения. № 1; Два стихотворения. № 9
 ГЕГЕЛЬСКИЙ Олег — Спецназ. *Стихи.* № 2
 ГОРЛАНОВА Нина — Инокиня Ксения. *Стихи.* № 3
 ДЕНИСОВ Алексей — Дежавю самурай. *Стихи.* № 10
 ДИДУСЕНКО Михаил — Из нищенской руды. *Стихи.* № 4
 ИЗВАРИНА Евгения — Проектор с котлована. *Стихи.* № 10
 КЕКОВА Светлана — Иней Рождества. *Стихи.* № 1; Солдатская трава. *Стихи.* № 8
 КЕНЖЕЕВ Бахыт — Свобода печали. *Стихи.* № 8
 КИБИРОВ Тимур — Нищая нежность. *Стихи.* № 10
 КОВАЛЬ Виктор — Личные песни об общей бездне. *Стихи.* № 8
 КРИВОШЕЕВ Владимир — Открытие фонтанов. *Стихи.* № 6
 КУБЛАНОВСКИЙ Юрий — Третий путь. *Стихи.* № 1
 КУДРЯКОВ Борис — Дай мне на память пять тысяч чего-нибудь, но не юаней...
Стихи. № 7
 КУКИН Михаил — Фотовспышки. *Стихи.* № 9
 КУШНЕР Александр — Потому что наскучил вымысел... *Стихи.* № 7
 ЛАТЫНИН Леонид — Круглое окно. *Стихи.* № 12
 ЛИПКИН Семен — Станный луч. *Стихи.* № 12
 ЛИСНЯНСКАЯ Инна — Скворешник. *Стихи.* № 6
 ЛОСЕВ Лев — Младшая школа. *Стихи.* № 6
 ЛУКОМНИКОВ Герман — просто ужасно смешно. *Стихи.* № 11
 МАТВЕЕВА Новелла — Не спрашивай у чудищ... *Стихи.* № 1; Сборщики стекло-
 тары. *Стихи.* № 7
 МЕДВЕДЕВ Александр — Полный посох. *Стихи.* № 9
 МЕСЯЦ Вадим — Мы детские люди. *Стихи.* № 3
 НИКОЛАЕВА Олеся — Последняя птица. *Стихи.* № 3
 НОВИКОВ Денис — Азбука морская. *Стихи.* № 4
 ПОЛЕЩУК Виктор — Пыльная фисташковая роща. *Стихи.* № 8
 РАБИЧЕВ Леонид — Не найду выключателя. *Стихи.* № 5
 РУСАКОВ Геннадий — Разговоры с богом. *Стихи.* № 4
 РЫЖИЙ Борис — Горный инженер. *Стихи.* № 3; Горнист. *Стихи.* № 9
 САМОЙЛОВ Давид — Стихи сороковых годов. *Публикация Александра Давыдо-
 ва.* № 2; К извечной теме. *Стихи. Публикация Г.И. Медведевой.* № 6
 СИНЕЛЬНИКОВ Михаил — Мираж. *Стихи.* № 5
 СТЕПАНОВА Мария — Страшные глаза. *Стихи.* № 6
 СТРАТАНОВСКИЙ Сергей — Хор кириллицы. *Стихи.* № 12
 СТРОЧКОВ Владимир — Замкнутый контур. *Стихи.* № 12
 СУХАРЕВ Дмитрий — Много чего. *Стихи.* № 2
 ТИНОВСКАЯ Елена — Медноголовый пожарник. *Стихи.* № 10
 ФАНАЙЛОВА Елена — С особым цинизмом. *Стихи.* № 1
 ХВОСТОВА Ольга — Самого черного хлеба и мыла... *Стихи.* № 5
 ШЕВЧУК Юрий — Защитники Трои. *Стихи.* № 2
 ЩАДРИН Владимир — Многолетние скитанья. *Стихи.* № 7
 ЯНЫШЕВ Санджар — Отлученный. *Стихи.* № 11

мемуары . архивы . свидетельства

- БАЙМУХАМЕТОВ Сергей — Кукиш в кармане. № 2
 БЕЛИНКОВ Аркадий — Из архива. *Публикация и предисловие Н. Белинковой-
 Яблоковой.* № 2
 ВАНШЕНКИН Константин — В мое время. *Из записей.* № 5

- ГИНЗБУРГ Лидия и ИЛБИНА Наталия — «Зеленое окно за письменным столом». *Переписка. Публикация Вероники Жобер. Предисловие Маргариты Тимофеевой.* № 3
- КОГАН Галина — Полотняный завод — Переделкино. № 10
- МИЛЬЧИН Аркадий — Из жизни одного издательства. № 2
- ОГНЕВ Владимир — Амнистия таланту. *Блики памяти.* № 8
- РОБЕРТС Джон — Сцены театральной жизни. № 12
- СЫРЫЩЕВА Татьяна — Корней Иванович. (Мозаика воспоминаний о Корнее Чуковском). № 10
- ТВАРДОВСКИЙ Александр — Рабочие тетради 60-х годов. *Вступительная статья Ю.Г. Буртина.* Публикация В.А. и О.А. Твардовских. № 6; Рабочие тетради 60-х годов. *Продолжение.* № 7; Рабочие тетради 60-х годов. *Продолжение.* № 9; Рабочие тетради 60-х годов. *Продолжение.* № 11; Рабочие тетради 60-х годов. *Продолжение.* № 12
- ТУРКОВ Андрей — «Я не ранен. Я — убит...». *Из воспоминаний об А. Твардовском.* № 1

публицистика

- ЕВСТИФЕЕВ Юрий — Великая безработица. № 2
- ЗУБОВ Андрей — Политическое будущее Кавказа: опыт ретроспективно-сравнительного анализа. № 4
- КОМАРОВ Алексей — В двух шагах от байкальского рая. № 11
- МАЛАХОВ Владимир — Скромное обаяние расизма. № 6
- НЕКЛЕССА Александр — Конец эпохи Большого Модерна. № 1
- РАБОТНОВ Николай — Сороковка. № 7
- ТЕНЕВАЯ РОССИЯ. Рассказы о нелегальной экономике. *Вступление Игоря Клямкина и Льва Тимофеева.* №№ 8-9
- ЧИСТЫХ Борис — Укрощение строптивых. *Заметки о дрейфе ценностей в «зеленой» идеологии.* № 5
- ЭТКИНД Александр — Из измов в демократию: Айн Ранд и Ханна Арендт. № 12

конференц-зал

- АГЕЕВ Александр, ЕРМОЛАЕВА Ольга, РАХАЕВА Юлия, СТЕПАНЯН Карен, ТРУНОВА Ольга, ХОЛМОГорова Елена, ХОМУТОВА Елена, ШИНДЕЛЬ Александр, ИВАНОВА Наталья, ЧУПРИНИН Сергей — «Знамя» о «Знамени» и не только. № 1
- ДАВЫДОВ Юрий, БУЙДА Юрий, БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий, БАХНОВ Леонид, ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей, КАРЯКИН Юрий, ЛАТЫНИНА Алла, НЕМЗЕР Андрей, РОДНЯНСКАЯ Ирина, ТОПОРОВ Виктор, ШКЛОВСКИЙ Евгений — На перекрестке истории и автобиографии. № 2
- АГЕЕВ Александр, АРАБОВ Юрий, ВАСИЛЬЕВА Александра, ДМИТРИЕВ Андрей, ИЛБИН Сергей, КАБАКОВ Александр, КАСЫМОВ Александр, ШИШКИН Михаил — Говорят лауреаты «Знамени». № 3
- ДМИТРИЕВ Андрей, ДУБИН Борис, КАРАХАН Лев, ФАЙБИСОВИЧ Семен, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Татьяна, ШАТАЛОВ Александр — По эту сторону телеэкрана. № 4
- БЕРЕЗИН Владимир, БЫКОВ Василь, ВЛАДИМОВ Георгий, ВОЛОС Андрей, КАБАКОВ Александр, КУРАЕВ Михаил, СОСНОРА Виктор, УТКИН Антон — Литература и война. № 5
- АСТРАХАН Дмитрий, ЗАХАРОВ Игорь, РАЙХЕЛЬГАУЗ Иосиф, ЧХАРТИШВИЛИ Григорий — Культура и рынок. № 6
- ГАСПАРОВ Михаил, ЗЕНКИН Сергей, НЕПОМНЯЩИЙ Валентин, ПАРАМОНОВ Борис, РЕЙТБЛАТ Абрам, РОДНЯНСКАЯ Ирина — Гуманитарная мысль: светская или религиозная? № 7
- АННИНСКИЙ Лев, ГАЧЕВ Георгий, ГОЛЫШЕВ Виктор, КУБЛАНОВСКИЙ Юрий, КУРБАТОВ Валентин, ЭБАНОИДЗЕ Александр, ЭПШТЕЙН Михаил —

Национальная специфика литературы — анахронизм или неотъемлемое качество? № 9

КИСЕЛЕВ Лев, СОЙФЕР Валерий, ЮДИН Борис, протоиерей БАЛАШОВ Николай, ГОРОДНИЦКИЙ Александр, ЗАЛЕТАЕВ Дмитрий, СТОЛЯРОВ Андрей, РАБОТНОВ Николай — Генотип человека. № 10

АВЕРИНЦЕВ Сергей, АЗАДОВСКИЙ Константин, АЛЕКСАНДРОВ Владимир, БОГОМОЛОВ Николай, КОТРЕЛЕВ Николай, ЛАВРОВ Александр, ЛЕСНЕВСКИЙ Станислав, ЭТКИНД Александр, МАГОМЕДОВА Дина, ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — Финал «Двенадцати» — взгляд из 2000 года. № 11

к р и т и к а

ВОЛЬТСКАЯ Татьяна — Поэзия от Фомы. № 4

ИБАТУЛЛИН Роберт — Взгляд на русскую литературу 2183 года. № 3

ИВАНОВА Наталья — Теленигдейя. № 1; Бандерша и сутенер. *Роман литературы с идеологией: кризис жанра*. № 5; «Меня упрекали во всем, кроме погоды...» (*Александр Исаевич об Иосифе Александровиче*). № 8

КАСЫМОВ Александр — Помысел и промысел, или Писатели о писательстве. № 4
ЛИДЕРМАН Юлия — Храм после евроремонта, или Как сделано «высокое» в школестудии А. Васильева. № 11

НИКИФОРОВА Виктория — Баксы, каторга и спецэффекты. № 6

СЛАВНИКОВА Ольга — Я люблю тебя, империя. № 12

СУХАРЕВ Дмитрий — Введение в субъективную бардистику. № 10

ФАЙБИСОВИЧ Семен — Картина, рукопись и австралийская деревня. № 7

л и т е р а т у р н ы й п е й з а ж

ГАЛИМОВА Елена — Архангельск: провинция у моря, или Родная неэлекторальная глухомань. № 6

РЫЧКОВА Ольга — Томск: одиссеи под кедром. № 7

о б р а з ж и з н и

ИВАНОВА Наталья — Остров. № 10

м е ж д у ж а н р а м и

БОРОВИКОВ Сергей — Степени узнавания. *В русском жанре — 17*. № 7

n o m e n c l a t u r a

БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий — Утопия Б.Д. № 9

ДАРК Олег — Маска Мамлеева. № 4

КАСЫМОВ Александр — Щигля. *Евгений Попов: десять лет тому вперед*. № 7

н о с т а л ь г и я

АШКИНАЗИ Леонид — Крушение круга. № 8

forum

- АБРОСИМОВ Владимир — Давайте «заморожим» слово «писатель». № 8
АБРАМОВИЧ Ольга — Стогов существует. № 5
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Читая мемуары. № 1
АКОПЯНЦ Александр — Постигая очарование тайны. № 3
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Лазарь — Отрешенность от «ярмарки тщеславия». № 2
АЛЕКСИЕВИЧ Светлана — Человек больше войны. № 6
БАКЛАНОВ Григорий — В театр — с пистолетом. № 4
ГИНЗБУРГ Юлия — Основной инстинкт. № 12
БОРОВИКОВ Сергей — История времен перестройки и гласности. № 2
ГОЛЬДФАИН Иосиф — Паралитературоведение. № 4
ДРИККЕР Александр — Русское сердце. № 5
ЖИТОМИРСКАЯ Сарра — Стоит ли вообще заниматься наукой? № 1
КУПЛЕВАХСКИЙ Валерий — Рассказ, которого не вышло. № 3
ЛЕПЕШИНСКАЯ Ольга — Уланова одна, она единственная. № 1
МОИСЕЕВ Вадим — Телеграфист Ять в прямом эфире. № 3
НОВИКОВ Андрей — Праздник нового типа. № 6
РОДНЯНСКАЯ Ирина — О путях-дорогах. № 2
СПИВАК Д.Л. — Политика и литература в контексте массовой психологии. № 8
СТЕПАНЯН Карен — Давайте определимся. № 6
СУРОВЦЕВ Юрий — Ностальгия по плюсквамперфекту? № 8
ТЕКТУС Александр — Постскрипtum. № 5
ХАНДУСЬ Олег — Меня убили в Афганистане. № 6
ХРАМЧИХИН Александр — Нужна ли России наемная армия? № 12
ШАРОВ Владимир — «Реалистические» соображения. № 4

modus vivendi

- ЭДЕЛЬШТЕЙН Георгий, священник, — «Невозможно примирение между „да“ и „нет“». № 4

книга как повод

- АГЕЕВ Александр — В России неудачник не плачет... № 3
ИВАНОВА Наталья — Через апокалипсис — к норме. № 3
КАРДИН В. — «И коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году». № 5
СМИРНОВ Илья — Субкультурная революция. № 7

пристальное прочтение

- ЕЛИСЕЕВ Никита — «Груз и угроза». № 5

человек в пейзаже

- ГРИМБЕРГ (ГАВРИЛИНА) Фаина, — «Я всегда хотела быть самыми разными людьми, которых я сама придумваю...». № 5
ЧУЧИЦ-РУСОВ Александр — Кижли-дерево. № 10

язык и время

- АЛТУНЯН Александр — Lingua Tertii Imperii versus Lingua Sovietica («Если двое делают одно и то же...»). № 8

non fiction

- АКСЕНОВ Василий — Иван. № 9
 БЕК Татьяна — Вам в привет. № 12
 ИЛЬИН Сергей — Конспект романа. № 11
 КОРНИЛОВА Галина — Трава и листья. № 10

наблюдатель

Рецензии

- АБДУЛЛАЕВ Евгений — «Зачем история?..» Персональная история. № 3
 АЛЕКСАНДРОВ Владимир — *За здоровье постмодернизма*. Д. Новиков. Самопал. № 4
 АРУТЮНОВ Сергей — *Негромкий страж*. Э. Бабаев. Воспоминания. № 8
 АШКИНАЗИ Л. — *Сколько биографий для века?* И.В. Смирнов. Прекрасный дилетант. Борис Гребенщиков в новейшей истории России. № 2
 БОГАТЫРЕВА Мария — *Только одна трудность* — Олег Борисов. Олег Борисов. Без знаков препинания. № 6
 БОНДАРЕНКО Мария — *Книга рождения стиля*. Алексей Денисов. Нежное согласное. № 10
 БОРОВИКОВ С. — *Невеселые шутки филологов*. Аркадий Гаврилов. Из «Жития Максима Горького». Лариса Шульман. Бредовые картинки XX века — Блаженные картинки XIX века. № 3; *Садись, пять!* Антон Уткин. Из «Южного цикла». № 5
 ВОЛОДИХИН Дмитрий — *Триумфальное опоздание*. С. Янышев, В. Муратханов, С. Афлатуни. Малый Шелковый путь. № 8
 ВЯЗМИТИНОВА Людмила — *...А жизнь продолжает себя*. Альманах «Окрестности», сб. 4. Вестник молодой литературы «Вавилон». № 7 (23). № 12
 ГОРБАЧЕВА Ада — *Гонка за лидером*. Андрей Кончаловский. Возвышающий обман. № 7
 ГОРЕЛИК Михаил — *См. Шуэтакс*. Краткая Еврейская Энциклопедия. Тт. 1–9. № 8
 ДЗУЦЕВА Наталья — *Пограничное пространство между культурными слоями*. Натали Земон Дэвис. Дамы на обочине. № 1
 ЕЛИСТРАТОВ В.С. — *Как лингвисты жаргон опять по зонам рассадили*. О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. № 6
 ЕРМОЛИН Евгений — *Страдающее эхо*. С. Липкин. Семь десятилетий. № 11
 ЕРМОШИНА Галина — *Соперник Пригова*. Е.А. Рябцев. 113 прелестниц Пушкина. № 2; *Разговор краями*. Юрий Коваль. АУА. № 5; *Князь Кошкин и псы Гекаты*. П. Крусанов. Укус ангела. № 7; *Как правильно расставить буковки (советы крупного алмаза)*. Ю. Никитин. Как стать писателем и заработать свой миллион. № 8; *Форма борьбы со временем — печальная попытка его уничтожения*. Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света. № 12
 ЗАМОСТЬЯНОВ Арсений — *Правила и исключения*. Иван Волков. Ранняя лирика. № 3; *Еще одна погубшая репутация*. Майкл Ли Лэннинг. Сто великих полководцев. № 8
 ИВАНИЦКАЯ Елена — *Потерянное детство?* А.Г. Нелькин, Л.Д. Фураева. Рабочая тетрадь по литературе; Конспекты уроков для учителя литературы. № 3; *Шестнадцатый*. Борис Крячко. «Края дальние, места-люди нездешние...». № 6; *Лишний человек нашего времени*. Александр Мелихов. Нам целый мир чужбина. № 11
 ИВАНОВА Наталья — *О законе уничтожения инородных тел*. Яков Гордин. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. № 11
 КАСЫМОВ Александр — *Обширный ареал тех, кто летает*. Марина Кулакова. Государственный заповедник. № 1; *Люди жаждут*. Игорь Фролов. Ссадина. Беса. № 2; *Тихо на границе*. Георгий Балл. Вверх за тишиной. № 5;

- Лабиринт* — это просто место для перформанса, а жить в метатексте нельзя. Сергей Соловьев. Книга. № 7; *Пространство угла зрения*. Сергей Самойленко. Очарованный остров; Дембельский альбом. № 8; *Преращения превращенного*. Владимир Гандельсман. Цапля; Ирина Евса. Наверное, снилось...; Иосиф Гальперин. Щепоть. № 9; *Нетерпение бумаги*. Ольга Славникова. Терпение бумаги. № 10; *Гадание по огню в антракте и во время философского семинара*. Бахыт Кенжеев. В тесноте отступающих лет... Из книги «Невидимые»; Осенний лёд; Свобода печали. № 11; *Из жизни букв*. Евгений Шкловский. Та страна. № 12
- КАЦЕВ А.С. — ...*кругом одни*... Чинара Жакыпова. Конфискация жизни. № 12
- КЛЕХ Игорь — *Сальто-мортале Владимира Салимона*. Владимир Салимон. Бегущие от грозы. № 3
- КОСТЫРКО Василий — *Драники в сметане как геополитический фактор*. В.П. Бутромеев. Корона Великого княжества. № 3; *Введение в русскую историю XVIII века*. А.Б. Каменский. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация; От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. № 9
- КРЫЛОВА Элла — *«А что за гробом? — Музыка и берег»*. Инна Лиснянская. Музыка и берег. № 10
- КУЗНЕЦОВА Анна — *Плюс что-то еще*. Афанасий Мамедов. Люби и ошибайся. № 7; *Песнь о моем Иване*. Анатолий Азольский. Монахи; *Это неперевердимое privasy...* Ирина Муравьева. Документальные съемки. № 10
- МОРОТСКАЯ Стелла — *«Все — Димочкой хотели называть?»*. Дмитрий Воденников. «Holiday». № 4
- МАРГОЛИС К. — *Особенно слова*. № 12
- МАШЕВСКИЙ Алексей — *В поисках невозможного*. Елена Елагина. Нарушение симметрии. № 2
- МУРАВЬЕВА Ирина — *Факт единой книги*. Григорий Марк. Оглядываясь вперед. № 8
- НОВИКОВ Вл. — *Поэтика восхищения*. Светлана Руссова. Н. Заболоцкий и А. Тарковский. Опыт сопоставления. № 6
- ПАНН Лиля — *У «Петровича»*. Александр Генис. Иван Петрович умер. № 4; *Да? Иосиф Бродский*. Большая книга интервью. Составление Валентины Полухиной. № 12
- РАХАЕВА Юлия — *О черном пиаре — с любовью*. Жак Сегела. Национальные особенности охоты за голосами. № 2
- СКИДАН Александр — *Косвенные свидетели*. Андрей Левкин. Междуцарствие. № 1; *Слово берет влюбленный*. Ролан Барт. Фрагменты речи влюбленного. № 3
- СТАРЫГИНА Юлия — *От трав-соцветий к анальному лону*. С. Сибирцев. Избранное. Тт. 1, 2. № 8
- СТЕПАНЯН Карен — *Начало прочтения тайного смысла*. Лариса Сугай. Гоголь и символисты. № 10
- ТАРАСОВ Александр — *Преодоление постмодернизма*. Сидимовы и другая проза Алексея Цветкова; Алексей Цветков. Анархия non stop. № 7
- ТВАРДОВСКАЯ В. — *Романовы читали Достоевского...* Игорь Волгин. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. № 10
- ТЕКТУС Александр — *Первая ласточка*. Илья Стогов. Камикадзе. № 1
- УЛАНОВ Александр — *Стили политики*. А.Г. Алтунян. От Булгарина до Жириновского. № 1; *Варианты времени*. А. Бийо Касарес. Изобретение Мореля. № 3; *Палиндром: мор, дни лап*. Первый палиндромический словарь русского языка. Сост. Е. Кацюба. № 6; *Учебник утекающего*. Михаил Эпштейн. Постмодернизм в России. № 8; *Душа и танец*. Борис Фальков. Тарантелла. № 9; *Границы свободы*. Наше положение: образ настоящего / О.А. Седакова, В.В. Биbihин, А.И. Шмайна-Великанова, А.В. Ахутин и др. № 11; *Между двух традиций*. Дж. Джойс. Лирика. Пер. с англ. Г. Кружкова. № 12
- УРИЦКИЙ Андрей — *Записки отщепенца*. Наум Вайман. Щель обетованья. № 5; *Как это делают в Киеве*. Евгения Чуприна. Роман с Пельменем. № 12
- ФОКИН Павел — *Вид Кавказа с берегов Хоккайдо*. В.А. Туниманов. Кавказские повести Л.Н. Толстого. № 5

- ХАЗАНОВ Борис — *История как область свободы*. Леонид Люкс. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. № 9; *История еретика и меча*. Дж. Вудолл. Хорхе Луис Борхес, человек в зеркале своих книг. № 12
- ХАН-ПИРА Эр — *Путеводители по прошлому*. Л.В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь. Ю.А. Федосюк. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. № 12
- ЦУКАНОВ Андрей — *Виртуальный апокалипсис, или Русские в 2000 году*. Генрих Сапгир. Армагеддон. № 4; *Человечность во времени и пространстве... литературы*. Илья Крупник. Избранное в 2-х томах. № 6; *Записки русского барина*. М. Соколов. Поэтические воззрения россиян на историю. № 12
- ЧАЙКОВСКАЯ Вера — *О бессмертной возлюбленной*. Е. Зингер. «Явись, возлюбленная тень...». № 3; *Все неверно*. Мария Галина. Из книжных лавок. № 11
- ЧУПРИНИН Сергей — *Взлетает бабочка с руки*. Радислав Лапушин. Под деревом ночи. № 6
- ШАУЛОВ Сергей С. — *Рассуждения о зеркалах*. В. Кальпиди. Запахи стыда. № 5
- ШЕВЧЕНКО Леонид — *Интимная магия*. Все обо всех. Тт. 1–10. № 1; *Одиссей взрывает Итаку*. Эдуард Лимонов. Анатомия Героя. № 2; *Из жизни людей*. М.А. Шатуновский. (Из жизни растений). № 4; *Солнце мертвых*. Россия перед вторым пришествием: пророчества русских святых. Составитель С. Фомин. № 7; *Бесхитрый*. Евгений Евтушенко. Медленная любовь. № 10
- ШПАКОВ Владимир — *Восстание символов*. Мишель Турнье. Лесной царь. № 9
- ЩЕГЛОВА Евгения — *Нервные люди*. Юрий Бондарев. Бермудский треугольник. № 5; *Культура — это память*. Л. Лазарев. Шестой этаж. № 6

CD

- ШЕВЧЕНКО Леонид — *Вверх*. «Машина времени». Часы и знаки. № 8; *2000: граффити, плеер и...* Земфира. Прости меня, моя любовь. № 10

In brevi

- ОНУФРИЕНКО Галина — № 1

Nota bene

- АГЕЕВ Александр — Алла Марченко. Разуваев и К^о — выход в свет; Александр Мелихов. В душе мы всё еще спартанцы. О физиологическом плюрализме; «Итоги». Тема номера: Меценаты эпохи первоначального накопления; Вл. Новиков. Обнуление. № 1;
- Александр Привалов. Анатолий Чубайс — менеджер революции. Заметки о знаменитейшем российском администраторе; Сергей Мостовщиков. Чубайс-2; Павел Басинский. Авгиевы конюшни; Евгений Замятин. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания; Илья Зиновьев. С Интернетом по жизни; Андрей Сборов. Занимательные и поучительные истории из жизни духовных искателей. № 2;
- Ирина Роднянская. И Кушнер стал нам скучен...; Александр Алтунян. Не по чину много свобод; «Неприкосновенный запас», 1999, № 6 (8); Николай Климонтович. Последняя газета. Роман; *Десять лет назад*. Вл. Новиков. Раскрепощение. № 3;
- Антибукер 1995–2000. Пять лет в русской литературе. — «Кулиса НГ», 2000, 21 января; Сергей Семанов. Сталин. Уроки наследия. — «Наш современник», 1999, № 12; Юрий Каграманов. Америка далекая и близкая. — «Новый мир», 1999, № 12; Юрий Каграманов. И победителей судят. — «Новый мир», 2000, № 1. *Десять лет назад*. Матвей Блехерман. Реквием по профессионалам. — «Знамя», 1990, № 4. № 4

Спектакль

- БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий — Д. Голдмен. «Лев зимой». Челябинский драматический театр. № 3
- ДУЛЕНИН Олег — «Дом скорби». «Ночлежная» история в «Табакерке». М. Горький. «На дне». Театр-студия п/р. О. Табакова. Режиссер Адольф Шапиро. № 7
- ЗЛОБИНА Алена — *Почем нынче мужская дружба*. Эрих Мария Ремарк. Три товарища. Постановка Галины Волчек. «Современник». № 1; *Оттуда не возвращаются*. Терренс МакНелли. Мастер-класс. Независимый театральный проект. В главной роли Татьяна Васильева. № 5

Концерт

- ГЕНИНА Анна — *Она поет, и звуки тают...*. № 4

Выставка

- ИВАНИЦКАЯ Елена — *Акция-проект, или «Начнем ab ovo...»*. Сергей Войченко и Владимир Цеслер. Художественная акция «ПРОЕКТ ВЕКА: двенадцать из двадцатого». № 5
- КУЗНЕЦОВА Анна — *Сверхзадачи художников*. Камера Обскура Владимира Набокова. № 1; *Новый русский бож*. Первая выставка клуба конструктивистов МДСТ «Дом». № 2; *Еще один творец*. Судьба. Проект в 18 фотографиях Вячеслава Мизина. Галерея М. Гельмана. № 4; *Эксперименты с оптимизмом*. Архетипы экспериментального оптимизма. Живопись. Наталья Ховстёнкова. № 9
- ЧАЙКОВСКАЯ Вера — *Затерянный мир* (Мозаики Феликса Буха). № 6; *Глазами человека*. (Выставка «Глазами медведя» в Московском центре искусств на Неглинной). № 12

Газеты

- КУЗНЕЦОВА Анна — *Одному Богу известно...* «Зеленая лампа», «Ставроша», «Школьники постарше», «Смирновъ», «Лирическая молва». № 6

Незнакомый журнал

- АШКИНАЗИ Леонид — *Описания и дефиниции*. «Диаспоры». № 9; *Субкультура High End и ее журналы: Class A, Вестник А.Р.А.* № 10
- ГРИМБЕРГ Фаина — *Расцвет «Розы»*. «Роза ветров». № 12
- КАСЫМОВ Александр — *Выстпмся и пойдём*. «Бельские просторы» (Уфа). № 3
- НОДЕЛЬ Феликс — *Журнал — для «новых русских»?* «Престижное воспитание». № 5
- РЫЧКОВА Ольга — *«Сибирские Афины» или «Афинская Сибирь»?* «Сибирские Афины». № 2
- ШПАКОВ Владимир — «Новая русская книга». № 4; *Время собирать и связывать*. «Интеллектуальный форум». № 11

Фестиваль

- ЕФРЕМОВ Георгий — Первый московский международный фестиваль поэтов. № 2
- ЗЛОБИНА Алена — *Фестиваль и немного магии*. Рождественский фестиваль искусств. Новосибирск. № 9

Фильм

- ТЕКТУС Александр — *Психоанализ для «новых русских»: 5 убитых, 3 раненых, уничтожено 2 транспортных средства*. Умирать легко. Режиссер Александр Хван. № 5

Конкурс

Альфа-Банк помогает писателям. №№ 6, 12

Конференция

ЕРМОШИНА Галина — *На другой стороне земли*. № 9

ИВАНОВА Наталья — *Иосиф Бродский: проект памятника, проект музея. А медали уже вручены*. № 10

ЩЕРБАКОВ П. — Газдановские чтения. № 8

Содержание журнала «Знамя» за 2000 год. № 12

Уважаемый читатель!

Работа над журналом, его выпуск и распространение в условиях свободного и достаточно насыщенного книжно-журнального рынка делают все более необходимым для нас точное знание того, для какого читателя мы работаем и как читатель оценивает нашу работу.

Вы, конечно же, хотите читать интересный современный журнал, вовремя и гарантированно получая его. Мы — хотим такой журнал делать. Именно поэтому для нас очень важны Ваши ответы на вопросы предлагаемой анкеты, Ваши оценки, советы и замечания.

Данные могут быть, по Вашему выбору, анонимными или с указанием Ваших фамилии, имени, отчества и адреса. Редакция гарантирует конфиденциальность полученных сведений.

Заполненную и вырезанную анкету можно выслать:

- ▶ почтой, с пометкой «Анкета читателя» на конверте, по адресу редакции — 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, д. 8/1;
- ▶ по факсу — (095) 921-32-72 или (095) 924-13-46.
- ▶ Ответы на вопросы анкеты могут быть также высланы по нашему адресу электронной почты (znamlit@dialup.ptt.ru) в виде вложенного текстового файла (txt, doc), с пометкой «Анкета читателя» в поле «Тема/Subject».

Если Вы хотите дать более развернутый ответ на какой-либо из вопросов анкеты (например, Вашу оценку удачных или неудачных публикаций, Ваше мнение о журнале в целом и т.п.) или изложить свои соображения по вопросу, который в анкету не вошел (например, Ваши предложения по распространению журнала и т.д.), сделайте это, пожалуйста, на отдельном листе и пришлите вместе с анкетой.

Если Вы откликнетесь на нашу просьбу и мы получим достаточно данных для серьезной аналитической работы, то обязательно познакомим Вас с результатами этого исследования. Думаем, что Вам это тоже будет интересно.

Редакция журнала

АНКЕТА читателя журнала «Знамя»

Фамилия, имя, отчество _____

Адрес _____

Возраст _____ лет

Пол	Образование	Социальный статус	
муж. <input type="checkbox"/>	высшее <input type="checkbox"/>	учащийся, студент <input type="checkbox"/>	имею свое дело <input type="checkbox"/>
жен. <input type="checkbox"/>	ср.-спец. <input type="checkbox"/>	военный <input type="checkbox"/>	безработный <input type="checkbox"/>
	сред. <input type="checkbox"/>	работаю по найму <input type="checkbox"/>	пенсионер <input type="checkbox"/>

Профессия, специальность _____

Кем работаете сейчас _____

Место проживания:

страна _____ город (область, населенный пункт) _____

С какого (примерно) года Вы знакомы с журналом «Знамя», читаете его (с любой степенью регулярности)? С _____ г.

Как Вы читаете журнал в последнее время? Ваш интерес к журналу

регулярно сугубо читательский
от случая к случаю профессиональный

Как Вы получали (читали) журнал в 2000 году?

1. По подписке
на почте в организации-распространителе
в редакции _____
(название организации-распространителя)

2. В библиотеке
публичной городской ведомственной
областной школьной, вузовской _____
(другой)

3. Покупали
в редакции в книж. магазине в киоске, на лотке

4. Получали от друзей и знакомых 5. По Интернет _____
(адрес)

Какие факторы для Вас наиболее важны, когда Вы принимаете решение о подписке на журнал или его покупке:

содержание необходимость (желание) быть в курсе литературной жизни
цена удобство распростр-ния неудобство распростр-ния

Подписались ли Вы на журнал на 2001 год? 12 мес. 6 мес. 3 мес.

Где?

на почте в организации-распространителе
в редакции _____
(название организации-распространителя)

Какие материалы Вы преимущественно читаете в журнале?

Все материалы	Архивные материалы	Культурологию
Прозу	Публицистику	Критику
Поэзию	Эссеистику	Библиографию
Мемуаристику	Экспертизы	_____

Публикацию каких материалов Вы считаете наиболее оправданной в журнале нашей направленности?

Все материалы	Архивные материалы	Культурологию
Прозу	Публицистику	Критику
Поэзию	Эссеистику	Библиографию
Мемуаристику	Экспертизы	_____

А каких излишней?

Публикации каких жанров, в журнале не присутствующих, Вам хотелось бы в нем видеть?

Какие конкретные публикации последнего времени Вам показались наиболее интересными?

А какие неудачными и ошибочными?

Произведения каких авторов (и публиковавшихся, и не публиковавшихся в нашем журнале) Вы хотели видеть в журнале?

Ваше мнение о художественном оформлении и полиграфическом исполнении журнала.

Что еще Вы хотели бы сказать о журнале? Что пожелать ему?

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редакция

Александр АГЕЕВ
Ольга ЕРМОЛАЕВА
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГорова *ответственный секретарь*

редакция

Ольга Трунова, Елена Хомутова, Александр Шиндель

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Евгения Кацева,
Владимир Маканин, Марк Масарский,
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража журнала Институт «Открытое общество»
выписал и направляет в российские библиотеки
и библиотеки ряда стран СНГ
3850 экземпляров журнала «Знамя».**

Электронная версия журнала: www.infoart.ru/magazine/znamia

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,
первый зам. главного редактора — 921·08·09,
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,
производственный отдел и отдел распространения — 921·32·72,
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72,
E-mail: znamlit@dialup.ptt.ru

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.
Рукописи, поступившие по e-mail, не рассматриваются.

Корректор Елизавета Полукесва.

Компьютерная верстка: Елена Кот.

Художник Татьяна Вахлина.

Сдано в набор 9.10.2000. Подписано к печати 13.11.2000. Заказ № 3225.
Тираж 10000 экз. Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 2000.

Уважаемые читатели!

Вы можете подписаться на журнал «Знамя»

- ▶ по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России» в любом отделении связи России и СНГ (подписной индекс — 70331);
- ▶ непосредственно в редакции: ул. Никольская, 8/1 (921-3272 т/ф);
- ▶ через распространителей журнала:

ООО «Интер-Почта»

Тел./факс 925-0794 т/ф,
025-2206 т/ф,
925-1606 т/ф,
925-3760 т/ф,
921-1142, 921-0834,
921-1138 т/ф
e-mail inter-post@mtu-net.ru

**Категории
подписчиков**

Индивид.
подписчики,
а также
организации
и предприятия

**Регион охвата
подписчиков**

Москва

ООО «Сотра-МН»

Тел./факс 160-5848 т/ф,
160-5847 т/ф
160-5856 т/ф
e-mail artos-gal@dol.ru

Библиотеки

Москва
и Московская
область

ООО «Вся пресса»

Тел./факс 257-9980, 285-8985
e-mail press@dateline.ru

**Организации
и предприятия**

Россия

ООО «АПД «Прессвести»

Тел./факс 214-9524, 214-5381,
214-5396, 214-2505,
214-5162 т/ф
e-mail pressvesti@mtu-net.ru

**Индивид.
подписчики**

Россия

ЗАО НПО «Информ-система»

Тел./факс 127-9147, 124-9938 т/ф
e-mail info@informsystema.ru
Сайт www.informsystema.ru

**Индивид.
подписчики**

Страны дальнего
зарубежья

**Организации
и предприятия**

Россия
и страны дальнего
зарубежья

Фирма «Ист Вью Пабליкейшнс» (East View Publications)

Тел./факс В Москве:
777-6557, 777-6558,
318-0937, 318-0881 ф
В США:
+1(763) 550-0961,
559-2931 fax
e-mail sales@mosinfo.ru,
eastview@eastview.com
Сайт www.eastview.com

**Индивид.
подписчики,
а также
организации
и предприятия**

СНГ
и страны дальнего
зарубежья

ЗАО «МК-Периодика»

Тел./факс 238-4967 т/ф
e-mail info@mkniga.msk.su
Сайт www.periodicals.ru

Индивид.
подписчики,
а также
организации
и предприятия

СНГ
и страны дальнего
зарубежья
(адреса зарубежных
партнеров – на сайте)

Внешнеторговая фирма «Наука-Экспорт»

Тел./факс 334-7140 т/ф,
334-7479 т/ф
e-mail nauka@naukae.mst.ru

Индивид.
подписчики,
а также
организации
и предприятия

СНГ
и страны дальнего
зарубежья

Международные фирмы, которые осуществляют подписку для фирмы «Наука-Экспорт»

БОЛГАРИЯ

«Index»
ul. Shipka, 34
1504 Sofia, Bulgaria
tel/fax 943 34 69

ГЕРМАНИЯ

**Buchhandlung
«Raduga»**
Inh. Nina Gebhardt
Wilhelmstrasse 89
10117 Berlin
Deutschland

**Kubon & Sagner
Buchexport-Import
GmbH**
D-80328 Munchen, BRD
tel 089 54218-0
fax 089 54218-218

**Presse-Service
Hamburg GmbH**
Postfach 30 13 73
D-50783 Koln. BRD
tel 0221/95 44 47-11
fax 0221/6166 1301

ДАНИЯ

**G.E.C. GAD
Stakbogluden**
Slavisk afd.
Ndr.Ringgade 3
DK 8000 Arhus, Denmark
tel 45 86 19 45 22
fax 45 86 20 91 02

КИТАЙ

**China Book
Import Centre**
35, Chegongzhuang Xilu
P.O.Box 2825
Beijing, China
Postal Zone 100044
tel 68416126 68412035
fax 68412023

ПОЛЬША

«Organ»
Palas Kultury i nauki
00-901 Warszawa, Poland
fax 48-22 261-86-70

СЛОВАКИЯ

Slovart-G.T.G.
P.O.B. 152
852-99 Bratislava
Slovak Republik
tel/fax 783 94 85

СЛОВЕНИЯ

**«D.Z.S.» d.d.
Import-Export**
ul. Slovenska, 55
61000 Ljubljana, Slovenija
fax 61 310 737

США

Russian House LTD.
253 Fifth Ave.,
New York, NY 10016, USA
tel 212 685-10-10
fax 212 685-10-46

ФРАНЦИЯ

Maxima Sarl
45 rue Raymond Simon
94310 Orly, France
fax 33/1/48 43 13 17

ЧЕХИЯ

P.N.S. a.s.
Hvozdsanska 5-7
148 31 Praha, 4,
Czech. Republic
tel/fax 79 34 601

**Dovoz Tisku Praha
«Suweco» szo**
Na zerlvach, 24
180 00 Praha, 8
Czech. Republic
fax 683 30 42

ШВЕЙЦАРИЯ

**Pinkus Genossenschaft
Zurich**
Froschaugasse 7
Postfach
CH-8025 Zurich, Schweiz
tel 01/251 26 47
fax 01/251 26 82

ЯПОНИЯ

Nauka LTD.
2-3-19. Minami-Ikebukuro,
Toshima-ku,
Tokyo, 171 Japan
tel 03 3981-5266
fax 03 3981-5313

Отдельные экземпляры журнала можно купить

— в редакции

— в магазинах Москвы: «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6),
«Мир печати» (ул. 2-я Тверская-Ямская, 54),
магазин РИК «Согласие» (ул. Бахрушина, 28).

Редакция с интересом рассмотрит новые предложения по распространению журнала
(921-3272 т/ф).

Журнал современной литературы и общественной мысли “Знамя”
во второй половине 2000 года и первой половине 2001 года —

романы и повести

Беллы Ахмадулиной “За весь род воробьиный”,
Георгия Владимова “Долог путь до Типперэри”,
Владимира Войновича “Замысел” (книга вторая),
Андрея Дмитриева “Аполлония”,
Леонида Зорина “Трезвенник”,
Александра Кабакова “Поздний гость”,
Нины Садур “И тогда я прыгну”,
Владимира Рецетера “Ностальгия по Японии”,
Феликса Светова “Мое открытие музея”,
Владимира Шарова “Воскрешение Лазаря”,

новые произведения

Анатолия Азольского, Василия Аксенова, Виктора Астафьева,
Григория Бакланова, Андрея Волоса, Нины Горлановой,
Олега Ермакова, Фазиля Искандера, Инны Лиснянской,
Владимира Маканина, Людмилы Петрушевской,
Вячеслава Пьецуха, Виктории Фоминой,
Елены Шварц, Николая Шмелева, Асара Эпшеля.

“Знамя” — месяц за месяцем, год за годом создаваемая
на журнальных страницах галерея русской поэзии.

“Знамя” — продолжение рабочих тетрадей Александра Твардовского,
дневники Константина Паустовского,
воспоминания о Сергее Есенине, Юлии Даниэле,
Генрихе Сапгире, Борисе Чичибабине,
мемуары Алексея Кондратовича,
Виталия Сырокомского.

“Знамя” — публицистика, эссеистика, экспертизы,
культурология, критика, разговор о роли России
и российской культуры в современном мире.

И, наконец, “Знамя” — развернутая панорама сегодняшней
литературной и общекультурной жизни.